This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

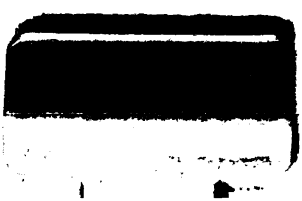
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

REESE LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО.

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

POMIALOVSKAGO

Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ и БІОГРАФІЕЮ АВТОРА,

СОСТАВЛЕННОЮ

Н. А. БЛАГОВѢЩЕНСКИМЪ.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ.

ТОМЪ I.

BEESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева.

1868.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

FEB 7 19[illegible]

RESE

Въ типографіи К. Вульфа, Литейный проспектъ, № 60.

PG 3337
Ф73
1868
v.1
MAIN

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
Николай Герасимовичъ Помяловскій (біографическій очеркъ)....	I
Буколъ.....	1
Мѣщанское счастье.....	31
Молотовъ.....	159

170637

FEESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧЪ ПОМЯЛОВСКІЙ.

(БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

«...Знаете ли вы, что значитъ честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотрѣть въ свою душу не подличая, а если не вѣришь чему, такъ и говорить, что не вѣришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дѣло! Кто надуваетъ себя, тотъ всегда спокоенъ; но я не хочу вашего спокойствія!...»

Молотовъ.

Наша современная беллетристика переживаетъ теперь тяжелое, переходное время. Она видимо приближается къ перелому на новую дѣятельность, болѣе сообразную съ современными потребностями общества, и съ нетерпѣніемъ ждетъ новыхъ, свѣжихъ дѣятелей, которые уловили бы и осмыслили эти потребности, и живымъ, энергическимъ словомъ пробудили общество отъ этой апатіи, въ которую поставило его это переходное время. Прежніе дѣятели, воспитавшіеся подъ вліяніемъ иныхъ интересовъ, одинъ за другимъ сходятъ со сцены, или кое-гдѣ дописываютъ свои послѣднія, лебединыя пѣсни; отъ нихъ намъ ждать нечего, потому что «въ старые мѣхи новое вино не вливается», а молодыя силы до сихъ поръ не подаютъ своего голоса.

При такомъ безцвѣтномъ состояніи нашей беллетристики, Николай Герасимовичъ Помяловскій возбудилъ было общія надежды и ожиданія; въ его произведеніяхъ сказалась самобытная, свѣжая сила таланта, и выразился ясный и сильный протестъ противъ устарѣвшихъ понятій и гнетущихъ формъ жизни общественной,—но эти надежды не сбылись: Помяловскій умеръ слишкомъ рано, и въ ту пору, когда, по нашему мнѣнію, онъ только задумывалъ свои главныя работы.

Николай Герасимовичъ Помяловскій обладалъ силами не дюжинными; онъ и въ это короткое время своей дѣятельности могъ бы оставить по себѣ вѣковѣчную память, если бы обстоятельства сложились для него не такъ неблагопріятно. Онъ развился слишкомъ поздно; дѣтство его протекло среди обстановки неприглядной, гдѣ ничто не могло помочь его развитію; ему приходилось *самому*, безъ всякой посторонней помощи, разгадывать такіе вопросы, которые въ обществѣ образованномъ считались дѣломъ давно рѣшеннымъ, и на эти разгадки потрачено было много и силъ, и времени. Конечно, эти думы развили въ немъ способность анализа и доставили ему прочныя самостоятельныя убѣжденія, но все-таки, говоримъ, будь обстоятельства иныя, будь бо́льшій просторъ его дѣятельности, не тѣ бы силы обнаружилъ онъ передъ нами.

Въ жизни Николая Герасимовича Помяловскаго не было ничего особенно оригинальнаго: такую жизнь переживали и переживаютъ многіе; тѣмъ не менѣе, эта жизнь служитъ фактомъ, надъ которымъ слѣдуетъ призадуматься. Я коротко зналъ Помяловскаго. Вмѣстѣ съ нимъ мы прозябали въ бурсѣ, вмѣстѣ кончили курсъ и не разлучались потомъ до самой смерти Николая Герасимовича, но все-таки я не рѣшаюсь дѣлать оцѣнку этой печальной жизни, — пусть скажетъ она сама за себя. Мнѣ хотѣлось только указать на тѣ факты, которые помогли его развитію, и на тѣ, которые погубили его. Будемъ излагать эти факты съ полною откровенностью, не скрывая даже такихъ сторонъ жизни Помяловскаго, которыя, по видимому, могутъ компрометировать въ глазахъ обще-

ства эту симпатичную личность. Помяловскій не любилъ лести, да онъ и не нуждается въ ней.

Николай Герасимовичъ до послѣднихъ дней своей жизни сохранилъ глубокое уваженіе къ памяти отца, и вспоминалъ о немъ съ любовью. Отецъ его былъ дьякономъ при здѣшней мало-охтенской кладбищенской церкви; человѣкъ онъ былъ тихій, миролюбивый, старавшійся дѣйствовать на дѣтей одними совѣтами и кроткими внушеніями. Вообще семейный гнетъ не тяготѣлъ надъ Помяловскимъ, и это отсутствіе семейнаго самодурства, рѣдкое въ нашихъ духовныхъ семействахъ, благотворно дѣйствовало на развитіе ребенка и положило первыя основы его самостоятельности въ мысляхъ и дѣлахъ. Первыми товарищами его дѣтства были охтяне,—народъ не забитый и смѣтливый; съ ними онъ участвовалъ на разныхъ сходкахъ и играхъ. Близость рѣки и рыболовные промыслы поселянъ рано развили въ Помяловскомъ любовь къ рыбной ловлѣ, и эту любовь сохранилъ онъ до конца жизни. По цѣлымъ днямъ, говорятъ, проводилъ онъ время или на гонкахъ, съ удочкой въ рукахъ, или на мѣстной тонѣ, гдѣ между тонщиками у него были также свои пріятели, съ которыми онъ толковалъ по рыбной спеціальности. Замѣчательно, что онъ какъ-то мало сходился съ своими сверстниками, и больше придерживался взрослыхъ. Мальчикъ онъ былъ здоровый, бойкій и мыслящій: самая жизнь на гонкахъ, въ постоянномъ уединеніи, располагала его къ размышленіямъ и давала полную волю его дѣтскимъ фантазіямъ. Не мало также, вѣроятно, вліяли на его дѣтскую душу кладбище, гробы, лица покойниковъ, погребальныя процессіи, заунывное пѣніе и горькія рыданія, къ которымъ онъ приглядывался и прислушивался чуть не съ колыбели. Кто знаетъ, что̀ думалъ малютка, подъ впечатлѣніемъ подобныхъ картинъ и сценъ? Конечно, онъ скоро приглядѣлся къ нимъ и сталъ смотрѣть на эти грустныя явленія, какъ на обыденныя, и притомъ такія, которыя даютъ отцу его средства къ жизни;

но, можетъ быть, эти «пейзажики» и дали зародышъ тѣхъ думъ, которыя потомъ онъ высказалъ въ лицѣ своего Череванина.

Отецъ Николая Герасимовича былъ человѣкъ не богатый; онъ сначала самъ училъ его читать и писать, а потомъ отдалъ его въ какую-то грошовую школу, находящуюся тамъ же, на Охтѣ. Въ этой школѣ Помяловскій пробылъ мѣсяца четыре и возвратился домой, потому что тамъ не чему было больше учиться.

Стукнуло ему 8 лѣтъ отъ роду. Отецъ порѣшилъ: «ну, теперь пора въ училище»,—и свезъ его въ здѣшнее Александро-невское духовное училище. Другого училища, конечно, и не имѣлось въ виду: ужъ такъ на роду написано и обычаемъ предковъ освящено, что каждый птенецъ «духовный» долженъ пройдти черезъ бурсу, какъ очистилище какое, и пріобрѣсти тамъ лоскъ, необходимый для духовнаго званія. По фатуму своего происхожденія, Помяловскій долженъ былъ идти той же колеей, по которой проходили всѣ предки его;—ну и вступилъ онъ въ эту колею, изъ которой потомъ всю жизнь выбивался. Впечатлительный, довѣрчивый ребенокъ очутился въ новомъ мірѣ, извѣстномъ подъ именемъ «бурсы», гдѣ были уже тогда два брата его. Помяловскаго записали во второй приходскій классъ—долбить начатки и грамматику.

Первыя впечатлѣнія свои, среди новой обстановки, Николай Герасимовичъ подробно описалъ въ четвертомъ очеркѣ бурсы: «Бѣгуны и спасенные», гдѣ вывелъ самого себя подъ именемъ Карася. По этому описанію читатель можетъ судить, сколько мученій долженъ былъ перенести новичокъ-ребенокъ въ первые дни своего пребыванія въ бурсѣ. Товарищи обыкновенно въ первый же день стараются обколотить ребенка, запугать его и превратить въ бурсака; всякая ласка тамъ считается неприличною, даже любовь къ роднымъ осмѣивается, какъ преступленіе. Бурса для птенца то же, что *отреченіе отъ міра* для монаха, что *мертвый домъ* для арестанта, и съ первыхъ же дней она кладетъ на него клеймо

свое: или безшабашнаго ухарства, или забитаго, робкаго пресмыканья и испуга. И счастливъ тотъ, кто съумѣетъ придержаться середины и не погибнуть; да и обстоятельства особыя нужды для этого. «Всѣ увѣрены, говоритъ Помяловскій, что дѣтство есть самый счастливый, самый невинный, самый радостный періодъ жизни, но это ложь: при такой системѣ нашего воспитанія это самый опасный періодъ, въ который легко развратиться и погибнуть на вѣки». — «Первыя впечатлѣнія Карася были таковы, что не помоги Силычъ, — онъ превратился бы въ подлеца, либо въ дурака». И спасибо Силычу за то, что онъ сберегъ намъ Помяловскаго.

Заслуга Силыча состояла въ томъ, что онъ, находясь въ дружбѣ со старшимъ братомъ Помяловскаго, взялъ девятилѣтняго Николая Герасимовича подъ свою защиту и не позволялъ товарищамъ колотить его. Помяловскій, подъ этой защитой, могъ, наконецъ, встать на ноги, оглядѣться и принять мѣры для защиты своей спины. Въ бурсѣ вообще огромное значеніе имѣетъ кулачное право; каждый, имѣющій силу, бьетъ, кого хочетъ, и друга, и недруга, каждый бьетъ слабѣйшаго, а начальство, въ свою очередь, бьетъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ и чуть не сотнями выгоняетъ вонъ изъ училища. Этотъ духъ біенія до того пропитываетъ каждую бурсацкую натуру, что даже мальчики слабые, не имѣющіе силъ драться, хоть щипкомъ, хоть пакостью какою наровятъ на комъ нибудь сорвать свою злость, которую навѣваетъ на нихъ ученичество. Это не дѣтскія игры, а какое-то звѣрское ожесточеніе, сопровождающееся отвратительнымъ цинизмомъ и поруганіемъ всего, что составляетъ украшеніе дѣтства. Цѣнится только одна физическая сила, выносливость въ побояхъ и абсолютная лѣность. Нѣчто въ родѣ того происходило и въ томъ училищѣ, гдѣ обучался Помяловскій *).

*) Все сказанное здѣсь о бурсѣ происходило еще въ 40-хъ годахъ, когда вообще большинство нашихъ духовно-учебныхъ заведеній страдало отъ недостатка присмотра. Замѣчаемъ это для того

Помяловскій былъ по природѣ слишкомъ впечатлителенъ, и это вѣчное мордобитіе, эта картина нравственнаго безначалія не прошла для него даромъ; онъ сталъ осмотрителенъ, недовѣрчивъ и на каждаго силача глядѣлъ, какъ на разбойника, могущаго спокойно придушить его. Учиться сталъ онъ плохо; непонятные учебники, за которые его частенько сѣкли, а дѣла не объясняли,—опротивѣли ему. Въ слѣдующемъ классѣ онъ просидѣлъ, вмѣсто двухъ, — четыре года, а все-таки науки бурсацкой постигнуть не хотѣлъ, хотя наука эта была вовсе не обременительна для учениковъ. Вотъ какія соображенія приводитъ Помяловскій на счетъ преподаванія, напримѣръ, закона божія.

«Извѣстно, что въ большей части духовныхъ училищъ полагается пройдти въ два года по закону божію 56 листиковъ, что составитъ приблизительно 2,800 строкъ; для закона же божія полагается 208 лекцій, каждая въ два часа, то есть, полагается на 2,800 строкъ 416 часовъ. По разсчету, приходится на классъ около 6 строкъ, на часъ 3 строки. Теперь другой разсчетъ. Возьмемъ мы ученика и возьмемъ попугая. Я увѣренъ, попугай, животное безтолковое, заучитъ все это, если не въ два, то, по крайней мѣрѣ, въ четыре года, а мальчика научить не могутъ. Что же сказать послѣ этого о неспособныхъ мальчикахъ? Разсчетъ и дѣльное преподаванье должны уничтожить самое понятіе о безтолковости дѣтей. Глухихъ, слѣпыхъ, нѣмыхъ нынѣ учатъ и выучиваютъ: а у насъ сотнями исключаютъ изъ училищъ, какъ неспособныхъ».

Въ своихъ «Очеркахъ бурсы» Помяловскій первый съ такою силою и безпощадностью раскрылъ передъ глазами общества ту глубокую педагогическую язву, въ которой образуются бурсаки. Элегантное общество съ содроганіемъ отвернулось отъ этой картины и не хотѣло вѣрить, что въ наше время могутъ происходить такія безобразія, но бурсаки сразу узнали свое родимое гнѣздышко и отъ души сказали Помяловскому «спасибо»! Конечно, по первымъ очеркамъ нельзя судить о бурсѣ вообще, потому что нельзя представить себѣ,

---

чтобы читатели не судили по нашему описанію о нынѣшнихъ духовныхъ училищахъ, гдѣ, сообразно съ потребностями времени, введены, говорятъ, многія улучшенія.

какъ можно въ такой средѣ не одичать, не погибнуть, и неужели тамъ никогда не встрѣчается ни одной свѣтлой личности? Правда, сотни дѣтей тамъ дичаютъ и гибнутъ, но все-таки сохраняются и хорошія личности, хотя рѣдкая изъ нихъ въ эту пору не надломится нравственно. Помяловскій въ своихъ очеркахъ успѣлъ описать только времена кулачнаго права, которыя опредѣляли данныя для развитія бурсацкихъ характеровъ и умосозерцаній. Это былъ еще дикій, не сложившійся въ опредѣленныя формы, хаосъ, изъ котораго потомъ постепенно вырабатывалось *товарищество*, а въ этомъ товариществѣ, въ этой ассоціаціи умовъ, съ цѣлью бороться противъ устарѣвшей формы воспитанія, и сказалась впослѣдствіи сила, которая многихъ удержала отъ погибели. Эту-то силу и думалъ потомъ обрисовывать покойный, думалъ разъяснять ея спасительное значеніе и первые признаки ея указать въ пятомъ очеркѣ: «Переходное время бурсы». Но объ этомъ рѣчь впереди.

Въ училищѣ я не былъ знакомъ съ Помяловскимъ. Помню, какъ однажды товарищи робко указали мнѣ на него, какъ на силача, который въ обиду себя не дастъ. Онъ шелъ по мосткамъ въ порыжѣлой казенной шинели, ободранной и истасканной до-нельзя; шапка нахлобучена была по самыя уши, воротникъ поднятъ и изъ-за воротника виднѣлся одинъ только глазъ со шрамомъ.

— Это Карась,—шептали мнѣ товарищи.

— Карась?—громко спросилъ я.

— Тише!.. Услышитъ, такъ не радъ будешь: побьетъ.

Я съ тѣхъ поръ всегда со страхомъ поглядывалъ на Помяловскаго, и очень хотѣлось мнѣ хоть разъ обозвать его Карасемъ, чего онъ, какъ бурсакъ, конечно не стерпѣлъ бы.

Помяловскій былъ тогда уже въ старшемъ классѣ училища. Здѣсь товарищество начинаетъ уже понемногу формироваться и на первый разъ дѣлится на двѣ партіи: второкурсныхъ и первокурсныхъ.

Первые царятъ въ классѣ, потому что въ ихъ рукахъ старшинство, авдиторство и цензорство. Послѣдніе всѣми

силами стараются чѣмъ нибудь нагадить первымъ. Помяловскаго обѣ партіи отчасти боялись, отчасти уважали. Онъ былъ тогда уже «отпѣтымъ» бурсакомъ, то есть: науками не занимался, порки не боялся, передъ начальствомъ не трусилъ, а противъ плюходѣйствія товарищескаго былъ вооруженъ здоровымъ кулакомъ. Онъ понималъ, что товарищество бурсацкое прежде всего уважаетъ такого рода «отпѣтыхъ» субъектовъ, и хотя съ большимъ трудомъ, но пріобрѣлъ-таки себѣ это реномэ. Учителя сперва жарко пороли его, но потомъ и пороть перестали. Всего, Помяловскаго выпороли въ бурсѣ, по его собственному счету, *четыреста* разъ, такъ что впослѣдствіи онъ частенько самъ задавалъ себѣ вопросъ: «пересѣченъ я, или еще не досѣченъ?»... Кромѣ того ему чуть не каждый день приходилось стоять на колѣняхъ, быть безъ обѣда и проч. Но Николай Герасимовичъ стоически выносилъ всѣ эти педагогическія истязанія, а учиться все-таки не сталъ, даже больше возненавидѣлъ бурсацкіе учебники, при видѣ которыхъ ему припоминались всѣ эти истязанія. Съ поркой онъ потомъ свыкся, колѣнъ не жалѣлъ: «на этихъ мѣстахъ,—говаривалъ онъ,—у меня слоновая кожа выросла, потѣшайся сколько хочешь, мнѣ все одно»; но одного только наказанія не могъ выносить онъ: «неувольненія въ городъ». Для городского бурсака нѣтъ большаго счастья, какъ вырваться, хоть на нѣсколько часовъ, на вольный воздухъ, повидать лица привѣтливыя, чувствовать на себѣ ласки родственниковъ. Помяловскій всегда съ нетерпѣньемъ ждалъ субботняго дня,—и начальство воспользовалось этимъ средствомъ, чтобы обратить его на путь науки. Очень естественно, что послѣ всего этого, онъ всѣми силами своей молодой, но уже ожесточенной души возненавидѣлъ гнетъ, на каждаго учителя смотрѣлъ, какъ на врага, и задыхался отъ безсильной злобы. Эта ненависть осталась въ немъ на всю жизнь.

Въ бурсѣ было много учениковъ забитыхъ, робкихъ, оглупѣвшихъ отъ вѣчныхъ побой и сѣченій. Испытавъ на самомъ себѣ всю горечь жизни подобнаго рода, Помяловскій

взялъ этихъ бѣдняковъ подъ свою защиту и почувствовалъ къ нимъ невольную симпатію. Онъ легко сходился съ ними на ласковомъ словѣ, видѣлъ, съ какою радостью они отзывались на каждую ласку, и полюбилъ ихъ за то, что они крѣпко ненавидѣли бурсу, что съ ними можно было потолковать о домѣ родномъ и другихъ милыхъ сердцу предметахъ, которые осмѣивались заклятыми бурсаками. Такихъ друзей, въ этотъ періодъ времени, у Помяловскаго было много, и слѣдствіемъ этихъ знакомствъ было то, что Николай Герасимычъ потомъ на каждую забитую и угнетенную личность смотрѣлъ снисходительно, даже симпатично. Представителемъ такого типа служитъ «дуракъ Тетёры», описанный въ четвертомъ очеркѣ бурсы.

Въ училищѣ Помяловскій пробылъ восемь лѣтъ и потомъ (въ 1851 г.) перешелъ въ здѣшнюю духовную семинарію. Тутъ уже бурса переносится въ новую, лучшую обстановку, одѣваютъ ее чище, кормятъ сытнѣе и сѣкутъ только въ исключительныхъ случаяхъ. За то, послѣ своеволія бурсацкаго, этотъ переходъ слишкомъ рѣзокъ. Надъ «словаремъ» *) наблюдаютъ сотни властей: старшіе, подстаршіе, начальники, наконецъ, оба высшія отдѣленія: — словарю вздохнуть нельзя свободно. Въ то время инспекторомъ семинаріи былъ человѣкъ съ желѣзной волей и деспотъ, какихъ мало; онъ всю семинарію держалъ въ своихъ рукахъ, его боялись не только воспитанники, но даже всѣ остальныя власти. Этотъ педагогъ (онъ уже умеръ) главный принципъ своей власти выражалъ слѣдующими словами: «если ты стоишь, а начальство говоритъ тебѣ, что ты сидишь, значитъ ты сидишь, а не стоишь», или «если тебѣ велятъ печкѣ кланяться, ты и ей кланяйся» и т. п. Въ частномъ быту онъ, говорятъ, былъ человѣкъ хорошій и даже либералъ; но какъ педагогъ, онъ систематически и безжалостно давилъ и гналъ все, что только было свѣтлаго въ бурсѣ, что только осмѣливалось выразить хоть малѣйшую самостоятельность. Много

*) Ученикомъ низшаго класса семинаріи.

лучшихъ головъ бурсы загубилъ онъ. Имя его было пугаломъ для всей семинаріи и наводило ужасъ на классы. Помяловскаго онъ замѣтилъ и не взлюбилъ слишкомъ скоро, и чего-чего только не натерпѣлся отъ него покойный!.. До послѣднихъ дней Николай Герасимычъ не могъ забыть этихъ оскорбленій и при одномъ воспоминаніи о своемъ бывшемъ инспекторѣ скрежеталъ отъ злости зубами, готовъ былъ плакать. «Погоди же, доберусь я до тебя»! часто говаривалъ онъ и съ наслажденіемъ думалъ о томъ, какъ онъ въ дальнѣйшихъ очеркахъ бурсы выставитъ типъ подобнаго педагога на судъ общественный.

Вліяніе инспектора отражалось на всѣхъ частностяхъ семинарскаго быта, проглядывало въ преподаваніи наукъ, въ поведеніи учителей и всего остального начальства. Всѣ ученики, конечно, были противъ него; они понемногу сплочивались вмѣстѣ, и хотя явнаго протеста не было, но втайнѣ дѣлались такія вещи, какихъ не могло быть при другой системѣ воспитанія. Всякій скандалъ, всякая грубость или непріятность начальству поощрялась, возводилась на степень подвига. Въ этихъ протестаціяхъ выражалось все-таки бурсачество; товарищи скандалезничали и навлекали на себя новыя стѣсненія, но они довольны были и тѣмъ, что начальству доставляютъ лишнія хлопоты и непріятности. Строже всего, напримѣръ, въ семинаріи было запрещено пьянство, куреніе табаку и игра въ карты, и поэтому ученики охотнѣе наслаждались этими удовольствіями, а когда объявлено было, что за пьянство исключать будутъ изъ семинаріи, стали пить почти всѣ. И Помяловскій въ ту пору научился попивать: онъ всегда былъ за одно съ товариществомъ.

Жить было скучно и душно, да и что свѣтлаго могло прокрасться сюда при такомъ церберѣ, каковъ былъ инспекторъ? Изъ преподаваемыхъ предметовъ насъ занялъ тогда только предметъ русской словесности, которую молодой учитель съумѣлъ сдѣлать интересной и мало по малу завлекалъ учащихся. Онъ читалъ намъ даже нѣкоторые образчики *изящной* литературы, старательно конечно опуская все, что

могло подѣйствовать плохо на нравственность бурсаковъ, то есть, разныя любовныя приключенія, описанія начальственныхъ лицъ и т. п. Хотя при такой цензурѣ трудно было узнать что нибудь, однако и эти чтенія заинтересовали всѣхъ, особенно послѣ училищнаго преподаванія. Постоянное «упражненіе въ сочиненіяхъ» тоже давало толчокъ мысли и заставляло ломать голову надъ замѣной однихъ оборотовъ рѣчи другими, надъ разъясненіемъ какого нибудь нравоучительнаго текста и т. п. Учитель однажды даже вызывалъ желающихъ писать стихи, въ надеждѣ, что между нами скрывается какой нибудь Пушкинъ; желающихъ нашлось много; въ томъ числѣ и Помяловскій подалъ, какъ онъ выражался, «одну стишину», но сердился, когда потомъ кто нибудь заводилъ съ нимъ рѣчь объ этой стишинѣ.

Что касается до другихъ наукъ, то въ нихъ конечно преобладалъ элементъ чисто богословскій; всѣ *свѣтскія* науки стояли на второмъ планѣ, и преподаваніе ихъ шло такъ безтолково, что много надо было имѣть рѣшимости, чтобы понять смыслъ и назначеніе этихъ наукъ. Учителя того времени смотрѣли на преподаваніе свѣтскихъ наукъ небрежно, потому что сами мало были подготовлены къ такому преподаванію; а главныя власти семинаріи разсуждали, что духовному воспитаннику не стоитъ ломать голову надъ такими науками, которыя не пригодятся ни къ чему въ санѣ священника или дьякона. Дѣйствительно, для готовящихся къ духовному званію такое разсужденіе казалось вполнѣ раціональнымъ, но для юношей, не имѣющихъ призванія къ церковному служенію, это небрежное преподаваніе свѣтскихъ наукъ составляло замѣтный пробѣлъ въ образованіи. Въ математикѣ, напримѣръ, учитель, дойдя кое-какъ до логариѳмовъ и бинома алгебры, объявилъ, что ихъ можно выпустить «по трудности пониманія». Изъ физики всѣ математическія вычисленія были вычеркнуты по той же причинѣ; русскую и всеобщую исторію учили «въ долбяжку», да и вообще всѣ учителя старались только о томъ, чтобы къ эк-

заменамъ учебники были вызубрены до слова. Спрашивается, что̀ изъ такого преподаванія можно было вынести?

Время шло скучно, однообразно; товарищество прозябало. Читать въ семинаріи позволялось только высоконравственныя и ученыя сочиненія, а свѣтскіе журналы и книги были строго запрещены. Старшіе, замѣтивъ у кого нибудь свѣтскую книгу, доносили объ этомъ инспектору, тотъ наказывалъ виноватаго, а книгу бралъ себѣ въ вѣчное владѣніе. Однако кое-какія книги контрабандою проносилось въ семинарію, и во время классовъ лѣнивцы съ жаромъ читали ихъ. Помяловскій былъ однимъ изъ страстныхъ любителей чтенія и поглощалъ все, что попадалось подъ руку, начиная съ сонника или пѣсенника до романовъ Воскресенскаго включительно. Онъ по прежнему смотрѣлъ на каждую бурсацкую науку апатично и недружелюбно; сочиненія на заданную тему писалъ небрежно, да и что могло интересовать его въ такихъ темахъ, какъ: «въ злохудожну душу не внидетъ премудрость», или «что есть совѣсть»? и т. п. Для развлеченья онъ пописывалъ маленькія статейки на произвольныя темы. Вообще въ это время онъ переживалъ семинарію, какъ что-то неизбѣжное, какъ оспу какую, придумывая только, чѣмъ бы наполнить эти скучные, безконечные дни и недѣли. Однако его скоро заинтересовали лекціи Мишина по логикѣ и психологіи. Конечно, въ этихъ лекціяхъ все отзывалось мистикой и схоластикой; въ человѣкѣ, напримѣръ, онѣ различали три самобытныя и самостоятельныя силы: тѣло, душу и еще физическую жизнь, какъ связь между душой и тѣломъ, но онѣ дали особенный толчекъ мыслямъ Помяловскаго, и разработка вопросовъ о законахъ мышленія и свойствахъ души заняла его съ этихъ поръ надолго. Въ запискахъ покойнаго есть много замѣтокъ, изъ которыхъ видно, какъ безпокоили его эти вопросы и какъ хотѣлось ему хоть немного разъяснить ихъ. Приводимъ нѣкоторыя изъ этихъ замѣтокъ:

«Чтобы лучше, вѣрнѣе и удобнѣе наблюдать процессъ мышленія, должно взять какую нибудь тему, мало знакомую; опредѣлить, что̀

уже мы знаемъ о ней изъ книгъ и по собственному, предварительному размышленію, потомъ разработывать ее вполнѣ самостоятельно, не пользуясь никакими внѣшними пособіями и источниками. Размышлять должно съ перомъ въ рукахъ, и сряду же излагать мысли на бумагѣ въ томъ порядкѣ и видѣ, въ какомъ онѣ являются въ головѣ. Потомъ черникъ исправить на другомъ листѣ, этотъ исправить снова и т. д., пока, по нашему взгляду, сочиненіе будетъ готово. Все исписанное, исправленное, переиначенное и дополненное на всѣхъ употребленныхъ къ дѣлу листахъ покажетъ естественный путь нашей мысли, и нѣсколько такихъ опытовъ откроютъ, быть можетъ, новые, невѣдомые намъ законы мышленія. Это должно принять къ свѣдѣнію, соображенію и исполненію».

«...Тысячи лѣтъ трудится человѣкъ, чтобы разгадать устройство головы своей, чтобы овладѣть тѣмъ механизмомъ, который вырабатываетъ наши мысли и понятія, чтобы потомъ употребить его при познаваніи вещей. Чего человѣкъ не придумывалъ, чтобы имѣть надежное средство избѣгать при разсужденіи глупостей и ошибокъ! Нѣтъ, не уловить этого секрета, какъ тѣни своей! Вникаешь въ свою голову, слѣдишь за полетомъ мыслей, подмѣчаешь всѣ измѣненія мысли, всѣ сцѣпленія ея, а все-таки не разсказать процесса мышленія, не показать пути, по которымъ прошла наша мысль: — она не оставляетъ слѣдовъ, какъ корабль не оставляетъ слѣда въ водѣ, птица въ воздухѣ. Ни схоластика, ни діалектика, ни логика не открыли намъ этого философскаго камня. Скажите, гдѣ причины глупости человѣческой, посредственности, таланта, геніальности? Не Богъ это такъ сдѣлалъ; я думаю, глупымъ дѣлаютъ человѣка люди же. Я думаю: человѣкъ начинаетъ глупѣть въ люлькѣ и глупѣетъ до гроба — отъ отца, матери, няньки, глупыхъ сказокъ, глупаго баловства и еще глупѣйшей строгости, отъ товарищей, учителей и проч. Родись я отъ его превосходительства, былъ бы такой же поросенокъ въ очкахъ, какъ и сынокъ его. Умнымъ человѣка сдѣлать трудно, а глупымъ очень легко...»

Въ старшемъ классѣ жить стало легче, потому что начальниковъ стало меньше: «старшіе» были свои товарищи, а отъ главнаго начальства укрыться теперь было не трудно. Товарищи уже успѣли вполнѣ узнать другъ друга и дружно сложились въ общую семью, заговорили о своихъ общественныхъ интересахъ. Помяловскій ожилъ, ему надоѣла эта спячка товарищества, и сталъ онъ хлопотать всѣми силами о томъ, чтобы провести послѣдніе годы и весело, и съ поль-

зою. Въ то время, въ кружкѣ болѣе дѣльныхъ товарищей, заговорили о томъ, что не мѣшало бы издавать въ классѣ рукописный журналъ, экземпляры котораго и раздѣлить потомъ между товарищами на память. Николай Герасимычъ съ жаромъ ухватился за эту мысль и сдѣлался однимъ изъ редакторовъ журнала. Этотъ журналъ назывался «Семинарскимъ Листкомъ» и выходилъ разъ въ недѣлю тетрадями отъ 3-хъ до 5-ти листовъ мелкаго письма. Въ немъ помѣщалось безъ разбору все, что только благоволили присылать сотрудники, а дѣло редакторовъ было только размѣщать статьи и переписывать ихъ. Работа закипѣла, и № 1-й произвелъ фуроръ. Тамъ особенно заинтересовалъ всѣхъ псевдонимъ «Тамбовскій Семинаристъ»; подъ этимъ псевдонимомъ Помяловскій помѣстилъ въ журналѣ свою большую статью: «Попытка рѣшить нерѣшенный и притомъ философскій вопросъ: имѣютъ ли животныя душу?» Здѣсь онъ въ первый разъ попробовалъ отнестись критически къ разнымъ философскимъ авторитетамъ, царившимъ тогда въ семинаріи, и попытался доказать, что животныя тоже душу имѣютъ, съ тѣмъ только различіемъ отъ человѣка, что у человѣка тѣло душѣ подчиненно, а у животнаго душа тѣлу, потому-то оно (животное) и не совершенствуется. Въ доказательство своего положенія, онъ, между прочимъ, приводитъ такую, весьма остроумную теорію:

«Прослѣдите порядокъ творенія отъ самыхъ высшихъ тварей до самыхъ низшихъ, и вы увидите, что если бы животныя не имѣли души, и именно души подчиненной тѣлу, въ природѣ остался бы очень замѣтный пробѣлъ. Самое высшее, самое совершенное твореніе—ангелъ: онъ существо безтѣлесное,—духъ; потомъ слѣдуетъ человѣкъ, царствующій надъ органическою жизнію, потомъ животное, въ которомъ органическая жизнь владычествуетъ надъ духовной, потомъ растенія, гдѣ одна ограническая жизнь, безъ духовной; наконецъ, минералы — творенія безъ огранической жизни; вникните въ этотъ порядокъ: онъ ясно свидѣтельствуетъ, что наша теорія не произвольная выдумка, а взята изъ природы...»

Эти думы ясно доказываютъ, въ какой непроходимой темнотѣ находились тогда наши свѣдѣнія и какими напряжен-

ными работами чуткій умъ Помяловскаго искалъ выхода изъ этой тьмы невѣдѣнія. Въ началѣ своей статьи Помяловскій писалъ: «Богъ знаетъ,—можетъ быть, рѣшеніе такого важнаго пункта философіи предоставлено семинаристу». И, въ самомъ дѣлѣ, мы убѣждены были тогда, что совершается весьма важное открытіе и что въ области философіи долженъ произойдти переворотъ.

Помяловскій работалъ съ жаромъ, и большинство статей въ «Семинарскомъ Листкѣ» принадлежало ему. Тогда въ классѣ былъ полный разгаръ жизни и всякаго молодечества, было лучшее время нашего курса. «Листокъ» оживилъ общество, доморощенные публицисты пробудили его силы; товарищи выписали въ складчину газету, чтобы слѣдить за политикой; по ночамъ устроивались домашніе театры, танцы, музыка и разныя оргіи... Но это, впрочемъ, продолжалось не долго. Начальство рѣшилось положить конецъ вольности богословской и исключило изъ семинаріи восемь человѣкъ, лучшихъ и болѣе предпріимчивыхъ товарищей. Богословы послѣ этого упали духомъ, на всѣхъ нашла какая-то апатія; робкіе принялись усердно долбить, а лѣнтяи больше сномъ пробавлялись. «Листокъ» тоже началъ падать; общество почему-то охладѣло къ нему, сотрудники измѣнили, матеріалу не хватало. Помяловскій всѣми силами старался поддержать изданіе и разшевелить общую апатію, но не могъ, и «Листокъ» на 7-мъ выпускѣ прекратился. Въ этомъ послѣднемъ выпускѣ, Николай Герасимовичъ помѣстилъ начало своего разсказа «Махиловъ», который произвелъ на классъ огромное впечатлѣніе и показалъ товарищамъ, что Помяловскій обладалъ силами недюжинными. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ разсказѣ уже замѣтны проблески талаланта писательскаго.

Съ прекращеніемъ Листка, Помяловскій началъ хандрить. Помню: однажды, послѣ жаркихъ воззваній къ публикѣ о поддержкѣ изданія и замѣтивъ въ ней полную апатію къ этому дѣлу, Николай Герасимовичъ пришелъ ко мнѣ, самъ не свой.

— Что тутъ дѣлать, Н. А.? спрашивалъ онъ печально:—

вѣдь я разсчитывалъ, что «Листокъ» черезъ весь курсъ пройдетъ, что мы общими силами выяснимъ себѣ, наконецъ, идеалъ семинариста, узнаемъ наши силы, заведемъ корреспондентовъ во всѣхъ другихъ семинаріяхъ.

— Ничего теперь не сдѣлаешь, отвѣтилъ я: — надоѣло, видно.

— Куда же теперь я дѣну свои досуги? Герминевтику что ли долбить? Дудки, братъ. Лучше пить буду.

И въ тотъ же день онъ съ горя напился «до положенія ризъ».

Въ самомъ дѣлѣ, послѣ такихъ усиленныхъ работъ, перейти къ полному бездѣйствію было для него очень трудно. Тоска томила его; онъ въ самомъ дѣлѣ не зналъ, куда дѣвать свои досуги, которыхъ у него было по семи дней въ недѣлю. Отъ нечего дѣлать онъ принялся рисовать — выходило плохо; началъ нотному пѣнію учиться, — оказалось, что слуху нѣтъ, хотя басъ онъ имѣлъ громаднѣйшій и любилъ пѣніе. Потомъ онъ сталъ записывать, въ видѣ дневника, всѣ свои мечты и думы, и это, какъ видно, завлекло его. Въ запискахъ покойнаго я нашелъ перечень сочиненій, написанныхъ имъ въ это время и не успѣвшихъ войди въ «С. Листокъ»:

«Вотъ мои сочиненія на темы произвольныя: 1) Разсужденіе о томъ, что такое Богъ.—2) Замѣтка о людской безпечности.—3) Замѣтка о силѣ порока.—4) О погодѣ.—5) О бѣшенствѣ.—6) Замѣтка о вліяніи случая на нашъ разсудокъ.—7) Что такое время.—8) Теорія: имѣютъ ли животныя душу.—9) Начало неоконченной драмы. — 10) Разсказъ. — 11) Одна глава изъ романа. — 12) О романической любви, размышленіе.—13) Остроты на философію.—14) Аллегорія.— 15) Подарокъ въ день ангела самостоятельному философу.—16) Письмо къ N.—17) О положительной и отрицательной чепухѣ. — 18) Замѣтки о разныхъ предметахъ.—19) Десять стихотвореній на разныя темы. Я испыталъ свои силы во всѣхъ родахъ сочинительства, и, кажется, во всѣхъ неудачно, кромѣ нѣкоторыхъ разсужденій. Я думалъ быть и богословомъ, и историкомъ, и философомъ, и драматургомъ, и романистомъ, и лирикомъ, и, кажется, никѣмъ изъ нихъ быть не могу. А, впрочемъ, кто знаетъ?»

Большая часть этихъ сочиненій, какъ видно, была на темы философскія и богословскія. Помяловскій въ это время былъ очень религіозенъ, и хотя привычка къ постоянному анализу и возбуждала въ немъ много сомнѣній, однако онъ старался отгонять эти сомнѣнія. Вообще въ послѣдніе годы бурсы онъ былъ постоянно задумчивъ и сосредоточенъ; отъ усиленнаго чтенія у него возникало множество новыхъ вопросовъ разнаго рода, надъ которыми приходилось ломать голову и искать отвѣтовъ только въ самомъ себѣ и въ запасѣ собственныхъ свѣдѣній. Между прочимъ, онъ думалъ и о такихъ вещахъ, о которыхъ, во избѣжаніе насмѣшекъ, можно было только думать, но не говорить; а именно: его интересовала, какъ психологическій фактъ, любовь, описываемая въ романахъ. Прочитавъ секретнымъ образомъ, подъ «партой», изрядное количество романовъ и повѣстей, онъ задумался надъ этими основами каждаго романа и старался объяснить ихъ. Все это казалось ему выдумкой до тѣхъ поръ, пока онъ не прочелъ Тургенева; тогда только онъ убѣдился, какъ самъ разсказывалъ послѣ, что за предѣлами бурсы есть другая жизнь и другія ощущенія, невѣдомыя для бурсака. Глубоко таилъ онъ эти думы свои. Я былъ тогда очень друженъ съ Помяловскимъ, но и мнѣ никогда онъ даже не намекнулъ о нихъ. Вообще наши разговоры, сколько помню, никогда почти не выходили изъ предѣловъ семинарскихъ интересовъ; даже о домѣ родномъ и своихъ дѣлахъ домашнихъ онъ не говорилъ, сознавая, вѣроятно, что съ бурсакомъ серьезно говорить о такихъ вещахъ неприлично да и опасно: осмѣетъ, пожалуй. О томъ, что ждетъ его впереди, что намѣренъ онъ дѣлать съ собою, — тоже рѣчи особенной не было, можетъ быть и потому, что Николай Герасимовичъ самъ не думалъ объ этомъ. Вообще семинаристы, до самаго окончанія курса, стараются отгонять отъ себя безотвязные вопросы: что будетъ? какъ жить придется? — и только передъ выходомъ изъ семинаріи начинаются въ кружкахъ толки о мѣстахъ и невѣстахъ. Вѣроятно потому и не думаютъ они о своей будущей дѣятельности, что кромѣ рясы ничего не

придумаешь, и идутъ они, закрывши глаза, къ этой рясѣ, какъ къ неизбѣжному фатуму. И Николай Герасимовичъ иногда мечталъ о карьерѣ дьяконской, мечталъ, какъ въ посту великомъ будетъ онъ мѣдныя деньги пересчитывать, кругомъ ребятишки визжать будутъ, а тамъ, глядишь, и брюшко отростетъ—славно будетъ!..

Начальство считало Помяловскаго за дурака и негодяя, на котораго духовному сословію разсчитывать нечего. Это мнѣніе начальства особенно ярко высказалось при окончаніи низшаго курса. Для экзаменовъ мы должны были составить подробные конспекты по пройденнымъ наукамъ, и учителя просили насъ выбрать для этого дѣла болѣе смышленыхъ товарищей. Мы выбрали, и работа началась. Тогда учитель гомилетики полюбопытствовалъ узнать у цензора (класснаго старшаго), кого выбрали составлять конспектъ по его предмету?

— Николая Помяловскаго, отвѣтилъ цензоръ.

— Какъ? неужели этого дурака? Вѣдь онъ все испортитъ; онъ не пойметъ ничего.

— Помилуйте, в. п—біе, онъ у насъ умнѣе всѣхъ.

— Быть не можетъ, что вы меня учите? Дуракъ онъ чистѣйшій!

Цензоръ передалъ этотъ разговоръ Помяловскому. Тотъ обидѣлся.

— Погоди жь ты, гомилетика! Я тебѣ покажу себя!

На тотъ разъ намъ было задано какое-то сочиненіе по гомилетикѣ. Помяловскій присѣлъ за него, написалъ по всѣмъ правиламъ краснорѣчія, съ текстами Св. Писанія и ссылками на отцовъ церкви, и подалъ. Сочиненіе оказалось лучше всѣхъ въ классѣ. Онъ принялся за другое, вдвое больше прежняго,—оно вышло еще лучше... Учитель позвалъ его къ себѣ.

— Что жъ вы не учитесь, Помяловскій? У васъ способности большія.

— Буду учиться.

— Учитесь, я васъ въ первый разрядъ запишу.

— Буду учиться.

Въ слѣдующій классъ учитель спросилъ его урокъ,— отвѣтилъ; спросилъ еще разъ, — знаетъ; товарищи дивятся, что это дѣлается съ Помяловскимъ? Но увидѣвъ, что учитель пересталъ спрашивать, Николай Герасимовичъ успокоился, отложилъ книги въ сторону,—и нарвался: тотъ снова вызываетъ его.

— Не знаю, отвѣтилъ Помяловскій рѣзко.

— Отчего?

— Голова болѣла.

— Я вамъ нуль поставлю.

— Ставьте.

Затѣмъ онъ махнулъ рукою на все, и въ спискахъ противъ его фамиліи опять пошелъ обычный рядъ нулей.

«Задолбивъ нѣсколько уроковъ по гомилетикѣ, писалъ онъ потомъ:—я отупѣлъ недѣли на двѣ, не смотря на то, что умѣлъ уже мало-мальски отличать мысленныя аномаліи. Будучи поставленъ въ необходимость долбить учебникъ, изложенный безтолково, выраженный нелѣпо,—долбить съ верхушки до корня, вдоль и поперегъ, я набивалъ свой языкъ на этотъ манеръ, а отъ напряженій и мысль моя выражалась такъ же, какъ гомилетика, и долго, долго не отставать бывало отъ слога гомилетики, пока не забудешь его на половину. Интересно было наблюдать надъ товарищами передъ экзаменомъ: этотъ начинивается подъ-рядъ дня три исторіею, тотъ герминевтикой, тотъ богословіемъ; соберется потомъ гдѣ кучка, смотришь — кто нибудь такъ и рѣжетъ, какъ гомилетика: не только оттуда беретъ сравненія, примѣры и фразы, но и говоритъ-то также, какъ она. Спросишь его нарочно: училъ ты сегодня гомилетику?—Училъ.—Ну, то-то и видно, что училъ. — Боже мой, какъ уродовали насъ! Какъ долбили мы! небу жарко было; на небесахъ небесъ заря вспыхивала...»

Помяловскій кончилъ курсъ предпослѣднимъ въ спискахъ учебныхъ и съ плохимъ аттестатомъ.—Начальство отслужило намъ напутственный молебенъ и пустило искать пріюта въ мірѣ божьемъ. Много было тутъ слезъ прощальныхъ, братскихъ рукопожатій и благожеланій. Потомъ товарищи разбрелись въ разныя стороны. Помяловскій поселился у своей матери.

Съ такой подготовкой, съ такими жалкими свѣдѣніями, Николай Герасимовичъ вошелъ въ жизнь. *Четырнадцать* лѣтъ онъ проучился въ бурсѣ, а что вынесъ онъ изъ нея за эти четырнадцать лѣтъ? Множество текстовъ, заглавія нѣсколькихъ наукъ, непригодныхъ для жизни, и больше ничего. Свѣтскія науки, какъ мы видѣли, преподавались такъ, что нельзя было понять ихъ важности; иностранные языки (французскій и нѣмецкій) хотя и преподавались въ семинаріи, но только для желающихъ, и кто могъ тогда подсказать Помяловскому о значеніи этихъ языковъ въ жизни ума и въ средствахъ къ пріобрѣтенію знаній? Чтеніе книгъ запрещалось, да и негдѣ было достать книгъ, помогающихъ развитію; трудно было даже узнать о существованіи такихъ книгъ... По отношенію къ пріобрѣтенію общечеловѣческихъ знаній, эти четырнадцать лѣтъ были, значитъ, потеряны совершенно. За то, въ теченіе этихъ лѣтъ, Помяловскій сдѣлалъ три важныя пріобрѣтенія: онъ развилъ въ себѣ способность постояннаго скептическаго анализа, воспиталъ въ себѣ глубокую ненависть ко всему форменному, казенному, и выработалъ отрицаніе педагогическое. Основы этихъ силъ, которыя потомъ опредѣлили характеръ всей его дѣятельности, заключались, конечно, въ особенности его натуры, но бурса невольно помогла имъ развиться. Намъ кажется, что «на вѣки нуль» Помяловскаго былъ главнымъ спасителемъ его жизни. Если бы онъ всѣми силами своей впечатлительной души погрязъ въ безднѣ бурсацкой схоластики, то онъ, при недостаткѣ свѣта извнѣ, скоро превратился бы въ ловкаго софиста, недоступнаго дальнѣйшему развитію, въ чемъ мы видѣли примѣры на нѣкоторыхъ дѣльныхъ товарищахъ нашихъ; но относясь къ каждой фразѣ учебной съ сомнѣніемъ, сознавая, что «эта-то фраза именно ему и не нужна», безъ всякихъ предзанятыхъ теорій, и болѣе думая, чѣмъ заучивая,—онъ легче могъ поддаться обаянію свѣтлыхъ сторонъ знанія и отыскать то, что ему болѣе всего было нужно. Короче сказать, онъ «честно мыслилъ, глядѣлъ въ свою душу не подличая, не надувая себя», — и эта постоянная повѣрка

своихъ впечатлѣній спасла его. Конечно, онъ быстро развился бы, если бы при такой способности къ анализу могъ получить подготовку болѣе фундаментальную и бо́льшія средства къ самообразованію, но бурса дать ему этого не могла; она кормила его такими каменьями, которыхъ здоровый мозгъ переварить не можетъ, а если глотаетъ, то цѣликомъ, не разжевывая. Да и послѣ-то семинаріи ему долго пришлось жить подъ вліяніемъ иныхъ интересовъ, и въ такой средѣ, куда мало проникалъ свѣтъ науки.

Сначала эта внутренняя пустота пугала Помяловскаго. Глубоко задумался онъ надъ вопросомъ: «что я такое? на что пригоденъ?...» и не могъ разрѣшить этой загадки. Какъ за спасительный выходъ изъ этого омута, принялся онъ за чтеніе философскихъ книгъ, но философія тоже съ трудомъ давалась ему.

Вотъ одна изъ характеристическихъ замѣтокъ Помяловскаго за это время, въ которой онъ обрисовываетъ свое безотрадное состояніе по части философіи:

«...Открываю логику Бахмана и выбираю, напримѣръ, теорію Канта о представленіяхъ. Вся она излагается въ 40 строкахъ, но прочитаешь и выпучишь глаза. Боже мой! Фразы такъ и вязнутъ въ зубахъ, термины неуклюжіе, тонкости неуловимыя... Не понять!... Вотъ вѣдь что обидно: люди мыслящіе назвали, хотя бы Канта, человѣкомъ геніальнымъ, соорудили ему памятникъ, печатаютъ его сочиненія, читаютъ и долбятъ ихъ, и вотъ Кантъ стоитъ въ ряду первостепенныхъ двигателей общемірового прогресса, онъ полу-богъ, онъ свѣча міру. А я между тѣмъ не могу понять строки изъ его небеснаго краснорѣчія. Неужели же я до такой неизмѣримой степени ограниченъ и глупъ, что, какъ свинья, не могу поднять своего рыла на небо философіи? Правда, я получилъ образованіе безтолковое; въ моей головѣ, какъ въ калейдоскопѣ, перепутаны понятія, факты, буквы и тексты. Я знаю кое-что и о Богѣ, не скажу также, что земля на трехъ китахъ стоитъ, хватилъ разныхъ отраслей и другихъ наукъ, даже читалъ пасхалію, даже сперматорею читалъ, но все это перепутано, перебито, нѣтъ системы и порядка. Это должно бы, кажется, смирять меня, но, во первыхъ, гордость не допускаетъ сознанія, что я лишенъ способности высшаго разумнаго существа — мышленія; во вторыхъ, естественная любознательность сильно развита въ моей персонѣ, какъ у всякаго, кого лишь коснулась потребность развитія.

Все это вмѣстѣ не даетъ мнѣ покою, и я, не желая стать въ тупикъ передъ Кантомъ, не даю своему мозгу покою. Скотъ только отступаетъ передъ стѣной, а человѣкъ если ему надо за стѣну, долженъ расшибить ее, хотя бы лбомъ пришлось работать».

Разобравъ теорію Канта, онъ прибавляетъ:

«Скажите же, на сколько теперь (послѣ чтенія Канта) уничтожилось мое полуневѣжество, прояснился мой смыслъ, на сколько двинулось впередъ мое охтенское чувство, краснорѣчіе Ладожскаго канала и сила воли, ниспадающая часто на точку дѣтской безхарактерности? Нисколько. Темно, темно и темно!...»

«Какъ это тяжело до сихъ поръ не знать, что я такое: умница или завзятый дуракъ, дьяконъ или чиновникъ, или просто пролетарій, или, еще проще, маленькій-великій человѣкъ? Чѣмъ я лучше и хуже другихъ, счастливѣе или несчастливѣе?... Иногда кажется, что я ко всякой работѣ способенъ, а иногда я силенъ только на словахъ и въ мечтахъ. Иногда думается, зачѣмъ я не ангелъ, тогда бы удовлетворилъ я своимъ стремленьямъ; иногда думается, зачѣмъ я не котъ, не крыса, тогда я не стремился бы ни къ чему; а иногда, оставивъ высшіе взгляды, топишь пустоту душевную въ стаканѣ водки за восемь копѣекъ. Помню, однажды, въ нетрезвомъ видѣ, я всѣхъ товарищей своихъ встревожилъ рыданіями о неразрѣшимости моихъ стремленій. Всѣ удивлялись, пожимали плечами, не постигая, надъ чѣмъ это я надрываюсь»...

Не надѣясь сдѣлать въ жизни что нибудь хорошее, разочаровавшись въ своихъ силахъ, Николай Герасимычъ обратилъ все свое вниманіе на младшаго брата, котораго тоже прочили отдать въ бурсу, и рѣшился воспитать его по своему.—«Самъ погибъ, говорилъ онъ, но брату погибнуть не дамъ, и въ бурсу не пущу! Я разскажу ему все, до чего додумался: человѣкомъ, можетъ быть, сдѣлаю»!.. И съ жаромъ ухватился онъ за эту мысль, сталъ читать педагогическія сочиненія, ломалъ голову надъ разными теоріями воспитанія, словомъ, превратился въ педагога. Съ братомъ своимъ онъ занимался болѣе года, по шести часовъ въ день, съ изумительнымъ терпѣніемъ и настойчивостью. Прежде всего онъ взялся за законъ божій, чтобы дать брату прочное, религіозное воспитаніе, и училъ его обыкновенно *со словъ*, то есть, разсказывая и заставляя повторять и запоминать раз-

сказанное. По другимъ предметамъ онъ старался выбрать и передать ему все болѣе существенное и необходимое. Пересматривая критически разные учебники и не видя въ нихъ настоящаго смысла, онъ дошелъ до того, что началъ *самъ* писать учебникъ географіи, и написалъ по этому предмету до десяти листовъ. Въ свободное время онъ поглощалъ всевозможныя книги и журналы, занимался частными уроками, участвовалъ въ хорѣ любителей въ Симеоновской церкви, ѣздилъ съ причтомъ о рождествѣ и пасхѣ славить Христа, читалъ съ дьячками по покойникамъ, и проч. Образованіе брата подвигалось быстро, и успѣхи его отъ души радовали Помяловскаго. «Недаромъ проживу, думалъ онъ,—доброе дѣло сдѣлаю».

Между тѣмъ онъ задумывалъ уже писать педагогическія статейки и набросалъ нѣсколько очерковъ въ этомъ родѣ *). Долго онъ не рѣшался печатать эти очерки, потомъ выбралъ лучшій изъ нихъ, «Вуколъ», переписалъ тщательно и, тайкомъ отъ всѣхъ, поплелся на первый разъ въ редакцію «Журнала для Воспитанія», къ г. Чумикову. Тутъ онъ сказалъ, что *нѣкто* поручилъ ему отдать статейку и просилъ увѣдомить о послѣдствіяхъ. Отвѣтъ обѣщанъ, по обыкновенію, черезъ двѣ недѣли. Помяловскій замиралъ эти двѣ недѣли, и наконецъ увидѣлъ свою статью въ печати подъ псевдонимомъ Герасимова. Г. Чумиковъ замѣтилъ въ этой статьѣ глубокій анализъ и мастерское изложеніе дѣла и приглашалъ Помяловскаго быть сотрудникомъ журнала. Николай Герасимычъ радъ былъ случаю поговорить съ человѣкомъ образованнымъ, онъ откровенно высказалъ ему свои сомнѣнія и жажду знанія, и г. Чумиковъ совѣтовалъ ему прежде всего поступить въ университетъ.

Долго молодой авторъ скрывалъ отъ знакомыхъ свое сочинительство, отзывался о своей статейкѣ, какъ о бездѣл-

*) Въ бумагахъ его есть первоначальные наброски статей: «Человѣкъ подражательный», «Человѣкъ безъ аттестата» и «Дневникъ дѣвицы». Эти эскизы частію вошли потомъ въ составъ «Молотова», частію въ романъ «Братъ и Сестра».

кѣ, и краснѣлъ при хорошихъ отзывахъ о ней. А между тѣмъ онъ отдалъ въ редакцію и другой очеркъ «Долбня», который, впрочемъ, вскорѣ взялъ обратно. Я въ то время былъ за границей и въ письмахъ просилъ его выставить на судъ общественный нашу бурсу. Онъ мнѣ отвѣчалъ на это:

«Ты напрасно думаешь, что книжка о духовныхъ мое произведеніе. Мало того, я отдумалъ писать и о бурсѣ, потому что не могу быть безпристрастнымъ въ этомъ дѣлѣ. Я уже собралъ матеріалу листовъ до 16-ти (писчихъ), составилъ было и отрывокъ, подъ заглавіемъ «Долбня», редакторъ уже согласился отпечатать... но тутъ-то я и понялъ, что не мнѣ продавать бурсу, и выпросилъ статью назадъ. Чортъ съ ней, съ бурсой! ну ее!... Ты радуешься, что я пересталъ смотрѣть угрюмо на міръ божій. Э, батюшка! Подъ вліяніемъ минутнаго успѣха, я надулъ себя, надулъ и тебя. Впрочемъ, я самъ мало обращаю нынѣ вниманія на свои душевныя расположенія. Мрачно, глупо, нескладно на душѣ: ну, такъ что же? думаю себѣ,—пусть его несладно! мнѣ-то что за дѣло? Лягу на диванъ и дожидаюсь, скоро ли наступитъ другое расположеніе духа. Я два года только и дѣлалъ, что читалъ, и теперь у меня въ головѣ страшный кавардакъ. Поганая бурса не дала намъ никакихъ убѣжденій: вотъ теперь и добывай ихъ гдѣ хочешь!... Былъ я у твоей матушки; и здѣсь, какъ вездѣ, совѣтуютъ идти въ университетъ, а я считаю по пальцамъ: мнѣ теперь 24 года, годъ готовиться надо да 4 учиться, и того 29 лѣтъ; поживешь потомъ годковъ шесть, да пожалуй, и плѣшивѣть станешь. Впрочемъ, хочу посмотрѣть программу для экзамена, — это не значитъ, что я хочу приняться за университетскую науку, а такъ,—интересно же узнать, что это за штука такая, которую всѣ предлагаютъ мнѣ, и редакторъ, и родня, и знакомые...

Будь счастливъ и не скучай. А станетъ скучно, такъ подражай мнѣ. Ну скучно, такъ скучно, вѣдь пройдетъ; и дожидайся, скоро ли пройдетъ. И дѣйствительно, всегда проходитъ. Будь здоровъ, чего отъ души желаетъ тебѣ твой товарищъ и другъ Н. П. 1859 г. марта 12.

P. S. Хочется еще что нибудь приписать, да не знаю, что. Такъ извини, я ничего и не припишу».

Очеркъ «Долбня» былъ напечатанъ нѣсколько позже, во время безденежья. Николай Герасимычъ очень не жаловалъ эту статейку и считалъ ее неудавшеюся.

Такимъ образомъ со времени окончанія курса прошло уже два года, а Помяловскій все еще былъ *безъ мѣста*. Родственники его, смотрѣвшіе на литературныя занятія, какъ

на-дѣло «между прочимъ», уговаривали его пристроиться куда нибудь, хоть на дьяконское мѣсто, чтобы имѣть возможность поддерживать свое семейство. Помяловскій смотрѣлъ на это какъ-то безразлично, и хотя отнѣкивался отъ дьяконства, но не настойчиво. Ему отыскали гдѣ-то невѣсту, закрѣпленную за дьяконское мѣсто, но невѣста, прослышавъ что женихъ иногда попиваетъ, отказала ему, и Николай Герасимычъ былъ очень радъ этому обстоятельству. Но тѣмъ дѣло не кончилось, ему отыскали другую невѣсту въ Царскомъ Селѣ, и уговорили отправиться на смотрины. Жениха снарядили въ дорогу, напялили на него фракъ и отправили къ царскосельскому воксалу, но съ половины дороги женихъ сбѣжалъ куда-то. Невѣста подождала его нѣсколько времени, а потомъ дала слово другому. Послѣ этого Николая Герасимыча больше не тревожили. Вообще онъ тогда началъ уже охладѣвать къ духовному званію, потому что не находилъ въ себѣ силы быть *честнымъ* попомъ и дьякономъ. «Тутъ, говорилъ онъ, надо особое призваніе имѣть»...

А между тѣмъ усиленное чтеніе дѣлало свое дѣло; оно постепенно электризовало его, подманивало на дѣятельность другого рода и мало по малу подготовляло къ тому перелому, который поставилъ вверхъ дномъ почти всѣ его убѣжденія. До сихъ поръ онъ въ обществѣ бывалъ очень мало, можетъ быть и потому, что общество, въ которомъ приходилось ему бывать, мало интересовало его. Сиднемъ сидѣлъ онъ надъ книгами и выработывалъ понемногу свои убѣжденія. Изъ всѣхъ журналовъ онъ съ особеннымъ наслажденіемъ читалъ «Современникъ» и каждой книжки этого журнала ждалъ, какъ праздника. Его удивляло и радовало то, что мысли его сходятся съ мыслями «Современника»; что, составитъ ли онъ о чемъ мнѣніе какое, или выразитъ сомнѣніе въ чемъ,—глядь, въ «Современникѣ» то же самое, только выражено оно сильнѣе и прямѣе. Статьи гг. Чернышевскаго и Добролюбова имѣли громадное значеніе въ дѣлѣ его умственнаго развитія; онъ перечитывалъ ихъ по нѣскольку разъ, вдумывался въ каждую фразу... Но все-таки страшно

было ему отказаться отъ нѣкоторыхъ убѣжденій, которыя пріобрѣлъ въ бурсѣ, и, до поры до времени, онъ усиливался разгонять безчисленныя сомнѣнія по этимъ серьезнымъ вопросамъ...

Но переломъ, рано или поздно, долженъ быть совершиться.

Въ то время весь Петербургъ приходилъ въ восторгъ отъ университетскихъ лекцій; студенты съ увлеченіемъ разносили по городу живыя, свѣтлыя впечатлѣнія науки. Слухи дошли и до Помяловскаго, и онъ рѣшился сходить въ университетъ—послушать. Попалъ онъ на лекцію г. Стасюлевича, когда этотъ профессоръ читалъ о значеніи библейскихъ пророковъ въ исторіи развитія человѣчества... Какъ шальной воротился онъ съ лекціи. Значительный наплывъ новыхъ свѣдѣній, новыя мысли, сразу объяснившія ему многое, о чемъ онъ прежде такъ усиленно думалъ, и наконецъ, свѣжій, свободный говоръ университетскаго общества,—все это глубоко потрясло чуткую натуру Помяловскаго и съ этого дня онъ сталъ ревностнымъ посѣтителемъ университета. Въ эти дни, какъ всѣ знавшіе его говорятъ, онъ ходилъ, какъ полупомѣшанный, не ѣлъ, не спалъ,—борьба въ головѣ началась страшная. Отъ этой борьбы онъ исхудалъ, ослабѣлъ, его никто узнать не могъ. «Неужели, спрашивалъ онъ, хватаясь за голову:—неужели все, чему я учился, надъ чѣмъ я всю жизнь ломалъ голову, все это ерунда? И я до сихъ поръ не зналъ этого! Неужели снова надо учиться съ азбуки?...» И съ большимъ рвеніемъ принялся онъ вникать въ смыслъ университетскихъ лекцій и поглощать книги, и все это въ глазахъ его теперь принимало новый оттѣнокъ. Глубоко засѣвшая въ душу философская мистика не легко, однакожъ, исчезала отъ вліянія новаго свѣта науки; приходилось разбивать пунктъ за пунктомъ каждую отдѣльную сторону этой мистики, и каждая мысль отрывалась съ болью, послѣ жестокой усиленной борьбы... У другихъ этотъ переломъ въ убѣжденіяхъ совершается легко, но семинаристу, который всосалъ старыя философскія начала въ плоть и

кровь свою, этотъ переломъ стоитъ мучительной борьбы, тѣмъ болѣе, что взамѣнъ пошатнувшихся воззрѣній остается пробѣлъ, который наполнить пока нечѣмъ. А сознаніе своего невѣжества въ дѣлѣ науки? А сожалѣніе о даромъ прожитой юности, о безслѣдно истраченныхъ годахъ, въ которыхъ бы все это могло привиться легче?... О, это тяжелое дѣло! А Помяловскій тогда прямо глядѣлъ въ свою душу и безжалостно вырывалъ изъ нея одну за другою всѣ прошлыя свои идеи. Какіе смѣлые и страшные опыты дѣлалъ онъ надъ собою, чтобы провѣрить себя и убѣдиться, что въ его *прошломъ* нѣтъ теперь никакой силы... И онъ убѣдился, хотя борьба продолжалась чуть не цѣлый годъ. Да, не легко достались ему его убѣжденія!...

Когда передъ доводами новой науки пошатнулась семинарская философія, Помяловскій, очень естественно, началъ относиться критически и ко всѣмъ другимъ мнѣніямъ, которымъ онъ вмѣстѣ съ другими вѣрилъ до той поры. И дѣйствительно замѣтилъ, что рѣдкое изъ этихъ «мнѣній» можетъ устоять противъ анализа здравой гуманной критики. Это явленіе очень естественно вытекаетъ изъ самаго дѣла. Здравомыслящій человѣкъ, разочаровавшись въ какомъ нибудь сильномъ авторитетѣ, предъ которымъ прежде благоговѣлъ, поневолѣ будетъ потомъ относиться критически и къ другимъ, болѣе мелкимъ авторитетамъ. То же было и съ Помяловскимъ: онъ теперь сталъ уже смѣло и свободно относиться къ каждому авторитету, началъ вглядываться въ жизнь и различать въ ней истину отъ фальши, сталъ отрицать все то, что идетъ въ разрѣзъ съ потребностями жизни или стѣсняетъ ее, признавать только то, что дѣйствуетъ на умъ и на жизнь благотворно.

Вернувшись изъ-за границы, я засталъ Помяловскаго въ самомъ разгарѣ этой борьбы. Мы осторожно стали ощупывать другъ друга и узнавать перемѣны, которыя жизнь произвела въ насъ, въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ. Здѣсь-то Помяловскій откровенно обрисовалъ мнѣ свое положеніе и высказалъ всѣ думы, тяготившія его голову... Между про-

чимъ онъ сказалъ, что пишетъ большую повѣсть, въ которой хочется ему разъяснить отношенія плебея къ барству, и обѣщалъ мнѣ эту повѣсть показать. Дѣйствительно, онъ скоро послѣ этого принесъ мнѣ толстую тетрадь «Мѣщанскаго счастья».

— Ты ее прочти со вниманіемъ, говорилъ онъ:— да скажи напрямикъ, хорошо ли выходитъ. Языкъ только у меня больно тяжелый,—пишу, точно бревнами ворочаю.

— А гдѣ думаешь печатать?

— Да думаю, братъ, въ «Современникѣ». Мнѣ «Современникъ» больше нравится, чѣмъ другіе журналы,—въ немъ воду толкутъ мало, видно дѣло... Да и притомъ, говорятъ, тамъ все семинаристы пишутъ...

— Ну, а если не примутъ!

— И къ чорту,—писать больше не буду ничего. Стану хлѣбы печь, воду таскать, учителемъ въ школу пойду. Нынче время такое, что рабочіе люди вездѣ нужны. Жить можно!...

Эту повѣсть однако онъ долго потомъ исправлялъ и напечаталъ гораздо позже.

Тогда еще было у насъ то хорошее время, о которомъ и до сихъ поръ пріятно вспомнить. Время великихъ упованій и увлеченій нашей молодежи, когда разбивались вѣковѣчныя цѣпи крѣпостного права и работали воскресныя школы; когда общество заговорило вдругъ о такихъ вещахъ, о которыхъ прежде никогда не говорило; когда каждая козявка и мошка общественная силилась, вмѣстѣ съ другими, произнести слово возрожденія.... Въ то время трудно было не увлечься: даже старики увлекались.—Такъ легко, такъ сладко вѣрилось тогда въ широкое и свѣтлое будущее; пылкіе умы мечтали объ обширной дѣятельности, и только опытные скептики могли замѣтить, что большинство увлекалось движеньемъ *изъ моды*, что общество, не приготовленное къ новой дѣятельности, рано или поздно отшатнется назадъ, что выйдутъ *безпорядки* и т. п. Молодежь объ этомъ не думала,

да и не хотѣла думать, нарочно отгоняя отъ себя безотвязныя сомнѣнія, которыя порывались отравить ея надежды.

— Вотъ гдѣ жизнь-то кипитъ! — говорилъ Помяловскій въ экстазѣ.—Теперь работать надо: руки и головы крѣпко нужны!... И съ компаніею студентовъ пріятелей поступилъ онъ преподавателемъ въ воскресную школу, что была на Шлиссельбургской дорогѣ. Это было въ октябрѣ 1860 года.

Въ этой школѣ было до 70 преподавателей и около 800 учениковъ, такъ что, по недостатку помѣщенія, учащіе и учащіеся дѣлились на двѣ смѣны; утреннюю и вечернюю, и занятія такимъ образомъ продолжались цѣлый день. Конечно, сначала, при такомъ многолюдствѣ, въ школѣ было много неурядицы; педагогическія сходки преподавателей, собиравшіяся каждую недѣлю, практически разсудить ничего не могли и терялись въ безднѣ формальностей; но потомъ, когда большинство преподавателей, пріѣзжавшихъ въ школу *изъ моды*, исчезло, порядокъ преподаванія мало по малу установился. Помяловскій былъ однимъ изъ усерднѣйшихъ преподавателей школы. Прочитавъ много педагогическихъ сочиненій, онъ принялся за дѣло обученія серьезно и осмысленно. Его особенно интересовали ученики малоспособные, надъ которыми онъ испытывалъ разные оригинальные пріемы и добивался-таки того, что эти ученики начинали читать и писать.—«Наше дѣло, говорилъ онъ, — научить ихъ только грамотѣ,—и это одно ужь будетъ имѣть важныя послѣдствія. Выучивъ одного, я такимъ образомъ выучу грамотѣ все его поколѣніе, потому что грамотный отецъ не потерпитъ безграмотныхъ дѣтей; а грамотный человѣкъ дорогу самъ себѣ найдетъ».

Дѣло школы въ скоромъ времени сдѣлалось одною изъ существенныхъ заботъ Помяловскаго, и вглядываясь въ ходъ преподаванія, видя значительные успѣхи въ этомъ дѣлѣ, онъ создавалъ широкіе планы для будущаго. Онъ мечталъ, что всѣ воскресныя школы соединятся между собою, заведутъ отдѣльный листокъ, гдѣ будутъ печататься болѣе замѣчательные факты, пріемы преподаванія, статистическія

и этнографическія свѣдѣнія; наконецъ будутъ издаваться отдѣльныя брошюры, разныя практическія компиляціи изъ болѣе полезныхъ и интересныхъ для народа книгъ, изъ которыхъ потомъ составится народная библіотека и проч. Отъ преподавателей онъ требовалъ энергіи, требовалъ педагогическихъ размышленій и примѣненій новыхъ методовъ. На одной изъ педагогическихъ сходокъ, онъ прочелъ проэктъ, въ которомъ изложилъ свой взглядъ на обязанности преподавателей, на школу и ея будущее. Вотъ какъ, между прочимъ, онъ излагаетъ въ этомъ проэктѣ свои педагогическіе пріемы.

1) «Когда я былъ преподавателемъ по методѣ Золотова, нечаянно попалъ на два особенно удобные пріема. Ухо неразвитаго человѣка никакъ не можетъ разслушать, что напримѣръ слоги *ба*, *ди*, *ре*, каждый состоитъ изъ двухъ звуковъ—гласнаго и согласнаго; но стоитъ его заставить произнести *ба* и тянуть цѣлую такту, звукъ *а* отойдетъ самъ собою, а *б* пропадетъ; тогда станетъ до осязательности ясно, что *ба* не одинъ звукъ, а два. При этомъ должно помнить, что слоги съ буквами *ю* и *я* должно разслушивать послѣ другихъ слоговъ, потому что *ю*, при протяжномъ произношеніи, превращается въ *у*, а *я* въ *а*, причемъ можно уяснить двойной составъ и этихъ гласныхъ, что при другомъ пріемѣ не совсѣмъ легко разслушать. Послѣ этого, надобно разслушать согласные звуки. Для этого нужно дѣлать сряду же обратные слоги: *ба-аб*, *да-ад*, *ро-ор*., и т. д. При такомъ пріемѣ очень легко разслышать согласныя. Потомъ другой пріемъ: Золотова метода имѣетъ то преимущество, что начинаетъ со слова, разлагаетъ слово на слоги, на буквы, гласныя и согласныя. Когда пришлось объяснять разницу между гласными и согласными буквами, мнѣ пришло въ голову, что гласныя буквы могутъ быть произнесены только человѣкомъ, а больше никѣмъ,—никакимъ инструментомъ не сказать гласной буквы. А согласныя буквы напротивъ человѣкомъ не могутъ быть произнесены и услыхать ихъ можно только въ средѣ неодушевленныхъ предметовъ, которые одни и выдѣлываютъ согласныя безъ помощи гласныхъ: напр. въ ударѣ барабана слышится звукъ *б*, въ свистѣ вѣтра *с*, въ скрипѣ дверей *р*, почему въ звукоподражательныхъ словахъ главную роль играютъ согласныя. Пробовалъ сообщить этотъ пріемъ, вышло очень понятно, и ученики сознательно поняли дѣло.

2) Когда опытъ намъ укажетъ, какія познанія о природѣ, человѣкѣ и жизни мы должны признать насущно необходимыми для учениковъ, тогда мы должны стараться сообщать имъ одни лишь реальныя

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

представленія объ изучаемыхъ предметахъ, т. е., представленіе должно, какъ можно болѣе, походить на изучаемый предметъ. Кажется, объ этомъ и говорить нечего, но на дѣлѣ высказанное нами требованіе рѣдко выполняется. Многія представленія, считаемыя нами вѣрными, въ существѣ дѣла ложны. Реальное представленіе не легко пріобрѣсти. Кто изъ насъ не знаетъ, что Волга въ своемъ протяженіи имѣетъ слишкомъ 3000 верстъ, а между тѣмъ, имѣя эту цифру въ головѣ, я въ то же время Волгу представлялъ себѣ въ видѣ ниточки, проведенной на географической картѣ, которая замѣтно больше ниточекъ Дона, Днѣпра и т. д. Только теперь, когда я имѣлъ случай изъѣздить Неву и Волховъ, я, по сравненію съ этими рѣками, приблизился нѣсколько къ реальному представленію Волги. Скажите, значитъ, ученику, что Волга имѣетъ 4000, 5000 верстъ—ложь будетъ одинакова: что-то въ родѣ отвлеченныхъ, безъ приложенія къ предметамъ, цифръ въ ариѳметикѣ,—какъ будто пріобрѣтено познаніе, а на самомъ дѣлѣ его нѣтъ. Выходитъ та же долбня, только ловко замаскированная. Между тѣмъ, всякій изъ насъ помнитъ, что объ ученикѣ, способномъ разсказать урокъ своими словами, говорили, какъ о бойкомъ ученикѣ, тогда какъ онъ былъ тотъ же долбежникъ, только съ діалектическимъ оттѣнкомъ. Вотъ примѣръ. Наука говоритъ, что полевой шпатъ снаружи сѣраго цвѣта, въ изломѣ мясокраснаго, строеніе его зернистое. Ученикъ излагаетъ это своими словами, а между тѣмъ не скажи ему учитель, что онъ это о простомъ булыжникѣ говоритъ ученикъ никогда и не догадается, что о булыжникѣ. Если справедливо, что и грубая долбня слово въ слово иногда приноситъ пользу, потому что иное выраженіе нечаянно разшевелитъ мысль и заставитъ задуматься ученика, то не подлежитъ сомнѣнію, что діалектическая долбня приноситъ больше пользы, потому что развиваетъ языкъ и сильнѣе возбуждаетъ мышленіе, но все-таки она только одной степенью поднимается выше надъ долбнею грубой. Не хорошо будетъ, когда ученикъ, окончивъ обученіе, начнетъ анализировать пріобрѣтенныя имъ познанія и найдетъ, что въ большей части случаевъ у него не познанія, а только слова. Сознавая это мы должны изгнать не только грубое зубренье слово въ слово, но и долбню съ діалектическимъ оттѣнкомъ. Поэтому въ объемъ преподаванія должны войти только тѣ предметы, о которыхъ можно имѣть реальныя представленія. Всѣ эти милліоны, всѣ эти райскія птицы—отвлеченныя тенденціи. Хорошо, если бы можно показывать самый предметъ изучаемый; но когда невозможно это, то давать рисунки предметовъ, или поэтическіе художественные образцы. Впрочемъ, иногда могутъ быть и такіе случаи, что предметъ ни самъ собою, ни чрезъ рисунокъ, ни чрезъ художественный образъ изучить нельзя, а между тѣмъ знать его необходимо; такова, напр., величина земли. Въ этомъ случаѣ долж-

но напрягать воображеніе ученика, чтобы оно захватило возможно большее пространство земли, и уже этимъ пространствомъ мѣрить поверхность земного шара. Но должно помнить, что хотя мы и вымѣряемъ землю указаннымъ способомъ, ученикъ все-таки не представитъ величины земли, потому что не въ силахъ человѣка вообразить шаръ, поверхность котораго въ нѣсколько милліоновъ верстъ квадратныхъ. Но вы и скажите ученику, что онъ въ огромное число разъ долженъ быть умнѣе, чтобы представить себѣ шаръ земной, уясните ему всю невозможность яснаго представленія шара, и чрезъ это только многомилліонная цифра получитъ нѣкоторый смыслъ и хотя немного приблизитъ ученика къ реальному представленію предмета,— здѣсь больше ничего и сдѣлать нельзя».

Оригинальный методъ преподаванія Помяловскаго обратилъ на себя вниманіе г. Тимаева, наблюдавшаго за преподаваніемъ въ школѣ по порученію попечителя учебнаго округа. Г. Тимаевъ предложилъ Помяловскому, не хочетъ ли онъ познакомиться съ г. Ушинскимъ, инспекторомъ Смольнаго института и занять мѣсто учителя въ младшемъ классѣ института. Николай Герасимовичъ изъявилъ согласіе и отправился къ г. Ушинскому. Тогда только что вышла книга его «Дѣтскій міръ», и г. Ушинскій попросилъ Николая Герасимыча заняться съ воспитанницами института по методу «Дѣтскаго міра». Назначена была пробная лекція. Помяловскій старательно приготовился къ ней, и прочелъ удачно Первое условіе успѣха въ преподаваніи этого рода заключалось въ томъ, чтобы воспитанницы не имѣли при себѣ экземпляровъ «Дѣтскаго міра», и чтобы разсказывали слышанное непосредственно со словъ учителя; но, придя на слѣдующую лекцію, онъ увидѣлъ, что книги розданы воспитанницамъ на руки, и онѣ вызубрили урокъ слово въ слово. Лекція вышла поэтому неудачная, и Помяловскій долженъ былъ повторить распоряженіе, чтобы книги были отобраны. На третьей лекціи опять то же самое. Говорилъ онъ объ этомъ г. Ушинскому, — не помогло, и Помяловскій больше на лекцію не пошелъ, не смотря на то, что плата за уроки ему обѣщана была хорошая.

— Тебѣ-то какое дѣло? упрекали его потомъ нѣкото-

рые:—ходи себѣ да получай деньги! Не твоя вина, что тамъ такіе безпорядки.

— Даромъ что ли буду я деньги брать? отвѣчалъ онъ:— совѣсть заѣстъ.

А въ деньгахъ въ то время онъ нуждался порядочно; доходило до того, что онъ у своихъ знакомыхъ просилъ даже простой переписки бумагъ, чтобы хотя сколько нибудь заработать. Тогда онъ былъ еще въ нерѣшимости: печатать ему «Мѣщанское счастье», или нѣтъ? Наконецъ рѣшился, и, пересмотрѣвъ рукопись старательно, понесъ ее къ И. И. Панаеву. Ему обѣщали отвѣтъ черезъ двѣ недѣли, потомъ еще прошло двѣ недѣли, потомъ мѣсяцъ. Помяловскій разсердился и потребовалъ рукопись назадъ, но Панаевъ сказалъ, что онъ не помнитъ такой рукописи, что она или затерялась, или отослана къ г. Некрасову, и просилъ обратиться къ нему. Сильно опечалило это Николая Герасимовича. Черезъ нѣсколько дней однако онъ отправился къ г. Некрасову, и отъ него прямо ко мнѣ. Гляжу, — узнать нельзя Помяловскаго: какъ-то самодовольно улыбается, иначе смотритъ, иначе ходитъ, иначе говоритъ...

— Ну что? спросилъ я, хотя сразу замѣтилъ, что дѣло на ладъ идетъ.

— Принята, отвѣтилъ онъ.—Просили даже сотрудникомъ быть въ «Современникѣ».

— Вотъ какъ?

— Да. Теперь начну писать, какъ слѣдуетъ.

Въ февралѣ того же (1861) года «Мѣщанское счастье» явилось въ печати. Николай Герасимычъ скоро познакомился съ г. Чернышевскимъ и другими членами редакціи. Съ какимъ восторгомъ, бывало, передавалъ онъ мнѣ всѣ подробности этихъ свиданій!... Потомъ онъ пріобрѣлъ много новыхъ посторонніхъ знакомствъ, его хвалили, льстили ему въ глаза, и въ первое время онъ какъ будто поддался обаянію этой лести;— по крайней мѣрѣ въ теченіи нѣсколькихъ недѣль былъ не тотъ, какимъ мы привыкли видѣть его. А главное, онъ получилъ за повѣсть такія деньги, какихъ до

того никогда не имѣлъ въ рукахъ. Съ толпою пріятелей Помяловскій съ радости закутилъ до того, что получилъ бѣлую горячку и долженъ былъ поступить въ Обуховскую больницу. Поправился онъ очень скоро, но, по разнымъ больничнымъ формальностямъ, долженъ былъ пробыть тамъ около мѣсяца. Въ больницѣ онъ началъ писать вторую повѣсть, «Молотовъ».

Съ этого времени Помяловскій уже постоянно получалъ отъ редакціи «Современника» опредѣленное денежное обезпеченіе и въ деньгахъ болѣе не нуждался. Впрочемъ, онъ мало дорожилъ деньгами и не зналъ имъ цѣны. Получивъ какую нибудь сумму, онъ торопился скорѣе истратить ее, точно она тяготила его. Встрѣтитъ бывало нищаго, и сунетъ ему рублей пять; извощикамъ по 3 р. на водку давалъ; подвернется пріятель—хоть все бери, а потомъ самъ идетъ доставать гдѣ нибудь рублишко въ долгъ.

Свою повѣсть «Молотовъ» Помяловскій писалъ день и ночь; работа была срочная; за недостаткомъ времени ему пришлось кое что изъ задуманнаго плана выбросить, кое что сократить, однако, послѣ нѣсколькихъ дней лихорадочной работы, онъ успѣлъ приготовить ее къ сроку, и въ октябрьской книжкѣ «Современника» за 1861 годъ она была напечатана. Не смотря на поспѣшность работы, которая особенно замѣтна на послѣднихъ страницахъ, повѣсть произвела на читающій людъ глубокое впечатлѣніе и Помяловскій сразу сталъ на ряду съ нашими лучшими беллетристами. Въ самомъ дѣлѣ, въ рѣдкой повѣсти, даже до сего дня, было высказано такъ много жизненной правды, выраженъ такой глубокій психологическій анализъ, какъ въ «Молотовѣ». Но для знавшихъ лично Помяловскаго эта повѣсть тѣмъ болѣе дорога, что въ ней, въ лицѣ Череванина, онъ во многомъ выразилъ свой собственный образъ мыслей того времени, и даже свою манеру выраженій.

Послѣ этого Помяловскій завелъ обширный кругъ знакомства; всѣ редакціи наперерывъ приглашали его къ себѣ и просили сотрудничества; пришлось даже ему побывать въ

нѣкоторыхъ великосвѣтскихъ гостиныхъ. Но Николай Герасимычъ скоро впрочемъ отшатнулся отъ этихъ гостиныхъ: въ нихъ ему показалось и скучно, и душно. По натурѣ онъ былъ чистый, кровный плебей и не жаловалъ барства, особенно съ тѣхъ поръ, какъ побывалъ въ воскресной школѣ. Всякое стѣсненіе привычекъ и необходимость держать себя чинно утомляли его, и онъ по возможности избѣгалъ случаевъ испытывать на себѣ это томленіе. Онъ даже вовсе не заглядывалъ почти въ наши театры потому только, что «тамъ сидѣть надо прилично да на плѣшивыхъ генераловъ глядѣть». При видѣ разфранченнаго и раздушеннаго юноши съ пенснэ, съ множествомъ проборовъ на головѣ, Помяловскій выходилъ изъ себя, особенно если этотъ юноша говорилъ о прогрессѣ и эманципаціи.

— Ужь выдѣлывалъ бы ты лучше ногами разное па да толковалъ объ оперѣ или кисейныхъ рукавчикахъ; а то тоже въ прогрессъ лѣзетъ, — говорилъ онъ, отворачиваясь отъ такого юноши.

А иногда въ шутку, подъ веселый ладъ, говорилъ бывало, что «вотъ и я ужо благовоспитанность на себя напущу, перчатки на руки напялю и на Невскій выкачу прогуливаться». Но такую благовоспитанность онъ напускалъ на себя очень рѣдко, только въ крайнихъ случаяхъ, и своимъ костюмомъ и наружностью вообще не занимался.

— Гдѣ намъ въ барство лѣзть! не тѣмъ пахнемъ, да и жизнь-то была у насъ не барская: другъ друга не поймемъ.

Впрочемъ, на основаніи этихъ словъ, нельзя считать Помяловскаго циникомъ, не признающимъ никакого искусства. Помяловскій любилъ искусство, любилъ слушать музыку, особенно русскую, любилъ хорошіе стихи, заглядывался на всякую красоту, хотя самъ никакимъ искусствомъ не занимался. Разъ, передъ свадьбой сестры, его вздумали было выучить французскую кадриль танцовать и отправили къ танцмейстеру; Николай Герасимычъ взялъ у него нѣсколько уроковъ, но это искусство ему не далось, и, отпраздновавъ свадьбу, онъ счелъ первымъ долгомъ забыть эти уроки.

*

Не смотря на нѣкоторыя природныя рѣзкости и странности, Помяловскаго вообще очень любили, и множество знакомыхъ на перерывъ приглашали его къ себѣ. Онъ былъ человѣкъ необыкновенно симпатичный, искренный; оригинальная даровитость натуры ярко просвѣчивалась въ немъ; его разговоры отличались мѣткостью опредѣленій и остроумiемъ, съ оттѣнкомъ желчнаго, ядовитаго сарказма.

До того времени Помяловскій смотрѣлъ на каждаго литератора съ глубокимъ уваженіемъ, какъ на человѣка передоваго и болѣе образованнаго; но сойдясь съ литературнымъ кружкомъ, узнавъ довольно коротко почти всѣхъ представителей разныхъ редакцій, онъ скоро различилъ между ними пшеницу отъ плевелъ и во многихъ разочаровался.

— Эхъ, Н. А. говаривалъ онъ мнѣ:—и между литераторами есть непроходимое дурачье, да притомъ еще пошленькое... Какъ это, право, у нихъ головы странно устроены? Истина на виду, такъ сама и лѣзетъ въ глаза, а они старательно ходятъ вокругъ нея да ищутъ: не тутъ ли, молъ, суть-то? Соберутся чинно да и говорятъ на заданныя темы: давайте, дескать, толковать объ эмансипаціи женщинъ? — Давайте, ну и толкуютъ; и сейчасъ видно, что большинство тутъ только на одной діалектикѣ выѣзжаетъ. И все это врозь глядитъ, всѣ ругаются и готовы съѣсть другъ друга... Скверно!...

Или разложитъ бывало коллекцію фотографическихъ карточекъ и начнетъ указывать на характерные оттѣнки каждаго писателя.

— Вотъ этотъ, молъ, допишется скоро до статскаго совѣтника, этотъ заговоритъ иначе, коли ему казенное жалованье дадутъ, и проч.

Всѣ эти разочарованія однако непріятно дѣйствовали на него, и сталъ онъ по немногу отчаяваться въ какомъ бы то ни было успѣхѣ общаго дѣла, потому что между дѣятелями ничего общаго нѣтъ. Особенно раздражала его постоянная брань между журнальными партіями, брань, доходившая часто до доносовъ. Когда «Русскій Инвалидъ» предло-

жилъ ему писать фельетоны, онъ съ удовольствіемъ согласился на это и тогда же написалъ г. В—ву.

«И я въ фельетонѣ начну плюходѣйствовать, но не такъ, какъ это было въ литературѣ до сихъ поръ. Я первымъ долгомъ начну о ругани, которая въ послѣднее время, и особенно въ лицѣ г. З—на (вотъ кого обругаю—не встанетъ), дошла до геркулесовыхъ столбовъ. Этой вшѣ я не прощу. Терпѣть эту вшу не могу; а если вамъ это не понравится—мнѣ все-одно. Захвачу немного и г. Т—ва съ той стороны, съ которой онъ не ожидаетъ критики».

Но фельетонистомъ онъ не сдѣлался.

На каждую силу, выходящую изъ мѣщанства, или вообще изъ низшихъ слоевъ общества, Помяловскій смотрѣлъ съ уваженіемъ и гордостью.

— Вотъ это наши трогаются, говорилъ онъ въ восторгѣ.—На барство-то разсчитывать нечего; а вотъ ужо погоди, наши выставятъ свои силы, не то будетъ.

Среди безчисленныхъ знакомыхъ и въ бывшемъ Шахматномъ клубѣ Помяловскій проповѣдывалъ идею общиннаго литературнаго труда, и въ головѣ его возникало множество проэктовъ по этому поводу. Между прочимъ онъ настаивалъ на томъ, чтобы организовать общество писателей тружениковъ для изслѣдованія разныхъ сторонъ нашего общественнаго быта. Такъ, говорилъ онъ, я, напримѣръ, возьму на свою долю всѣхъ петербургскихъ нищихъ, буду изучать ихъ бытъ, привычки, языкъ, побужденія къ ремеслу и все это описывать въ точныхъ картинахъ; другой возьметъ, положимъ, мелочныя лавочки, для такихъ же изученій, третій пожарную команду и т. д. Всѣ добытыя свѣдѣнія помѣщать въ особомъ, реальномъ журналѣ, устроенномъ на общинныхъ началахъ, и изъ этихъ свѣдѣній, взятыхъ цѣликомъ изъ жизни, впослѣдствіи явится довольно полная картина нашего петербургскаго быта. Сочувствіе къ этому проэкту Помяловскій встрѣчалъ во многихъ, но проэктъ такъ и остался проэктомъ. Въ то время у него дѣятельность была обширная: онъ брался за все, посѣщалъ публичныя лекціи, участвовалъ на литературныхъ чтеніяхъ, ѣздилъ по

прежнему въ воскресную школу, гдѣ одно время былъ даже распорядителемъ по педагогической части, спорилъ въ комитетѣ воскресныхъ школъ, принималъ участіе въ составленіи букваря для этихъ школъ, и проч. Онъ даже пробовалъ быть критикомъ, и когда по смерти Н. А. Добролюбова, редакція «Современника» предложила ему работу въ этомъ родѣ, онъ съ горячностью взялся за разборъ романа г. Ахшарумова «Чужое имя», но этого разбора однако не кончилъ.

Между тѣмъ онъ началъ подумывать «продать бурсу». Эта мысль мучила его давно. Еще по выходѣ изъ семинаріи онъ началъ писать большой разсказъ «Данилушка» *), намѣреваясь героя разсказа провести черезъ всю бурсу и такимъ образомъ изобразить при этомъ полную картину бурсацкаго воспитанія, но потомъ отложилъ эту работу надолго. Онъ какъ-то не рѣшался развередить на днѣ души своей старыя, полузажившія раны, снова перечувствовать впечатлѣнія бурсы, и въ тоже время боялся не быть безпристрастнымъ... Когда редакція обновленнаго журнала «Вѣкъ», которой Помяловскій глубоко сочувствовалъ, просила у него статьи, онъ набросалъ для нея небольшой очеркъ, «Зимній вечеръ въ бурсѣ» **). Этимъ онъ думалъ было и покончить съ бурсой, но, впослѣдствіи, замѣтивъ впечатлѣніе и толки, какіе произвела статья въ публикѣ, рѣшился продолжать работу. Всѣхъ очерковъ онъ предполагалъ до двадцати, и въ нихъ думалъ исчерпать весь бытъ бурсацкій. Надо удивляться, съ какою ясностью и изумительною вѣрностью припоминалъ онъ тогда малѣйшія подробности бурсы и какъ глубоко запали въ его душу эти горькія впечатлѣнія дѣт-

*) Изъ записокъ «Данилушки» многія мѣста и мысли буквально вошли въ повѣсть «Молотовъ» и приписаны Череванину. Помяловскій руководствовался этимъ разсказомъ и при составленіи очерковъ бурсы. Болѣе законченный и оригинальный отрывокъ изъ этого разсказа помѣщенъ во второмъ томѣ настоящаго изданія.

**) Этотъ очеркъ былъ впослѣдствіи напечатанъ въ журналѣ «Время».

сихъ лѣтъ. Онъ снова точно превратился въ бурсака; среди знакомыхъ только и толковалъ о разныхъ пріятностяхъ бурсачества, въ свѣтскихъ обществахъ съ какимъ-то болѣзненнымъ наслажденіемъ разсказывалъ сцены одна другой циничнѣе и отвратительнѣе. Благовоспитанныхъ людей, конечно, коробило отъ этихъ разсказовъ, а ему было любо.

— Нѣтъ, вы узнайте, какая жизнь создала нашего брата; я покажу вамъ, что значитъ бурсакъ, я заставлю васъ призадуматься надъ этою жизнью!...

Вслѣдствіе этихъ работъ и нѣкоторыхъ другихъ причинъ, Помяловскій сильно измѣнился: сталъ жолченъ, придирчивъ, возненавидѣлъ окончательно всякую оффиціальность и отсутствіе искренности, готовъ былъ на всякій скандалъ, чтобы только досадить ненавистному для него барству. Въ тоже время онъ началъ заводить новыя знакомства въ бѣднѣйшихъ классахъ нашего общества.

— Надоѣло мнѣ это подчищенное человѣчество, говорилъ онъ съ жолчью:—я хочу узнать жизнь во всѣхъ ея видахъ, хочу видѣть наши общественныя язвы, нашъ забитый, измозженный нуждою людъ, на который никто и смотрѣть не хочетъ. У меня хватитъ присутствія духа, чтобы разглядѣть безъ отвращенья эти подонки человѣчества; нашего брата такими вещами не удивишь!...

И сталъ онъ пропадать по цѣлымъ недѣлямъ, и гдѣ пропадалъ онъ, не зналъ никто. Родные и знакомые его встревожились, дѣлали розыски, но напрасно.... Потомъ оказалось, что онъ все это время проживалъ гдѣ-то на Сѣнной, въ самомъ центрѣ безчувственнаго разврата и нищеты неисходной. Безвыходно жилъ онъ тамъ въ кабакахъ, грязныхъ харчевняхъ, публичныхъ домахъ, въ какихъ-то отвратительныхъ катакомбахъ, съ лицами, при одномъ разсказѣ о которыхъ вчужѣ ужасъ беретъ. Онъ знакомился и кутилъ съ этими лицами, изучалъ ихъ съ психологической точки зрѣнія, выпытывалъ у нихъ прошлое; тамъ у него появились пріятели, съ которыми вмѣстѣ онъ гулялъ и попадалъ даже на съѣзжую. Мысли горькія вынесъ онъ изъ наблюденій

надъ этою жалкою жизнью. «За то, говорилъ онъ мнѣ, такими нейзажиками я до того укрѣпилъ свои нервы, что могу спокойно смотрѣть на самый отвратительный цинизмъ и анализировать его. Это, братъ, очень поучительно. Вотъ ужо я выставлю эти картинки на показъ нашему обществу, — пусть полюбуется». Дѣйствительно, онъ тогда уже задумывалъ новый романъ, еще не выяснившійся, не принявшій опредѣленной формы, но въ которомъ, между прочимъ, предполагалъ описать и эти наблюденія надъ падшимъ человѣчествомъ. Но, кажется, что онъ жилъ на Сѣнной и искалъ приключеній съ простою цѣлью развлечься чѣмъ нибудь отъ какой-то гнетущей его тоски. Онъ видимо тосковалъ, худѣлъ, на кого-то злился, но никому въ то время не выдалъ своей тайны. Объ ней узнали мы только впослѣдствіи. Незадолго до смерти онъ сказалъ своей матери, что въ это время онъ любилъ одну дѣвушку, воспитанницу какого-то столоначальника, что сватался на ней, но столоначальникъ ему отказалъ, какъ семинаристу, не имѣвшему прочной служебной карьеры, и что оба они (дѣвушка и столоначальникъ) уже померли. Гдѣ и когда онъ познакомился съ ними, это такъ и осталось тайной. Писалъ онъ о своей любви Я. П. П—му, намекалъ объ ней брату и мнѣ, но въ подробности никогда не вдавался, и даже, высказавъ что нибудь случайно, старался обратить свою откровенность въ шутку. Въ бумагахъ покойнаго нашелся отрывокъ изъ письма, написаннаго вѣроятно въ это время. Съ горечью и отчаяньемъ писалъ онъ, что «въ тѣ дни, когда меня оживляла надежда на любовь, я не пилъ, былъ веселъ и работалъ былъ счастливъ и здоровъ, но теперь мое — даже мое желѣзное здоровье — разшаталось, моя грудь, на которую въ семинаріи я позволялъ становиться ногами двадцатилѣтнему парню, теперь болитъ и стонетъ, точно досками сдавлена... И все оттого, что моей любви не было заключительнаго результата». Письмо, какъ видно, хотѣлъ онъ передать брату, но потомъ вѣроятно раздумалъ. Этотъ фактъ удивилъ всѣхъ, знавшихъ Помяловскаго и помнившихъ, что онъ вообще о подобныхъ

отношеніяхъ отзывался довольно легко и съ загадочной улыбкой. Но очень можетъ быть, что въ этомъ случаѣ онъ маскировался, очень можетъ быть, что онъ и увлекся какой нибудь дѣвушкой, тѣмъ болѣе, что о своей наружности имѣлъ понятіе не лестное, и глубоко цѣнилъ каждую женскую ласку; намъ кажется только, что онъ преувеличивалъ дѣло... Вообще это обстоятельство такъ и осталось необъясненнымъ.

Весною 1862 года Николай Герасимычъ перебрался на дачу, на Малую Охту, «подъ тѣ липы, гдѣ родился». Тамъ, въ уединеніи, онъ старался развлечься усиленными занятіями. Обдумавъ содержаніе своего новаго романа, онъ далъ ему имя «Братъ и Сестра» и набросалъ нѣсколько отдѣльныхъ сценъ; въ тоже время писалъ слѣдующіе очерки бурсы, катался на лодкѣ, ловилъ рыбу, даже занялся изученіемъ французскаго языка, но хандрить не переставалъ. Новые неожиданные удары окончательно пошатнули его и довели до полнаго отчаянья и апатіи ко всякому дѣлу. Къ числу этихъ неожиданныхъ ударовъ можно отнести между прочимъ и закрытіе «Современника», гдѣ онъ постоянно работалъ и откуда получалъ средства къ жизни. Впалъ онъ въ какую-то мрачную, болѣзненную апатію, пересталъ дорожить собою, даже нѣсколько разъ покушался на самоубійство, и запилъ, мертвымъ поемъ запилъ. Но вино только усиливало его муки, вообще никогда, оно не давало ему веселья или утѣшенья, и напрасно онъ думалъ въ немъ забыться. Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями выражалось его опьянѣніе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало, начнетъ онъ, будто нарочно, представлять предъ собою непріятныя для него личности и припоминать все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбиралъ эти призраки, призывалъ на нихъ всевозможныя проклятія, силился вѣрить, что они рано или поздно будутъ отомщены...

— Проклятье! шепчетъ онъ, бывало, задыхаясь отъ злости.—Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ нена-

вижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мои надежды.—И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала: онъ готовъ былъ сейчасъ же бѣжать и мстить....

Тяжело было глядѣть на эти страданья, на эти холодныя, не легко выдавливаемыя слезы.

— Боюсь я съ ума сойдти, — иногда говорилъ онъ мнѣ въ припадкѣ тоски. — Ты убей меня, Н. А., если я сойду съ ума... Впрочемъ, мнѣ теперь все одно.

«Чего тосковалъ онъ такъ сильно»? спросятъ можетъ быть иные: «вѣдь все устроилось къ лучшему!» Это, конечно, правда; но вѣдь разныя натуры бываютъ, господа! Иного облей неожиданно холодной водой, онъ ничего, только ухмыльнется, да скажетъ: «это здорово», а другой отъ такого обливанья захворать и даже умереть можетъ; иной счастливецъ и въ самомъ промозгломъ воздухѣ хорошо себя чувствуетъ, а для другого свѣжій воздухъ необходимъ,—разныя натуры бываютъ. Помяловскій съ самаго училища жилъ общественными интересами; на немъ слишкомъ глубоко и сильно отзывались всѣ общественныя боли. Подъ вліяніемъ лучшихъ дней своей жизни, онъ успѣлъ выработать прочныя убѣжденія и когда увидѣлъ, что по этимъ убѣжденіямъ напрямикъ дѣйствовать нельзя, когда замѣтилъ, что «въ жизни та же бурса», онъ впалъ въ апатію, а уступки никакой сдѣлать не хотѣлъ и не могъ. Онъ разъ навсегда сказалъ: «не хочу я вашего спокойствія», и дѣйствительно, увлекающаяся, энергическая натура его не терпѣла ни въ чемъ застоя, жаждала жизни и дѣятельности; не было этой дѣятельности—онъ и запилъ. И какъ сильно, какъ ожесточенно ненавидѣлъ онъ тогда общество, въ которое до того силился вѣрить!

— Бросить развѣ все? Стать хлѣбопекомъ, табачную лавочку открыть? Да нѣтъ, не той работы хочется мнѣ.

Вообще время, проведенное на Охтѣ, было для Николая Герасимыча самымъ тяжелымъ временемъ. Его стало нако-

нецъ пугать уединеніе, дававшее полный просторъ его печальнымъ размышленіямъ, и онъ радовался отъ души всякому, кто приходилъ раздѣлить съ нимъ его одиночество. Литературныя работы подвигались конечно очень медленно.

Осень прошла скучно. Помяловскій хандрилъ по прежнему и бродилъ по городу, отыскивая разныхъ развлеченій. Ему хотѣлось забыться, разсѣяться отъ своей тоски. Въ какихъ-то трущобахъ отыскалъ онъ какихъ-то пріятелей, и у нихъ пропадалъ по цѣлымъ недѣлямъ; ему нравилось, что здѣсь никто не растравитъ его ноющія боли, и время, конечно, проходило въ разныхъ оргіяхъ и безшабашномъ пьянствѣ. Приходя въ себя, Николай Герасимычъ самъ ужасался своего положенія и чувствовалъ, что заходитъ слишкомъ далеко. Его коробило тогда отъ этихъ знакомствъ, отъ этого пьянаго безумія и грязной обстановки, и онъ посылалъ брату Владиміру письма такого рода: — «Володя! я сильно пью! Возьми меня»!... Или: «Если ты не согласишься отобрать на этихъ дняхъ отъ меня деньги, я пропью свою душу. Я хвораю уже. Мочи нѣтъ, и жить, братецъ, тяжело; хочется хоть въ водкѣ забыться, хотя и понимаю, что это не дѣло. Володя, спаси меня! Иначе, клянусь честью, я погибну!..» И братъ ѣздилъ по приложеннымъ адресамъ и спасалъ его. Однако такая жизнь разстроила здоровье Николая Герасимыча, и зимою онъ долженъ былъ отправиться въ клинику.

Изъ медицинскихъ студентовъ, съ которыми былъ друженъ Помяловскій, особенно ухаживалъ за нимъ Н. Г. Дьяконовъ. Онъ настойчиво слѣдилъ за нимъ, наблюдалъ за состояніемъ его здоровья, мѣшалъ ему пить, старался воодушевить на работу. Николай Герасимычъ полюбилъ Дьяконова и уговорилъ его отправиться вмѣстѣ съ нимъ и братомъ Владиміромъ на лѣто въ село Ивановское (по Невѣ въ 30 верстахъ отъ Петербурга), съ тѣмъ, чтобы онъ не давалъ ему пьянствовать. Лѣтомъ они отправились и втроемъ поселились въ простой крестьянской избѣ. Николай Герасимычъ здѣсь совершенно поправился, успокоился, снова полюбилъ жизнь и энергично принялся за работу. Здѣсь онъ

написалъ четвертый очеркъ бурсы «Бѣгуны и спасенные», началъ разсказъ «Порѣчане» и затѣмъ собирался приняться за отдѣлку романа «Братъ и Сестра». Писалъ онъ очень быстро и съ увлеченіемъ. Рыбная ловля, чистый воздухъ, здоровая пища и правильная, спокойная жизнь благотворно подѣйствовали на Помяловскаго; къ нему, казалось, вернулись всѣ прежнія силы, вернулся прежній спокойный анализъ дѣла. Въ такомъ благодушествѣ прошло болѣе мѣсяца; всѣ отъ души радовались этой перемѣнѣ; онъ самъ радовался ей, хотя и побаивался за свою слабость воли. И дѣйствительно, эта боязнь была не напрасная. Въ половинѣ лѣта онъ поѣхалъ въ городъ за деньгами, встрѣтился тамъ съ прежними пріятелями, подкутилъ съ ними, явился на дачу нетрезвый и съ тѣхъ поръ опять началъ попивать. Его, конечно, приняли здѣсь непривѣтливо, съ разными упреками; онъ обидѣлся и хуже запилъ; вышло нѣсколько непріятныхъ сценъ, послѣ которыхъ товарищи его принуждены были разъѣхаться. Николай Герасимычъ тоже переѣхалъ съ дачи и опять завелъ дружбу съ прежними пріятелями. Организмъ, не успѣвшій окрѣпнуть вполнѣ послѣ зимней болѣзни,—надломился снова. И опять пропало его доброе настроеніе, опять начала появляться хандра: ему казалось, что всѣ знакомые презираютъ его, смотрятъ на него съ упреками и сожалѣніемъ, и это оскорбляло его до глубины души.

Въ половинѣ сентября, онъ позвалъ меня къ себѣ. Я пришелъ. Помяловскій былъ сумраченъ и блѣденъ, хотя и старался казаться веселымъ. Онъ прочиталъ мнѣ нѣсколько главъ изъ «Порѣчанъ», потомъ попросилъ всѣхъ домашнихъ удалиться изъ комнаты. Мы остались вдвоемъ. Помяловскій нѣсколько минутъ молчалъ, потомъ схватился за голову и зарыдалъ.

— Спасай меня какъ нибудь, Н. А.! Спаси меня, я совсѣмъ погибаю!... заговорилъ онъ умоляющимъ голосомъ.— Всѣ силы ума и воли напрягаю, чтобы бросить эту пьяную жизнь, и не могу: точно червякъ какой сидитъ внутри, со-

сетъ меня и парализуетъ всѣ доводы разсудка. Вѣдь это болѣзнь, страшная болѣзнь, которая медленно разлагаетъ человѣка и доводитъ даже до подлости,—я этого больше всего трушу. Слушай! если я сдѣлаю хоть малѣйшую подлость, ты скажи мнѣ, и я убью себя, я задушу себя своими руками!... Гдѣ же средства къ спасенью? Научи!

— Нужна рѣшимость и сила воли, — проговорилъ я въ утѣшеніе ему общую фразу. Да и что можно было говорить тутъ, когда у самого сердце разрывалось на части при видѣ такой отчаянной скорби!

— Бурса проклятая измозжила у меня эту силу воли, и научила меня пить. Потомъ и въ жизни обстоятельства вышли скверныя, наконецъ привыкъ... А мнѣ жить еще хочется, работъ впереди много: силы еще есть во мнѣ; но онѣ пропадутъ, если не остановиться во время... Тяжело мнѣ! Научи, что дѣлать? Или въ самомъ дѣлѣ пропадать надо?...

Рыданья его усилились и перешли въ конвульсивный припадокъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ того онъ опять почувствовалъ припадки бѣлой горячки. Галлюцинаціи на этотъ разъ были спокойныя, самъ Помяловскій внимательно анализировалъ ихъ и старался разгадать ихъ причины. Вообще онъ переносилъ болѣзнь стойко, какъ нѣчто неизбѣжное, и просилъ только, чтобы пріятели не оставляли его одного. Въ одинъ вечеръ онъ былъ особенно оживленъ, веселъ и разговорчивъ. Я и два медицинскихъ студента сидѣли у его кровати, и онъ разсказывалъ намъ сцены изъ новаго, задуманнаго имъ романа «Каникулы», или «Гражданскій бракъ». Никогда еще Помяловскій не говорилъ такъ увлекательно, какъ въ этотъ вечеръ. Художнически рисовалъ онъ передъ нами сцены, одну за другой, и такъ эти сцены были у него прочувствованы и обдуманы до малѣйшихъ подробностей, что если бы тогда сѣлъ онъ писать, то написалъ бы лучшія страницы изъ всего написаннаго имъ. Въ этомъ романѣ онъ задумывалъ изобразить невинную, нѣсколько экзальтированную дѣвушку, которая попала въ общество людей въ родѣ Сит-

никовыхъ и Кукшиныхъ; эти люди отуманили ее напыщенными фразами, не давъ никакого положительнаго понятія о жизни, и соблазнили ее вступить въ такъ называемый гражданскій бракъ; думалъ онъ показать, что эти мнимые передовые люди прикрывали именемъ прогресса одинъ грязный цинизмъ. Думалъ онъ тутъ же вывести множество побочныхъ лицъ и въ томъ числѣ опять и Череванина, который наконецъ найдетъ себѣ подругу жизни.

— На насъ клевещутъ,—говорилъ Помяловскій:—и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого поколѣнія сняли то пятно, которое кладутъ на него эти лица. Всякая сила вызываетъ непремѣнно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судитъ объ оригиналахъ и пріобрѣтаетъ недовѣрчивость къ нимъ. Надо доказать имъ, что они не наши, что наши стремленія не тѣ. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что она — дѣло чести нашей.

Въ самомъ дѣлѣ задача романа была въ высшей степени щекотливая, и съумѣлъ ли бы Помяловскій выполнить ее какъ слѣдуетъ—неизвѣстно.

Но ему неудалось даже и начать своего труда. Онъ слегъ и находился въ бѣлогорячечномъ состояніи дней пять. Подъ вліяніемъ галлюцинацій, Помяловскому все казалось, что ему слѣдуетъ умереть, онъ и просилъ достать себѣ яду. Приготовляясь къ такой смерти, онъ собралъ и отложилъ отдѣльно всѣ свои бумаги и написалъ даже завѣщаніе. Потомъ очнулся и уничтожилъ завѣщаніе. Какъ горячо обрадовался онъ тому, что снова вернулся къ жизни...

— Теперь работать, работать! начну новую жизнь,—все старое къ чорту!... говорилъ онъ и въ тотъ же день засѣлъ оканчивать «Порѣчанъ», давно обѣщанныхъ имъ «Русскому Слову». Онъ чувствовалъ себя совершенно здоровымъ, хотя и ослабѣлъ сильно послѣ болѣзни. На другой день, впрочемъ, у него открылась на ногѣ какая-то опухоль, и Николай Герасимычъ отправился въ баню, гдѣ приказалъ цирульнику поставить себѣ на больное мѣсто десять піявокъ.

Цирульникъ поставилъ піявки неумѣючи, и на больномъ мѣстѣ скоро образовался нарывъ. Сначала Помяловскій не обращалъ на это вниманія, но сильная боль скоро заставила его слечь въ постель. Медицинскіе студенты, посѣщавшіе Помяловскаго въ это время, упрекнули его за постановку піявокъ и совѣтовали скорѣе отправиться въ клинику, но Николай Герасимычъ говорилъ, что въ клиникѣ вѣроятно пролежать придется около двухъ недѣль, а у него время не терпитъ: надо «Порѣчанъ» кончать и за «Гражданскій бракъ» приниматься. Однако боли усиливались, Помяловскій ослабѣлъ, и 3 октября его почти насильно свезли въ клинику. Всѣ предполагали, что у него простой, доброкачественный нарывъ, но когда на слѣдующій день профессоръ Нарановичъ вскрылъ нарывъ, Помяловскій уже и боли не почувствовалъ въ немъ, а окружающіе съ ужасомъ увидѣли въ ранѣ глубокій антоновъ огонь. Лица присутствующихъ вытянулись: смертный приговоръ былъ произнесенъ *). Невыразимо тяжела была эта минута; Николай Герасимычъ сразу понялъ, что для него было уже все кончено, но сохранилъ полное спокойствіе. Когда я уходилъ отъ него въ тотъ день, онъ долго и крѣпко жалъ мою руку, будто прощался со мною. Ночью онъ впалъ въ безпамятство и не очнулся уже до самой смерти. Умеръ 5 октября 1863 года, въ 2 часа 25 минутъ по полудни, — на двадцать девятомъ году отъ рожденія.

Н. А. Благовѣщенскій.

---

*) Потомъ доктора, служащіе при клиникѣ, говорили, что на ихъ памяти это всего только третій случай, когда по наружнымъ признакамъ невозможно опредѣлить гангрены.

ВУКОЛЪ.

(ПСИХОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.)

1859.

ВУКОЛЪ.

(психологическій очеркъ.)

У Тарантова родился сынъ. Дали ему имя Вуколъ. Вуколъ не обѣщалъ ничего красиваго въ своей особѣ; голова у него была большая, носъ плоскій, уши маленькія, туловище несоразмѣрно велико, а ножки коротенькія. Но при всемъ томъ онъ былъ ребенокъ здоровый. Что еще сказать о человѣкѣ, когда онъ только что явился на свѣтъ? Некрасивъ и здоровъ — вотъ и все... Будетъ ли онъ уменъ, добръ, счастливъ?—Богъ знаетъ!... Станутъ бить его по головѣ—выростетъ дуракомъ, хотя-бъ и не родился имъ; будетъ воспитывать танцмейстеръ—выйдетъ изъ него кукла; откормятъ на краденыя деньги, отзовется и это. Трудно показать и объяснить вліяніе внѣшнихъ обстоятельствъ на голову и сердце человѣка. Можетъ быть, человѣкъ глупѣетъ и черствѣетъ еще въ колыбели. Богъ знаетъ, какое вліяніе имѣетъ на ребенка глупая рожа няни, физіономія папаши—часто съ отсутствіемъ образа божія, грязная соска, табачный запахъ, визгъ и слезы братцевъ и сестрицъ и тому подобныя буколическія обстоятельства, на которыя чадолюбивые и сердобольные родители, домовла-

дыки и цари семействъ, часто не обращаютъ никакого вниманія. Все это, безъ сомнѣнія, уродуетъ человѣка. Но несомнѣнно и то, что иногда при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ человѣкъ развивается счастливо. Часто и семья, и товарищество, и обстановка, и всѣ случаи жизни, и даже прирожденныя наклонности, наслѣдственная порча—все направляетъ человѣкъ къ злу; но какая-то спасительная сила противодѣйствуетъ всему, и образуется человѣкъ умный и счастливый. Все это идетъ къ тому, что о ребенкѣ ничего нельзя сказать напередъ, что изъ него выйдетъ. И такъ, Вуколъ некрасивъ и здоровъ—вотъ и все пока о немъ. Впрочемъ, при рожденіи ребенка обращаютъ вниманіе на разныя примѣты и предзнаменованія. Вуколъ родился въ сорочкѣ, съ длиннымъ пупкомъ, день рожденія былъ скоромный и число дня четное — все это, по мнѣнію повивальной бабки, Анны Ивановны Штотиной, предвѣщало ребенку счастливую будущность. Но дядюшка Вукола, Семенъ Ивановичъ, думалъ иначе.—«Ну, что ты, братецъ, за кличку далъ своему чаду»—говорилъ онъ отцу Вукола, Антипу Ивановичу:—«да ты вникни въ это слово!.. Вуколъ!.. вслушайся въ это слово хорошенько... Вуколъ!... въ уголъ!... колъ!.. ха, ха, ха! Вѣдь это, братецъ ты мой, престранное слово. А ну-ко покажи его... По шерсти, по шерсти, братъ, кличка. Именно Вуколъ... Не хорошо, нѣтъ, не похвально, что обзавелся такимъ сокровищемъ».—Семенъ Ивановичъ продолжалъ до тѣхъ поръ свою безцеремонную рѣчь, пока не былъ приглашенъ замолчать. Но вотъ нелюбезный дядюшка уѣхалъ, и Вуколъ сталъ безобидно выростать среди мирной и достаточной семьи своей. Отецъ съ удовольствіемъ носилъ его на рукахъ, что наконецъ обратилось у него въ привычку. Мать цало-

вала его безъ отвращенія. Няня, старуха Акулина, любила Вукола, какъ свое дитя. Она бывало качаетъ его да приговариваетъ: «ахъ ты, голубчикъ мой, некрасивъ ты, да это ничего, былъ бы здоровенекъ. Батюшка, Вукоша, о-о-о!» Подъ пѣсни и ооканье старой Акулины Вуколъ засыпалъ сладко. Проснется онъ,—няня дѣлаетъ ему зайчика, показываетъ, какъ сорока кашу варила, вмѣстѣ съ нимъ хохочетъ старуха и прыгаетъ. Безобразія своего Вуколъ не понималъ. Увидѣвъ себя первый разъ въ зеркалѣ, онъ смѣялся, весело кричалъ и махалъ ручонками: ему было хорошо.

Такъ и подросталъ нашъ Вуколъ. Вотъ уже наступилъ ему пятый годокъ. Отецъ его однажды читалъ книгу, но вдругъ зашатался и грянулся на полъ. Мать и нянька стали хлопотать и плакать. Пришелъ докторъ, еще много какого-то народу. Всѣ о чемъ-то разспрашивали, смотрѣли папу и потомъ писали на бумагѣ, а мама все плакала. Страшно стало Вуколу. Но что это дѣлаютъ съ папой? — положили его на столъ, накрыли золотымъ одѣяломъ, вокругъ восковыя свѣчи. Пришли священникъ и дьячокъ; ходятъ они вокругъ папы; читаютъ они что-то да поютъ. Около ризъ священника дымъ вьется, а въ рукахъ гремятъ золотыя цѣпочки кадила. Хорошо стало Вуколу. — «Няня, посади меня къ папѣ»—«Папа умеръ», отвѣтила Акулина. Вуколъ, будто понявъ бѣду, крѣпко прижался къ нянькѣ и зарыдалъ... Похоронили папу. Помнитъ Вуколъ, что много у нихъ было гостей и что ему понравились кутья и блины.

Прошло еще два года съ немногимъ. Вуколу семь лѣтъ. Въ семь лѣтъ ребенокъ понимаетъ многое, онъ обнаруживаетъ уже характеръ свой, который часто трудно переломить, который не поддается ни убѣж-

деніямъ, ни пряникамъ, ни розгѣ. Вуколъ по природѣ былъ бодръ и не глупъ. Мирная жизнь, ласковое воспитаніе, доброта матери и няни, примѣръ въ лицѣ ихъ— все это возбуждало въ немъ чувство добра. Мать его было религіозна по убѣжденію, а потому и старалась усвоить сыну, главнымъ образомъ, не одинъ обрядъ религіи, а духъ ея. Еще не зная ни одной молитвы на память, Вуколъ, крестясь, произносилъ: «Боже, пусть маменька будетъ здорова!» или «Боже, дай день хорошій завтра». При такомъ направленіи Вуколъ рѣдко находилъ удовольствіе обрывать крылья бабочкамъ, водить жука на нити, топить котятъ, разорять птичьи гнѣзда. Это было дитя доброе, что́ для наблюдательнаго человѣка выражалось даже въ его безобразномъ лицѣ, особенно въ его умныхъ глазахъ. Отъ няни Вуколъ получилъ достаточный запасъ свѣдѣній о темномъ мірѣ вѣдьмъ, колдуновъ, Ивановъ-дурачковъ, царевичей-богатырей, сапоговъ-самоходовъ, сивокъ-бурокъ, живой и мертвой воды и другихъ принадлежностей русской сказки. Религіозное и сказочное уживалось въ душѣ Вукола также уютно, не противорѣча и не уничтожая одно другого, какъ и въ душѣ взрослаго. Какъ это бываетъ, трудно и понять. Отъ няни же, а не товарищей, Вуколъ научился дѣлать бумажнаго змѣя, трещотки, свистульки, водяныя мельницы. Воспитаніе его было по преимуществу женское; все въ немъ развивалось подъ вліяніемъ матери и няни. Впрочемъ, въ послѣднее время онъ познакомился съ тремя сыновьями приходскаго священника. Они пріѣзжали лѣтомъ на каникулы домой, въ деревню, небольшое имѣніе Анны Алексѣевны, матери Вукола. Отъ нихъ онъ получилъ понятіе о фискальствѣ и товариществѣ. Только не приходилось Вуколу прилагать къ дѣлу это понятіе:

онъ по малолѣтству не былъ принятъ въ общество поповичей, какъ совершенный товарищъ, — въ играхъ участвовалъ, но не былъ посвященъ въ тайны и не допускался ко многимъ предпріятіямъ. У него были свои тайны, свои предпріятія. Вотъ, напримѣръ, набралъ онъ душистаго горошку, резеды, фіялокъ, другихъ травокъ и цвѣтовъ, положилъ все это въ банку и толчетъ. Лицо его серьезно, работаетъ онъ прилежно и выпачкался въ мѣру. Это онъ хочетъ сдѣлать духи. Но опытъ не удается. Или вотъ Вуколъ досталъ пятачекъ, закопалъ его въ землю, и каждый день ходитъ поливать его. Акулина замѣтила это.—Что ты дѣлаешь, Вуколъ? — Деньги рощу. — Какъ же ты деньги ростишь?—Да мама говорила же, что докторъ деньги роститъ. — Онъ деньги въ ростъ отдаетъ; это совсѣмъ не то, что ты дѣлаешь.—Когда нянька объяснила, что значитъ отдавать деньги въ ростъ, Вуколу самому смѣшно стало... Такіе случаи могутъ рекомендовать Вукола, какъ дурачка, но не ошибитесь: дѣйствовалъ онъ вполнѣ самостоятельно, по указаніямъ своего младенческаго разума; и взрослый — оставьте его самому себѣ — такъ же насмѣшитъ въ большей части случаевъ. И такъ, въ поведеніи Вукола обнаружились уже доброта и любознательность—признаки того, что изъ дитяти можно сдѣлать многое хорошее.

Вуколъ на осьмомъ году лишился матери. (Помнитъ онъ и эти похороны; но впечатлѣніе произвели на него не гости, кутья и блины, а потеря любящей матери, доброй и нѣжной. Онъ долго тосковалъ и все боялся чего-то). Дядя Вукола, Семенъ Ивановичъ, назначенъ былъ опекуномъ. Вуколъ съ нянькой къ нему переѣхали. Ребенокъ какъ-то смутно сознавалъ, что̀ съ нимъ дѣлаютъ и одумался нѣсколько на новомъ мѣстѣ.

Здѣсь только онъ заплакалъ о старомъ домѣ и о рѣчкѣ, и о поляхъ, и о садѣ, и о своихъ незатѣйливыхъ, но любезныхъ сердцу удовольствіяхъ. На новомъ мѣстѣ Вуколу была отведена комнатка довольно мрачная; видъ изъ единственнаго въ ней окна былъ непривлекателенъ: съ одной стороны стѣна сарая, съ другой стѣна бани, а съ третьей заборъ; на площадкѣ двора лежали три поросшихъ мохомъ бревна. Внутри комнаты виднѣлись закоптѣлыя стѣны, комодикъ, столъ, два стула и лежанка. Здѣсь-то поселился Вуколъ. Няня приходила къ нему только днемъ, а ночевалъ онъ одинъ. Въ первое время его какъ будто и не замѣчали въ домѣ; лишь изрѣдка дядя, встрѣтившись съ нимъ, назоветъ его черепахой, змѣенышемъ, лупеткой. Услышавъ слово «лупетка», Вуколъ разсмѣялся.—Подожди, поросенокъ, подростешь, такъ я поподчую тебя, сказалъ дядя; посмотрю, каналья, откуда у тебя ноги-то ростутъ». — Понятно, что жизнь Вукола совершенно перемѣнилась и что отъ прежняго времени остались одни воспоминанія.

Дядя вукола былъ помѣщикъ, владѣтель сорока душъ. Человѣкъ онъ былъ холостой. «Любовь, говорилъ онъ, глупость, подруги жизни мнѣ не надо, и въ хозяйкѣ я не нуждаюсь: такъ зачѣмъ же мнѣ жениться?» Гости, охота, водка, карты, послѣобѣденный сонъ, кофе— все это у дяди, какъ у человѣка степеннаго, считалось богопротивнымъ. Ученость—вольнодумство. Скупымъ быть худо, но денежку копи и люби. Вотъ убѣжденія Семена Ивановича. День его располагался такъ: умоется, помолится Богу, зажжетъ лампадку передъ иконою, пьетъ чай; потомъ идетъ распорядиться по хозяйству, причемъ разсыпаетъ обильныя плюхи направо и налѣво, дождитъ на праведныя и неправедныя; далѣе

обѣдъ, пейсъ, который состоялъ въ куреніи табаку, вечеромъ опять чай; послѣ чаю прогулка и кабинетныя дѣла, т. е. разборъ судебныхъ бумагъ, счетъ денегъ и чтеніе нравоучительныхъ книгъ; наконецъ сдѣдовали ужинъ, молитва и сонъ. Уже лѣтъ двадцать поживалъ Семенъ Ивановичъ, имѣя о себѣ понятіе, какъ о человѣкѣ, у котораго совѣсть спокойна, который ни въ чемъ не нуждается, знать никого не хочетъ и жить умѣетъ. «Экой счастливецъ какой!» Теперь еще понятнѣе, что жизнь Вукола должна была измѣниться.

Чрезъ нѣсколько времени нянька была отставлена отъ Вукола, а мѣсто ея занялъ сельскій дьячокъ, Гаврилычъ, въ должности учителя. Гаврилычу было сказазано: «вотъ тебѣ барчонокъ въ науку. Спуску ему не давать: посѣчь, или за волоса надо, или тамъ на колѣни поставить—все это въ твоей власти. Ну, за труды рубль въ мѣсяцъ и натурою кое-что». Гаврилычъ согласился; да какъ было и не согласиться: къ сорока рублямъ его годового жалованья прибавилось еще двѣнадцать!

Первая лекція началась такими словами: перекрестимся, да и за книгу... да вотъ что еще: ты, Вуколъ, помни у меня, что драть буду страшно, если будешь тупъ или лѣнивъ. Слышалъ?—Вуколъ отвѣчалъ: слышалъ.—Впрочемъ, въ первый разъ прощается, второй увѣщевается, а третій наказуется. Это правило дѣдовъ нашихъ.—Понятно, что Вуколу приходилось терпѣть отъ дьячка: но все какъ-то избѣгалъ онъ тѣлесныхъ наказаній, потому что учителю оставалось только удивляться способностямъ, прилежанію и успѣхамъ ученика. Притомъ Гаврилычъ былъ глупый педагогъ, но человѣкъ души доброй.

Вуколъ не успѣлъ научиться порядочно читать, а Гаврилычъ, разчитывая на его способности, сталъ пре-

подавать ему начатки. Здѣсь-то вполнѣ обнаружился педагогическій талантъ и тактъ дьячка. Метода его была такова. Онъ ногтемъ отмѣчалъ скобку въ одномъ и другомъ мѣстѣ книги и говорилъ: «съ энтихъ до энтихъ». Читая неправильно и безъ толку, Вуколъ заучивалъ одни слова,—рѣдко онъ понималъ и усвоивалъ смыслъ урока. Это называется учить *въ долбяжку*. Понятно, что свѣдѣнія о Богѣ, людяхъ, жизни, природѣ остались у него тѣ же, какія были и прежде... Вотъ Вуколъ доучиваетъ урокъ. Сидитъ онъ у стола, покачиваясь изъ стороны въ сторону, уши его заткнуты пальцами, глаза зажмурены, губы шепчутъ непонятныя слова урока. Такъ Вуколъ уединяетъ свое вниманіе отъ всего внѣшняго. На лицѣ его выражается напряженіе и сосредоточенность мысли. Наконецъ, урокъ выученъ. Вуколъ открываетъ глаза и уши, креститъ книгу со всѣхъ сторонъ и прикладываетъ ее ко лбу. Такимъ пріемамъ выучилъ его Гаврилычъ, въ предосторожность, чтобы не запамятовать урокъ. По той же причинѣ запрещалось оставлять послѣ урока книгу открытою, класть въ нее сухую перепонку изъ пера, отдавать ее кому бы то ни было, почему самъ Гаврилычъ написалъ на обложкѣ: «Кто возьметъ книгу безъ спросу, тотъ будетъ безъ носу», — а въ другомъ мѣстѣ: «Кто возьметъ книгу, да не скажетъ, того Богъ накажетъ». Самъ Гаврилычъ изучалъ такіе эпиграфы въ бурсѣ, гдѣ въ учебникахъ—и на поляхъ, и между строкъ, и поперегъ текста—встрѣчаются подобныя курьезности. Напримѣръ у Гаврилыча хранится грамматика Пожарскаго, по которой онъ изучалъ русскій языкъ. Здѣсь можно читать въ разныхъ мѣстахъ: «Выпито полведра... Мерзость запустѣнія... Хоронили ректора... Лобовъ сказалъ Элпахѣ (прозвище ученика): сивохряпая

твоя натура!.. Самому цензору ввалили полтораста майскихъ... Выдавали носки... Инспектору напустили въ комнату чортову дюжину поросятъ» и т. п. Много интересныхъ вещей встрѣчалось въ грамматикѣ Пожарскаго... Передъ урокомъ Гаврилычъ обыкновенно говорилъ: «tempus zapregandi», а послѣ отвѣтовъ своего ученика: «широшо-хоцы» или «шибо-слацы». Это называется говорить *по шицы*. Здѣсь требуется раздѣлить слово на двѣ половины, къ послѣдней прибавить *ши*, къ первой *цы*, послѣднюю произносить сначала, первую послѣ; напримѣръ Гаврилычъ—шилычъ-Гаврицы, баранъ—ширанъ-бацы и т. п. Этотъ языкъ получилъ начало въ бурсѣ и употребляется здѣсь съ незапамятныхъ временъ. Онъ также въ употребленіи у половыхъ-въ трактирахъ на лихую ногу. Вуколъ скоро понялъ эту премудрость, самъ былъ тѣмъ доволенъ и крайне порадовалъ своего наставника. Дьячокъ, видя успѣхи своего ученика въ иностранныхъ языкахъ, рѣшился посвятить его и въ латынь, т. е. вдолбить, во что бы то ни стало, въ голову ученика нѣсколько латинскихъ словъ, которыя, Богъ знаетъ, какимъ образомъ, удержались въ собственной головѣ Гаврилыча. Замѣчательно, что въ числѣ немногихъ словъ Гаврилычъ помнитъ artocreas. Какъ до сихъ поръ онъ не забылъ artocreas? вѣдь это довольно трудное слово—не то, что panis или homo. Однажды—это было въ перво-уѣздномъ классѣ—учитель Лобовъ велѣлъ выпороть Гаврилыча. Начали драть Гаврилыча: но, о диво! Гаврилычъ не пикнетъ; Гаврилычъ молчитъ упорно подъ лозами, какъ будто деруть не его. Онъ хотѣлъ доказать, что умеръ для науки. Всѣ товарищи притихли, каждый считалъ удары; только и слышенъ ужасающій свистъ длинныхъ прутьевъ. Осьмнадцатилѣтнее дитя, нашъ мученикъ

науки, молчитъ упорно.—«Выдрать его на воздусяхъ», сказалъ Лобовъ голосомъ юпитера-громовержца.—Въ одно мгновеніе подхватили Гаврилыча за руки и ноги, повисъ онъ на воздухѣ въ горизонтальномъ положеніи, и справа и слѣва начался хлестъ и свистъ розогъ. Нашъ будущій причетникъ молчитъ упорно... Тишина торжественная... У бривщихся и не бривщихся товарищей отъ удивленія духъ замираетъ.—«Посолить его», сказалъ Лобовъ, опять голосомъ юпитера-громовержца.—Ужасъ пробѣжалъ по жиламъ товарищей. Бросили соли на Гаврилыча. Въ первую минуту онъ стерпѣлъ, но потомъ... силы небесныя!... какъ же и взвылъ онъ молодымъ и дикимъ, не перепитымъ еще, уши мертвящимъ басомъ своимъ! — «Довольно», сказалъ Лобовъ; «а ты помни», отнесся онъ къ Гаврилычу: «это называется artocreas, т. е. пирогъ съ мясомъ. На будущее время я тебѣ еще не такой паштетъ устрою». И Гаврилычъ во вѣки не забудетъ, что значитъ artocreas... Наконецъ, педагогъ нашъ хотѣлъ выучить Вукола читать по латыни, но не оказалось латинской книги... Такимъ образомъ правила мнемоники, богословскія познанія и языковѣденіе дьячка переселялись въ голову Вукола. Учитель былъ вообще доволенъ ученикомъ, хотя и не обнаруживалъ того, въ томъ убѣжденіи, что ученика, если не сѣчь, то по крайней мѣрѣ бранить и допекать непремѣнно слѣдуетъ; а ученикъ въ большей части случаевъ походилъ на попугая.

Семенъ Ивановичъ ходитъ въ своей спальнѣ изъ угла въ уголъ. Странное расположеніе посѣтило его душу. Хлѣба у него убраны, слуги выруганы, на дняхъ рѣшена послѣдняя тяжба, новостей нѣтъ, а къ воспоминаніямъ стараго и къ чтенію душеспасительнаго нѣтъ позыву. Пусто въ головѣ, пусто въ сердцѣ, въ

одномъ желудкѣ не пусто: и ѣсть-то даже не хочется. Вотъ Семенъ Ивановичъ затеплилъ лампадку, зачеркнулъ въ числительницѣ день, выкурилъ трубочку, другую; ну, а потомъ-то что? Глядитъ онъ на потолокъ, на стѣну, на кончикъ сапога. Фу ты, скука какая! Сотый разъ пересмотрѣлъ портретъ свой, начатый однимъ пріятелемъ по дружбѣ и не конченный по враждѣ; потомъ заглянулъ въ календарь: Параскевы сегодня, ну пусть Параскевы; потомъ заглянулъ въ окно: тутъ улица...ну, улица... мужики идутъ, бабы идутъ, телѣга ѣдетъ... «А чортъ, съ ними», думаетъ Семенъ Ивановичъ, «пусть ихъ идутъ и ѣдутъ, куда угодно; мнѣ-то что тутъ?» Семенъ Ивановичъ очевидно живой человѣкъ, но жизнь его проявляется только сознаніемъ своего тягостнаго въ настоящую минуту бытія; никакая мысль не удерживается въ его головѣ, никакого желанія нѣтъ въ сердцѣ, ни расположенія въ тѣлѣ. Все въ немъ, кромѣ сознанія, какъ будто замерло и окоченѣло. Такое состояніе обыкновенно называютъ скукою отъ нечего дѣлать, но оно болѣе, нежели скука отъ нечего дѣлать. Есть люди, которые воспитываютъ себя въ недѣятельности и привыкаютъ къ такимъ состояніямъ: иной уставитъ глаза на одну точку и сидитъ такъ долго-долго, и это не кейфъ, не сонъ, а просто отупѣніе, обморокъ нравственный, окоченѣніе душевное. Такое состояніе невыносимо для натуры дѣятельной. Разрѣшается оно у разныхъ индивидуумовъ различно: иной выпьетъ водки, шевельнется въ немъ кровь, и вотъ онъ, какъ встрепанный; другой соберется съ силами и хватитъ наконецъ стуломъ объ полъ, или зареветъ дико пѣсню не пѣсню, а такъ какой нибудь звукъ, который самъ просится прочесать горло; иной спать ляжетъ и проспится... много есть исходовъ изъ по-

добнаго состоянія. У Семена же Ивановича въ такихъ обстоятельствахъ являлась на сердцѣ какая-то безпредметная злоба, желчное расположеніе... Вотъ нашла туча; потемнѣло на улицѣ и въ комнатѣ...еще тошнѣе на душѣ!.. Въ этотъ моментъ безпредметная злоба разрѣшается желаніемъ помучить, поистязать кого нибудь. Семенъ Ивановичъ ищетъ предмета и находитъ предметъ: чрезъ его комнату идетъ Вуколъ.

— А, это ты, звѣренокъ; ну что ты? говорилъ опекунъ опекаемому имъ племяннику.

— Ничего, дяденька.

— Дуракъ ты.

Опекаемый племянникъ ни слова на это.

— Скажи, что такое дуракъ?

— Не знаю, дяденька.

— Эва хитрость! Да вотъ скажи: чего вамъ еще лучше? — я дуракъ!

Вуколъ съ недоумѣніемъ выглядываетъ на дядю изъ подлобья.

— Что-жъ ты, поросятина?

— Боюсь, дяденька.

— Это что за глупости? Ну же, говори.

— Вы дуракъ, дяденька.

— Ахъ ты, безобразная рожа! что ты сказалъ? Ухо! Вуколъ подставляетъ ухо.

— Другое!

Вуколъ подставляетъ другое. Дядя командуетъ далѣе.

— Встань! въ уголъ, лицомъ къ стѣнѣ... Теперь печкѣ кланяйся, да въ землю, въ землю, безобразная рожа! Я научу тебя уважать дядю.

Вуколъ не противится, не оправдывается; какъ машина выполняетъ приказанія дяди; лицо его, обращен-

ное къ землѣ, безстрастно, даже глупо. Новое воспитаніе кладетъ на него свою печать.

Потомъ идетъ экзаменъ такого рода:

— Дуракъ, въ который день создана курица?

— Въ пятый.

— Сколько тебѣ лѣтъ?

— Восемь.

— Гдѣ у тебя умъ?

— Въ головѣ.

— Кто твой дядя?

— Помѣщикъ Семенъ Ивановичъ Тарантовъ.

— Когда ты именинникъ?

— 6-го февраля.

— Кто хуже всѣхъ на свѣтѣ?

— Дьяволъ.

— А послѣ дьявола?

— Мазепа.

Это свѣдѣніе сообщено самимъ дядею.

— Хорошо. Ты давеча сказалъ, что у тебя умъ въ головѣ; а гдѣ же у тебя глупость?

Вуколъ становится въ тупикъ. Если въ головѣ умъ, то гдѣ же глупость? Думалъ, думалъ Вуколъ, — нѣтъ глупости нигдѣ, а должна же быть.

— Дуракъ, да въ башкѣ же, въ башкѣ! Повтори же, гдѣ?

— Въ башкѣ.

— Ну, да—въ башкѣ. Всегда такъ отвѣчай. Аль у тебя и въ брюхѣ есть глупость? неблагодарное животное, не чувствуешь, что жрешь чужое добро! Хорошо. А у меня гдѣ глупость?

Молчитъ Вуколъ.

— Говори, остолопъ!

— Въ башкѣ.

Опять начинается уходраніе, поклоненіе печкѣ и прочія опеканія. Такимъ образомъ Гавриличъ преподавалъ Вуколу богословіе и языки, а дядя психологію и другія науки, которымъ не приберемъ имени.

Такъ дядюшка потѣшился, развлекся. Вотъ уже и спокойно у него на душѣ, и опять онъ вполнѣ сознаетъ, что у него совѣсть чиста, что онъ ни въ чемъ не нуждается, никого знать не хочетъ и жить умѣетъ. Потѣшившись, онъ говоритъ Вуколу:

— Ладно; убирайся къ чорту.

Вуколъ уходитъ, сбычившись. У него послѣ такихъ случаевъ наростаетъ на душѣ что-то недоброе, очень нехорошее. Случаевъ же такихъ не мало въ его жизни. Жизнь подъ крыломъ любящей матери произвела свое дѣйствіе на Вукола; жизнь подъ лапою дяди должна была произвести свое дѣйствіе. Все около него перемѣнилось; лица новыя, требованія и отвѣтственность иныя, старыхъ правилъ и въ поминѣ нѣтъ, образъ жизни скучный, безъ дѣтскихъ игръ и звонкаго смѣху; наконецъ ко всему этому вѣчное одиночество и насильственная серьезность. Дядя употребляетъ неприличныя слова, при всякой встрѣчѣ дразнитъ и тиранитъ его, попрекаетъ своимъ хлѣбомъ. Все около него злится, завидуетъ другъ другу, клевещетъ и насмѣхается. Дворовые люди Семена Ивановича, зная, что Вуколъ не смѣетъ пикнуть у дяди, потѣшались надъ нимъ, вполнѣ удовлетворяя своему холопскому чувству, которое вѣчно враждебно барину и которое никогда не выражается прямо, а исходитъ косвенными путями. Вуколъ испыталъ на себѣ, что такое холопское чувство, послуживъ ему проводникомъ. Лакейство на перезадоръ старалось выдумывать ему клички, и какъ не нарекало его? Гаврило-дворникъ, дѣтина громадный и глупый, называлъ

его, Богъ вѣсть почему, скорбутомъ, причемъ хохоталъ самымъ безобразнымъ складомъ. Ѳедосья-нухарка говорила, что на его мурластой харѣ можно точить ножи. Калина-кучеръ звалъ его пятымъ колесомъ. Немного спустя, имена замѣнялись другими. Его постоянно обманывали и пугали. Разъ сказали, что дядя зоветъ его. Вуколъ явился въ кабинетъ, и прежде чѣмъ успѣлъ спросить, зачѣмъ его звали, получилъ отъ дяди пять щелчковъ счетомъ въ самый носъ. Невинный нарушитель спокойствія не постигалъ, зачто ему ниспослано пять щелчковъ. Другой разъ сказали, что нянька его умерла. Слезы и печаль Вукола о мнимой смерти Акулины сильно распотѣшили прислугу. Даже до какого дошло омерзѣнія? Гаврило выучилъ цѣпную собаку страшно лаять и рваться, когда мимо ея проходилъ Вуколъ. Зачто же ненавидѣли Вукола, чѣмъ онъ оскорбилъ прислугу? Ничѣмъ. Холопское чувство безнравственной дворни искало исхода и безсознательно отозвалось на барченкѣ за всѣ оплеухи, розги и брань.

Какъ же это такъ? Что это такое?... толпились вопросы въ головѣ ребенка. Тысячи противорѣчій возникали въ душѣ. Веселость его пропала, откровенность тоже; лепетъ его сперва превратился въ ропотъ, потомъ въ мольбу о пощадѣ, наконецъ совершенно затихъ. Не понимая, что въ новой средѣ хорошо и что худо, Вуколъ сбился съ толку, сдѣлался недовѣрчивъ къ себѣ, остороженъ во всемъ, какъ-то сдержанъ. Только по натурѣ, по старой памяти и привычкѣ, онъ стремился къ прежнимъ понятіямъ и обычаямъ. Будучи устойчивой натуры, Вуколъ не совершенно поддался вліянію среды, не привилась къ нему короста ея, хотя онъ довольно одурѣлъ подъ гнетомъ противорѣчій, ежедневныхъ нелѣпостей, пошлостей и мерзости. Но

сознаніе собственнаго достоинства, такъ необходимое человѣку, чтобъ быть человѣкомъ, въ немъ постепенно заглушалось, и, чтобы возбудить его, былъ необходимъ случай замѣчательный, могущій уничтожить страхъ, подъ вліяніемъ котораго онъ жилъ и развивался. А страхъ—исходная точка отправленій его нравственной жизни—дѣйствовалъ на него сильно. Нелюдимость его росла не по днямъ, а по часамъ. Дошло до того, что онъ ни съ кѣмъ не заговаривалъ, ничего не просилъ. При людяхъ, когда никто не трогалъ ребенка, лицо его было безъ всякаго выраженія, какъ доска; когда необходимость заставляла отвѣчать, оно было торопливо и испуганно; при этомъ Вуколъ сжимался инстинктивно и уничтожался, произносилъ да или нѣтъ, либо повторялъ чужія слова, не смотрѣлъ прямо, а выглядывалъ изъ подлобья, хотя на совѣсти его не было ничего преступнаго. Свиданіе съ нянею было для него настоящимъ праздникомъ. Она ни совѣтомъ, ни дѣломъ не могла помочь ему: она только соболѣзновала, охала да причитывала, но все-таки, хотя изрѣдка, Вуколъ слышалъ ласковое слово любящей женщины, а это много значитъ въ жизни человѣка. Что бы и сталось съ нимъ, еслибъ не было этой безъ толку охающей и причитывающей няни? Наединѣ Вуколъ не имѣлъ игрушекъ, не разговаривалъ вслухъ, какъ это дѣлаютъ прочія дѣти въ игрѣ одинъ на одинъ. Но здѣсь все-таки лицо его оживлялось, мысль начинала дѣйствовать, чувство приходило въ движеніе. Сухой кустъ геранiума, гнѣзда червячковъ въ горшкѣ, паутинка, бѣгъ мыши за шпалерой, отдаленное тиканье маятника, жужжаніе мухи на стеклѣ, миріады золотыхъ пылинокъ и крапинокъ на яркой полосѣ солнечнаго свѣта,—все это были предметы наблюденій и заботъ

Вукола; всѣ эти предметы были дѣйствующими лицами, замѣнявшими куклы въ его умственной игрѣ безъ словъ. По вечерамъ, передъ сномъ, бродили въ его головѣ слышанныя имъ сказки и миѳы собственнаго изобрѣтенія. Попытаемся заглянуть и въ тотъ уголокъ души ребенка, въ которомъ творились эти миѳы, которыхъ породило стремленіе ребенка объяснить все, что онъ видитъ и знаетъ. Воспоминанія о подобныхъ усиліяхъ дѣтскаго ума дороги всякому, кто занимается познаніемъ самого себя. Они часто многое проясняютъ въ жизни нашей. Кто, напримѣръ, не спрашивалъ въ дѣтствѣ: «откуда это я взялся? какъ такъ родился? я помню, что всегда жилъ дома». Кто не задумывался надъ такими вопросами? Одному говорили, что принесла его старуха, другому—что нашли его въ лѣсу, третьему— что ангелъ принесъ и положилъ его въ колыбель, четвертому—что маменька вынула его изъ подмышки и т. д. А тѣ, которымъ запрещено было спрашивать, сами создавали какой-нибудь миѳъ. У Вукола для созданія миѳовъ было довольно времени. Ему, напримѣръ, представлялось, что въ стѣнныхъ часахъ сидитъ мальчикъ и онъ качаетъ маятникомъ и ударяетъ молоточкомъ, когда наступитъ время. Почему-жъ такъ казалось ему? Богъ знаетъ. Можетъ быть, звонъ колокольчика былъ такъ игривъ, движенія маятника такъ легки, что невольно намекали на затѣи дитяти, а можетъ быть, и другое что нибудь въ формѣ и устройствѣ часовъ. Какой психологъ разберетъ всѣ эти понятія, инстинктивно создающіяся изъ безсознательныхъ, быстролетныхъ впечатлѣній? Миѳъ создается мгновенно, сразу. Пришла минута, взглянулось какъ-то особенно на часы, и вотъ безконечный рядъ прежде нажитыхъ впечатлѣній долженъ сформироваться и выразиться въ од-

номъ образѣ. «Что такое Богъ? Еще мама говорила, что образъ не Богъ....» думалъ, думалъ Вуколъ, и вдругъ, зажмуривши глаза, сказалъ: «а, вотъ что Богъ». Никакой анализъ не объяснитъ, что тогда было въ его головѣ. Или вотъ, былъ же онъ увѣренъ, что земля кончается за рѣкою. Ему сказали, что молоко даетъ корова. Какимъ образомъ? задалъ онъ себѣ вопросъ, и рѣшилъ, что она илюется молокомъ. Бывало, онъ шевелитъ пальцемъ и думаетъ, отчего же это онъ шевелится? Предоставьте дитя самому себѣ, чего оно не придумаетъ? Не такъ ли и народъ въ младенчествѣ изобрѣлъ русалокъ, домовыхъ, лѣшихъ и прочихъ миѳологическихъ существъ? Обильный запасъ миѳовъ доставили Вуколу ночные звуки. То покажется ему, что ударили въ колоколъ, и не догадается, что это изъ умывальника падаетъ капля на дно мѣднаго таза; вотъ хрустнуло что-то, — опять не успѣлъ онъ подмѣтить, какъ хрустнулъ собственный суставъ тѣла; что-то страшное прокатилось въ воздухѣ,—сырость коробитъ шпалеру на стѣнѣ; слышно, какъ диво какое-то тихотихо крадется,—а это тараканъ оставилъ по себѣ чуть слышное шарканье на шпалерѣ; вотъ явственно упалъ ударъ на чью-то спину, — это пыль, въ продолженіе часа теряя равновѣсіе, упала наконецъ на подушку стула; ай, плачетъ кто-то!—ничуть не бывало: заныло въ зубу отъ приливной крови. Но гдѣ же Вуколу подмѣтить неуловимыя причины ночныхъ звуковъ? И вотъ онъ наполняетъ ночной воздухъ фантастическими существами, создаетъ духовъ и чудовищъ; воображеніе играетъ, сплетъ образы, стращитъ и дивитъ дремлющее дитя. Тутъ же ночныя видѣнія являются въ помощь звукамъ. На ручкѣ двери сидитъ мужичокъ, во все окно налѣпленъ ракъ, чьи-то зубы торчатъ изъ-за

печки, въ ногахъ на кровати зайцъ. Гдѣ же догадаться Вуколу, что предметы, при игрѣ прихотливыхъ тѣней ночи, принимаютъ въ глазахъ фантастическія формы? Вотъ передвинулись тѣни и создались новые образы и фигуры. Кромѣ того, увлекали Вукола разные психологическіе и физическіе фокусы и загадки. Часто случается, западетъ въ голову какая-нибудь фраза, кончикъ пѣсни, звукъ или просто образъ, и все это само возникаетъ въ головѣ, вертится и повторяется противъ нашей воли. Сидитъ Вуколъ, побалтывая ногами, а въ головѣ его такъ и стучитъ: «бубы, бубы, самъ пошелъ». Вотъ опять, опять «бубы, бубы, самъ пошелъ». Откуда взялось это «бубы?» Кто пошелъ? Куда пошелъ? Не отстаетъ фраза, повторяясь сама собою, такъ что наконецъ измучитъ Вукола. Иногда привяжется его вниманіе къ тиканью маятника,—не отстать, не забыть его; ударъ за ударомъ, ударъ за ударомъ, такъ и напечатлѣвается въ ухѣ... Бывало закроетъ Вуколъ глаза, особливо при огнѣ, и пойдутъ круги и пятна, нити и точки; составлены онѣ изъ воздуха серебрянаго, золотаго и оранжеваго; взойдетъ лучистое пятнышко, плыветъ, плыветъ, таетъ и тонетъ въ воздухѣ; не сказать, гдѣ оно возникло, гдѣ пропало!—Также любилъ Вуколъ опрокинуться головою внизъ: всѣ предметы представятся въ обратномъ порядкѣ, все вверхъ ногами—совершенно новый міръ; при этомъ придавитъ еще глазъ пальцемъ, и пойдутъ предметы двоиться и троиться. Тогда чудныя фантазіи разъигрывались въ его воображеніи. Такъ вотъ въ какомъ мірѣ дѣйствовалъ Вуколъ и развивался: причина тому—постоянное уединеніе и молчаніе. И всякое дитя живетъ въ этомъ мірѣ, но Вуколъ жилъ въ немъ по преимуществу.

Лишь только кончилъ Вуколъ урокъ по начаткамъ, именно объ Антіохѣ Эпифанѣ,—вошелъ къ нему дядя. Послѣ вопросовъ: кто хуже чорта, въ который день создана курица и т. п., дядюшка сказалъ:—А что это я никогда не спрошу у тебя урокъ? Читай-ка, братъ, что училъ сегодня.

Вуколъ зажмурилъ глаза и началъ читать. Дядя слѣдилъ по книгѣ пальцемъ и былъ по видимому доволенъ. Но вотъ Вуколъ дошелъ до камня претыканія; онъ назвалъ Антіоха Эпифана Эпіохомъ Антифаномъ.

— Что? закричалъ дядя: повтори-ка, скотина.

Повторилъ Вуколъ.

— Мерзавецъ! Это кощунство! Розогъ! Позвать Гаврилу!

— Дядюшка, дяденька! бейте, но не сѣките; ѣсть не давайте три дня, ухо оторвите, но не сѣките. — Выговоривъ это, Вуколъ еще болѣе испугался. Надобно замѣтить, что онъ не былъ еще ни разу сѣченъ.

— Покажу я тебѣ, кощунъ, какъ смѣяться надъ божественнымъ.—Дядѣ казалось все святымъ, что напечатано славянскими буквами.

Совершилась операція сѣченія розгами, одна изъ отвратительнѣйшихъ операцій. И больно было Вуколу, и крайне стыдно. Въ розгахъ онъ видѣлъ послѣднюю степень позора. Первый разъ созналъ онъ себя, первый разъ въ сердцѣ его кипѣла злоба на старшихъ. Злоба душила его. Оставшись одинъ, Вуколъ заговорилъ: «а, такъ высѣкли, высѣкли же!.. давно обѣщались!...» и потомъ заплакалъ.—Случалось ли вамъ видѣть кошекъ или собакъ, которыхъ никогда не били? Если ударить такое животное, особенно въ старости, оно приходитъ въ ярость и нерѣдко бросается на хозяина. Но Вуколъ былъ человѣкъ, и первыя розги, при-

томъ за напраслину, должны были произвести потрясающее дѣйствіе. Вотъ онъ нѣсколько успокоился. Началась въ душѣ работа. Изъ покорнаго, тихаго, забитаго ребенка онъ сталъ вдругъ дикъ и мстителенъ.

— А, заговорилъ онъ, не боюсь же я теперь и розогъ... Ничего не боюсь... Да и чего жъ теперь бояться, чего жъ бояться? Пусть бьютъ, все одно... А и я, хоть разъ, да побью же кого нибудь... Дядю побью... Палкой побью... Право, пойду и ударю... Высѣкутъ? Пусть высѣкутъ... Пусть...

Лицо Вукола исказилось. Оно стало вдвое уродливѣе. Вотъ онъ опять замолчалъ. Слеза какъ катилась, такъ и повисла на полщекѣ, глаза вытаращены, не бродятъ они съ предмета на предметъ, но и не смотрятъ на что нибудь опредѣленно, ротъ полуоткрытъ. Это наступило минутное затишье. Вотъ уже муха на стеклѣ обратила его полувниманіе. Онъ давнулъ ее пальцемъ почти безсознательно... «Маменька!» вдругъ закричалъ онъ, «меня бьютъ, ругаютъ, сѣкутъ!..» Первый разъ Вуколъ выразилъ горе своей дѣтской жизни. Тотчасъ же послѣ этого нашло на него какое-то дикое состояніе. Онъ наклонился впередъ, надулся, лицо налилось кровью, и сталъ вопить, и вопилъ не какое нибудь опредѣленное слово или букву, а просто тянулъ отчаяннымъ образомъ звукъ, который на бумагѣ не выразить, а можно только голосомъ показать. Это называется вопить благимъ матомъ. Ревѣлъ Вуколъ, ревѣлъ. Наконецъ, онъ бросился на кроватку, вцѣпился въ подушку зубами, такъ и замеръ, сразу оборвался вопль его. Опять настало затишье. Должно было ожидать кризиса, какъ и первый разъ. Замѣчено у прочихъ дѣтей, что послѣ перваго замиранья слезъ, въ періодъ всхлипыванія, когда у нихъ ротъ разинутъ, кулакъ остано-

вился на полдорогѣ къ глазу, на лицѣ выраженіе стремительное, какъ бы вникающее (хотя понятно, что оно не вникаетъ), — замѣчено, что у нихъ тотчасъ послѣ такого состоянія свѣтло на душѣ, горло очистилось крикомъ, грудь поднимается высоко, всякая жилочка играетъ, кровь, какъ говорятъ, полируется, тогда что-то праздничное, что-то особенно легкое въ поведеніи ребенка. Припомните свое дѣтство—быть можетъ, много насчитаете такихъ праздниковъ. Но вѣрно у Вукола была натура оригинальная. Отлежался онъ, собрался съ силами, переломилъ себя и всталъ. Кулаки его крѣпко сжаты, зубы стиснуты. — Нянька, дура, старый чортъ, и ты не заступишься за меня! Не хочу же и учиться! На-те, любуйтесь. — Онъ разорвалъ Начатки въ клочья. — На-те, любуйтесь! — Онъ раскидалъ клочья по полу... Немного погодя, подобралъ онъ нѣсколько лепестковъ. Возьметъ одинъ лепестокъ, плюнетъ на него и прилѣпитъ на стѣну, возьметъ другой лепестокъ, плюнетъ и прилѣпитъ на дверь, третій на стекло, четвертый на лежанку, потомъ опять на стѣну, на дверь, на стекло и лежанку. Скоро была разукрашена вся комната. Наконецъ онъ успокоился мало по малу; на лицѣ выразились рѣшительность и сосредоточенность мысли, а въ умѣ постоянно вертѣлись: «пойду и ударю; да, ударю, ударю ударю!.. Обѣими руками палку захвачу... Всѣ меня ненавидятъ!... А себя мнѣ не жалко... ударю.»

Вуколъ отправился въ кухню.

Многимъ родителямъ, инспекторамъ, опекунамъ и прочимъ руководителямъ младенчествующаго поколѣнія приходилось наблюдать такое ожесточеніе и давать дѣтямъ за такое ожесточеніе имя негодныхъ и потерянныхъ. Дитя, говорятъ, молодое деревцо, —

можно дать ему какое угодно направленіе, переводить на какую хочешь почву: дитя — воскъ мягкій, которому можно дать какую хочешь форму; дитя— листъ чистой бумаги, на которомъ, что взбредетъ въ голову воспитателю, то и пиши. И сами потомъ воспитатели дивятся, какъ это изъ чистаго, нѣжнаго, мягкаго воску вылѣпилось у нихъ уродливое дѣтище, которое, какъ будто бѣлены хвативши, начинаетъ вопить и кричать, которое поднимаетъ палку на наставника, кусаетъ ему руки, закапываетъ, подобно Остапу *) учебники въ землю, не боится розогъ, стоитъ, какъ истуканъ, по три часа на колѣняхъ. Дивятся и папенька, и маменька, и няня-старуха, и училищное начальство. Дивится нянюшка, крестится, охаетъ и причитываетъ, спрыскиваетъ дитя съ уголька и думаетъ думушку: «хоть бы выдрали озорника». Дивится маменька и плачется передъ Богомъ, свѣчи ставитъ по церквамъ, служитъ молебны угодникамъ божіимъ, Козьмѣ и Даміяну, ночи не спитъ, все одна думушка—сынокъ не удалый — и говоритъ она папенькѣ: «хоть посѣкъ бы его—твое это дѣло». Дивится папенька, плачется на всѣхъ родныхъ и знакомыхъ, ханжитъ по начальству, нанимаетъ солдатъ и поретъ свое дѣтище. Дивится начальство училищное, ставитъ нули дѣтищу, деретъ до крови, позоритъ колпакомъ дурацкимъ, всему училищу указываетъ пальцемъ, какъ на негодяя, учитъ презирать такое дитя... А что же дѣтище? Дѣтище дико и угрюмо, дѣтище притерпѣлось къ розгѣ, побоямъ, позору и презрѣнію общественному, дѣтище окаменѣло, дѣтище ожесточилось, дѣтище осатанѣло! Отчего къ это случилось? Отъ того, что воспитатели не ко-

*) См. Тараса Бульбу.

тятъ понять, что и ребенокъ имѣетъ настоящее и прошедшее въ жизни, не хотятъ приноровиться къ нему, снизойти до дѣтскихъ интересовъ, забываютъ то время, когда они сами были дѣтьми, забываютъ свои младенческія радости и печали, забываютъ первую часть своей жизни; они подражаютъ Кальвину, который, поняв не по христіански слова библіи: «сляцы ему выю» и тому подобныя мѣста, писалъ, что дитя должно сѣчь больно, сѣчь непрестанно, сѣчь во вѣки вѣковъ. А многіе есть у насъ педагоги, особенно въ заведеніяхъ для низшаго класса, которые считаютъ необходимою принадлежностью воспитанія—глушить дѣтей. «Я, говоритъ, умѣю вскипятить кровь ученику. Подъ лозой заставлю учить уроки. У меня по струнке ходи, каналья, гляди прямо, улыбайся во-время; долби, что бы тебѣ ни задали; выростешь,—поймешь, что и зачѣмъ училъ. Накажутъ, не спрашивай, за что? Тебѣ говорятъ, что ты стоишь, а ты сидишь,—говори, что виноватъ. Вотъ какъ пройдетъ у меня ученикъ жизнь опытомъ, постигнетъ на дѣлѣ, что такое трудъ, повиновеніе, уваженіе къ лицамъ,—онъ уже будетъ человѣкомъ, и самъ послѣ поблагодаритъ за науку». Многіе ищутъ педагоговъ съ такими убѣжденіями. И вотъ начнутъ глушить какого нибудь бѣднягу, и часто глушатъ его на вѣки. Но вѣдь и самихъ этихъ педагоговъ глушили когда-то: но они, имѣя желѣзную натуру, перемогли все, и вотъ теперь налегаютъ на молодое поколѣніе. Они сами не видали ничего лучшаго. Но замѣчательно, что заведенія, въ которыхъ существуютъ глушители, уже пропитываются современными идеями воспитанія. Принимаются онѣ учениками, отвергаются педагогами. И что изъ этого выходитъ? Явленіерадостное и вмѣстѣ печальное. Ученики обнаруживаютъ яв-

ную ненависть къ воспитателямъ стараго времени. Идетъ борьба. Воспитанники уговариваются вездѣ разглашать о своихъ педагогахъ; потому что и до нихъ доходитъ слухъ о современныхъ средствахъ уничтожать зло. И вотъ мало-по-малу выходятъ старые люди въ отставку, выгоняются изъ службы, вымираютъ, уступаютъ мѣсто другимъ, имѣющимъ любовь къ юношеству и дѣтству, не забывшимъ свою молодость.

Семенъ Ивановичъ въ кабинетѣ перебираетъ гербовую бумагу. Лицо его лучезарно. До того онъ увлекся любимымъ занятіемъ, что и не замѣтилъ, какъ скрипнула дверь. Это вошелъ Вуколъ. Блѣдный, съ палкою въ рукахъ, крадучись, подошелъ онъ къ дядѣ и отвѣсилъ здоровый, почти не дѣтскій, ударъ, который изрядно влѣпился въ нагнутую спину. Дядя вскочилъ на ноги и увидѣлъ Вукола. Спина его трещитъ и саднитъ; на сердцѣ бѣсы раздуваютъ злобу.

— Да, это я... это я... и еще ударю.

Вуколъ поднялъ палку, но былъ схваченъ за волосы и брошенъ на полъ.

— Розогъ, крапивы, ремней! закричалъ дядя.

Вукола еще высѣкли, на этотъ разъ такъ высѣкли, что безъ помощи Гаврилы онъ не могъ дойти до своей комнаты.

— И тебя ударю! о, какъ ударю! сказалъ онъ Гарилѣ.

— Эва чертище-то! Господи, какъ можетъ окаменѣть человѣкъ! проворчалъ дядя.

Онъ три раза ходилъ къ Вуколу, ругалъ его, грозилъ, по выздоровленіи, еще высѣчь. Вуколъ глядѣлъ изъ подлобья и молчалъ. Только на третій разъ онъ сказалъ:

— А все же побью Гаврилу. Мнѣ ни по чемъ. А

высѣкутъ еще, такъ всѣхъ, кто только бранитъ, бить меня, всѣхъ побью...

— Господи, Господи! Что за чорта я наворотилъ себѣ на шею!

Пожалъ дядя плечами съ изумленіемъ, и пошелъ въ кабинетъ.

Вуколъ доказалъ, что онъ не тратитъ даромъ словъ. Поэтому отношенія къ нему окружающихъ лицъ измѣнились. Дворня сдѣлалась почтительнѣе, дядя бранился менѣе, Гавриличъ не въ шутку побаивался своего ученика и сталъ задавать поменьше уроку по новымъ начаткамъ; «дастъ раза»,—думалъ онъ, «что ты станешь дѣлать съ нимъ?» И странное дѣло: когда Вуколъ замѣтилъ такую перемѣну, ему стало страшно и совѣстно; долго онъ не находилъ нигдѣ мѣста, чего-то боялся, все представлялось ему, какъ больно было дядѣ отъ удара. Долго онъ не могъ освободиться отъ гнета совѣсти, по ночамъ часто плакалъ, молился Богу, просилъ прощенія за месть свою, давалъ обѣты, что не будетъ ни въ чемъ прекословить дядѣ: розги ему казались не такъ позорны—что его не презираютъ и что вѣроятно другимъ дѣтямъ не легче его жить на свѣтѣ. Страхъ пересталъ имѣть силу главнаго начала въ его жизни. Но когда онъ ясно понялъ изъ нѣкоторыхъ случаевъ, что старшіе съ новымъ чувствомъ боязни питаютъ къ нему старыя чувства презрѣнія и ненависти, тогда онъ воспользовался своимъ положеніемъ. Сразу можно было замѣтить, что занятія приняли иное направленіе и иную форму. То у него чешется нога, то онъ ловитъ носъ языкомъ, вотъ,—вдругъ почудилось ему, что въ воздухѣ пахнетъ не то кисло, не то сладко; потомъ явилась забота, что дѣлаетъ котенокъ; книга бокомъ, столъ криво, одно плечо выше другаго, рожица скуч-

ная. Приходитъ Гаврилычъ, произноситъ внушительно: tempus zapregandi; не тутъ-то было! Вуколъ зажмурилъ глаза, хочетъ читать, — нѣтъ, пусто въ головѣ! —Шидо-хуцы, замѣчаетъ Гаврилычъ, тѣмъ и кончается занятіе. Подобное явленіе стало повторяться чаще и чаще. Гаврилычъ доложилъ дядѣ, что Вуколъ изъ рукъ вонъ худо учится. Дядя рѣшился сбыть Вукола. Повезли его въ губернскую гимназію. Директоръ гимназіи спросилъ Вукола.

— Ну что, дитя, тебѣ скучно будетъ оставить дядю?

Вуколъ молчалъ.

— Что же ты ничего не скажешь?

Вуколъ выглянулъ изъ подлобья.

— Ахъ ты, дикарь, дикарь!—Въ голосѣ директора слышалась отеческая ласка, чего Вуколъ давно не видалъ. Онъ вдругъ заплакалъ.

— Ну, глупенькій, не плачь, не скучай.

— Да я не отъ того... мнѣ не скучно... мнѣ не жаль дядю. ..

— Такъ тебѣ не жалко дяди?

— Нѣтъ; здѣсь можетъ быть полюбятъ меня, а дома ненавидѣли, говорили, что я глупъ и уродъ.

— Другъ мой, тебя будутъ любить здѣсь. Я буду твоимъ покровителемъ....

МѢЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ.

(ПОВѢСТЬ.)

1861.

МѢЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ.

Егоръ Иванычъ Молотовъ думалъ о томъ, какъ хорошо жить помѣщику Аркадію Иванычу на бѣломъ свѣтѣ, жить въ той деревнѣ, гдѣ онъ, помѣщикъ, родился, при той рѣкѣ, въ томъ домѣ, подъ тѣми же липами, гдѣ протекло его дѣтство. При этомъ у молодого человѣка невольно шевельнулся вопросъ: «а гдѣ же тѣ липы, подъ которыми прошло мое дѣтство? — нѣтъ тѣхъ липъ, да и не было никогда». Припомнился ему отецъ-мѣщанинъ, слесарь, жизнь въ темной конурѣ, грязь и бѣдность, и первыя дѣтскія радости, смѣхъ и горе, и молитвы. Матери онъ не помнилъ; отецъ же ему представлялся очень живо. Онъ помнилъ, какъ, бывало, отецъ долго работаетъ, потъ выступитъ на его широкомъ лицѣ, а онъ, Егорка, тутъ же копается. Отецъ вдругъ оставитъ работу, вздохнетъ на всю комнату, ущипнетъ ребенка за щеку и скажетъ: «а поди ко мнѣ, чертенокъ!» посадитъ его къ себѣ на колѣни, любуется на сынишку, цалуетъ его крупными губами, поднимаетъ къ потолку, хохочетъ.

— Чего ржешь, тятька?

— Что, Егорка? а?

— Ржешь чего?

— А стихъ такой нашелъ.

— Ишь ты! отвѣчаетъ Егорка.

— А спѣть тебѣ пѣсню?— спрашиваетъ отецъ.

— Спой, тятька.

И поетъ отецъ дряннымъ голосомъ пѣсню.—Дѣтская жизнь Егора Иваныча совершилась въ грязи и бѣдности, а вотъ и теперь онъ вспоминаетъ ее съ добрымъ чувствомъ. Егорушка былъ мальчикъ бойкій: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрѣзки желѣза и мѣди—замѣняли ему дома игрушки.

— Изъ тебя, Егорка, лихой выйдетъ мастеръ; много у тебя будетъ денегъ?

— О! говоритъ Егорка.

— Тогда не забудешь своего тятьку?

— Я тебя, тятька, не забуду...

Отецъ бесѣдовалъ съ Егоркою, какъ со взрослымъ, разговаривалъ обо всемъ, что занимало его: побранится ли съ кѣмъ, получитъ ли новый заказъ, болитъ ли у него съ похмѣлья голова,—все разскажетъ сыну.

— Башка трещитъ, Егорка: вчера хватилъ лишнее. Выростешь, не пей много.

— Я, тятька, пиво буду пить..

— И молодецъ!... Ты у меня молодецъ вѣдь?

— Еще бы! отвѣчаетъ сынъ.

Иногда отецъ совѣтуется съ нимъ.

— Вотъ, Егорка, деньги получилъ за работу, а завтра праздникъ: такъ мы щей сваримъ, пирогъ загнемъ, да еще чего бы? Киселя, аль каши?

— Каша не въ примѣръ лучше...

— Ну, такъ каши, соглашается отецъ.

И во всемъ такъ: идетъ ли отецъ гулять, въ церковь, въ гости—вездѣ съ нимъ Егорка. Мальчикъ свободно

относился къ отцу, точно взрослый, да и живетъ онъ дома не безъ пользы: онъ и въ лавочку сбѣгаетъ, и заказъ отнесетъ, съумѣетъ и нашу сварить, и инструментъ отточитъ, и пьянаго отца раздѣнетъ, спать уложитъ, да еще приговариваетъ:

— Ну, ложись!... ишь ты нарѣзался!...

— Молчи, Егорка!

— Ладно, не разговаривай, лежи себѣ...

Вотъ въ подобныхъ случаяхъ выпадали тяжелыя минуты въ жизни Егорки. Иногда придетъ отецъ сильно пьяный, злой, непокладный, и ни съ того, ни съ другого поколотитъ сына...

— Не озорничай, тятька!... чортъ этакой!... право, чортъ! отвѣчаетъ ему сынъ.

— Врешь, каналья, врешь!... Я тебѣ овчину-то натреплю...

При этомъ отецъ ловитъ Егорку за вихоръ и обижаетъ его. На другой день отецъ все припомнитъ: ему совѣстно, онъ не знаетъ, какъ и взглянуть на Егорку, какъ приступиться къ нему. Отецъ молчитъ и сынъ молчитъ; у обоихъ лица пасмурныя. Подъ вечеръ, выглянувъ изъ-подлобья, отецъ сказалъ:

— Полно, Егорка; ну тебя...

— А! теперь и рожу въ сторону!... стыдно небось стало?... а ты не дерись!...

— Да ну тебя...

— Ишь нарѣзался, на стѣны лѣзетъ!

Отецъ замолчалъ. Прошло нѣсколько мучительныхъ минутъ. Отецъ тяжело вздохнулъ на всю комнату. Егорка выглянулъ сердито и сказалъ:

— Въ лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тутъ нечего молчать!

Такая уступка со стороны Егорки служила шагомъ

къ примиренію, и у отца отлегло отъ сердца. Впрочемъ, случалось, что отецъ и въ трезвомъ видѣ давалъ своему сыну потасовку. Заспорятъ иногда: отецъ хочетъ киселя, а сынъ каши; отецъ закричитъ «молчи!» а сынъ отвѣчаетъ: «чего молчи? я тебѣ дѣло говорю». Отецъ и натрясетъ ему вихоръ. Только тогда ужь отцовъ верхъ, и Егорка не знаетъ, какъ подойдти къ нему. Но ссоры рѣдко случались; отецъ большею частію соглашался, что «каша не въ примѣръ лучше киселя», тѣмъ дѣло и кончалось.

Слесарь былъ человѣкъ безграмотный; зналъ онъ свое ремесло, нѣсколько молитвъ на память и безъ смысла, много пѣсенъ и много сказокъ; работу онъ любилъ и часто говаривалъ: «Богъ труды любитъ, Егорка», «кто трудится, свое ѣстъ». Вотъ и весь нравственный капиталъ, который онъ могъ передать своему сыну. Богъ знаетъ, что бы вышло впослѣдствіи изъ мальчика? вѣроятно, второй экземпляръ отца, слесаря, Ивана Иванова Молотова.

Но судьба готовила ему иную жизнь. Егорушка скоро лишился отца. Тогда одинъ профессоръ, по имени Василій Иванычъ, — а фамиліи не скажемъ, — у котораго слесарь работалъ и которому понравился сынъ его, взялъ Егорушку къ себѣ. Василій Иванычъ былъ странный старикъ, и судьба его была странная. Съ молоду ему трудно было побѣдить науку, но онъ побѣдилъ ее; хворалъ отъ безсонныхъ ночей, но все-таки взялъ свое, вѣря въ истину, что терпѣніе и усидчивость все преодолѣваютъ, что въ терпѣніи геній. Онъ въ прежніе годы даже водку пилъ, на томъ основаніи, что умный человѣкъ не можетъ не пить; не любилъ женщинъ — тоже на ученыхъ основаніяхъ; былъ неопрятенъ, разсѣянъ, нюхалъ табакъ. Онъ довольно по-

работалъ на своемъ вѣку, много перевелъ нѣмецкихъ и французскихъ книгъ, а нѣкоторыя изъ его статей и теперь еще имѣютъ значеніе, какъ матеріалы. За наукою онъ такъ и позабылъ жениться. Но чѣмъ онъ становился старѣе, тѣмъ дѣлался опрятнѣе, водки терпѣть не могъ, и съ завистью смотрѣлъ на женатыхъ людей. Жизнь, построенная на ученыхъ основаніяхъ, сказалась; ему хотѣлось наверстать безсемейность, и онъ полюбилъ своего воспитанника страстно. Бѣда къ старой дѣвѣ попасть на воспитаніе, но если старый холостякъ полюбитъ ребенка, то онъ полюбитъ его горячо; такъ бабушки любятъ своихъ внуковъ. И Василій Иванычъ скоро превратился въ бабушку,—и то умная была бабушка, хотя довольно старопечатная, древле-славянская. Егоръ Иванычъ, какъ теперь, видитъ честное лицо старика, его широкій лобъ въ морщинахъ, его добрые глаза подъ синими очками. Но Егорушка не сразу сошелся съ своимъ воспитателемъ; онъ слушался его во всемъ, учился прилежно, но все дичился чего-то и боялся; самъ не вздумаетъ подойти къ старику, а все надобно позвать; не приласкается къ нему, ничего не попроситъ; капризовъ никакихъ, всегда скроменъ, тихъ и застѣнчивъ. Старикъ замѣтитъ ему что нибудь,— безъ строгости, ласково и осторожно, чтобы не обидѣть, а мальчикъ все-таки испугается, съежится и потомъ усиленно слѣдитъ за каждымъ своимъ шагомъ.— «Что это значитъ?» думалъ съ безпокойствомъ старый человѣкъ. — А дѣло было очень просто. Тоже бываетъ въ сельскихъ школахъ: онъ, въ глазахъ ребенка, былъ «на барина похожъ». Если учитель говоритъ ученикамъ-мужичонкамъ: «эй, вы!... тише!... слушай!... когда входите въ школу, то сапоги, а у кого ихъ нѣтъ, то ноги—вытирайте въ сѣняхъ; въ ладонь не сморкаться;

на улицѣ должны мнѣ шапку снимать; не говорить мнѣ «ты», а «вы» и т. п., что найдетъ онъ нужнымъ замѣтить, — повѣрьте, школьникъ-мужичонокъ рѣдко заставитъ повторять сказанное, почти всегда сразу запомнитъ и потомъ строго слѣдитъ за собою. Какъ бы то ни было, учитель, если онъ только не деревенскій дьячокъ, все же ходитъ въ сюртукѣ, подъ-часъ въ шляпѣ и съ тростью въ рукахъ; значитъ, онъ на барина похожъ, а барина мужичонко слушаетъ полнымъ ухомъ. Сначала и Егорушка съ тѣмъ же чувствомъ относился къ своему воспитателю. Кромѣ того, у Егорушки не было товарищей. Потребность товарищества для дѣтскаго сердца старый человѣкъ опустилъ совсѣмъ изъ виду, и понятно, что въ началѣ Егорушкѣ тяжело было, дико было среди комнатъ профессора, которыя ему казались уже очень чистыми и громадными послѣ отцовской конуры. Ему хотѣлось бы повидаться съ Микиткой-безпалымъ, съ которымъ онъ познакомился въ кабакѣ, куда, бывало, отецъ посылалъ его за виномъ, — повидаться съ Лешкой-столяровымъ, съ Машуткой-подкидышемъ, которой онъ покровительствовалъ и за которую часто дирался съ уличными друзьями; хотѣлось бы, задравши лихо рваный козырь на шапкѣ, запустить свинчатку въ конъ; часто ему чудился молотъ наковальни, визгъ желѣза и мѣди; его тянуло за церковную ограду, куда цѣлыми стаями собирались оборванныя дѣти. Потому-то онъ иногда, гдѣ нибудь въ углу, плакалъ потихоньку, чтобъ никто не видѣлъ; онъ любилъ заходить въ кухню къ лакею профессора, человѣку старому, какъ самъ профессоръ — тамъ ему было привольнѣе.

— Что ты, Егорушка, все скучаешь? спросилъ его однажды слуга.

— Домой хочу, отвѣтилъ мальчикъ, и вдругъ разрыдался.

— Что ты?... что ты?... Богъ съ тобой! говорилъ встрепѣвшій слуга: — вѣдь ты теперь барчонкомъ сталъ.

Мальчикъ плакалъ.

— Ну, ну, голубчикъ мой, съѣшь вотъ это, съѣшь, Егорушка.

Лакей гладилъ мальчика по головѣ и совалъ ему въ ротъ кусокъ сахару; но тотъ все плакалъ.

— Эка бѣда! сказалъ лакей и пошелъ позвать профессора...

— Домой хочу, твердилъ Егорушка и Василью Ивановичу.

— А у меня жить не хочешь? спросилъ старикъ.

— Не хочу.

Крѣпко задумался профессоръ...

— Вѣдь здѣсь лучше, Егорушка!

— Нѣтъ, дома лучше...

— Пойдемъ же домой, сказалъ старикъ...

И вотъ пришли они на старую квартиру, гдѣ прежде Егорушка жилъ съ отцомъ. Тамъ теперь поселился сапожникъ, все перемѣнилось; мальчикъ не узналъ своего стараго гнѣзда.

— Сходимте на ограду, попросился онъ.

И здѣсь Егорушка не встрѣтилъ никого изъ старыхъ знакомыхъ... Тогда Егорушка остановился съ недоумѣніемъ, подумалъ, взглянулъ пытливо на профессора и потомъ застѣнчиво, потупясь въ землю, шопотомъ сказалъ:

— Къ Машуткѣ сходимте....

— Къ какой Машуткѣ?

— Вонъ тамъ живетъ.

Старикъ подумалъ, покачалъ головой, однако согласился.... Но оказалось, что Машутку отдали въ науку, на другой конецъ города. Тогда-то понялъ Егорушка, что старая жизнь никогда не воротится, нигдѣ ея не отыщешь, пропала она. Мальчикъ инстинктивно прижался къ старику. Это тронуло старика.

— Ты мой теперь, Егорушка, сказалъ онъ.

Много было добраго, стариковскаго чувства въ этихъ словахъ. Егорушка невольно поддался ихъ вліянію и съ той минуты сталъ довѣрчивъ къ старику и полюбилъ его. Они весь вечеръ провели вдвоемъ. Егорушка разсказывалъ о своей прежней жизни, и профессоръ подивился, какъ сильно былъ привязанъ этотъ мальчикъ къ своему углу, къ отцу, старымъ товарищамъ и играмъ.

Съ тѣхъ поръ старикъ внимательно слѣдилъ за Егорушкой, слушалъ его разсказы, выпытывалъ его понятія и наклонности, и скоро увидѣлъ, что мальчикъ имѣлъ доброе сердце и хорошія способности, но грубоватъ, не отесанъ, съ дикими понятіями о Богѣ, людяхъ, жизни и природѣ. Старикъ сталъ проводить съ нимъ вечера, разсказывалъ совершенно о иномъ Богѣ, какого онъ и не зналъ до сихъ поръ; ему не вѣрилось сначала, что Богъ совсѣмъ не тотъ старикъ, котораго онъ видѣлъ на иконѣ. То же самое случилось, когда старикъ усердно и радушно старался объяснить ему явленія природы и разсказывалъ объ историческихъ лицахъ и событіяхъ. Многія внушенія и взгляды впослѣдствіи, когда Молотовъ развился, отвѣдалъ новой науки и сталъ самостоятельно вглядываться въ природу и жизнь,—были отвергнуты имъ: тогда снова, въ третій разъ, онъ увидѣлъ, что Богъ и люди совсѣмъ не то, что онъ думалъ; но теперь все было для него

въ рѣчахъ старика поразительно и ново, онъ увлекался, для него открылся новый, до тѣхъ поръ невѣдомый, роскошный нравственный міръ. Не долго совершалась борьба въ дѣтской душѣ; Егорушка скоро бросилъ старую жизнь. Онъ не пересталъ любить своего отца, старыхъ знакомыхъ и товарищей, но ему жалко было ихъ, и онъ усердно молился за нихъ Богу. Иному невѣроятнымъ покажется, что въ дѣтской душѣ, на двѣнадцатомъ году жизни, могла бы совершиться серьезная моральная борьба, какая бываетъ въ душѣ юноши. Да, невѣроятно, потому что мы родились въ болѣе или менѣе образованной средѣ и многія истины приняли обыденный характеръ въ нашей жизни; а неужели вы думаете, что двѣнадцать лѣтъ невѣжества легко уступятъ новой жизни? Онъ до сихъ поръ помнитъ, какихъ мученій моральныхъ и сомнѣній стоила ему та истина, что не Илья пророкъ производитъ громъ. Ничего сразу не давалось, ничему новому не вѣрилось, его не тому училъ отецъ. Спорить съ профессоромъ онъ не могъ, силъ не хватало, но его дѣтскія убѣжденія были органическими убѣжденіями, вошли въ него съ молокомъ матери, развились подъ вліяніемъ отца. Потому и совершалась въ его душѣ борьба серьезная, съ болью, хотя исходъ она получила скоро, потому что Егорушка былъ молодъ, а старикъ уменъ и вкрадчивъ. Нравственная работа принесла пользу Молотову: онъ научился не вѣрить старинѣ и авторитету, и то, что нами въ молодости принимается на слово, — вотъ такъ, какъ онъ принималъ на слово, что Илья гремитъ на небѣ, — у него было переварено собственной головой; онъ привыкъ къ самодѣятельности, къ умѣнью отрѣшаться отъ ложныхъ взглядовъ. Онъ сталъ человѣкомъ способнымъ къ развитію, и потому-то впо-

слѣдствіи онъ бросилъ многія убѣжденія, воспитанныя въ немъ старикомъ: у него стало на то силы; но онъ не посмѣялся надъ старикомъ, потому что когда-то вѣрилъ ему. Мальчикъ полюбилъ науку; онъ инстинктивно чувствовалъ, что черезъ нее только станетъ человѣкомъ, потому что онъ не былъ породистымъ мальчикомъ. Старикъ радовался, глядя на ребенка, какъ онъ усидчиво занимался книгою; и черезъ годъ нельзя было узнать въ Егорушкѣ прежняго Егорку—грязнаго, оборваннаго, босоногаго, изъ устъ котораго нерѣдко слышалось площадное бранное слово. Микитка-безпалый, увидавъ его, не повѣрилъ бы, что этотъ мальчикъ, такъ прилично, по-барски одѣтый, такъ скромно идущій по улицѣ, былъ слесарскій Егорка, прежній другъ его закадычный. Перемѣна въ жизни Егорушки, очевидно, была къ лучшему. Но у него попрежнему не было игрушекъ: дамочекъ фарфоровыхъ и гусаровъ деревянныхъ, бубенчиковъ и лошадокъ, барабановъ и солдатскихъ киверовъ; онъ, послѣ уроковъ, что нибудь строгалъ, лѣпилъ или рисовалъ; страсть къ такимъ занятіямъ у него осталась навсегда. Если же ему не хотѣлось ничего мастерить, онъ уходилъ въ кухню къ лакею, или садился у камина и смотрѣлъ въ огонь, или же былъ подлѣ старика. Эта уединенная жизнь въ товариществѣ старыхъ людей, рѣдкіе ученые гости, рѣдкіе выѣзды, причемъ мальчикъ на короткое время видѣлся съ другими дѣтьми, отсутствіе женщинъ, серьезныя рѣчи — положили особый отпечатокъ на личность дитяти. Жизнь въ кабинетѣ старика сдѣлала его застѣнчивымъ, противъ чего онъ послѣ долго боролся. Онъ остался нѣсколько угловатъ и неловокъ, тѣмъ болѣе, что и самъ профессоръ не былъ свѣтскимъ человѣкомъ. Егорушка былъ не по-дѣтски

серьезенъ, но въ то же время у него не было идеальной худобы въ тѣлѣ и блѣдности въ лицѣ; это былъ не заморенный мальчикъ; онъ былъ очень здоровъ.

Быстро пролетѣлъ гимназическій куреъ. Молотовъ выросъ, развился, но въ сущности жизнь его мало перемѣнилась. Онъ сталъ больше ростомъ и ученѣе, съ товарищами мало сошелся, въ гимназіи былъ только во время классовъ, считался умнымъ мальчикомъ и шелъ въ первыхъ ученикахъ. Только за полтора года до университета онъ узналъ дружбу, коротко сблизившись съ сыномъ одного чиновника, Андреемъ Негодящевымъ. Они оба попали въ университетъ казенно-коштными студентами. Дружба ихъ была оригинальная; ихъ называли «непримиримыми друзьями», потому что они постоянно бранятся и спорятъ между собою, а одинъ безъ другого жить не могутъ. Бывало, придутъ послѣ лекціи, станутъ читать какого нибудь поэта или философскую статью, заспорятъ, раскричатся, дѣло коснется личностей, обоихъ заберетъ самолюбіе, начнутся насмѣшки, чуть не брань. Какъ ужиться при подобныхъ условіяхъ? Но въ слѣдующій разъ они опять встрѣчаются съ радостію, и, нисколько не стѣсняясь, сообщаютъ одинъ другому всевозможные вопросы и свои личные взгляды, и это не по обязанности, что друзья должны быть откровенны, а просто имъ не удержаться было отъ разговора. Оба они не любили прѣсной дружбы, а потому часто выводили одинъ другого на свѣжую воду. Профессоръ удивлялся ихъ ярымъ рѣчамъ, иногда вставитъ и свое слово; тогда оба дружно сцѣпятся со старикомъ, начнутъ доказывать отсталость его идей. Добродушный Василій Иванычъ замахаетъ руками; «ладно, ладно!» кричитъ: «мы стары!... гдѣ намъ?»—Такъ что жъ такое, что стары? напустятся

на него студенты. — «Отстаньте!» отвѣтитъ имъ старикъ, закроетъ уши руками и уйдетъ въ кабинетъ. Наши друзья продолжаютъ воевать. И какъ могли сойтись эти совершенно противоположные характеры? Одинъ былъ сынъ мѣщанина, другой чиновника; одинъ выросъ въ большой семьѣ, между братьями и сестрами, другой въ товариществѣ стараго профессора. Молотовъ любилъ говорить о широкихъ началахъ, общемірovыхъ идеяхъ и замогильныхъ вопросахъ; «жизнь, природа, человѣчество» — на этихъ предметахъ постоянно вертѣлись его мысли; онъ смотритъ идеалистомъ, хотя, странно, онъ всегда остороженъ, аккуратенъ, осмотрителенъ и всегда у него есть деньги; Негодящевъ же терпѣть не могъ общихъ разсужденій, говорилъ все о карьерѣ, называлъ себя практическимъ человѣкомъ, хотя и часто бывалъ безъ деньжонокъ, любилъ кутнуть и иногда пропускалъ лекціи, необходимыя для студента. Негодящевъ былъ на юридическомъ факультетѣ, и говорилъ, что онъ пойдетъ въ чиновники; Молотовъ—на историческомъ, и никогда не думалъ, что̀ изъ него выйдетъ. Негодящевъ былъ ловокъ, рѣчистъ, иногда лгалъ немного, мастеръ поддѣлываться подъ характеръ людей; онъ былъ франтъ и всегда одѣтъ щегольски; а Молотовъ — тяжелъ, говорилъ много, но не когда угодно, а лишь въ минуту увлеченія, прямъ былъ на слова и рѣзокъ, не податливъ: на немъ мундиръ сидѣлъ не такъ ловко. Молотовъ не сразу устроивалъ принципы новой жизни, но они крѣпко вростали въ его душу; Негодящевъ увлекался быстро. Негодящевъ уже успѣлъ влюбиться и поклясться дочери одного чиновника въ вѣчномъ и пламенномъ чувствѣ, въ чемъ и сознался другу въ задушевной бесѣдѣ; а другъ отвѣчалъ, что онъ не понимаетъ еще

этого чувства, что онъ мало видалъ женщинъ и совсѣмъ ихъ не знаетъ. Негодящевъ говорилъ, что онъ довольно опытный человѣкъ и людей нѣсколько знаетъ. Негодящевъ былъ болѣе пессимистъ, а Молотовъ— оптимистъ. Они и наружностью не похожи: Негодящевъ высокаго роста, блѣднолицый, черномазый и съ волосами до плечъ, а Молотовъ средняго роста, плечистый, съ румянцемъ на широкомъ лицѣ, коротко остриженъ, глаза у него сѣрые... Такъ, по законамъ дружбы, существующимъ искони, сошлись между собою люди противоположныхъ характеровъ. Но дружба, основанная на этихъ законахъ, рѣдко бываетъ прочна и кончается добромъ: такая дружба обманчива, ее разъѣдаетъ постоянное противорѣчіе, въ ней зрѣетъ вражда. Случилось то, что часто случается съ такими друзьями; Молотовъ попрекнулъ чѣмъ-то Негодящева, и они разругались не на животъ, а на смерть. Тогда Молотовъ испыталъ ту молодую ненависть, когда вчерашній другъ представляется ни больше, ни меньше, какъ гадиной, оскверняющей человѣчество, когда думается, что самое ужасное наказаніе другу — презрѣніе къ нему, хотя другъ тоже самое думаетъ, и когда оба рады примириться, только не хочется первому просить мира. Молотовъ и Негодящевъ воображали, что они ненавидѣли другъ друга, а между тѣмъ они любили другъ друга; они еще не знали, что значитъ ненавидѣть.

Тогда же съ Молотовымъ случилось и другое несчастіе. Его старикъ опасно занемогъ. Молотовъ дни и ночи проводилъ у постели больного. Горькое настало время. На шестнадцатый день старый человѣкъ сказалъ Молотову:

— Скоро умру, Егорушка... вся грудь высохла... не забывай меня... поминай....

REESE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF

Молотовъ наклонился и поцаловалъ его руку.

— Утѣшилъ ты меня... Егорушка... спасибо... и я тебя любилъ.

Молотовъ заплакалъ.

— Полно... не плачь... что жъ дѣлать? говорилъ чопотомъ умирающій: — пора!...

Старикъ тоскливо посмотрѣлъ на Молотова. Потомъ онъ сталъ говорить о завѣщаніи, — это бываетъ самая трудная и мучительная минута для присутствующихъ, когда человѣкъ актомъ, на гербовой бумагѣ совершеннымъ, отказывается отъ всѣхъ правъ собственности и власти, какія успѣлъ пріобрѣсти во всю жизнь свою... Молотовъ рыдалъ, а старикъ говорилъ, что у него есть статьи, приказывалъ отослать ихъ въ Москву, деньги за нихъ назначилъ на раздачу нищимъ, велѣлъ поминать Евдокію, сестру его, умершую давно уже, и давалъ предсмертныя увѣщанія:

— Честно живи, Егорушка... Богу молись... старшихъ почитай...

Потомъ больной велѣлъ принести образъ и, благословивши своего воспитанника, забылся на время. Молотовъ отошелъ къ окну и долго смотрѣлъ безсмысленно на улицу. Чувство сильнаго горя и одиночества охватило душу восемнадцатилѣтняго юноши. «Одинъ во всемъ мірѣ!»—эта мысль подавляла его душу, жгла мозгъ его. Но... настала развязка старой жизни. Молотовъ подошелъ къ постели: старикъ лежалъ неподвижно; глаза были открыты...

— Добрый мой учитель, прошепталъ Молотовъ, поцаловалъ его въ лобъ, поцаловалъ его руку и закрылъ глаза.

Долго онъ смотрѣлъ въ лицо мертвому — оно было спокойно и безотвѣтно.

На третій день похоронили профессора. На похоронахъ была все ученая братія, все старики, одинъ лишь молодой человѣкъ — Молотовъ, и ни одной женщины. Помянемъ добрымъ словомъ человѣка добраго и не мало потрудившагося на вѣку своемъ...

Наслѣдства Молотовъ получилъ около четырехъ тысячъ ассигнаціями, большую часть мебели онъ продалъ, переѣхалъ на новую квартиру, гдѣ и повѣсилъ портретъ старика надъ диваномъ. На новой квартирѣ скучно проходили каникулы. Молотовъ пошелъ однажды къ товарищу, Череванину, о которомъ говорили, что онъ «съ философскимъ направленіемъ» (мы съ нимъ встрѣтимся еще) и у котораго любили собираться студенты. Здѣсь онъ встрѣтился съ Негодящевымъ. Въ душѣ Молотова шевельнулось все доброе старое, слезы стали къ горлу подступать. Негодящевъ отвернулся въ сторону. Молотовъ первый заговорилъ:

— Андрей, полно злиться...

Что, если бы его оттолкнулъ Негодящевъ? Но этого быть не могло. Возвращеніе отъ вражды къ дружбѣ было внезапно. Негодящевъ бросился на шею къ Молотову. Они поумнѣли, вспомнили вражду, хохоту было не мало.

— Андрей, сказалъ Молотовъ:—мы теперь будемъ осторожнѣе.

— А что?

— Опять поссоримся.

— И помиримся опять—вотъ и все.

— Опять переѣдатся будемъ.

— Будемъ.

— Ну, какъ хочешь.

Тѣмъ и кончили. Быстро понеслось время. Теперь только, во второмъ курсѣ, Молотовъ сошелся съ това-

рищами. Его полюбили. Молотову прекрасными людьми представлялись товарищи — бодрые, смѣлые, честные, за общее благо готовые на всѣ жертвы, оригиналы. Не думалось тогда Егору Иванычу, что многіе изъ нихъ потеряютъ и бодрость, и смѣлость, и оригинальность, и способность къ жертвамъ, а нѣкоторые даже... и честность. Но тогда вѣрилось и жилось хорошо. Вообще онъ мало зналъ жизнь; у него было мало знакомыхъ: знакомъ онъ былъ съ семействомъ Негодящева и съ семействомъ еще одного чиновника, Игната Васильевича Дорогова, съ купцомъ, у котораго училъ сына, да съ хозяйкой своей квартиры. Онъ жилъ товарищеской и университетской жизнью. Между тѣмъ, Молотовъ никогда не имѣлъ претензіи на ученую или художественную карьеру; ему придется дѣйствовать въ чисто практической сферѣ, одному, безъ друзей, безъ родни, безъ знакомыхъ, безъ яснаго сознанія цѣли въ жизни, но съ дѣтски-яснымъ взглядомъ на міръ божій. Какъ-то онъ будетъ жить въ людяхъ съ подобною подготовкою?

По окончаніи курса, Негодящевъ уѣхалъ въ губернію на службу. У Молотова отъ наслѣдства остались кое-какія крохи, и онъ нѣсколько времени промышлялъ въ столицѣ дешевыми уроками, и вотъ уже три мѣсяца живетъ у помѣщика, Аркадія Иваныча Обросимова.

Съ балкона барскаго дома открывается во всѣ стороны прекрасный видъ: деревня въ яблонныхъ и липовыхъ садахъ; направо, налѣво виднѣются еще деревушки; на горѣ церковь, отовсюду лѣса, пашни и луга; къ западу бѣжитъ рѣчка — небольшой притокъ Волги. Тишина стоитъ въ воздухѣ; природа облита заревомъ

вечерняго солнца. На балконѣ Егоръ Иванычъ Молотовъ и Елена Ильинишна Илличова — молодой человѣкъ и молоденькая, хорошенькая дѣвушка,—значитъ повѣсть начинается. Они смотрятъ на дорогу, на дорогѣ поднялась пыль, слышны голоса животныхъ, идетъ стадо съ поля; съ другой стороны шлепаетъ огромное стадо гусей и утокъ — все это повалило мимо барскаго дома. Леночка имѣла полное право сказать:

— Какая поэзія!... прелесть!...

Молотовъ молчалъ.

— Посмотрите же, Егоръ Иванычъ...

— Гдѣ поэзія? спросилъ онъ.

— Да вотъ—стадо.

Молотовъ усмѣхнулся.

— Ну, какіе вы! сказала Леночка.

— Что же!

— Тутъ чувство нужно, а нечего умничать.

Молотовъ уклонился отъ разговора о поэзіи. Онъ, не смотря на то, что былъ юноша двадцати двухъ лѣтъ, не часто говорилъ объ интимныхъ предметахъ и важныхъ матеріяхъ. «Говорить о такихъ вещахъ», думалъ онъ: «такъ говорить серьезно». А серьезно говорить приходилось рѣдко. Онъ боялся фразерства, и потому не проповѣдывалъ новыхъ идей, не кричалъ о прогрессѣ, рѣдко позволялъ себѣ нѣжныя слова и возвышенныя рѣчи, хотя въ университетскомъ кружкѣ, а особенно съ Андреемъ, онъ, бывало, спорилъ до слезъ и до глубокой ночи о томъ самомъ, о чемъ теперь онъ смалчивалъ. Онъ стѣснялся завести съ женщиной разговоръ о ея призваніи, о поэзіи, о любви; онъ никогда не былъ влюбленъ, читалъ о любви, слышалъ, размышлялъ о ней, но сознательно не понималъ любви и боялся наговорить о ней вздору. Онъ вообще не любилъ пѣть

съ чужого голоса, проповѣдывать заученное, кидаться изъ стороны въ сторону, находясь подъ вліяніемъ только-что прочитанной статейки. Заговоритъ, напримѣръ, о любви и кто нибудь обратится къ нему за мнѣніемъ, онъ всегда какъ-то съежится и неловко уклонится отъ отвѣта, не потому, чтобы считалъ разговоръ о такомъ предметѣ пустымъ или непріличнымъ, а по какой-то непонятной застѣнчивости, робости и стыдливости, хотя онъ не былъ тѣмъ, что называется «красною дѣвушкою». Боясь инстинктивно говорить о высокихъ предметахъ, онъ въ то же время не мастеръ поддерживать дамскій вздоръ и дребедень, хотя бы и не прочь отъ того: «что же, не все серьезное: наука, да искусство, да восходъ солнца»; а потому въ обществѣ держался ближе къ мужчинамъ и пожилымъ дамамъ. Самая фигура его показываетъ, что онъ созданъ не дамскимъ кавалеромъ. Егоръ Иванычъ былъ средняго роста, плотно сложенъ и широкъ въ плечахъ, нѣсколько сутуловатъ; его нельзя назвать красавцемъ, но выраженіе лица доброе, и въ сѣрыхъ, огромныхъ глазахъ свѣтился умъ; лобъ большой, ноздри широкія, крупныя губы плотно сжаты, подбородокъ выдался впередъ. Онъ казался мужественнѣе своихъ лѣтъ. Егоръ Иванычъ имѣлъ большія руки, сильныя и мускулистыя, съ толстыми пальцами и коротко остриженными на нихъ ногтями; ступня ноги была большая. Внѣшніе пріемы его были безъукоризненны: походка тяжеловата, съ переваломъ и крупными шагами; французскій языкъ зналъ, но имѣлъ плохое произношеніе, потому и воздерживался отъ этого элегантнаго діалекта; онъ смѣялся слишкомъ громко, стѣснялся при женщинахъ въ первую минуту, а потомъ говорилъ съ ними, какъ съ мужчинами, вставляя часто словцо, нетерпимое въ дамскихъ рѣчахъ.

Но онъ не былъ циникъ, былъ опрятенъ и чистоплотенъ, любилъ порядокъ и не мало сокрушался о своихъ внѣшнихъ недостаткахъ. Эти недостатки обнаруживались сами собою, особенно, когда онъ, увлекшись, не вытерпитъ и заговоритъ, какъ прежде, въ кружкѣ товарищей: тогда, въ монологахъ, его голосъ поднимался нѣсколькими нотами выше, но лишь только ему возражали, онъ выслушивалъ спокойно, отвѣчалъ хладнокровно, и чѣмъ болѣе направляли на него насмѣшекъ и остротъ, тѣмъ онъ становился хладнокровнѣе, замѣтно сдерживая себя и сосредоточиваясь. Онъ въ этихъ случаяхъ былъ очень деликатенъ, на остроты не сердился: смѣшно, такъ самъ смѣялся, но терпѣть не могъ, когда не давали человѣку высказываться. «Зачѣмъ говорить съ человѣкомъ, если его самого не выслушивать? онъ тогда ничего не пойметъ», и потому голосъ его тогда лишь поднимался, когда его была череда говорить. Онъ не любилъ горломъ брать. Однажды къ Обросимову заѣхалъ одинъ помѣщикъ, человѣкъ съ авторитетомъ и во всемъ околодкѣ считавшійся умнымъ. Онъ разговорился съ Молотовымъ, скоро попалъ на современную тему, взялъ молодого человѣка за пуговицу и цѣлый часъ развивалъ свои идеи. Молотовъ цѣлый часъ усиливался вставить свое слово; авторитетъ закричитъ: «помилуйте, какъ этого не понять?» Молотовъ продолжаетъ слушать, но лишь улучитъ минуту и вставитъ свое слово, помѣщикъ опять кричитъ: «помилуйте, какъ этого не понять?» и продолжаетъ сыпать снова. Наконецъ авторитетъ истощился и послѣднія слова его были: «кажется, ясно?» Молотовъ отвѣтилъ: — Ясно, но у меня есть *свои* возраженія. — «Помилуйте, какія же могутъ быть возраженія!»—Можетъ быть, неосновательныя, но если онѣ

останутся, то я все-таки... «Могутъ-ли они быть основательными?» перебилъ его помѣщикъ и перешелъ къ новой темѣ.— «Зачѣмъ же онъ говорилъ со мною?» думалъ Молотовъ и назвалъ въ душѣ его болваномъ, хотя помѣщикъ говорилъ не глупо и съ этимъ соглашался и Егоръ Иванычъ. Зато съ самимъ Егоромъ Иванычемъ говорить было легко... Леночка не первый день знакома съ Егоромъ Иванычемъ. Она часто бываетъ у Обросимова, своего крестнаго отца, и не разъ проводила время съ Молотовымъ; онъ тоже бывалъ въ гостяхъ у матери Илличовой. Леночкѣ случалось слышать, какъ Молотовъ, подавивъ въ себѣ застѣнчивость, увлекался разговоромъ. Она однажды прямо ему сказала: «я люблю, когда вы говорите», послѣ чего онъ постарался замять разговоръ. У Леночки и сегодня явилось невинное желаніе вызвать Молотова на разговоръ. Желаніе не исполнилось.

На балконъ вышелъ Аркадій Иванычъ съ дочерью, Лизаветой Аркадьевной. Лизавета Аркадьевна была женщина высокая, стройная, красивая. Она года полтора назадъ лишилась мужа, директора одного изъ петербургскихъ департаментовъ. Вдова пріѣхала къ отцу гостить весну и лѣто. Скоро вбѣжалъ на балконъ Володя, сынъ Обросимова, а наконецъ явилась и сама хозяйка, Марья Павловна. Аркадій Иванычъ предложилъ прогулку на водѣ; всѣ были согласны, и минутъ черезъ двадцать сидѣли въ лодкѣ. Молотова просили грести. Подъ его руками лодка пошла быстро. Рѣчка бѣжитъ среди липоваго лѣса и яблонь, отряхающихъ розовые цвѣты въ ея тихую воду.

— Вы устанете, замѣтила Марья Павловна.

— Ничего-съ, отвѣтилъ Молотовъ, и въ одинъ пріемъ подвинулъ лодку на полсажени.

— Я люблю быструю ѣзду, сказала вдова:—она—какъ все сильное, энергическое, выходящее изъ ряда обыденныхъ...

Въ это время лодка на поворотѣ рѣки обогнула уголъ и неожиданно изъ-за яблонь солнечные лучи ударили прямо въ глаза гребцу, что̀ заставило его опустить весла. Когда женскій страхъ прошелъ, всѣ стали смѣяться.

— Вамъ солнце мѣшаетъ, сказала Леночка, и защитила его зонтикомъ.

Леночка быстро овладѣла разговоромъ. Съ удивительною легкостію переходила она съ предмета на предметъ; разсказала, какъ она тонула однажды; что у нихъ новый дьячекъ; про козу свою разсказала; отъ козы перешла къ дядѣ, къ нянѣ, подругамъ; послѣ этого ей ничего не стоило заговорить о цвѣтахъ, о новомъ платьѣ; а чрезъ нѣсколько минутъ она говорила, что терпѣть не можетъ пауковъ и таракановъ, что она любитъ толстыя пѣнки на сливкахъ, клубнику и запахъ резеды. Черноглазая болтунья была неистощима. Лизавета Аркадьевна смотрѣла на Леночку пристально, наблюдала ее, *изучала*, какъ любила выражаться, нарочно вызывала на болтовню, причемъ и дѣлала тонкія ироническія замѣчанія. Егоръ Иванычъ видѣлъ, что Обросимовы объ Илличовой имѣли понятіе, какъ о дѣвочкѣ пустой и легкой. Только отецъ поддерживалъ свою крестницу и гостью и, казалось, понималъ ее иначе. Леночка не догадывалась, что надъ нею смѣются и съ намѣреніемъ заставляютъ говорить.

— Я завидую легкости вашего характера, сказала Лизавета Адкадьевна съ едва замѣтною улыбкою.

— Я веселая!... отвѣчала простодушно Леночка и при этомъ ударила въ ладошки.

Проѣхали еще около версты, и потомъ положили вернуться домой. Молотовъ повернулъ лодку; ее понесло внизъ по теченью. Онъ сложилъ весла.

— Папа, позвольте мнѣ править.

Обросимовъ уступилъ дочери руль. Она довольно вѣрно повела лодку. Когда доѣхали до деревни, гдѣ жила Леночка, она просила остановиться. Высадили ее на берегъ, простились и отправились дальше. Немного погодя, Лизавета Аркадьевна сказала:

— Кисейная дѣвушка!

— Лиза! началъ съ упрекомъ отецъ...

— Да что, папа! перебила Лизавета Аркадьевна: вѣдь жалко смотрѣть на подобныхъ дѣвушекъ—поразительная, жалкая пустота!.. Читали онѣ Марлинскаго,—пожалуй и Пушкина читали; поютъ: «всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ» да «стонетъ сизый голубочикъ»; вѣчно мечтаютъ, вѣчно играютъ... Ничто не оставитъ у нихъ глубокихъ слѣдовъ, потому что онѣ не способны къ сильному чувству. Красивы онѣ, но не очень; нельзя сказать, чтобъ онѣ были глупы... непремѣнно съ родимымъ пятнышкомъ на плечѣ или на шейкѣ... легкія, бойкія дѣвушки, любятъ сантиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у насъ этихъ бѣдныхъ, кисейныхъ созданій!...

— Ты Леночку не знаешь, сказалъ отецъ:—оттого и говоришь такъ. Она дѣвица очень добрая.

— Добрая? отвѣтила дочь съ досадою:—знаю, очень хорошо я это знаю. Онѣ всѣ у насъ добренькія: всегда спасутъ муху изъ паутины и раздавятъ паука.

— Я тебѣ совѣтую познакомиться съ нею покороче; тогда ты ее полюбишь...

— Я ее и теперь люблю, папаша; разумѣется, какъ можно ее любить... какъ птичку... какъ хорошень-

кій узоръ... не больше... Она не способна отвѣчать на привязанность глубокую, на страсть сильную...

— Держи отъ берега дальше, Лиза: тамъ очень мелко.

— Хорошо, папа... Скажите, чѣмъ можно привязать ее? подарить фунтъ конфектъ? шелковое платье?

— Жениха хорошаго, сказалъ Обросимовъ.

— Что, папа?

— Хорошаго жениха... только не дари ты ей портрета Жоржъ-Занда.

— Вы, пожалуй, правду сказали. Да, для этихъ дѣвушекъ одно спасенье въ женихѣ... Пока не замужемъ, онѣ мечтаютъ... вы думаете, объ идеалѣ? нѣтъ, о душкахъ, и между тѣмъ очень хорошо понимаютъ, что вся цѣль ихъ стремленій — женихъ, о чемъ и хлопочутъ мамаши и папаши... душка самъ по себѣ... Да и къ душкамъ своимъ эти дѣвушки имѣютъ какія-то странныя отношенія: онѣ не способны ни къ какому рѣшительному шагу, онѣ не полюбятъ безъ позволенія папаши.

— У ней, Лиза, нѣтъ отца.

— Все одно—мамаши.

— Мамаши она не боится, потому что командуетъ цѣлымъ домомъ. Какъ же это, Лиза, не зная человѣка, говорить о немъ? Могла ли ты такъ скоро понять Леночку?

— Она дала мнѣ три сеанса — этого довольно: ея портретъ я могу написать во весь ростъ... Я пыталась развить ее...

— Въ три сеанса?

— По крайней мѣрѣ понять, можетъ ли она развиться. Бываютъ натуры нетронутыя, а эти? кисейная дѣвица, дѣвица-душка!

— Лиза, вѣдь ты бранишься, сказалъ отецъ.

Лизавета Аркадьевна вспыхнула.

— Я знаю Леночку лучше тебя, продолжалъ Обросимовъ:—она умная и добрая дѣвица, только необразованная и держать себя не умѣетъ—въ этомъ не она виновата... Наконецъ, ты не имѣешь права говорить такъ рѣзко о Леночкѣ...

— Почему же, папа?

— Потому что ей женихъ нуженъ, пойми ты это.

— Фи, какія понятія!

— Самыя здравыя понятія. Вѣдь она не способна къ страсти глубокой? да? ты сама сказала, что для такихъ дѣвушекъ—одно спасенье въ женихѣ.... Такъ не сбивай же ее, пожалуйста, съ толку, не навязывай ей того, къ чему она не способна!.. зачѣмъ это?.. Оставь ты ее въ покоѣ... А то вѣдь «кисейная дѣвушка», «душка» —это такія выраженія, что могутъ испортить ея репутацію.

— Но, папа, могу же я имѣть свое понятіе о ней?

— Не совсѣмъ...

— Какъ такъ?

— О дѣвушкѣ не только мужчина, но и женщина должна выражаться осторожнѣе; между дѣвушкой и женщиной большая разница.

— Разумѣется, большая, дѣвушкѣ жениха нужно.

— Непремѣнно-съ...

— Отчего же, папа, послѣ этого не сказать и такъ: о мужчинѣ не только женщина, но и мужчина не долженъ говорить худо, потому что ему невѣста нужна?.. то же самое, папа!..

— Совсѣмъ не то, нисколько не похоже...Впрочемъ, Лиза, оставимъ этотъ разговоръ...

— Отчего же, папа?

— Ну, мнѣ непріятно продолжать разговоръ..: оставь, пожалуйста.

Лизавета Аркадьевна замолчала. Близко была Обросимовка.

— Этакъ говорить нельзя, прибавилъ отецъ: — и твоего Жоржъ-Занда можно на смѣхъ поднять.

— Вѣдь мы оставили, папа, этотъ разговоръ...

Отецъ замолчалъ. Лодка причалила къ берегу. Всѣ отправились домой. Но Обросимовъ не утерпѣлъ и прибавилъ еще.

— Тебѣ хочется жить по-своему, и другимъ хочется. Что тебѣ за дѣло до Леночки? пусть живетъ, какъ знаетъ.

— Ахъ, папа!.. это скучно, наконецъ, отвѣтила дочь.

Тѣмъ и кончили. Обросимовъ пошелъ съ женой и сыномъ, а Лизавета Аркадьевна подошла къ Молотову. Молотовъ былъ согласенъ съ принципами вдовы, но не хотѣлъ согласиться относительно Леночки. «Она, кажется, не такая», думалъ онъ: «если она не развитая, такъ развейте; не можете, нельзя, такъ не троньте». Такъ онъ съумѣлъ согласиться съ обоими спорившими...

— Какой чудный вечеръ! сказала Лизавета Аркадьевна, и, начавъ съ этого, она незамѣтно разговорилась, припомнила другіе вечера, проведенные ею нѣкогда въ Италіи; потомъ вспомнила Жоржъ-Занда, а тамъ перешла къ Татьянѣ Пушкина—Татьяну побранила за то, что она не отдалась Евгенію, который отъ того и погибъ. Много о чемъ говорила вдова... Егоръ Иванычъ больше молчалъ; Лизавета Аркадьевна не то, чтобы разговаривала съ нимъ, а больше поучала его, хотя онъ и не догадался о томъ. Когда они разстались,

Молотовъ подумалъ: «какая разница бываетъ между женщинами—Леночка и Лизавета Аркадьевна!... Положимъ, Илличова—кисейная дѣвушка, а эта? не знаю. Только съ каждымъ днемъ я убѣждаюсь, что попалъ къ добрымъ людямъ..»

Егоръ Иванычъ отправился на крыльцо. Здѣсь онъ сидѣлъ одинъ-одинешенекъ, опершись подбородкомъ на ладони и глядя на длинныя сѣдыя облака, которыя еле тянулись по небу... Настали сумерки; горитъ заревомъ лишь то мѣсто, гдѣ закатилось солнце... Онъ сидитъ, ни о чемъ не думая... Вѣтры утихли, спать легли; дневныя птицы молчатъ, а ночныя не подали еще своихъ голосовъ; одни насѣкомыя наполняютъ воздухъ жужжаньемъ, свистомъ и стрекотомъ, да кричатъ играющіе ребятишки — гдѣ это: у рѣки, иль на задахъ?.... Промычала корова... раздается плачъ ребенка: «ой, бойно, бойно; мамка, бойно!» — чего онъ плачетъ?.. Какіе-то неуловимые звуки, неопредѣленные! то будто шумъ пронесется въ воздухѣ; не было вѣтру, а вотъ покачнулась береза, въ ухѣ звенитъ... Все становится темнѣе и темнѣе... тихо... но вдругъ набѣгаетъ чуть замѣтный вѣтерокъ; онъ отсталъ отъ майскихъ братьевъ своихъ, а братья ушли туда, гдѣ спряталось солнце. Это онъ поднялъ изъ саду запахъ сиреней и тополей; отъ него, какъ мошки, полетѣли липовые цвѣты и осыпали дорогу, крыльцо и плечи Молотова. И сидитъ Егоръ Иванычъ, и глядитъ—чего онъ тутъ глядитъ? Онъ, отдаваясь безотчетно природѣ, сливается съ нею и въ свою очередь составляетъ одно изъ явленій ея. Вонъ старуха цѣлый часъ глазѣетъ изъ своей избушки и на Молотова, и на облака, и на кресты кладбищенскіе, и на туманную полосу рѣки на западѣ; и Обросимовъ глазѣетъ изъ своего окна;

и клича, вытянувъ шею и положивъ на изгородь морду, тоже глазѣетъ на все окружающее. Все сливается въ одну картину, въ единую жизнь природы, въ которой всякое мелкое явленіе, всякая былинка, звукъ, вздохъ и шорохъ поютъ, вмѣстѣ съ вами, что-то кроткое, тихое, душевное, благоуханное... Совсѣмъ сливаются предметы... По рѣкѣ, по горамъ встали длинныя, безобразныя, громадныя тѣни... Что это?... чудная птица, стоголосый соловей пустилъ надъ рѣкою свой яркій, сладострастный рокотъ. Долго поетъ прекрасная птица, а рѣка спитъ подъ темно-голубыми небесами, спитъ деревня, лѣса, поля и теплый воздухъ; заснули люди и животныя... и соловей задремалъ... тише... тише... Озноб пробѣжалъ по тѣлу; брежжетъ утро; загорается ранняя заря, а съ ней опять майская жизнь... Такъ совершаются въ природѣ майскія погоды, цвѣтутъ весеннія звѣзды, темно-голубыя и темно-синія ночи и первыя зори!.. Все это наше!.. Будемъ гулять, охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаемъ съ деревенскимъ аппетитомъ и заснемъ здоровымъ сномъ на сѣнникѣ... Вотъ и отжилъ день; онъ уже никогда не повторится въ жизни: не тѣ будутъ цвѣта и подробности, не тотъ смыслъ дня. Но жалѣть ли о немъ? Нѣтъ, пусть идетъ себѣ жизнь... А вѣдь хорошо жить на свѣтѣ?—хорошо. Ну, и пусть его хорошо.

Мы не сказали еще, зачѣмъ и на какихъ условіяхъ Молотовъ живетъ въ Обросимовкѣ. У Аркадія Иваныча была заматорѣлая тяжба, которую онъ непремѣнно хотѣлъ покончить — такъ или иначе; для этого дѣла ему нуженъ былъ человѣкъ, который бы слѣдилъ за тяжбою, ѣздилъ въ городъ, сносился съ чиновниками:

потомъ ему хотѣлось составить подробную вѣдомость своему имѣнію; потомъ надобно было привести довольно большую библіотеку въ порядокъ и составить ея каталогъ. Когда Молотову предложили заняться всѣмъ этимъ, за сорокъ рублей въ мѣсяцъ, причемъ предлагали готовый столъ и комнату, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ,—онъ отказывался совершеннымъ незнаніемъ судейскаго дѣла и деревенской статистики; но его успокоили, обѣщая поучить на первыхъ порахъ. Послѣ этого, Молотовъ, долго не думая, продалъ все, что было у него движимаго, оставивъ у себя только образокъ, которымъ благословилъ его воспитатель, портретъ его, нѣкоторыя книги и вещицы; сосчиталъ нѣсколько рублей въ портъ-моне — и покатилъ въ Обросимовку. Ему понравились и деревня, и обитатели деревни. Онъ живетъ здѣсь около трехъ мѣсяцевъ и успѣлъ познакомиться со всѣми. Особенно нравился Молотову самъ помѣщикъ; онъ былъ прекрасный хозяинъ, человѣкъ образованный, бывавшій за границею. Крестьяне называли его «отцомъ роднымъ» и благоденствовали сравнительно съ крестьянами другихъ помѣщиковъ. Въ числѣ болѣе полутысячи его крестьянъ можно было насчитать около двадцати, ни разу не бившихъ женъ своихъ, что, какъ извѣстно, не у насъ только рѣдкость. Наказывать женщинъ онъ строго запретилъ, считая это варварствомъ. Обросимовъ даже школу хотѣлъ завести, но какъ-то не собрался. Онъ слылъ отличнымъ сосѣдомъ-хлѣбосоломъ и отличнымъ семьяниномъ. Человѣкъ онъ былъ пожилой, съ красивымъ и умнымъ лицомъ — такія лица бываютъ у нѣкоторыхъ нашихъ баръ и именно баръ дѣловыхъ; спокойствіе, увѣренность въ своихъ достоинствахъ, степенность и привѣтливость разлиты были во всей его фигу-

рѣ. По крайней мѣрѣ, онъ такимъ представлялся Молотову.

Молотову легче было войдти въ свѣтъ, нежели другимъ образованнымъ юношамъ темнаго происхожденія. Онъ спрашивалъ себя: «гдѣ тѣ липы, подъ которыми протекло мое дѣтство?» и отвѣчалъ: «нѣтъ тѣхъ липъ!» Это много значило для него; онъ не былъ связанъ ни съ какою почвой. Посмотрите на большую часть людей, которыхъ судьба, такъ или иначе, выдвинула изъ среды своей, какъ они относятся къ средѣ. Какъ часто случается, что купеческій сынъ, получивъ образованіе, ненавидитъ свое сословіе: отвратительно для него купечество, всѣ купцы негодны и пошлы, и никогда не прибавитъ, что имъ трудно быть иными и что онъ не самъ собою, а чрезъ образованіе сталъ выше ихъ. Или вотъ иной помѣщикъ: выдернутъ его изъ степи, привезутъ въ столицу, обломаютъ его понятія, пересоздадутъ натуру барскую, научатъ совершенно иной жизни: какъ онъ потомъ относится къ степнякамъ своимъ? Послушайте вы семинариста, которому счастье благопріятствовало развиться лучше собратовъ своихъ: онъ золъ на долбню, фискальство, формализмъ и прочую чепуху, копившуюся въ родномъ гнѣздѣ вѣками... Всѣ они—и дворянинъ, и купецъ, и семинаристъ — отвернулись отъ своихъ собратій: «о, какъ тамъ пошло все!... дичь какая!» Откуда эта антипатія къ родной грязи, которую человѣкъ только-что успѣлъ отъ себя отскрести? Она понятна и законна. Какъ не возбудиться всей желчи, когда зло, понятое вами и отвергнутое, вы видите въ самыхъ дорогихъ вамъ людяхъ, въ томъ гнѣздѣ, гдѣ впервые узрѣли свѣтъ божій, гдѣ проснулся разумъ, заговорило чувство, воля попросила дѣлъ и работы? Отсюда для многихъ вытекаютъ нелѣ-

ныя положенія. Вотъ, напримѣръ, у откупщика, скопившаго тысячи при помощи мерзостей и подлостей, сынъ усвоиваетъ гуманныя начала современной жизни, и что же выходитъ? противны ему стѣны отцовскаго дома, а и жаль отца—вѣдь кровь родная!.. Вотъ и пойдетъ мысль ломанымъ путемъ, хочется, во что бы то ни стало, доказать, что незачѣмъ бичевать того, въ комъ зло совершается; что не лицо виновато, а законъ, обычай, форма, преданіе, сокъ и кровь житейскіе и народные; среда насъ заѣдаетъ, внѣшнія обстоятельства виноваты, дѣйствуютъ историческія причины... Но отчего же онъ? отчего другіе уцѣлѣли? — Неисходное положеніе!.. Молотовъ былъ происхожденія темнаго, мѣщанскаго, но счастливъ этотъ юноша: въ немъ не было разлада молодой жизни со старою, ему не пришлось жить въ сословіи, въ которомъ онъ родился; онъ говорилъ: «гдѣ тѣ липы, подъ которыми протекло мое дѣтство?—нѣтъ тѣхъ липъ». У Егора Иваныча никого и родни не осталось, и вышло такъ, какъ будто онъ и не былъ мѣщанскаго рода, хотя онъ и не думалъ отъ того отказываться. Онъ былъ счастливѣйшій homo novus. Все это дало ему особый отпечатокъ. Судьба, отстранивши отъ него борьбу, скрывши въ далекомъ младенчествѣ его мѣщанскую грязь, дала ему свѣтлый, невозмущаемый взглядъ на себя; держался онъ спокойно, ровно, съ достоинствомъ; чувствовалъ себя честнымъ и свободнымъ такъ же, какъ чувствовалъ себя физически-здоровымъ. Это же самое дало ему надежду на людей; онъ былъ снисходителенъ, онъ былъ оптимистъ и любилъ приникать къ доброй сторонѣ жизни, повсюду отыскивая искру божію. Зачѣмъ же онъ говорилъ: «гдѣ тѣ липы, подъ которыми протекло мое дѣт-

ство?» и съ грустью отвѣчалъ: «нѣтъ ихъ!» Но это была минутная грусть и минутное раздумье.

Однако, оправдывался ли его оптимизмъ? вѣдь онъ жилъ въ чужихъ людяхъ. Положеніе человѣка, живущаго въ чужой семьѣ, въ качествѣ ли учителя, секретаря, компаньона, приживальщика, въ большей части случаевъ, стѣснительное, зависимое отъ нанимателя и кормильца. «Я тружусь, слѣдовательно независимъ, самъ себя знаю и ни передъ кѣмъ не хочу гнуть спины» — такая истина рѣдко имѣетъ смыслъ въ нашихъ обществахъ. Протекцію, деньги, поклоны, пронырство, наушничество и тому подобныя качества надобно имѣть для того, чтобы добиться права на трудъ; а у насъ хозяинъ почти всегда ломается надъ наемникомъ, купецъ надъ прикащикомъ, начальникъ надъ подчиненнымъ, священникъ надъ дьячкомъ; во всѣхъ сферахъ русскаго труда, который вамъ лично деньги приноситъ, подчиненный является нищимъ, получающимъ содержаніе отъ благодѣтеля хозяина. Изъ этихъ экономическихъ, чисто-русскихъ, кровныхъ началъ нашихъ вытекаетъ принципъ національной независимости: «ничего не дѣлаю, значитъ — я свободенъ; нанимаю, значитъ — я независимъ»; тотъ же принципъ, иначе выраженный: «я много тружусь, слѣдовательно рабъ я; нанимаюсь, слѣдовательно чужой хлѣбъ ѣмъ». Не трудъ насъ кормитъ—начальство и мѣсто кормитъ; дающій работу—благодѣтель, работающій — благодѣтельствуемый; наши начальники—кормильцы. У насъ самое слово «работа» происходитъ отъ слова «рабъ», хотя странно,—мы у Бога не рабы, а дѣти. Вотъ отсюда-то для многихъ очень естественно и законно вытекаетъ презрѣніе къ труду, какъ признаку зависимости, и любовь къ праздности, какъ имѣющей авторитетъ

свободы и человѣческаго достоинства. Существовалъ ли экономическій національный законъ въ отношеніяхъ Обросимова къ Молотову? Если да, то какъ же Егоръ Иванычъ могъ сохранить свѣтлый, невозмущаемый взглядъ на себя? Въ томъ-то и сила, что скорѣе не существовалъ, хотя и нельзя сказать этого вполнѣ категорически, потому что когда же наниматель, хотя отчасти, не считаетъ себя кормильцемъ? Но уже и то хорошо, что экономическій законъ дѣйствовалъ слабо, не замѣтно. Здѣсь скорѣе дѣйствовалъ какой-то другой законъ. Обросимовъ относился къ Молотову почти какъ къ равному, ласково, добродушно, благодарилъ за всякую услугу, иногда совѣтовался съ нимъ по какому нибудь дѣлу, вводилъ въ свои интересы, такъ что Молотову казалось, что будто онъ не чужой въ семьѣ. Онъ не сразу дошелъ до такого убѣжденія, боялся навязываться и напрашиваться въ «свои люди» въ чужую семью; но помѣщикъ, какъ нарочно, давалъ ему случай оказывать себѣ услуги разнаго рода и чрезъ то сближаться съ нимъ. Молотовъ, посѣщая фабрику Аркадія Иваныча, въ которой, разумѣется, онъ не много смыслилъ, успѣлъ какъ-то замѣтить нѣкоторыя продѣлки управляющаго и сообщилъ о нихъ Обросимову. То была важная услуга, потому что помѣщикъ успѣлъ спасти при этомъ порядочный капиталъ. Молотову были благодарны. Однажды Егоръ Иванычъ спросилъ: отчего это Володя не учится: ему сказали, что Володя учился, но теперь учителя нѣтъ. Жена Обросимова при этомъ выразила опасеніе, что мальчикъ многое перезабудетъ и ему опять придется начинать снова. Егоръ Иванычъ съ своей стороны выразилъ сожалѣніе, что не имѣетъ особенныхъ педагогическихъ способностей и что хотя и давалъ уроки въ столицѣ, но не по

призванію. Однако вышло же такъ, что онъ самъ предложилъ заняться нѣкоторыми предметами съ Володей, пока не найдутъ учителя, за что Обросимовы опять ему были благодарны. Такъ существовалъ ли здѣсь національный экономическій законъ? Напротивъ, едва ли не наниматель былъ въ большей зависимости отъ нанимающагося. Всѣ были ласковы и любезны съ Молотовымъ. Въ деревнѣ люди сближаются скоро, и Егоръ Иванычъ, мало по малу оставивши осторожность и боязнь навязаться чужимъ людямъ, сталъ незамѣтно для самого себя втягиваться въ семейную жизнь Обросимовыхъ; чужія заботы дѣлались его заботами, точно онъ былъ членъ семейства. Съ Обросимовыми онъ ѣздилъ къ сосѣдямъ въ гости, и со многими изъ нихъ познакомился. Плебейское происхожденіе пока не смущало Молотова. Ничто не тревожило его гордости. Онъ былъ молодъ, надеждъ впереди много, и, значитъ, Егоръ Иванычъ вполнѣ наслаждался жизнью.

И вотъ Молотовъ, сынъ столицы, который родился и выросъ въ ней, который жилъ въ огромныхъ каменныхъ домахъ, никогда не видалъ деревни, не видалъ весны во всемъ ея цвѣтѣ и прелести, не зналъ и семейной жизни, — онъ теперь въ деревнѣ, среди приволжской природы, въ доброй, по убѣжденію его, семьѣ... Поле, рѣка, лѣсъ, деревенскій воздухъ, полная свобода — все это давало Молотову еще не испытанныя имъ впечатлѣнія. Миріады невиданныхъ предметовъ представлялись его любопытству, и на первыхъ порахъ глаза его разбѣгались. Онъ впервые видѣлъ, какъ сѣютъ хлѣбъ, садятъ капусту, какъ распускается цѣлый лѣсъ, ползетъ и лѣзетъ трава изъ земли, какъ сразу цвѣтетъ вся окрестность, какъ живетъ деревенскій обыватель. Съ изумленіемъ останавливался

молодой человѣкъ, когда высоко въ воздухѣ неслись гусиныя стада; иногда онъ долго прислушивался въ лѣсу къ шелесту листьевъ, голосамъ птицъ и насѣкомыхъ, ко всему лѣсному движенію. Онъ съ жадностью всматривался въ невиданную имъ доселѣ жизнь и природу. Во всемъ этомъ рѣзко выдавалась одна сторона его характера. — У насъ есть типъ особаго рода людей, живыхъ, подвижныхъ, вѣчно занятыхъ, типъ человѣка хлопотливаго, который все замѣчаетъ, которому все надобно знать. Случалось ли вамъ встрѣчать людей, у которыхъ, что вы ни спросите, они на все отвѣтятъ вамъ; заговорите съ ними о разныхъ замѣчательныхъ лицахъ, о картинѣ, о цѣнѣ на какую угодно вещь, гдѣ и какъ добыть тотъ или другой продуктъ, о томъ, что и вычитать нельзя и о чемъ говорятъ за угломъ и потихоньку, что угодно,—все до нихъ какъ-то дойдти успѣло. У людей такого рода много знакомыхъ, въ жизни ихъ множество случаевъ, потому что они всюду носъ суютъ. Понятно, что въ полномъ развитіи этотъ типъ встрѣчается въ людяхъ пожилыхъ; иначе не можетъ быть по самому свойству его. Такіе люди вообще пользуются у насъ уваженіемъ, хотя не скроемъ, что изъ нихъ большею частію выходятъ пройдохи, народъ ловкій, умѣющій отовсюду извлечь высшій процентъ. Въ нихъ выразилась практическая сила. Молотовъ былъ застѣнчивъ и неловокъ, противъ чего онъ боролся сильно; такой недостатокъ иногда мѣшалъ ему сходиться съ людьми; потомъ, онъ образованія реальнаго не получилъ; но въ немъ все-таки были задатки типа, рекомендованнаго нами читателю. Очевидно, пройдохой его назвать нельзя, но съ другой стороны, трудно опредѣлить смыслъ его дѣятельности, самой разнообразной и неутомимой. Его постоянно мо-

жно видѣть наблюдающимъ на полѣ, на фабрикѣ, въ городѣ, столярной, въ мужицкой избѣ, на рѣкѣ, въ лѣсу; онъ умѣетъ рѣзать, точить, пилить, нѣсколько рисуетъ; техническія занятія онъ всегда любилъ, хотя до всего приходилось ему доходить самому, потому что его не учили никакому мастерству. Загляните въ его комнату: чего тутъ нѣтъ! модели, картины, книги, экземпляры изъ гербаріума, инструменты разнаго рода, цвѣты, скрипка, ноты, даже ружье, которымъ онъ не умѣетъ владѣть, но положилъ непремѣнно выучиться. Иногда онъ берется за дѣло, которое совсѣмъ не по его способностямъ. Такъ онъ любилъ музыку, но самъ не можетъ быть музыкантомъ; однако, не смотря на то, что у него пальцы онѣмѣли надъ грифомъ и струнами, онъ все-таки хотѣлъ добиться своего. По большей же части все ему какъ-то удавалось. Это натура упругая и терпѣливая, что выражалось въ самой фигурѣ Егора Иваныча. Многоталантливость и неугомонность дались ему отъ природы; такія качества не пріобрѣтешь, не сдѣлаешь, не купишь, это даръ врожденный, — хотя и странно, что вся дѣятельность Молотова была безъ всякой наперед заданной мысли, безъ опредѣленной цѣли: ему просто хотѣлось все знать и все сдѣлать — вотъ такъ, какъ вамъ ѣсть хочется; то была дѣятельность безъ принципа, потребность натуры, «комплекція такая». Одно ясно, Молотовъ еще не опредѣлился; его натура нетронутая; мы видимъ въ немъ пока одну силу безъ приложенія; его нельзя назвать практическимъ человѣкомъ; вся его дѣятельность есть ничто иное, какъ любознательность, продолженіе учебнаго курса; онъ въ настоящую минуту скорѣе идеалистъ, только съ практическими задатками для будущаго. Его все занимаетъ: и повѣрье старой бабы, и рецептъ

деревенскаго лекарства, и пѣсня Варламова, и разсказы объ Италіи, и разсада капусты, и критическая статья въ журналѣ. Онъ еще не сформировался, не получилъ полный, законченный образъ. Изрѣдка онъ задумывается о родѣ службы, но мысль о ней какъ-то недолго удерживается въ его головѣ. Она всегда заканчивалась разсужденіемъ: «еще успѣю, вѣдь мнѣ всего двадцать два года».

Егоръ Иванычъ всталъ поутру бодрый, свѣжій; купанье окончательно поставило его на ноги. Онъ часто, въ свободное время, отправлялся въ походъ, путешествовалъ по лѣсамъ и полямъ, ѣздилъ по рѣкѣ, посѣщалъ сосѣднія деревни. Его занятія не опредѣлялись извѣстнымъ часомъ; иногда онъ занимался по дѣламъ помѣщика цѣлые дни, почти безъ отдыха, ѣздилъ въ городъ, копался въ библіотекѣ, разбиралъ бумаги, ходилъ къ прикащику, священнику, составлялъ вѣдомости; иногда же выдавалось у него много свободнаго времени. Сегодня онъ на лодкѣ отъѣхалъ версты двѣ съ половиной и остановился у лѣса, гдѣ онъ вчера замѣтилъ одно мѣсто и хотѣлъ теперь съ него снять видъ. «Значитъ, онъ хорошо рисуетъ», спроситъ читатель: «когда рѣшается снимать видъ съ натуры?» Онъ не художникъ, однако набросать видъ можетъ, рисуетъ только для себя, искусство пріобрѣтено имъ для домашняго обихода; онъ учился рисовать, чтобы умѣть сдѣлать картинку, и сегодня онъ пріѣхалъ сдѣлать картинку. Но вотъ та же лужайка и тотъ же ручей, та же группа дубовъ, осинъ и кустарника, но не тотъ видъ; — при другомъ освѣщеніи онъ принялъ иную физіономію. Молотовъ привязалъ къ кусту лодку и отправился по лужайкѣ въ лѣсъ. Безъ всякой думы и заботы гулялъ онъ, какъ, бывало, мы гуляли съ вами на каникулахъ, пере-

прыгивалъ чрезъ пни и кочки; то кричитъ во все горло, и эхо откликается далеко въ лѣсу, то разсматриваетъ какую нибудь невиданную имъ траву; или вотъ остановился онъ надъ муравейникомъ, безъ всякой жалости разрылъ его и смотритъ съ любопытствомъ ребенка на возню насѣкомыхъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ ни что иное, какъ большой ребенокъ, поучившійся и кончившій курсъ хорошо. При немъ оставалась юность; не прошли еще тѣ беззаботные, медовые мѣсяцы юности, которые не во всякой жизни и бываютъ, о которыхъ иной и понятія не имѣетъ, а развѣ только читывалъ въ книжкахъ, пастораляхъ разныхъ и идилліяхъ: это то время въ жизни человѣка, когда онъ развился, взрослый совсѣмъ, а доброта и вѣра въ людей у него не тронута, когда онъ еще зла не позналъ,—все передъ нимъ розово и свято, и въ будущемъ ясно. Хороши эти медовые мѣсяцы, но большая часть людей не вѣритъ въ нихъ, говоритъ, что ихъ поэты выдумали. Мы нынѣ рано узнаемъ подлость и пошлость житейскую, едва не въ пеленкахъ обличаемъ и протестуемъ, все поражено ироніей и смѣхомъ сквозь слезы. Неподдѣленъ этотъ смѣхъ, законенъ, изъ души онъ идетъ — но легче-ль отъ того? Егоръ Иванычъ еще не позналъ подлости и пошлости житейской. Изъ кабинета своего профессора, гдѣ жила наука и куда жизнь заглядывала рѣдко, онъ не видѣлъ людей. Онъ зналъ своихъ учителей и профессоровъ, которые читали такія прекрасныя лекціи, нѣсколькихъ товарищей, два-три семейства — все это были прекрасныя личности; онъ слышалъ, какъ одни говорили хорошо, и видѣлъ, какъ другіе жили хорошо. Откуда же ему было почерпнуть мрачный взглядъ? Кто мало видѣлъ добра, тотъ не вѣритъ въ него, тому приходится выдумывать, вычитывать добро; кто видѣлъ

мало зла, тотъ тоже говоритъ о немъ по наслышкѣ, да и говоритъ рѣдко, потому что насъ занимаетъ только то, что мы знаемъ и испытали сами. Онъ началъ курсъ ученія двѣнадцать лѣтъ тому назадъ. И тогда знали, что борьба неизбѣжна, но не знали, какъ она трудна.— «Насъ много», думалъ Молотовъ, окидывая взоромъ аудиторію; «и тамъ нашихъ много», думалъ онъ, вспоминая профессора-бабушку, его ученыхъ гостей и нѣсколькихъ добрыхъ знакомыхъ. Не думалось ему тогда: «насъ много, а тамъ, за порогомъ университета и кабинета ученаго, безконечно больше: насъ тысяча, тамъ тьма»... Вотъ онъ и вышелъ въ свѣтъ большимъ ребенкомъ, и стоитъ теперь онъ надъ муравейникомъ, и осклабляется весело. Правда, онъ слышалъ, что въ чужихъ людяхъ, даже добрыхъ, жизнь не всегда весела, «но что же они могутъ мнѣ сдѣлать?» думалъ онъ: «денегъ не отдадутъ? сдѣлаютъ какую нибудь несправедливость?... велика важность!... въ одинъ день можно собраться и уйдти». И эти мысли посѣтили его на время, когда онъ сбирался изъ столицы къ помѣщику; но, проживши немного времени въ деревнѣ, онъ и Обросимова, и семью его причислилъ къ тѣмъ «многимъ», къ которымъ онъ самъ принадлежалъ. Что же можетъ смущать его? И вотъ онъ кричитъ на весь лѣсъ, и веселъ, и спокоенъ, и живется ему безъ сомнѣнія, просто и легко.

Егоръ Иванычъ вышелъ на лужайку и на ней увидѣлъ двѣ небольшія могилки. Это заняло его. «Кто бы тутъ похороненъ былъ?» думалъ онъ: «какъ странно— въ лѣсу!» Оглянувшись кругомъ, онъ увидѣлъ, что его отвсюду окружаетъ лѣсъ. Недолго думая, онъ взлѣзъ на самое большое дерево и отсюда разсмотрѣлъ дорогу. Онъ вышелъ на дорогу и, заслышавъ бабьи голоса,

пошелъ на нихъ. Показались три бабы. Старшая тараторила что-то. Молотовъ обратился къ старшей.

— Тетушка! крикнулъ онъ.

Бабы оглянулись, отвѣсили по низкому поклону, въ полспины, какъ обыкновенно дѣлаютъ деревенскіе простолюдины, встрѣчая всякаго одѣтаго по-барски.

— Чего тебѣ, батюшка? спросила старшая.

— Не знаешь ли, тетушка, чьи тамъ могилки?

— Гдѣ это, баринъ, могилки?

— Вотъ тутъ и есть на рѣкѣ, у лужайки.

— А! вскрикнула баба: — есть могилки, есть... это Мироновы дѣтки... двое померло...

— Отчего же они тамъ похоронены?

— Кто?.. дѣтки-то?—а некрещены померли.

Она подняла глаза къ небу, вздохнула и, сказавши: «Господи помилуй, Господи помилуй», понурила голову. Но вдругъ лицо ея оживилось и она заговорила:

— Извѣстно, некрещеное дитя да померло,—это все одно, что дерево... Гдѣ ни закопай, все равно... Въ немъ и духу нѣтъ... это ужъ такой человѣкъ... безъ духу онъ родится... паръ въ немъ.... Этаконького и не окрестишь, такъ и помретъ... Богъ не попуститъ, нѣтъ...

— Откуда жъ ты взяла, что въ некрещеномъ духу нѣтъ? спросилъ Молотовъ.

— А чего жъ христіанское дитя да безъ крещенія помираетъ? развѣ можно? не можно... Иной и вовсе мертвинькой родится... у этого и пару нѣтъ... Некрещеное дитя, такъ знать, и родится не святое дитя.

Баба развела руками и замолчала. Подивился Молотовъ бабьему смыслу.

— Прощай, тетушка, спасибо, сказалъ онъ.

— Прощай, батюшка.

Еще болѣе подивился Молотовъ бабьему смыслу, когда послѣ оказалось, что повѣрье о некрещеныхъ дѣтяхъ у бабы было чисто личное, что оно въ деревнѣ никому неизвѣстно. Ему попалась баба-поэтъ, баба-мистикъ. Можетъ быть, ей самой до сихъ поръ не приходилось объяснять себѣ непонятную для нея судьбу нѣкоторыхъ дѣтей, и вотъ, лишь только пришелъ ей въ голову вопросъ о дѣтяхъ, она, не желая оставаться долго въ недоумѣніи, сразу, при помощи своего вдохновенія, миновала всѣ противорѣчія мгновенно и создала миѳъ. И очень можетъ быть, что этотъ миѳъ переползетъ въ другія семьи, къ сосѣдямъ и знакомымъ, и черезъ тридцать-сорокъ лѣтъ явится новое мѣстное повѣрье, и догадайтесь потомъ, откуда оно пошло. Не одна старина запасаетъ предразсудки, они еще и нынѣ создаются. Удивительно то чувство, съ которымъ простолюдинъ относится къ природѣ: оно непосредственно и создаетъ миѳъ мгновенно.

Легкая грусть напала на Молотова. Онъ задумался и пошелъ медленно назадъ.... Неужели судьба дѣтей опечалила его?... Но во всякомъ случаѣ, то была пріятная грусть, которую жаль согнать съ души. Онъ вздохнулъ, легъ на траву и долго задумчиво смотрѣлъ на небо, голубое-голубое, какъ дѣтскіе голубые глаза. Онъ слѣдилъ за полетомъ золотистыхъ облачковъ, которыя тянулись по небу. Неужели онъ думалъ: «куда это бѣгутъ облака?»—Вѣдь это ребячество. Улыбнулся онъ задумчиво... Но вдругъ раздался трескъ сухого дерева. Молотовъ не могъ понять причину звука, всталъ на ноги и осмотрѣлся кругомъ. Потомъ пошелъ отыскивать лодку; пора было домой. Когда онъ, на возвратномъ пути, проѣзжалъ мимо Илличовки, то увидѣлъ, какъ дѣвушка какая-то, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ,

порхнула между кустами и быстро скрылась. — «Кажется, Елена Ильинишна», подумалъ Молотовъ. Ему вспомнился вчерашній разговоръ... «Что это въ самомъ дѣлѣ за дѣвушка?» думалъ онъ: «не знаю я ихъ. Только, кажется, Лизавета Аркадьевна ошиблась». Егора Иваныча не долго занималъ этотъ вопросъ. Онъ вдругъ налегъ на весла и сталъ работать ими, что есть силы. Лодка полетѣла быстро, вода шла вьюномъ отъ веселъ и щелкала въ бока. Молотовъ вернулся домой къ обѣду.

Послѣ обѣда, въ комнату Егора Иваныча вошелъ Обросимовъ.

— Какъ ваши занятія идутъ? спросилъ онъ.

— Съ библіотекою кончилъ, отвѣчалъ Егоръ Иванычъ.

— Совсѣмъ нынѣ отсталъ отъ ученаго дѣла, говорилъ Обросимовъ. — Вотъ уже лѣтъ десять, какъ у меня такъ и валятъ книги и журналы безъ всякаго порядка... Не нашли ли еще чего нибудь интереснаго?

— Нѣтъ, Аркадій Иванычъ, не нашелъ...

Надо замѣтить, что Молотову удалось отыскать между разнымъ хламомъ дневникъ, веденный дѣдомъ Обросимова.

— Тамъ еще на чердакѣ есть шкафъ съ книгами, да по чуланамъ и подваламъ надобно посмотрѣть; я увѣренъ, что тамъ есть кое-какіе клочки.

— Я посмотрю, отвѣчалъ Молотовъ.

— Вы, пожалуйста, Егоръ Иванычъ, очень не безпокойтесь, не торопитесь, вѣдь дѣло не къ спѣху.... Теперь гулять надобно.

— Какой у васъ прекрасный лѣсъ, Аркадій Иванычъ; я сегодня гулялъ въ немъ...

— Здѣсь прежде были заповѣдные лѣса съ непро-

ходимыми чащами, медвѣдями и разбойниками... Что̀ дубу одного было.... теперь совсѣмъ не то, что прежде.

Но Молотовъ замѣтилъ, что у Обросимова есть что-то на умѣ, что онъ не договариваетъ.

— Вотъ намъ и гулять некогда, говорилъ Обросимовъ: — заботъ полны руки, посѣвы, по фабрикѣ работы... да что, совсѣмъ закружился... книги давно не держалъ въ рукахъ... Хотѣлъ отыскать одну статейку въ газетахъ... крайне необходимо... до сихъ поръ не могъ собраться...

— Не угодно ли, Аркадій Иванычъ, я отыщу?

— Вѣдь листовъ двѣсти придется перебрать.

— Помилуйте, у меня много свободнаго времени...

— Очень благодаренъ вамъ...

— Позвольте узнать заглавіе статьи.

— Кажется, о компостѣ... только знаю, что объ удобреніи. Видите, вамъ не мало будетъ работы, я даже и заглавія подлиннаго не помню.

— Я подобныя заглавія всѣ выпишу...

— Благодарю васъ... Э, да что это у васъ? спросилъ Обросимовъ, перемѣняя разговоръ.—Никакъ тутъ вся усадьба старосты Мирона?

Дѣло въ томъ, что Молотовъ давно уже ходилъ въ крестьянскую избу, вникалъ въ ея постройку, матеріалы, службы ея, считалъ бревна, доски и жерди, и потомъ сдѣлалъ модель избы точь въ точь, со всѣми ея подробностями...

— Подождите, я и до фабрики доберусь, отвѣчалъ Молотовъ...

— Она къ вашимъ услугамъ... Однако у васъ врожденный талантъ...

Молотовъ показалъ ему еще разныя вещицы сво-

его издѣлія. Въ это время вошла въ комнату Лизавета Аркадьевна.

— Егоръ Иванычъ, я къ вамъ съ маленькой просьбой, сказала она.

Молотовъ поклонился.

— Вы будете такъ добры, что перепишете мнѣ вотъ эти ноты.

— Позвольте узнать, что это?

— Пѣсни Варламова.

— Я и себѣ спишу...

— Благодарю васъ. Впрочемъ, можетъ быть...

— О, пожалуйста, не стѣсняйтесь...

Когда Молотовъ остался одинъ, онъ подумалъ: «вотъ какой вѣдь деликатный человѣкъ этотъ Обросимовъ... Право, преблагородно съ его стороны, что онъ такъ просто обращается ко мнѣ съ просьбами своими.» Послѣ обѣда Егоръ Иванычъ занялся отысканіемъ статьи. Но статья не попадалась сразу.

Часу въ пятомъ Володя вбѣжалъ въ комнату Егора Иваныча.

— Что вамъ угодно? спросилъ его Молотовъ.

— Письмо къ вамъ, отвѣчалъ Володя...

— Не Андрей ли пишетъ? проговорилъ Егоръ Иванычъ. Онъ хотѣлъ посмотрѣть на адресъ, но, къ удивленію своему, адреса не нашелъ. — «Не отъ него же», подумалъ онъ и сломалъ печать. Краска бросилась въ лицо Егора Иваныча, когда онъ прочиталъ письмо.

— Кто принесъ письмо?

— Мальчикъ какой-то.

— Гдѣ онъ?

— Онъ ушелъ... Но если онъ вамъ очень нуженъ, папа велитъ отыскать его...

— Нѣтъ, Володенька, не нужно...

— Вы, Егоръ Иванычъ, хотѣли мнѣ змѣя сдѣлать...

— Сдѣлаю, Володенька, а теперь позвольте мнѣ остаться одному.

Володя ушелъ. Егоръ Иванычъ прочелъ еще разъ письмо. Замѣтно было, что онъ сильно взволнованъ и озадаченъ. Онъ ничего подобнаго не читалъ во всю жизнь свою. Вотъ письмо:

«Егоръ Иванычъ!

«У васъ есть чувство, и вы завтра въ 6 часовъ придете на рѣку къ мельницѣ вечеромъ, и здѣсь встрѣтите даму, и если любите, узнаете ее, и если нѣтъ, я останусь по гробъ вѣрная вамъ и любящая.»

Письмо безъимянное; оно, какъ холодной водой, обдало Молотова. «Что это такое?» думалъ онъ: «кто эта по гробъ вѣрная и любящая?» По сосѣдству не мало было дѣвицъ, которыхъ онъ зналъ, но всѣ онѣ очень мало знакомы ему. «Развѣ Елена Ильинишна?» пришло ему въ голову: «да нѣтъ, не можетъ быть, съ какой стати? Не сдѣлаетъ она этого...» Молотову невѣроятнымъ казалось, чтобы, какая бы то ни было, дѣвица рѣшилась сама назначить свиданіе мужчинѣ, и потому онъ подумалъ, не написалъ ли кто нибудь письма нарочно, для мистификаціи. Но рука была женская, и притомъ некому надъ нимъ шутить. Онъ терялся въ недоумѣніи. «Какъ же это можно?» говорилъ онъ и перечитывалъ письмо. Письмо не давало отвѣта. Интрига не представлялась ему въ привлекательномъ видѣ; онъ не привыкъ къ интимностямъ подобнаго рода;

самая форма дѣла казалась ему такъ эксцентрична; онъ отчасти трусилъ, отчасти ему просто было стыдно. Егоръ Иванычъ былъ крайне неопытенъ. До сихъ поръ онъ еще не цаловалъ ни одной женщины, и теперь спрашивалъ себя: «какъ тутъ быть? — Андрей все бы это разъяснилъ, онъ знаетъ. Нужно идти, или нѣтъ? Что изъ всего этого выйдетъ?» Ему нуженъ былъ авторитетъ, учитель, книга, которая пояснила бы непонятный случай. Но прошло нѣсколько времени, онъ — будь Андрей подлѣ него — пожалуй и не сказалъ бы о письмѣ своему другу. Этотъ случай, представлявшійся ему въ такомъ неблаговидномъ свѣтѣ, мало по малу получалъ иные оттѣнки. Его любопытство было раздражено, и хотя литературныя достоинства письма охлаждали его, но слово «любящая», первый разъ въ жизни коснувшись его уха, дѣйствовало на него волшебнымъ образомъ... Онъ начиналъ увлекаться; но, вглядываясь въ буквы, изображенныя амуромъ приволжскимъ, онъ ощущалъ какую-то притворность въ сердцѣ, и вдругъ съ чего-то припоминалась ему одна актриса въ сюртучкѣ и панталонахъ, игравшая роль молодого мужчины на Александринскомъ театрѣ. Странная смѣсь и бореніе чувствъ поднимались въ душѣ Молотова при этомъ интимно-комическомъ случаѣ. Воображеніе его не можетъ оторваться отъ письма, и вотъ, помимо всей любовной дряни, оно создаетъ какой-то прекрасный образъ, и не одинъ, а нѣсколько—и всѣ они льнутъ къ нему, толпятся въ воздухѣ, летаютъ, ласкаютъ его; но лишь только появляется среди нихъ «по гробъ вѣрная и любящая», пропадаютъ всѣ граціозные образы. — «Что же это будетъ?» говорилъ Молотовъ вслухъ. Онъ берется за газеты, чтобы отыскать статью о компостѣ или какомъ

нибудь другомъ удобреніи, но между газетными строками укладываются другія строки и мѣшаютъ изысканіямъ. Сталъ что-то строгать, обрѣзалъ палецъ. Тогда онъ бросилъ все, и рѣзьбу, и компостъ. Онъ пошелъ въ садъ, изъ саду вышелъ безсознательно на улицу, спустился подъ гору и очутился у рѣки. — «Зачѣмъ меня сюда занесло?» спросилъ себя Молотовъ, а самъ какъ будто хотѣлъ угадать, кто завтра придетъ на это мѣсто. Онъ вернулся домой, разбирая со всѣхъ сторонъ интимно-комическій фактъ, предъявленный ему амуромъ приволжскимъ. Молотовъ увлекался.

Пили чай на балконѣ. Былъ прекрасный вечеръ. Теперь наступили постоянныя погоды.

— Садитесь поближе, сказала хозяйка.

Егоръ Иванычъ не дослышалъ. Онъ сидѣлъ, облокотившись на перила, и смотрѣлъ на рѣку...

— Егоръ Иванычъ, поближе садитесь, повторила хозяйка.

Молотовъ подвинулся и взялъ стаканъ. Въ улицѣ тамъ и сямъ выѣзжали крестьяне съ боронами. Опять, какъ и вчера, повалило стадо. Какъ и вчера, тишь и благодать въ воздухѣ. Но все то же, да не то; и въ пѣніи птицъ, и въ ворчаніи самовара, и въ легкомъ плескѣ рѣки, и въ воздухѣ, и въ отдаленныхъ голосахъ, для Егора Иваныча пронеслось какое-то новое движеніе, какъ будто съ души его поднялось что-то, и вмѣстѣ съ вечерними тѣнями покрыло и рѣку, и садъ, и кладбище. Къ Молотову обратились съ вопросомъ. Онъ не-къ дѣлу отвѣтилъ:

— Не знаю, хорошо ли.

— О чемъ вы говорите? спросили его.

— О нотахъ.

Всѣ засмѣялись.

— Что это съ вами, Егоръ Иванычъ, сказала Лизавета Аркадьевна:—о чемъ вы думаете?

Егоръ Иванычъ покраснѣлъ.

— Ужь не влюбились ли вы? спросила она, при чемъ отецъ посмотрѣлъ на нее сердито.

— Пожалуй, вы и угадали, отвѣтилъ довольно храбро Молотовъ: — только я и самъ не знаю, въ кого.

— Это прекрасно; въ незнакомку, значитъ?

— И незнакомки нѣтъ...

— Такъ не въ портретъ ли чей-нибудь?

— И портрета нѣтъ.

— Что жъ, вы выдумали, что ли, какую красавицу и теперь видите ее въ воздухѣ? Но вы, кажется, такой солидный человѣкъ, мечтой не увлечетесь...

Отецъ перемѣнилъ предметъ разговора. Егоръ Иванычъ воспользовался первой удобной минутой и оставилъ общество. Егору Иванычу было не до смѣху. Письмо сбило его съ толку, настроило его на странныя душевныя движенія и породило фантастическую ночь. Долго онъ не могъ заснуть въ тотъ день; ему было жарко подъ одѣяломъ. Молотовъ раскрылъ окно и сѣлъ къ нему въ одной рубашкѣ. Никакого голосу не было въ природѣ. Туманы поднимались съ рѣки. Молотова жгло что-то, голова его горяча, нервы раздражены, и понять онъ не можетъ, что съ нимъ дѣлается. Влюбился онъ, что ли? Да въ кого же влюбился?.. въ фантазію?.. въ воздухъ?.. въ письмо?... О, молодые, горячіе, полные жизненности годы!.. Боже мой, какія мечты поднимались въ его головѣ, какіе образы видѣлъ онъ въ воздухѣ, какія граціозныя, прекрасныя тѣни выходили изъ тумана и плыли надъ рѣкою, а съ кладбища, изъ лѣсу и съ горъ выглядывали безобразныя дива!.. Носятся граціозныя тѣни, безплотные об-

разы, поютъ, манятъ его къ себѣ, онъ видитъ, чувствуетъ ихъ. Но вотъ будто плачетъ кто-то... Рыданіе слышно... слезы льются... сердце сжимается отъ тоски... душно въ приволжскомъ воздухѣ... Среди образовъ появился новый. Отчего Молотову думается, что это «по гробъ вѣрная и любящая?...» Чего она плачетъ, а вотъ теперь смѣется?... Зачѣмъ свѣтлыя тѣни побѣжали прочь, тонутъ, тонутъ и пропадаютъ въ воздухѣ?.. Волкъ взвылъ — сова откликнулась. Пусто въ воздухѣ и глухо во всей природѣ. Жарко... Долго маялся Егоръ Иванычъ. Когда онъ заснулъ наконецъ, то и во снѣ грезы тревожили его молодую душу.... Странны молодые люди, и намъ, старикамъ (проговорился авторъ), трудно понимать игру горячей жизни. Такъ что же!... не хотимъ и понимать, а потребуютъ отвѣта, мы скажемъ, что всѣ эти волненія — ни что иное, какъ химическіе процессы въ организмѣ молодого человѣка.

Съ утренними лучами солнца, ночныя фантазіи и бредни, получившія подъ конецъ мрачный оттѣнокъ, явились въ болѣе свѣтломъ видѣ. Взглядъ на письмо перемѣнился. Егоръ Иванычъ прочиталъ письмо много разъ, такъ что приглядѣлся къ нему. По этой ли причинѣ или по какой другой, только ему не приходили въ умъ мужскіе панталоны на актрисѣ и тому подобные, разрушающіе иллюзію, аттрибуты. Онъ уже примирился и съ эксцентричностью письма, и съ его литературными достоинствами; въ письмѣ было что-то завѣтное для него; гордость его затронута довѣріемъ незнакомой женщины. Читатель, вѣроятно, догадался, что письмо писала Леночка, иначе зачѣмъ автору

было выводить ее на первыхъ страницахъ: но Молотовъ не догадывался. Онъ представилъ себѣ какую-то другую дѣвицу, и, послѣ ночи мечтаній и фантастическихъ образовъ, послѣ многихъ думъ и волненій, онъ точно знакомъ былъ съ нею, хотя и не сказалъ бы, каковъ ея ростъ, цвѣтъ волосъ, глаза, походка. Это былъ образъ туманный и неясный, сформировавшійся изъ тысячи прежде нажитыхъ впечатлѣній. Ему казалось, что и прежде онъ видѣлъ его гдѣ-то, и почему-то припоминалась ему семья Дороговыхъ. Егоръ Иванычъ вглядывался въ этотъ образъ и, помимо здраваго смысла, не то, что-бы вѣрилъ, что у рѣки встрѣтитъ именно того, кого онъ выдумалъ, — нѣтъ; но молодость, свѣжіе годы, непотраченное чувство предъявляли свои права, и онъ любилъ кого-то, кто-то ему дорогъ былъ. И вотъ письмо стало ему завѣтнымъ уже потому, что оно могло такъ возмутить его душу. Онъ ни за что и никому не показалъ бы его.

Егоръ Иванычъ нетерпѣливо ждалъ означеннаго часа. Поиски компоста по газетамъ или какого другого удобренія были неуспѣшны. Ноты онъ переписалъ, увидѣлъ, что навралъ, и опять сталъ переписывать. Ожидаемый часъ крался еле ползущими минутами. Когда наступило время, и Егоръ Иванычъ отправился на мѣсто свиданія, сердце его билось тревожно; онъ былъ возбужденъ, онъ трусилъ. Подъ горой ему встрѣтилась баба и низко-низко поклонилась; Молотовъ отвѣчалъ на поклонъ со смущеніемъ и проводилъ бабу глазами до тѣхъ поръ, пока она не скрылась изъ виду. Онъ шелъ все медленнѣе и медленнѣе. Приближаясь къ мельницѣ, онъ увидѣлъ женщину въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, обивавшую концомъ зонтика цвѣты. Онъ разсмотрѣлъ Леночку.—«Какъ не кстати», подумалъ

Молотовъ, и—вотъ туманный образъ воплотился, форму принялъ. Чего же смущается Егоръ Иванычъ? или онъ не къ тому приготовленъ?

— Здравствуйте, Елена Ильинишна, сказалъ онъ.

— Здравствуйте, отвѣтила Леночка, стыдливо опустивъ глаза.

«Она!» подумалъ Егоръ Иванычъ и кончилъ тѣмъ, что растерялся. «Елена Ильинишна?» вертѣлось въ его головѣ: «тутъ несообразность какая-то, противорѣчіе». Онъ, оглядываясь по сторонамъ, все еще не терялъ надежду увидать другую женщину. Новое для него положеніе — свиданіе съ дѣвицею, которой онъ не ожидалъ, поставило его въ тупикъ... Она молчала, онъ тоже. Прошли нѣсколько шаговъ по берегу. Егоръ Иванычъ взглянулъ на спутницу искоса. Она вздохнула. Молотовъ чувствовалъ, что онъ долженъ сказать что нибудь, но не было у него ни одного звука, ничего въ голову не шло; онъ не зналъ, куда дѣвать свои большія ладони. Онъ придумывалъ какое нибудь слово, былъ бы радъ самой пошлой фразѣ, а въ головѣ только и было: «чортъ же знаетъ, что это я... вѣдь не хорошо...» Онъ рѣшилъ, что напрасно трудится, что ничего не придумаетъ, и махнулъ рукой: «пусть себѣ!.. чѣмъ нибудь до кончится!... погубила меня проклятая застѣнчивость!» А Леночка идетъ, опустивши длинныя, прекрасныя рѣсницы. Наконецъ она сказала:

— Вы очень скоро идете...

— Виноватъ, отвѣтилъ Егоръ Иванычъ...

— Какая сегодня прекрасная погода, сказала Леночка.

«Нашла же она что сказать!» подумалъ Молотовъ. Но надобно отдать честь и ему. Онъ поддержалъ разговоръ:

— Да, хорошая стоитъ погода,—и тотчасъ сдѣлалъ еще такія слова: — давно ужь стоитъ такая... дождей совсѣмъ мало... отличное наступило время.

Молчаніе.—«Нѣтъ», думалъ Молотовъ: «я обязанъ говорить».

— Вы любите природу? спросилъ онъ, а самъ про себя подумалъ: «однако это съ какой стати? вѣдь это очень глупо!»

— Люблю.

— Я третьяго дня просидѣлъ до разсвѣту, продолжалъ Молотовъ, и опять подумалъ: «ну, это еще хуже.»—У него такъ и шло два разговора, одинъ съ Леночкой, другой про себя, какъ это всегда бываетъ у застѣнчивыхъ людей.

— Такой былъ прекрасный вечеръ, прибавилъ онъ. «Нѣтъ, стоило бъ меня хорошенько!» разсуждалъ онъ.

Но вотъ Леночка совершенно оправилась, взглянула открыто и сказала.

— Я сама люблю вечеромъ гулять...Я всегда почти гуляю. Особенно *смерть* люблю воду... У насъ всегда рѣчка передъ глазами, и я привыкла къ ней... Я люблю удить, только червяковъ гадко брать въ руки... впрочемъ, теперь ничего... привыкла... Вы знаете иву? вонъ тамъ,— показала рукой Леночка.

— Знаю, отвѣтилъ Молотовъ, и вздохнулъ свободно, потому что надѣялся, что Леночка не скоро остановится.

— Тамъ очень хорошо клюетъ... Тамъ я въ третьемъ году вотъ какого язя поймала. (Она показала руками). У насъ дяденька гостилъ. Онъ очень хорошихъ аглицкихъ крючковъ привезъ.

— А мамаша не боится, что вы утонете?—«Очень прилично сказано», одобрилъ себя Егоръ Иванычъ.

— Ахъ, нѣтъ; мамаша мнѣ все позволяетъ. А вы любите удить?

— Никогда не удилъ, хочу попробовать. Скажите, въ чемъ тутъ удовольствіе?

— Ахъ, какже, очень весело!

«Дѣло очень прилично идетъ», думалъ Молотовъ: «впрочемъ, какая она странная, какъ будто ни въ чемъ не бывало, а я-то?»...

— Очень весело! повторила Леночка...

Она стала, какъ бабочка, порхать съ предмета на предметъ. О письмѣ ни пол-слова. Оно-то сильно и безпокоило Молотова. «Неужели не намекнетъ? Что же я тогда стану дѣлать? Однако нельзя сказать, чтобы она была неспособна къ рѣшительному шагу... Но что же это за дѣвушка?»

Леночка болтала, прыгала какъ козочка; а право, она была премиленькая козочка—гибкая, стройная, черноглазая. Стали они спускаться съ берега рѣки. У мельницы надъ водой росла береза; подъ березой была скамейка...

— Сядемте здѣсь, предложила Леночка.

Сѣли. Молотовъ подумалъ: «сейчасъ намекнетъ».— Онъ вздохнулъ.

— О чемъ вы, Егоръ Иванычъ, вздохнули?

— Такъ...

— Такъ никогда не бываетъ: вы вспомнили кого нибудь?

— Нѣтъ, мнѣ некого вспомнить...

— У васъ есть родственники?

— Ни души, Елена Ильинишна...

— Никого?

— Рѣшительно никого. У меня и знакомыхъ очень мало Я. мало кого знаю...

— А другъ у васъ есть?..

— Есть.

— Хорошій?

— Прекрасный человѣкъ.

— Какъ весело имѣть друга, сказала Леночка и задумалась.

«Сейчасъ о письмѣ намекнетъ», подумалъ Молотовъ. «Что жъ? я скажу ей деликатно...» Дальше мысль не шла. — Что онъ хотѣлъ сказать ей деликатно?... «Все-таки это обидитъ ее», докончилъ онъ прерванную мысль. Но напрасно онъ испугался. Слова: «какъ весело имѣть друга»—были сказаны безъ задней мысли, такъ, по ходу рѣчи... Странно было смотрѣть на молодыхъ людей. Леночка не менѣе Молотова боялась разговора о письмѣ. Она лишь только увидала Егора Иваныча, ей страшно стало за свой легкомысленный поступокъ, который она, кажется, сдѣлала такъ, спроста, по-птичьи... Любила ли она Молотова? Она не первый разъ его видѣла; онъ говоритъ иногда такъ хорошо, хотя когда онъ говоритъ-то хорошо, тогда она его и понимаетъ меньше; онъ такой добрый; онъ ей нравится, но предположить въ ней серьезное чувство едва ли возможно. Письмо ея было одною изъ тѣхъ эксцентрическихъ выходокъ, на которыя способны иногда наши деревенскія барышни и обитательницы Песковъ, Коломны, Петербургской стороны и другихъ поэтическихъ мѣстъ. Онѣ не сробѣютъ, напишутъ, хотя не думаемъ, что онѣ по нравственности ниже тѣхъ, которыя сробѣютъ и не напишутъ. Послѣ онѣ иногда и каются, но уже дѣло сдѣлано. Такъ и Леночка теперь сама поняла, что слѣдовало бы надрать ей хорошенькое ея ушко. Когда она увидѣла Молотова, ей страшно стало, и прежде всего пришло въ голову:

«Боже мой, что я надѣлала? Что, если онъ возьметъ, да и прочитаетъ всѣмъ мое письмо? Пропала я!.. Лиза Варакова, Таня Песоцкая, Саша Нечаева... всѣ, всѣ ему знакомы!... ай, маменька узнаетъ!» Она чуть не плакала, и въ первую минуту едва не сказала: «Егоръ Иванычъ, не говорите мамашѣ... я больше не буду.» Но увидѣвъ, что Молотовъ едва ли не больше ея струсилъ, она сказала себѣ: «онъ не страшный, онъ такой добрый», и рада была, что Молотовъ не говоритъ ничего о письмѣ. Теперь она была спокойна...

Егоръ Иванычъ наклонился и сорвалъ цвѣтокъ.

— Дайте мнѣ цвѣтокъ, сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мнѣ на память.

— Развѣ нельзя помнить безъ цвѣтка?

Молотовъ сорвалъ другой цвѣтокъ. Леночка опять:

— Дайте мнѣ цвѣтокъ.

— И этотъ на память?

— Дайте же, сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цвѣтокъ и ударила имъ по рукѣ Молотова.

Все это сдѣлалось какъ-то ужь очень наивно. Оба засмѣялись. Оба были довольны, что о письмѣ и намека нѣтъ. Леночка наклонилась и стала водить зонтикомъ по землѣ. Съ плеча ея скатилась мантилья, вѣтеръ шелестилъ кисейнымъ рукавомъ; обнажилось бѣлое плечо, на которомъ, какъ муха, сидѣло родимое пятнышко; ротикъ ея полуоткрытъ; вся она замерла и затихла, какъ птица на вѣткѣ. Молотовъ и не замѣтилъ, какъ залюбовался ею. Въ это время Леночка взглянула на него. Онъ покраснѣлъ.

— Что это, Егоръ Иванычъ, вы все молчите?

Молотовъ вынулъ часы, посмотрѣлъ на нихъ и объ-

явилъ, что ему пора домой. На желаніе Леночки посидѣть онъ сказалъ, что у него есть дѣло.

— Жаль, отвѣтила Леночка: — посмотрите, какой хорошій вечеръ. Ну, пойдемте.

Они поднялись на берегъ. Молотовъ проводилъ ее нѣсколько. Разставшись, она еще разъ крикнула:

— Прощайте!

— Прощайте! отвѣтилъ Молотовъ...

Никакого дѣла у Егора Иваныча не было. Онъ просто струсилъ, когда Леночка замѣтила его взглядъ. «Глупо, глупо», твердилъ онъ: «надо бы узнать!... Чего я струсилъ?.. Развѣ первый разъ взглянулъ я на нее?» Онъ вспомнилъ, что и прежде встрѣчались ихъ взгляды. «Но тогда другое дѣло», прибавилъ онъ: «не тѣ были отношенія».

Что же вынесъ Егоръ Иванычъ изъ сегодняшняго событія? Ничего опредѣленнаго. Онъ только увѣрился, что письмо написала Леночка, и ему казалось, что разсѣялись его грезы и иллюзіи. Но что такое Леночка? что за дѣвица? какія должны быть отношенія къ ней? зачѣмъ сходились они тамъ у мельницы? какъ это такъ ничего не объяснилось?—всего этого онъ не понималъ. «Неловко же мнѣ было спросить ее», думалъ онъ: — «впрочемъ нельзя сказать, что она неспособна къ рѣшительному шагу... Но неужели она любитъ? Развѣ такъ любятъ, какъ она?.. А я тутъ что такое?»... Множество вопросовъ роилось въ головѣ Молотова. Страннѣе всего со стороны Егора Иваныча спрашивать: «развѣ такъ любятъ, какъ она?»—Въ книжкѣ, что ли, онъ вычиталъ, или Андрей ему сказалъ, что любятъ не такъ. И почему онъ знаетъ, какъ она должна любить? Любовь — это такая книжка, которую всякій самъ сочиняетъ и авторъ которой всегда оригиналенъ. У него

точно была какая-то скрытая мысль, въ которой онъ не хочетъ сознаться, но которая сама собою слышится за всѣми вопросами. Онъ сталъ прислушиваться къ душѣ своей и чувствовалъ въ ней тревогу и безпокойство; что-то ходило въ немъ, дышалъ онъ сильнѣе, сердце его сжималось и расширялось. Онъ сказалъ: «вотъ теперь самому совѣстно за нелѣпую, непростительную застѣнчивость, изъ-за которой все дѣло осталось неразъясненнымъ. Вѣдь она, Богъ знаетъ, что подумаетъ!» Онъ вспомнилъ, что такую же тревогу совѣсти ему случалось ощущать и прежде. Такія же были въ душѣ движенія, когда онъ, послѣ ссоры, увидѣлъ своего друга и, не смѣя глядѣть ему прямо въ глаза, сказалъ: «полно злиться!» — Когда онъ убѣдился, что это совѣсть его мучитъ, ему стало немного легче; но онъ долго еще обсуживалъ интимно-комическій фактъ, предъявленный приволжскимъ амуромъ, припоминая всѣ мельчайшіе штрихи событія. Засыпая, онъ вспомнилъ, какъ скатилась мантилья съ плеча Леночки, и прошепталъ съ раскаяніемъ: «стыдно, стыдно!... ты не долженъ былъ оставить дѣло въ такомъ положеніи». На другой день Молотовъ отыскалъ статью о компостѣ и ноты переписалъ. Съ этого дня начались усиленныя занятія по дѣламъ Обросимова...

Время летѣло быстро. Егоръ Иванычъ и не замѣтилъ, какъ прошли двѣ недѣли. Онъ постоянно былъ занятъ, работалъ безъ устали, составлялъ вѣдомости, рылся на чердакахъ въ книжномъ хламѣ, учился съ Володей; кромѣ того, къ нему было нѣсколько особыхъ просьбъ, которыя онъ охотно и исполнилъ. Помѣщикъ иногда зайдетъ къ нему, спроситъ, какъ идутъ его за-

нятія, скажетъ, что вотъ такую-то статью не худо бы окончить, посовѣтуется съ Егоромъ Иванычемъ и всегда прибавитъ:

— Много, много дѣла, Егоръ Иванычъ, совсѣмъ сбился съ толку... А вы-то что жь не гуляете?

— Нѣтъ, я гуляю, отвѣтитъ Молотовъ, только прибавитъ, что вотъ такую-то статью ему хочется поскорѣе кончить.

Въ воскресенье Обросимовы, и вмѣстѣ съ ними Егоръ Иванычъ, собрались къ Аграфенѣ Митревнѣ Илличовой. Она была женщина толстая, сырая, находившаяся въ строгомъ, праотческомъ законѣ у покойника-мужа и потому немного поглупѣвшая. Аграфена Митревна рада была видѣть въ гостяхъ богатаго сосѣда и подняла тяжелую возню на весь домъ. Скоро завязалась общая бесѣда, говорили о погодѣ, о посѣвахъ и всходахъ, о деревенскихъ новостяхъ. Немного спустя, Лизавета Аркадьевна сѣла на своего конька, то есть Жоржъ-Занда, и поѣхала на немъ. Егоръ Иванычъ слушалъ внимательно; Обросимовъ морщился и посматривалъ непривѣтливо на дочь, чего впрочемъ никто не замѣчалъ; Леночка половину не понимала; мать ничего не понимала и тяжело дышала.

— Про какую вы это эманпипацію говорите? спросила Леночка:—ученое что нибудь?

— Вы не знаете, что такое эманципація? спросила снисходительно вдова.

— Не знаю, разскажите о ней что нибудь...

— Видите ли, нынѣ многіе стремятся возстановить права женщины, дать ей воспитаніе полное, какъ и мужчинѣ, свободу въ выборѣ мужа, въ выборѣ занятій, участіе не только въ семейной, но и гражданской жизни, личную независимость; хотятъ возстановить права

женщины, которыя не должны быть меньше правъ мужчины. Понимаете? Это и называется эманципаціею.

Вдова говорила, какъ читала. Отецъ съ безпокойствомъ думалъ: «о чемъ говоритъ съ дѣвушкой!... совсѣмъ безъ такта... это у насъ не принято».—Леночка задумалась.

— Нѣтъ, не понимаю, отвѣтила Леночка простодушно:—что это такое, напримѣръ, значитъ—свобода въ выборѣ мужа?

Отецъ съ безпокойствомъ повернулся на стулѣ.

— Очень просто, говорила вдова поучительнымъ тономъ, забывая слова свои, что Леночка неспособна къ разитію:— очень просто: женщина выбираетъ мужа себѣ сама, какъ мужчина ее выбираетъ, и тутъ нѣтъ дѣла ни родственникамъ, никому. Она сама за себя отвѣчаетъ...

— Этакъ иная Богъ знаетъ кого выберетъ...

— Ужь это ея дѣло.

— Этого не бываетъ никогда...

— Да, рѣдко бываетъ...

— Такъ, значитъ, и нѣтъ никакой эманципаціи на свѣтѣ: это, значитъ, ученость...

— Что ученость?

— Да вотъ эманципація... Вѣдь этого нѣтъ, и никто не позволитъ дѣвицѣ самой выбирать жениха; — ну, значитъ, и неправду вы сказали.

— Браво, крестница, браво! подхватилъ Обросимовъ.

Молотову занимательно было слѣдить за этимъ забавнымъ споромъ между двумя женщинами, изъ которыхъ одна, очевидно, мало развитая женщина, но отъ души говорила и вѣрила тому, что говорила; а другая,

образованная дама, ломалась, говорила свысока, и сомнительно, чтобы говорила съ убѣжденіемъ...

— Я никогда не понимала учености, сказала Леночка.

Лизавета Аркадьевна съ комическимъ участіемъ спросила ее:

— Что же васъ вооружило противъ учености?

— Это самая скучная вещь. Стихи я люблю, и то, чтобъ хорошіе были. Я много знаю стиховъ.

— Какого же поэта больше вы читаете?

— А вотъ, у Лизы Вараковой, я недавно достала стишки Пушкина.

— Какіе?

— Хотите, прочитаю.

Лизавета Аркадьевна изъявила желаніе. Леночка сказала: «слушайте», и стала читать: «Какъ пошелъ нашъ воевода вдоль по Клязьмѣ погулять».

«Эхъ бѣдняжка», подумалъ Обросимовъ: «теперь поднимутъ ее на смѣхъ».

— Хорошо? спросила Леночка, когда кончила чтеніе.

— Это не Пушкина стихи, сказала вдова.

— Пушкина, Лизавета Аркадьевна, Пушкина. Мнѣ Лиза Варакова говорила; она ужь знаетъ... Ахъ, вотъ Лиза Варакова ученость любитъ. Какъ начнетъ говорить: «жизнь моя стремится... родникъ души... идеалы...» просто смѣхъ!

— А вотъ вы читали, Елена Ильинишна, сказала вдова: — что пляшутъ самъ-другъ мужикъ съ бабою, и они счастливѣе воеводы, — это правда?

Леночка задумалась.

— Какъ же можно, чтобы правда? вѣдь это стихи! отвѣчала она.

Лизавета Аркадьевна засмѣялась.

— Такъ и стихи лгутъ, какъ ученость?

— Ахъ, какіе вы, Лизавета Аркадьевна! Зато это стихи, а то ученость. Неужели вы не понимаете? Смотрите, какъ хорошо выходитъ: «Въ минуту жизни трудную, тѣснится ль въ сердцѣ грусть...» Она прочитала эти стихи съ увлеченіемъ...

— Это худо? сказала она: — я много стиховъ знаю...

— Это прекрасные стихи, отвѣтила Лизавета Аркадьевна, и потомъ перешла опять въ область разныхъ размышленій. Леночкѣ стало скучно отъ «учености» и, воспользовавшись первымъ удобнымъ случаемъ, она напомнила Егору Иванычу, что онъ хотѣлъ посмотрѣть ея козу и голубей.

Леночка показала свою любимую козу съ голубой лентой на шеѣ, голубей, свои куртины. Потомъ стали гулять по саду. Молотовъ не чувствовалъ особеннаго стѣсненія. Онъ быстро развивался.

— Вѣдь я правду говорила? спросила Леночка.

— По крайней мѣрѣ, вы говорили то, что думали, чему вѣрите.

— А она?

— Не знаю, вѣритъ ли она тому, что говоритъ.

— Такъ зачѣмъ же она и говорила?

— Хотѣла порисоваться.

— То есть хвасталась? Да вѣдь она не про себя говорила, а такъ... разсуждала...

— Это тоже хвастовство...

— Какъ же такъ?... и не вѣрила?... ай, какъ это смѣшно!...

Леночка, по наивности своей, не знала, что можно вычитать какую нибудь хорошую мысль, вычитавши, запомнить ее хорошенько и для того даже на бумажку

записать со всѣми красивыми оборотами, и потомъ сдѣлать изъ мысли игрушку. Обыкновенное лганье она понимала, но этого не могла себѣ представить. Ей на минуту пришла въ голову Варакова Лиза: «не такъ ли, какъ та?» но нѣтъ, у той, бѣдняжки, дѣйствительно «жизнь стремилась» изъ «родника души» и тому подобное, а эта не вѣритъ и говоритъ; притомъ правду говоритъ и не вѣритъ. «Вѣдь смѣшно выходитъ», подумала Леночка.

— Этого не бываетъ, сказала она.

— Бываетъ, Елена Ильинишна...

— Зачѣмъ же она говоритъ?

— Чтобы сказали, вотъ какая она умная женщина...

— Будто умными называютъ тѣхъ, кто такъ говоритъ?

— Да.

— За что же?

— Всѣ умные люди проповѣдуютъ то же самое.

— Такъ правда и то, что она о женихахъ разсказывала?

— Правда, отвѣчалъ Молотовъ, невольно улыбаясь.

— Когда же это сдѣлаютъ? скоро?

— Объ этомъ толкуютъ пока да пишутъ...

— Ну, и что же?

— Больше ничего, Елена Ильинишна.

Леночка засмѣялась и вдругъ побѣжала, крикнувши: «догоните».

Егоръ Иванычъ сразу поймалъ ее.

— Нѣтъ, снова; дайте мнѣ уйдти сначала.

— Ну-съ.

Молотовъ опять поймалъ ее. Онъ замѣтно скоро развивался.

— Вы очень скоро бѣгаете... Хотите, я запрячусь? отыщите меня.

Молотовъ согласился. Онъ ушелъ въ бесѣдку.

— Пора! закричала Леночка.

Онъ прямо пошелъ на голосъ и отыскалъ Леночку въ густыхъ кустахъ жимолости.

— Сразу нашли!.. теперь вы прячьтесь.

Онъ спрятался.

— Пора! крикнулъ Молотовъ.

Леночка тоже пошла на голосъ, нагибалась подъ кусты, посмотрѣла за дерновымъ диваномъ.

— Пора! раздалось совсѣмъ съ другого конца сада.

— А!.. вы перепрятались... подождите же!..

Молотовъ сидѣлъ въ кусту. Онъ вдругъ почувствовалъ прикосновеніе къ шеѣ нѣжной, мягкой руки: онъ схватилъ руку и крѣпко сжалъ ее въ своей большой рукѣ... Леночка хохотала.

— Довольно прятаться... Давайте гулять... Хотите, я еще прочитаю стихи?

— Хочу.

— Пойдемте туда.

Они пошли къ забору въ тополевую аллею. Аллея разрослась густо, и солнце пробиралось между листьями на черную, проставшую травой дорожку, бѣлыми пятнами. Съ боковъ дорожки кустами росла малина, сирень, жимолость, между ними огромная крапива и какая-то жирная трава поднималась отъ земли. Пѣла пѣнка, маленькая желтая птичка, бойкая и шаловливая на свободѣ и не могущая трехъ дней прожить въ клѣткѣ: сейчасъ стоскуется и умретъ. Еще меньшая птичка, гвоздокъ, порхала по кустамъ; московки, чижи, пухляки, зяблы — всевозможная мелочь лѣсная и садовая — надували свои горла и издавали разнообраз-

ные писки. На верху стрижи визжатъ, воробей туда же путается со своимъ дряннымъ голосомъ... Въ самой глуши сада стоялъ дерновый диванъ, по бокамъ въ черныхъ плѣшахъ и съ густой, сочной травой на срединѣ. Надъ диваномъ полубесѣдка, оплетенная хмѣлемъ. Тысячи мелкихъ звуковъ, производимыхъ насѣкомыми, составляли аккомпаниментъ птичьему хору, какого не создастъ ни одинъ художникъ въ мірѣ. Сверчокъ барабанитъ, оса жужжитъ густо, кузнечикъ откалачиваетъ металлическіе звуки, тонкой иглой вставилъ комаръ свой голосъ, а наверху съ визгомъ несутся стрижи, а еще выше небо голубое, безпредѣльное, океанъ лазури и благодати божьей. Голосистый бабій крикъ слышенъ издалека. Въ воздухѣ ароматъ и пѣсня.

— Сядемте, сказала Леночка.—Ну, слушайте: «Конченъ, конченъ дальной путь, вижу край родимый». — Она долго читала стихи. Молотовъ не ее слушалъ, а другую пѣсню, которая совершалась въ природѣ.

— Хорошо? спросила Леночка.

— Очень хорошо, отвѣчалъ Молотовъ.

Леночка смолкла.

«Нѣтъ, вотъ что хорошо», думалъ Молотовъ: «сидѣть въ такое время въ бесѣдкѣ, оплетенной хмѣлемъ, да еще хорошо, когда тутъ же сидитъ какая нибудь дѣвушка: все одно, любитъ она васъ, или не любитъ, лишь бы кротко было выраженіе ея лица, лишь бы она не хохотала въ это время и не сантиментальничала, а сидѣла бы молча и смирно».

Лицо Леночки было именно кроткое и спокойное. Она угомонилась и сидѣла теперь сложа руки, не шевелясь, забыла «стихи» и «ученость». Закутавшись въ мантилью, она усѣлась такъ удобно и ловко, что ей

жаль было потерять положеніе головы, рукъ, стана, пошевелить ногою, пріютилась, какъ котенокъ на солнцѣ, какъ дитя, которое, положивъ головку на руку, долго о чемъ-то задумается. . . . . .

. . . . . .

Но вотъ въ душѣ ея непремѣнно промелькнуло что нибудь... Лобъ ея наморщился, черныя брови сошлись вмѣстѣ, глаза посмотрѣли какъ-то не хорошо, и малиновыя, какъ вишня, губки сжались, хорошенькое личико сдѣлалось совсѣмъ не хорошо. Она отбросила мантилью, ея локти сверкнули на солнцѣ и раскрылась красивая шейка.

— Пойдемте, Егоръ Иванычъ, на рѣку.

— Пойдемте, согласился Молотовъ, неохотно оставляя диванъ.

Они отправились на рѣку. Пришли.

— Нѣтъ, здѣсь страшно, всякій годъ тонутъ; пойдемте вонъ туда, на горку.

Пришли на горку.

— Нѣтъ, опять пойдемте въ садъ; я устала.

«Что это съ нею?» подумалъ Молотовъ.

Когда они пришли и усѣлись подъ хмѣлемъ, Леночка совсѣмъ перемѣнилась: скучная такая, усталая, а въ хорошенькіе, черненькіе, какъ угольки, глазки, опущенные внизъ, просто не смотрѣлъ бы: такъ тамъ не хорошо, точно зависть оттуда выглядываетъ. Брови еще ближе сошлись; нижняя губа выдвинулась впередъ. Смотритъ Егоръ Иванычъ и недоумѣваетъ. Вздохнула Леночка такъ глубоко, такъ серьезно. «Боже мой, что же это съ нею?.. ай, какъ она постарѣла!»—Молотову стало жаль Леночку.

— Что за перемѣна съ вами, Елена Ильинишна? спросилъ онъ.

— Никакой перемѣны нѣтъ, отвѣчала она.

— Вы такая печальная, говорилъ Молотовъ съ участіемъ.

— Скучно мнѣ.

— Чего же вамъ скучно?

— Не знаю, отвѣтила Леночка.

У ней стали навертываться слезы.

Егоръ Иванычъ не зналъ, что дѣлать. Ему неловко было видѣть дѣвушкины слезы, какъ-то совѣстно. Онъ боялся оскорбить ее нескромными вопросами.

— Отчего же? спросилъ онъ съ замѣшательствомъ.

— Я думаю, оттого, что жизнь моя худая...

Молотовъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на эту бойкую, розовую, кисейную дѣвушку.

— И живешь здѣсь!... ну, что здѣсь?... особенно зимой... снѣгомъ занесетъ... волки воютъ... никого нѣту... одна маменька... Какое это житье?

— Зачѣмъ же лѣтомъ зиму вспоминать, Елена Ильинишна?

— Ахъ, Егоръ Иванычъ, какъ иногда невесело бываетъ!... отчего это?

Молотовъ думалъ: «ну, что я скажу?... чего ей?.... право, какая она!»

— Я думаю, отъ того, что такъ я росла... Что я видѣла? ничего не видала... Хоть бы братъ былъ у меня хорошій... Сестра замужемъ и уѣхала.

— Вѣдь у васъ есть братъ? спросилъ Молотовъ.

— Богъ съ нимъ, съ этимъ братомъ... Отчего это братья не любятъ сестеръ своихъ? И другія подруги тоже жалуются.

— А васъ братъ не любилъ?

— Нѣтъ... Мы, бывало, у него не говоримъ, а дребезжимъ все... Всегда, бывало, съ насмѣшкой, все на зло...

Маленькія росли, только и помню, что билъ да ломалъ все, да ябедничалъ, а отецъ былъ такой угрюмый, строгій, всегда за старшихъ... Что-нибудь сдѣлаетъ худое, да на меня и нажалуется... Прозвищъ всякихъ надавалъ... Не могъ азбуки выучить безъ колотушекъ... Теперь ему же маменька посылаетъ деньги; развѣ это хорошо? Мужчина долженъ самъ деньги доставать, а сестрамъ гдѣ взять?

Леночка помолчала.

— Была одна знакомая, продолжала она: — стала учить по-французски, такъ братецъ же отбилъ охоту, коверкаетъ нарочно слова, и сестрица тоже хохочетъ. Ну, вотъ и житье!... А строгость какая!... всѣмъ воля, всѣмъ праздникъ, лишь мы никуда... У папеньки и не заикайся выѣхать куда нибудь... и на маменьку прикрикнетъ... Какъ можно въ самомъ дѣлѣ?.. Развѣ такъ получаютъ образованіе?... Все сама... потихоньку и манерамъ выучилась, и танцовать, и моду перенимать...

— У вашего отца, я слышалъ, было большое состояніе?

— Давно прожили, я еще маленькая была. Тогда папенька сталъ Богу все молиться... станетъ какую-нибудь спасительную книгу читать, наставленія дѣлать, а потомъ бранить насъ... просто тоска!... Что мнѣ Богу молиться? я гулять хотѣла!... Чѣмъ я хуже другихъ?... Говорятъ, Саша Песоцкая и умная, и хорошая, и все,—ничего нѣтъ хорошаго, а вотъ одѣвается хорошо, потому что богата...

«Что же это за Леночка?» размышлялъ съ недоумѣніемъ Молотовъ: «сначала я думалъ, что она хорошенькая, наивная, бойкая провинціалка, которой ничего не стоитъ назначить свиданіе съ мужчиной, которое, разумѣется, ни къ чему не поведетъ, — говорить

разную наивную дребедень, играть въ прятки, словомъ: дѣлать тысячу дѣтскихъ шалостей. А теперь? ее одолѣваетъ скука жизни, ей не сойдтись съ подругами, ей хотѣлось бы... хоть брата хорошаго... Кстати, сколько ей лѣтъ?» — Молотовъ не могъ опредѣлить года Леночки: «восьмнадцать ей, или двадцать?»

Между тѣмъ Леночка продолжала жаловаться, и всего неожиданнѣе было, когда она перешла опять къ брату и сказала: «вѣдь онъ хорошій былъ... всѣмъ здѣсь дѣвицамъ понравился... ловкій какой!... смѣшилъ какъ! только какъ сестра ни любитъ брата, онъ не полюбитъ сестру».

Леночка замолчала.

— Что вамъ на это сказать? не поминайте старого—Богъ съ нимъ... Можно еще поправить дѣло...

Леночка взглянула на него при этихъ словахъ.

— Читайте, учитесь, продолжалъ Молотовъ, и вдругъ остановился, вспомнивъ, что юноши наши всегда предлагаютъ это универсальное лекарство отъ всѣхъ дамскихъ болѣзней.

— Я неспобная, отвѣчала Леночка.

— Это неправда; вы такъ же способны, какъ и другія дѣвицы.

— Знаете, что, Егоръ Иванычъ: одна цыганка мнѣ предсказала, что я не буду счастлива!.. Ахъ, Егоръ Иванычъ, какъ ее высѣкли тогда! и изъ деревни папенька велѣлъ выгнать ее... Я тогда еще маленькая была.

— Что жъ, вы вѣрите?

— Иногда и правда выходитъ. Та же цыганка предсказала, что моя сестра будетъ за офицеромъ, — такъ и вышло.

— Но вѣдь ту же цыганку высѣкли, а она не могла это узнать...

— Да... протяжно сказала Леночка: — а все же страшно. Зачѣмъ бы ей говорить, что вотъ Богъ тебѣ счастья не дастъ?

— Со злости.

— Ей не на что было сердиться.

— Этого нельзя знать, Елена Ильинишна.

— Ай, какая я странная! вдругъ сказала Леночка: — зачѣмъ это я все говорила?... Вы, Егоръ Иванычъ, не будете смѣяться?

— Въ вашихъ словахъ ничего не было смѣшного. Вы видѣли, какъ я васъ слушалъ.

— Вамъ какъ будто удивительно было? Какъ я — не говорятъ дѣвицы...

Молотовъ немного покраснѣлъ. Онъ дѣйствительно не безъ удивленія слушалъ Леночку. Но у Егора Иваныча было много добродушія. Онъ вѣрилъ, что человѣкъ рѣдко бываетъ виноватъ въ своихъ недостаткахъ, что его портятъ воспитаніе и другія условія жизни; онъ давалъ громадное значеніе внѣшнимъ обстоятельствамъ, вѣрилъ, что въ самой темной душѣ бываетъ искра божія, которая, лишь только подуетъ благотворный вѣтеръ, можетъ разгорѣться прекраснымъ пламенемъ. «Чужая душа — потемки» — это была одна изъ любимыхъ его поговорокъ. Поэтому онъ не рѣшался осудить Леночку, не думалъ и смѣяться надъ ней; ея странная откровенность возбуждала его жалость. Можетъ быть, тутъ дѣйствовала и еще какая нибудь причина. Чего не случается на свѣтѣ? Кто жъ ее знаетъ! можетъ, ей и въ самомъ дѣлѣ трудно было на душѣ, напала тоска, захотѣлось высказаться, — вотъ и явилась неожиданная исповѣдь. Она, быть можетъ, сама

себѣ бы разсказала, первому воробью стала бы жаловаться, цвѣтку, кусту сирени. Да, бываютъ въ жизни человѣка рѣдкіе моменты, когда возникаетъ въ душѣ жажда откровенности и рѣчей, хотя послѣ часто и стыдно бываетъ, особенно когда догадаетесь, что васъ слушали безъ сочувствія. — «Экъ меня разносило!» думается увлекшемуся человѣку: «опять, опять не утерпѣлъ!.. Зачѣмъ было высказываться до такихъ подробностей? Къ чему эти вопли, которые не нормальное же мое состояніе?... Развѣ первый разъ ощутилъ я приливъ этихъ чувствъ? Надобно смотрѣть на другихъ: всѣ спокойны, не увидишь одушевленнаго лица— всѣ, какъ доска, безъ выраженія, не услышишь сильно поднятой ноты въ голосѣ. Мало ли что вчера было больно, нестерпимо, кричать хотѣлось, а сегодня больно отъ неумѣреннаго крику». — Но напрасно человѣкъ заклинаетъ горячее слово и откровенную бесѣду; когда созрѣетъ вопль душевный, радостный или печальный, опять явится откровенность, потому что это законъ физіологическій и психическій, это законъ природы. Есть какой-то хмѣль въ откровенности; она одуряетъ и увлекаетъ; и какъ радъ человѣкъ, когда найдетъ другого человѣка, и когда онъ, оглядѣвшись, увѣрится, что надъ его мыслью никто не стоитъ, запретъ двери—и тутъ-то польются рѣчи рѣкой, и тогда именно можно заговориться до охмѣленія. Поговорить хоть, если нельзя дѣлать; хоть потихоньку, если нельзя вслухъ. Кто не испытывалъ этого блаженства рѣчи?... Вотъ и Леночка высказала жалобу, назрѣвшую въ душѣ ея: она не могла не говорить въ данную минуту; хотѣла бы, да не могла. Каковы ея жалобы, то другой вопросъ. Молотовъ не зналъ, что отвѣчать на Леночкины слова: «вы не станете смѣяться, Егоръ Ива-

нычъ?» Онъ чувствовалъ, что Леночка съ болѣзненнымъ напряженіемъ ожидала отвѣта, что она боится за свою откровенность; и потому онъ отвѣчалъ съ одушевленіемъ:

— Увѣряю васъ, Елена Ильинишна, что ничего нѣтъ смѣшного въ вашихъ словахъ... напротивъ...

— Что напротивъ?.. вамъ жалко было?

Молотовъ отвернулся въ сторону,—такъ ему неловко было отъ подобнаго вопроса. «Неужели же сказать: жалко было?» думалъ онъ. Егоръ Иванычъ ощутилъ острое чувство, легко понятное для человѣка, который не любитъ, когда при немъ рѣжутъ пробку, скрипятъ дверью или водятъ гвоздемъ по стеклу.

— Вы только никому не разсказывайте, просила Леночка.

— Помилуйте, я это понимаю.

— Вы добрый, Егоръ Иванычъ... право... А я все-таки странная... чудачка... Ну, да ничего... вы никому не скажете.

Потомъ Леночка попросила у Молотова стиховъ Пушкина, которые онъ и обѣщалъ прислать ей. И Леночка совсѣмъ повеселѣла. Они отправились домой. Егоръ Иванычъ думалъ, что давно пора. Онъ боялся, чтобы не обратили вниманія на ихъ долгое отсутствіе. Но Обросимовъ съ дочерью пошли прогуляться по деревнѣ и не позвали молодыхъ людей, мать же Леночки и не думала о нихъ. У насъ на долю иныхъ дѣвушекъ выпадаетъ удивительно широкая свобода—что хотятъ, дѣлаютъ. У иныхъ очень умны матери, а у иныхъ очень глупы. Мать Леночки была забита мужемъ, пріучена къ подчиненію чужой волѣ, и когда Леночка стала подростать, Аграфена Митревна подпала ея вліянію.

Такъ и завязывались отношенія между молодыми людьми. Впрочемъ, они еще не опредѣлились, хотя и можно замѣтить, что Молотовъ былъ болѣе страдательнымъ лицомъ. Что это значитъ? безхарактерность его? Онъ всему какъ-то странно подчиняется. Вотъ и Леночка—во всемъ указывала дорогу. Она первая написала письмо, первая руку пожала, первая пустилась въ откровенности и едва не слезы, да и во всемъ она какъ-то умѣла указать череду. Она била его цвѣтами, едва не обняла, когда отыскала въ кусту, кричала ему «пора» и его заставляла кричать «пора». Какой-то узелокъ завязывался въ ихъ отношеніяхъ. Характеръ Леночки нѣсколько опредѣлился, а Молотовъ до сихъ поръ стоитъ какой-то молчаливой фигурой. Мы до сихъ поръ видѣли только, какъ онъ работаетъ. Чѣмъ-то онъ скажется?

Время летѣло такъ быстро, какъ оно можетъ летѣть только въ молодые годы. Съ каждымъ днемъ Егоръ Иванычъ занимался усерднѣе, потому что съ каждымъ днемъ прибавлялась срочная работа. Онъ по прежнему беззаботенъ и юношески счастливъ, по прежнему вѣритъ въ себя и ближнихъ. Намъ, старикамъ, досадно видѣть эту безпечность и вѣру юности. Нетрудно разочарованіе для того, кто съ молоду ознакомился со зломъ; да и какое очарованіе для того, кто семилѣтнимъ ребенкомъ на грошъ не вѣрилъ своему товарищу, что его надуютъ или сдѣлаютъ какую нибудь пакость? Такой человѣкъ ходитъ всегда осторожно. Но вотъ такіе люди, какъ Егоръ Иванычъ, долго и упорно сохраняютъ розовый взглядъ на міръ Божій. Правда, и онъ знаетъ, что зла очень много въ мірѣ и очень много подлыхъ лю-

дей. Но спросите же его, откуда это онъ узналъ,—«слышалъ, читалъ», отвѣтитъ онъ вамъ. — Гдѣ подлые люди? — Они представлялись ему «тамъ», въ «мірѣ», въ «свѣтѣ». И ходилъ онъ, не глядя подъ ноги, не всматриваясь въ окружающія его лица, не написана ль на нихъ подлость. Неужели онъ долго еще не разочаруется, долго сохранитъ этотъ ясный, спокойный взглядъ, который такъ досаденъ намъ, старикамъ. Мы согласны, что юношеское невѣдѣніе завлекательнѣе нашего старческаго знанія; но все-таки старческое знаніе лучше юношескаго невѣдѣнія. Да извинитъ читатель старика, который не могъ посмотрѣть на юношу безъ зависти!

Воскресенье. Молотовъ свободенъ сегодня. Все дозрѣвало въ саду Обросимова, какъ и во всѣхъ садахъ приволжскихъ. Громадные, въ кулакъ величиною, яблоки гнули вѣтви деревъ; малина въ полномъ соку, а вишня уже перезрѣла: тяжелыя кисти красной смородины висятъ до земли. Легкій вѣтеръ приподниметъ ароматъ въ саду, въ чистомъ и прозрачномъ воздухѣ, и ходитъ въ огромной, не кошенной травѣ, ходитъ вольно и скромно. Ровные, степенные звуки въ природѣ; птицы поютъ не весенними голосами. Хорошо въ такую погоду забраться въ малину и полной рукою обирать крупныя ягоды. Знаете ли вы то счастье, то довольство собою и всѣмъ міромъ, которое вытекаетъ чисто изъ физическихъ причинъ? Непремѣнно знаете, если вы здоровый человѣкъ. Молотовъ наслаждается этимъ физическимъ счастьемъ. Онъ недавно выкупался; грудь дышетъ свободно; охладѣвшее тѣло согрѣвается теплымъ солнцемъ, щеки его пылаютъ здоровьемъ, въ тѣлѣ легко переливается молодая, неиспорченная кровь. Онъ силенъ въ настоящую минуту, что

угодно подниметъ; но это спокойная, сосредоточенная въ себѣ сила. Онъ оперся о сукъ яблони, и суставы у него хрустнули въ пальцахъ. Вѣтеръ приподнялъ воротнички его рубашки и пробрался за пазуху. Стрижъ рѣзнулъ своимъ пронзительнымъ голосомъ надъ самой головой его, оставивъ звукъ жести въ воздухѣ, такъ что онъ поневолѣ закрылъ ухо. Недозрѣлое яблоко, падая, ударило его по плечу. Онъ взялъ яблоко, насадилъ его на хлыстъ и, потѣшаясь, какъ мальчикъ, запустилъ его подъ облака. «Какая вкусная малина!» думаетъ онъ: «однако довольно!» — Но солнце такъ привѣтливо играетъ въ пунцовомъ золотѣ одной ягоды, что сама рука протянулась къ ней, а другая еще привлекательнѣе смотритъ изъ-подъ зеленаго листа, а третья еще соблазнительнѣе... и онъ эпикурейски роскошествуетъ... Но вотъ его рука остановилась на полдорогѣ къ ягодѣ, взоръ его неподвиженъ, вся фигура не колыхнется. Увидалъ онъ что нибудь? ничего не увидалъ, а просто въ полусонномъ, въ полубодрственномъ состояніи замеръ, вдыхая легко и ровно воздухъ. О чемъ же онъ задумался? Ни о чемъ не задумался, или, по крайней мѣрѣ, самыя незамѣтныя, мимолетныя, мелкія и легкія впечатлѣнія проходятъ по душѣ. Это самыя простыя, едва не животныя отношенія къ природѣ. Такъ неподвижно иногда виситъ вѣтка въ водухѣ, такъ ребенокъ задумчиво смотритъ на огонь, такъ прудъ стоитъ, не колыхнется при вечернемъ освѣщеніи солнца. Мысль его замерла, ушла въ глубь души. Ему хорошо, и черная зависть и злость тревожатъ мое старческое сердце, никогда не видавшее такихъ безмятежныхъ дней. Вотъ мягкій вѣтеръ пахнулъ ему въ лицо и повелъ бархатомъ по щекѣ. Пѣнка обратила его вниманіе, а рука, остановившаяся въ воздухѣ, подноситъ ягоду къ

устамъ. Въ это время въ калиткѣ мелькнуло кисейное платьице.

— Елена Ильинишна! проговорилъ Молотовъ.

— Здравствуйте! отвѣчала Леночка.

— Вы однѣ?

— Съ маменькой... Что вы такъ пристально на меня смотрите?

Молотовъ покраснѣлъ.

— Говорите же...

— Да ничего... такъ... мало ли...

Въ ихъ обращеніи замѣтно что-то новое. Они какъ будто стыдятся другъ друга. Леночка, начавшая разговоръ, притихла и смолкла. Былъ шестой часъ вечера. Они отправились въ одну изъ бесѣдокъ сада.

. . . . . .

Позвольте разсказать небольшую исторію о стрижѣ. По маленькой аллеѣ бѣжалъ Володя съ новымъ прутомъ въ рукахъ. Мимо самого носа его пролетѣлъ стрижъ. Володя побѣжалъ на другую бесѣдку, оглядѣлся, взлѣзъ на крышу и сталъ бросать въ воздухъ перья и пухъ. Стрижи хватали ихъ на лету. У Володи явилось странное желаніе поймать стрижа, этого мошенника, который не боится ни ястреба, ни человѣка, который такъ досадно смѣлъ, что летитъ едва не между ногъ вашихъ, летитъ стрѣлой по улицѣ и полю, вьется съ трепетомъ и крикомъ на рѣкѣ передъ погодой.

— Подожди же, я тебя поймаю, разговаривалъ Володя съ птицей, а птица, какъ на зло, летитъ мимо его.

— Хорошо! говорилъ Володя.

Шевельнулась береза надъ его головой, закачались вѣтки, зашептали листья.

— А ты чего трясешь листьями?.. Тебѣ что смѣшно? Посмѣйся, когда я поймаю его!

Володя со всѣми перессорился... Потомъ онъ, приложивъ палецъ ко рту, немного подумалъ и сказалъ:

— А!.. подожди же!

Онъ бѣжитъ по малиновой аллеѣ къ Егору Иванычу.—«Егоръ Иванычъ все знаетъ; онъ поймаетъ стрижа». — Но что поразило его, когда онъ добѣжалъ до другой бесѣдки? отчего онъ остановился у полуотворенной двери?

— Цалуется кто-то? проговорилъ онъ въ раздумьи.— Ахъ, какой я чудакъ! прибавилъ онъ сейчасъ же: — это мнѣ послышалось.

И Володя рѣзво вбѣжалъ въ бесѣдку.

Егоръ Иванычъ сказалъ, что онъ не знаетъ, какъ поймать стрижа, онъ обѣщалъ подумать. Тѣмъ и кончилась эта маленькая исторія. . . . . .

Молотовъ и Леночка вышли изъ бесѣдки. Молотовъ смотрѣлъ въ землю, точно совѣсть у него не чиста. Леночка смотрѣла въ сторону, изрѣдка бросая косвенные взгляды на своего спутника. Глаза ея горѣли, они еще чернѣе стали, глубже и въ то же время острѣе. Вы догадаетесь, куда они пошли? къ мельницѣ. Леночка была тиха и застѣнчива.

Шли молча и скоро. Егоръ Иванычъ не могъ оторвать своего взгляда отъ земли. Но Леночка оправилась нѣсколько; разъ, другой взглянула прямо на Молотова, почти повисла на его рукѣ, и такъ близко наклонилась къ его плечу, что жаръ ея щеки охватилъ его лицо.

— Очень скоро, прошептала Леночка.

Молотовъ еще ниже наклонился, точно каждое сло-

во Леночки имѣло особую силу, садилось на его спину и гнуло ее.

— Теперь очень тихо, сказала она.

Въ душѣ Егора Иваныча совершалось что-то небывалое, никогда имъ не испытанное. Онъ со страхомъ прислушивался къ трепещущему своему сердцу. Леночка нѣжно смотрѣла на Молотова, а его душа ныла отъ тоски; что-то неопредѣленное, смутное, но тяжелое безпокоило его. Нехорошія мысли появлялись въ головѣ. То краска выступала на лицо, то въ глазахъ свѣтилась грусть, а въ то же время въ крови жаръ, въ головѣ туманъ; прохладный воздухъ душенъ для него... Пришли, сѣли... Сидитъ онъ молча, уйти ему не хочется, хотя онъ, долго не думая, и порывается соскочить и броситься бѣжать, но... хочется сидѣть тутъ, взглядывать на Леночку, слушать шорохъ ея платья, ощущать жаръ близкой къ лицу ея горячей щечки. Сердце расширяется, и тоскливое чувство, сухое неласковое, переходитъ въ робкое предчувствіе еще незнаемаго существованія, въ ожиданіе событій душевныхъ, которыхъ онъ никогда не зналъ и не понималъ. На лицѣ его было написано: «что со мной будетъ? случиться что-то хочетъ.» Полумысли нехорошія, которыя богъ-вѣсть откуда выходили, изъ совѣсти иль разсудка, — пропадаютъ. Все становится просто и понятно: и плескъ рѣки, и киванье ивы, и долгій вздохъ Леночки, и птичья пѣсня. Но вдругъ онъ спрашиваетъ себя: «что я дѣлаю?»

— Егоръ Иванычъ, шепчетъ Леночка.

Молотова лицо серьезно. Онъ обдумалъ рѣшительный шагъ. Онъ хочетъ встать...

Леночка положила голову на его плечо... Молотовъ вздрогнулъ и закрылъ лицо руками... Леночка смотрѣ-

ла своими чудными глазами въ голубое небо задумчиво, мирно, кротко. Какая тихая, прекрасная жизнь горѣла въ глазахъ ея.

— Я въ монастырь пойду, Егоръ Иванычъ.

— Зачѣмъ?

— Спасаться буду...

— Что за мысли, Елена Ильинишна?...

Егоръ Иванычъ молчалъ, тоскливо глядя въ воздухъ. Леночка то ляжетъ ему на плечо, то опять приподниметъ голову; разбираетъ его волосы; одна рука ея лежитъ въ его рукѣ; вздохнетъ, прищурится и опять откроетъ свои блестящіе глаза. Вотъ щека ея такъ близко къ щекѣ Молотова... Егоръ Иванычъ вглянулъ ей въ лицо, взоры ихъ встрѣтились, и — не знаемъ, кто изъ нихъ кого поцаловалъ: губы ихъ слились... У Егора Иваныча голова кружилась, въ груди точно молоты стучатъ... Вѣтеръ отпахнулъ кисейный рукавъ Леночки и покрылъ лицо Молотова.

— Люби меня, Егорушка, прошептала Леночка.

Молотовъ молчалъ.

— Хоть не навсегда, хоть немного.

Леночка поцаловала его въ лобъ.

Молотовъ ни слова.

И пѣли птицы тихія пѣсни. Рѣка въ крутыхъ берегахъ поднимала грудь свою; винтомъ прошелъ лучъ солнца до самаго дна рѣки; летитъ мошка надъ водой; кузнечикъ трепещетъ въ осокѣ; толпы камаровъ вѣнчаютъ свадьбу; по травѣ прошелъ мягкій вѣтеръ и стыдливо прокрался въ сочныя волны ея; горитъ мѣдный крестъ колокольни... И поютъ легкія птицы тихія пѣсни, и радуется мое оскопленное, старческое сердце, глядя на счастье молодыхъ людей... Чужая любовь рас-

шевелила его. Играйте, дѣти, играйте!.. мы, старые люди, будемъ любоваться на васъ...

Егоръ Иванычъ всталъ. Лицо его озабочено. Онъ прислушивался къ чему-то. На берегу показался Володя.

— Егоръ Иванычъ, васъ папа проситъ къ себѣ.

Молотовъ и Леночка пошли назадъ...

— Егоръ Иванычъ, спросилъ Володя.

— Что вамъ угодно?

— Сдѣлайте дудочку.

— Пожалуйте, сдѣлаю дудочку.

Леночка съ Аграфеной Митревной отправились домой. Все семейство Обросимовыхъ было въ кабинетѣ, куда пригласили и Молотова.

— Вамъ завтра ѣхать въ городъ, Егоръ Иванычъ, объявилъ помѣщикъ...

— Хорошо-съ, отвѣтилъ Молотовъ; но первый разъ въ его всегда покорномъ «хорошо-съ» слышалась досада, которой впрочемъ никто не замѣтилъ.

— Кстати, Егоръ Иванычъ, будьте такъ обязательны, не завезете ли письмо къ Казаковой; къ ней въ сторону не больше четырехъ верстъ...

— Хорошо-съ, отвѣтилъ Молотовъ.

— Мамаша, пусть Егоръ Иванычъ купитъ барабанъ; вы давно обѣщались.

— Хорошо-съ, отвѣтилъ Молотовъ.

— Кстати, захватите фунта три табаку.

— Хорошо-съ.

— Заверните на почту, нѣтъ ли писемъ?

— Хорошо-съ.

— Не можете ли узнать, почемъ ходятъ сукна?

— Хорошо-съ.

— Вы бы записали, а то забудете что нибудь.

— Я запишу-съ.

Молотовъ раскланялся и вышелъ. «Чортъ знаетъ, что такое!» думалъ онъ: «на шею, что ли, хотятъ сѣсть? Не все же хорошо-съ!.. Конца нѣтъ разнымъ претензіямъ». Но Молотову скоро совѣстно стало отъ своихъ мыслей. На него не смотрѣли, какъ на наемщика; къ нему обращаются, не стѣсняясь, не думая, что у него есть заднія мысли. Ему надобно и самому купить кое-что въ городѣ; онъ ожидалъ письма отъ Негодящева. Онъ обязанъ ѣхать въ городъ. Главное же то, что онъ любитъ Обросимовыхъ, и если у него явилась досада, такъ будто мы не досадуемъ на того, кого любимъ?

Такъ, наконецъ, дошло и до того, что Егоръ Иванычъ любитъ Леночку? Она положила на широкое плечо Молотова свою милую головку, съ роскошной косой, съ черными, страстными глазами, вишневыми устами и розовыми, горящими яркимъ румянцемъ щечками... Онъ любитъ?.. Ему не заснуть сегодня спокойно, не усидѣть дома. Онъ гуляетъ ночью, и, значитъ, по всѣмъ признакамъ, онъ любитъ. Прощальный поцалуй горѣлъ на его щекѣ... Онъ ощущаетъ силу въ сердцѣ, полноту въ тѣлѣ... Вотъ онъ остановился у рѣки и смотритъ въ ея тихую воду, забылся совершенно, прислушиваясь къ голосу какой-то ночной птицы. «Завтра въ городъ поѣду», думаетъ онъ: «нѣтъ ли письма отъ Негодящева?» Сѣлъ на берегъ и напѣваетъ что-то; бросилъ камень въ воду и прислушался чутко къ паденію его и всплеску рѣки... Опять поцалуй загорѣлъ на его щекѣ; но вдругъ сердце сжалось, онъ со страхомъ оглядѣлся вокругъ, но ничего не увидалъ среди темной ночи. Егоръ Иванычъ быстро всталъ и крупными шагами пошелъ къ дому. Новыя мысли заходили въ головѣ. «Это

слишкомъ, это слишкомъ!» прошепталъ онъ: «Боже мой! къ чему же все это поведетъ?» Поцалуи не горѣли на его щекахъ. «Что я тутъ за роль играю?» Егоръ Иванычъ, наклонивши голову, шелъ быстро. Если бы не ночь, можно бы разсмотрѣть сильное волненіе во всей его фигурѣ. «Вѣдь это значитъ», началъ онъ вслухъ и не договорилъ, что «это значитъ», а неожиданно, какъ вкопанный, остановился на дорогѣ. Егоръ Иванычъ вслухъ говоритъ! Есть люди съ сильно-развитымъ воображеніемъ, имѣющіе привычку разговаривать съ самими собою: они остаются до старости дѣтьми, играющими вслухъ. Егоръ Иванычъ не по той причинѣ заговорилъ: по всѣмъ признакамъ, онъ любитъ... «Боже мой!» прошепталъ онъ и двинулся большими шагами. Долго шагалъ онъ. Но вотъ... Молотовъ идетъ тише, дыханіе ровнѣе, онъ видитъ что-то въ воздухѣ, ноздри дышутъ широко, раскрываются губы и онъ цалуетъ воздухъ... Но, чортъ возьми, зачѣмъ это лѣзутъ въ голову думы, смущающія мысли? Зачѣмъ припоминается та страстная ночь, фантастическая ночь, когда онъ слышалъ плачъ и смѣхъ своей «по гробъ вѣрной и любящей» дѣвы? Зачѣмъ старый образъ тревожитъ душу? Или онъ не старый, не пережитый, не забытый еще? «Эва, ученость-то!» въ ухѣ самъ собою возникаетъ этотъ раздражающій нервы звукъ, дразнитъ его и сердитъ, и тревожитъ совѣсть. Онъ хватается за голову руками, а въ головѣ жаръ отъ прилившей крови. «Неужели такъ любятъ?» раздумываетъ онъ: «такъ ли?» разводитъ руками и шагаетъ сердито. «Говорятъ, кто любитъ, не стыдится своей любви... правда ли это?.. можетъ быть, и всѣ такъ?» Безпокойныя, требующія отвѣта мысли не отстаютъ отъ него. «Вѣдь это не шутка, серьезное дѣло!» Такъ волнуясь, онъ

дошелъ до дому, вошелъ въ комнату. Онъ зажегъ свѣчу и сѣлъ къ окну. Мракъ ночной увеличивался отъ комнатнаго свѣта. Онъ долго смотрѣлъ въ открытое окно: темно, ничего не видать; лишь слышно, какъ шепчутся листья и скрипитъ калитка. Онъ засмѣялся вдругъ... хорошъ ли его смѣхъ? Трудно разглядѣть предметы... Навѣсившіяся березы черезъ заборъ кажутся гигантами, качаютъ головой, наклоняются, присѣдаютъ. Бездна мрачнаго воздуху... Изъ птицъ одна только болотная птица кряхтитъ своимъ нехорошимъ голосомъ... Въ церкви ударило одиннадцать; дробью забили вдали караульные... Не видно, но слышно, какъ волна идетъ по пашнѣ. Но что это за крикъ несется съ улицы? То мчится пьяный дѣтина отъ кума: мчится онъ, стоя торчмя на телѣгѣ; намоталъ онъ толстую веревку на руку и дуетъ со всего размаху по хребтамъ лошадинымъ. Кони, одурѣвъ, несутся, а пьяный дѣтина только ухаетъ, стонетъ да свиститъ. «Эхъ, вы, распроклятыя!.. ну!» и слышно, какъ влѣпилась веревка въ спину лошадиную... Опять все стихло... «Что, если замѣтилъ кто нибудь?» думаетъ Молотовъ: «вѣдь не трудно было замѣтить», и онъ опять начинаетъ волноваться... Пѣтухи запѣли... Лѣниво помолился Молотовъ на икону и бросился въ постель.

Молотовъ вернулся изъ города съ множествомъ покупокъ и писемъ, но въ этихъ письмахъ ни одного не было къ нему. Другъ его, Негодящевъ, не писалъ. Были письма къ Обросимову, его дочери, даже Володѣ писали поклоны отъ другихъ дѣтей и сообщали ему интересныя для него новости... Всѣ бросились съ жадностью къ кучѣ писемъ. Молотову стало грустно, что̀ съ нимъ

рѣдко случалось. Ему завидно было, зачѣмъ нѣтъ у него матери, сестры; досадно, зачѣмъ Негодящевъ ничего не пишетъ. «Неужели онъ забылъ меня? Вотъ уже вторая почта, и ни строки отъ него». Молотовъ, отдѣлавшись отъ вопросовъ, которыми закидали его, пошелъ въ свою комнату, досталъ изъ шкатулки небольшую пачку писемъ и сталъ перебирать ихъ — нѣкоторыя читалъ. «Что старыя письма читать?» проговорилъ онъ: «экой какой, ничего не написалъ». Чувство одиночества охватило его душу. Ничего не было у него ни за собой, ни передъ собой... ни родственниковъ, ни покровителей, не было угла своего: онъ—скиталецъ, вольнонаемный работникъ. «Обросимовъ добрый человѣкъ! Но все-таки чужой!..» Къ скукѣ присоединилась физическая усталость. Онъ былъ въ дурномъ расположеніи духа и сидѣлъ, какъ въ воду опущенный, перебирая старыя письма. «Можетъ быть, и дружбѣ конецъ?» подумалъ Молотовъ: «такіе ли друзья разставались? Можетъ быть, онъ не хочетъ поддерживать старыхъ отношеній?» Но вотъ ему попался на глаза документъ, на которомъ значилось: «по гробъ вѣрная и любящая.» — «И забылъ совсѣмъ!» сказалъ онъ, и съ досадой спряталъ шкатулку. Онъ пошелъ въ садъ. Въ природѣ все было кротко и тихо, а на душѣ Молотова досада, скука, утомленіе и чувство одиночества—состояніе ненормальное для его натуры, рѣдкое и потому особенно тяжелое.

«Кто это произнесъ мое имя?» подумалъ Егоръ Иванычъ. Онъ подошелъ къ бесѣдкѣ. Ясно слышался разговоръ между Обросимовымъ и его женою.

— Это кладъ достался намъ, говорилъ Аркадій Иванычъ.

— Признаться, я не совсѣмъ понимаю его, отвѣтила жена.

— Что же?

— Что ни заставь, все сдѣлаетъ...

— Это умнѣйшій молодой человѣкъ, отвѣтилъ мужъ: — я все думаю, какъ бы пріурочить его къ нашему гнѣзду. Я бы и за жалованьемъ не постоялъ, но сама ты знаешь, какіе у меня теперь расходы.

— Ахъ, душенька, повѣрь, онъ самъ радъ, что попалъ въ нашу семью... сколько разъ онъ объ этомъ говорилъ! Этимъ людямъ кусокъ хлѣба дай, и они что хочешь будутъ дѣлать.

— Что дѣлать!.. бѣдность! сказалъ со вздохомъ Аркадій Иванычъ.

Аркадій Иванычъ остался вѣренъ себѣ: онъ всегда и всѣхъ защищалъ и оправдывалъ.

— Нѣтъ, не то, сказала жена: — ты согласись, что у нихъ нѣтъ этого дворянскаго гонору... манеръ нѣтъ...

— Что жъ дѣлать, мать моя! порода много значитъ.

— Они, я говорю, образованный народъ, продолжала жена: — но все-таки народъ чернорабочій, и всѣ какъ будто подачки ждутъ...

— Что же? можно сдѣлать ему подарокъ какой-нибудь. Онъ стоитъ того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжетъ его... А что ни говори, жена, — эти плебеи, такъ или иначе пробивающіе себѣ дорогу, вотъ сколько я ни встрѣчалъ ихъ, удивительно дѣльный и умный народъ... Семинаристы, мѣщане, весь этотъ мелкій людъ—всегда способные, ловкіе господа.

— Ахъ, душенька, всѣ голодные люди умные... Ты дворянинъ, тебѣ не нужно было правдой и неправдой насущный хлѣбъ добывать; а этотъ народецъ изъ всего

долженъ выжимать копѣйку. И посмотри, какъ онъ ѣстъ много. Намъ, разумѣется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетитъ обнаруживаетъ въ немъ плебея, человѣка, воспитаннаго въ черномъ тѣлѣ и не видавшаго порядочнаго блюда... Не худо бы подарить ему, душенька, голландскаго полотна, а то, представь себѣ, по буднямъ манишки носитъ, — вѣдь неприлично!..

— Я не замѣчалъ этого...

— Гдѣ жъ вамъ мужчинамъ замѣтить...

— О, бѣдность, бѣдность! сказалъ со вздохомъ Обросимовъ.

— Мнѣ кажется, душенька, ты очень много довѣряешься ему...

—Помилуй, жена, я не такъ простъ, какъ ты думаешь. Нынче очень много развилось скромныхъ людей, съ удивительно хорошей репутаціей, которые, кажется, воды не замутятъ; но этихъ-то людей и надобно остерегаться. Скромные люди нынѣ въ большомъ ходу, дослуживаются до чиновъ, наживаютъ имѣнья и дома строятъ. Что жъ? я ему желаю всякаго добра... но надо быть осторожнымъ да и осторожнымъ. Выглядитъ такой невинной дѣвушкой, а самъ все видитъ, ничего не уйдетъ отъ его глазъ. Въ началѣ я говорилъ ему, чтобы онъ не очень хлопоталъ—деликатность того требуетъ; а онъ точно не понялъ, въ чемъ дѣло. Правда, займется недѣлю хорошо, а тамъ, глядишь, день, другой, третій разгуливаетъ. Я ему стороною сталъ намекать, что не худо бы вотъ эту или эту статью поскорѣе кончить,— догадался наконецъ, и сѣлъ поплотнѣе... Или думаю, зачѣмъ онъ на фабрику такъ часто ходитъ? что же?— «Я, говоритъ, займусь на фабрикѣ съ годикъ, такъ и

самъ, пожалуй, управлюсь съ ней». — Догадайся, къ чему это сказано?

— Къ чему же?

— Это онъ въ управляющіе мѣтитъ...

— Будто?

— Честное слово!.. Онъ знаетъ, что я управляющимъ недоволенъ; но тотъ украдетъ какіе нибудь пустяки — у меня много не украдешь... но за то свое дѣло знаетъ.

Егоръ Иванычъ не могъ болѣе слушать. Онъ опрометью бросился прочь отъ бесѣдки, боясь, что замѣтятъ его. Разговоръ между тѣмъ продолжался.

— Впрочемъ, по моему понятію, Егоръ Иванычъ очень порядочный человѣкъ... Терпѣть не могу этихъ свистуновъ, которые ничего не дѣлаютъ, а только проповѣдуютъ разныя идеи... Оно хорошо, да ты сначала сдѣлай, а потомъ ужъ говори... Россія нуждается въ работникахъ. Зачѣмъ же правительство даетъ имъ образованіе? Ужь, разумѣется, не затѣмъ, чтобы изъ нихъ выходили просвѣщенные проповѣдники. И такіе скромные, какъ Егоръ Иванычъ, люди для меня лучше свистуновъ и крикуновъ, которые ничего не дѣлаютъ.

Зачѣмъ же убѣжалъ Егоръ Иванычъ? его хвалили вѣдь? Между тѣмъ Аркадій Иванычъ развивалъ свои идеи.

— У насъ только дворяне, изрѣдка поповичи да дѣти чиновниковъ получаютъ сносное образованіе. Массы коснѣютъ въ неисходномъ невѣжествѣ. Намъ не пять, а двадцать надобно университетовъ. Тогда, если и понадобится дѣльный и образованный человѣкъ, его не трудно будетъ найдти; а то теперь все, что выходитъ изъ университетовъ, поглощается министерствами и губернскими правленіями. Запросу на ученыхъ много,

а продукта этого мало, оттого онъ и дорогъ. Посмотрите въ другихъ государствахъ, — въ Германіи, напримѣръ, Геттингенскаго университета кандидатъ сапоги шьетъ, табакомъ торгуетъ. Тамъ на самое послѣднее мѣсто является множество ученыхъ претендентовъ... А у насъ? терпѣть не могу этого самохвальства: «мы, русскіе, шапками закидаемъ и нѣмцевъ, и англичанъ, и французовъ!» а на дѣлѣ дрянь выходитъ. Скажи же эти простыя истины нашимъ помѣщикамъ, куда тебѣ!—либералъ, вольтерьянецъ!..

— Отчего же, душенька, нашъ народъ такъ невѣжественъ?

— А правительство должно заботиться...

— Тише, Аркадій Иванычъ, кто-нибудь услышитъ.

— Никто не услышитъ... Самъ народъ никогда не пойметъ той пользы, которую принесетъ ему наука: отъ грамоты открещивается и отплевывается. Правительство должно построить университеты, гимназіи, училища, школы и насильно гнать туда народъ. Всѣхъ, кто научился читать, можно освободить отъ тѣлеснаго наказанія. Въ Германіи, напримѣръ, не знаешь грамоты, тебѣ и причастія не дадутъ.

— Ты, Аркаша, не высказывай этихъ идей...

— Стану я въ пустынѣ проповѣдывать... Вотъ хоть Егоръ Иванычъ—дѣльный человѣкъ, куда хочешь употреби; а откройся мѣсто, сейчасъ въ чиновники уйдетъ. Будь же у насъ просвѣщеніе сильнѣе, такихъ Егоровъ Иванычей явились бы тысячи. У насъ бы каждая деревня имѣла своего учителя, врача, издавала бы каждая деревня свою газету. А теперь? нѣтъ людей, нигдѣ нѣту, оттого они и дороги.

Значитъ, мы не ошиблись, когда сказали, что не нашъ національный экономическій законъ существовалъ въ

отношеніяхъ Молотова. Въ основаніи этихъ отношеній лежалъ принципъ просвѣщеннаго человѣка, и, что всего удивительнѣе, этотъ принципъ существовалъ уже лѣтъ четырнадцать назадъ, а разные обличители кричатъ, что мы спали все это время... нѣтъ, мы принципы ваработывали, которые теперь во многихъ мѣстахъ нашли уже практическое приложеніе. Многіе гораздо ранѣе севастопольской войны понимали, что образованіе намъ необходимо, что тогда дешевле будутъ люди, и многіе тогда уже, изъ просвѣщенныхъ видовъ, отдавали *своихъ людей* въ науку и дома устроивали школы. Усильте просвѣщеніе, ученыхъ будетъ много, — оттого они сдешевѣютъ, придутъ къ намъ просить работы и за дешевую цѣну будутъ дѣлать отлично дѣло. Словомъ, намъ будетъ выгоднѣе. И выходитъ, что Аркадій Иванычъ былъ передовой человѣкъ... Послѣ доброй бесѣды всегда посѣщаетъ душу и чувство доброе.

— Отчего это, жена, мы не цалуемся давно? спросилъ передовой человѣкъ.

— Стары стали...

— Будто старикамъ запрещено цаловаться...

Раздался поцалуй въ той самой бесѣдкѣ, по поводу которой мы разсказали небольшую исторію о стрижѣ.

— Господи, какъ время-то идетъ! говорилъ Аркадій Иванычъ:—двадцать семь лѣтъ прошло послѣ свадьбы, а ты и теперь еще не дурна.

Раздался снова поцалуй...Только два поцалуя и было. Обросимовы отправились домой.

Егоръ Иванычъ однажды думалъ: «отчего это здѣсь въ Обросимовкѣ хорошо такъ, легко живется?»—Между прочими причинами отыскалъ и такую: «весело смотрѣть, какъ всѣ счастливы здѣсь, а счастье заразительно.» Какъ же онъ долженъ быть счастливъ, когда, двад-

цать семь лѣтъ спустя послѣ свадьбы, здѣсь раздался нѣжный поцалуй?

Всю душу его поворотило.

«Плебей?.. нищій?.. дворянскаго гонору нѣтъ?.. а я, дуракъ, думалъ, что они меня любятъ и довѣряютъ мнѣ... Черти, черти! они мнѣ подачку готовятъ!.. Вотъ какъ они смотрятъ на меня! хорошо же...»

А что «хорошо же?» Первая мысль, которая пришла ему въ голову, это—оставить домъ Обросимова; вторая, что онъ издержался въ городѣ и у него немного осталось денегъ. Думалъ, думалъ онъ, и конца не было тяжелымъ думамъ. Онъ дошелъ наконецъ до того, что сказалъ: «ну, Богъ съ вами!.. не нужны вы мнѣ!» а потомъ не вытерпѣлъ и сряду же обругался: «негодяи, аристократишки, бары-кулаки!» Припомнились ему думы въ какой-то прекрасный вечеръ: «жизнь Обросимова—это жизнь человѣка образованнаго, но не поломаннаго, жизнь подъ тѣми же липами, подъ которыми онъ родился и гдѣ протекло его дѣтство». Теперь онъ смѣялся надъ своими старыми мыслями. Шевельнулись невѣдомые до сихъ поръ вопросы; они смутно пробивались: «куда лежитъ моя дорога? кому я нуженъ на свѣтѣ?.. одинъ, одинъ!.. и съ Андреемъ, кажется, покончено?.. Но куда бы то ни было, а уйду отсюда». Очень тяжело было молодому человѣку, но онъ еще не сознался своего положенія. Наступила ночь, и онъ скоро забылся.

Проснулся Егоръ Иванычъ, какъ и всегда, въ добромъ расположеніи духа. Онъ припоминалъ какой-то сонъ, который совершенно выскользнулъ изъ памяти, и оттого выраженіе его лица было неопредѣленное. Онъ

не могъ даже припомнить, каковъ былъ сонъ, хорошъ, или худъ. Но то не сонъ былъ, а дѣйствительность вчерашняго дня: она не сразу далась его сознанію, а сначала смутно, какъ забытый сонъ, представлялась ему. Мое старое сердце радовалось и питалось желчью: оно видѣло послѣднія минуты дѣтскаго счастья, золотого, молодого счастья; оно не завидуетъ теперь, оно спокойно. Теперь плебей узналъ, что его кровь не освящена столѣтіями, что она черна, течетъ въ упругихъ, толстыхъ, какъ верви, жилахъ и твердыхъ нервахъ, а не подъ атласистой бѣлой кожей въ голубыхъ нитяхъ и нѣжныхъ... Мое старое сердце знаетъ, что человѣкъ самъ усомнится въ своихъ достоинствахъ, когда познаетъ этотъ общественный, мало того—общеміровой законъ, который такъ осязательно представился тебѣ... Ты почувствуешь силу, которая существуетъ во всѣхъ странахъ міра, которой до сихъ поръ не зналъ и которой не вѣрилъ.

Егоръ Иванычъ слово въ слово припомнилъ разговоръ помѣщика, и въ тотъ день перекреститься еще не успѣлъ, а уже ругался. Онъ почувствовалъ въ себѣ присутствіе дурныхъ инстинктовъ, которые теперь проснулись въ немъ, въ немъ злость заходила, драться ему хотѣлось. Потомъ въ каждой чертѣ его лица, въ складкѣ губъ, въ глазахъ, поворотѣ головы выразилось глубокое, безпощадное презрѣніе. Въ грубыя и крупныя слова одѣвалась мысль его. — «Бѣлая порода!.. чѣмъ же мы, люди черной породы, хуже васъ? Мы мѣщане, плебеи, дворянскаго гонору у насъ нѣтъ? У насъ свой есть гоноръ!» —Такъ онъ глупъ и гордъ былъ, что ему вѣрить не хотѣлось въ возможность вчерашнихъ рѣчей о породѣ.—«Быть не можетъ!... за что же!.. чѣмъ мы хуже ихъ?..»—Нелѣпостью ему представлялся вчераш-

ній разговоръ, нарушеніемъ здраваго смысла. «Неужели вездѣ такъ?» шевельнулся у него вопросъ, и сердце у него упало. Иногда достаточно одного случая, чтобы убѣдиться въ тысячѣ подобныхъ; есть факты, въ которыхъ выражается идея, присущая многимъ фактамъ. Когда онъ понялъ, что Обросимовы оттолкнули его подъ вліяніемъ общественнаго закона, что ему предложили держаться дальше, не спрашиваясь его согласія, а не то его безъ церемоніи отодвинутъ и онъ долженъ будетъ попятиться,— тогда тоска напала на него. — «За что же?» прошепталъ онъ: — «да нѣтъ! этого быть не можетъ!» Молотовъ не могъ примириться съ мыслью, что онъ явился на свѣтъ неполнымъ человѣкомъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ; что для многихъ оскорбительно, когда онъ будетъ относиться къ нимъ открыто и съ достоинствомъ, какъ къ равнымъ. — «Не нужны вы мнѣ! но за что же?» онъ спрашивалъ. Не нужны? нѣтъ, ему тяжело было убѣдиться, что Обросимовы не могутъ уважать его, какъ они уважаютъ своего собрата. Этотъ человѣкъ, не понимающій до сихъ поръ, что онъ мѣщанскій сынъ, былъ жалокъ въ настоящую минуту. — «При всемъ этомъ они думаютъ, что я навязывался къ нимъ, хотѣлъ быть своимъ въ этой барской семьѣ?» Совѣсть ему отвѣтила: «да, сначала ты по какому-то инстинкту не хотѣлъ сблизиться съ этими людьми, а потомъ обманулся и считалъ помѣщика чуть не родственникомъ; ты думалъ, что всѣ, какъ старый профессоръ, будутъ тебѣ бабушкой». Онъ, какъ обожженный, соскочилъ отъ этой мысли и, разумѣется, обругался, но теперь онъ себя бранилъ. Тогда сказалась эта гордая натура. Ему совѣстно было самого себя. — «Какъ, я заискивалъ? это съ какой стати? развѣ они нужны мнѣ?» — этотъ вопросъ невыносимо мучилъ его. «Нѣтъ,

я имъ скажу, что они лгутъ; я въ нихъ не нуждаюсь и знать ихъ не хочу.» Но лишь только явилась эта неразумная мысль, какъ Егоръ Иванычъ отказался отъ нея. —«Это значило бы, что я претендую, зачѣмъ не сталъ своимъ въ ихъ семьѣ... Это та же навязчивость?»— Послѣ того, онъ рѣшился не показывать и виду, что слышалъ несчастный разговоръ, такъ обидѣвшій его гордость, возмутившій его душу; онъ понялъ, что тогда еще больнѣй, еще обиднѣй было бы для его гордости. И въ то же время онъ почувствовалъ, что отдѣляется отъ общей массы людей, перестаетъ быть какою-то неопредѣленною личностью, онъ находитъ свое мѣсто въ обществѣ и занимаетъ его. Люди, прежде близкіе, стали ему чужды и далеки. Онъ, зорко наблюдая окружающія его лица, къ удивленію своему находилъ, что они незнакомы ему, что онъ видѣлъ только похожія на эти, но не эти самыя. У матери совсѣмъ не доброе лицо; въ глазахъ папаши такъ и свѣтится дворянинъ-кулакъ; у дочери лицо красивое, но посмотрите, какое надутое. — «Это не наши», говорилъ онъ: «какъ же я не разглядѣлъ ваши рожи?» (онъ въ патетическихъ мѣстахъ часто употреблялъ крупныя выраженія). «Гдѣ же наши?» спрашивалъ онъ: «кому же я-то нуженъ?» — Все его безпокоитъ, дразнитъ, поднимаетъ всѣ силы, дѣлать велитъ что-то. Новое тревожное чувство всею силою молодой жизни прошло чрезъ его душу; невѣдѣніе и страхъ будущаго охватили его. Но одна бѣда не ходитъ. Не сегодня, такъ завтра Молотовъ оставилъ бы Оброси-мовку; но къ несчастью, онъ издержался въ городѣ, денегъ у него было мало, а еще одиннадцать дней осталось до конца мѣсяца, значитъ—и до полученія жалованья сорока рублей. Эти одиннадцать дней будутъ ему долго памятны. Часто онъ, понуривъ голову, ходитъ въ саду

крупнымъ шагомъ и въ забывчивости иногда остановится, подумаетъ что-то, махнетъ рукой и опять шагаетъ. Съ той минуты, какъ онъ остался въ деревнѣ на одиннадцать дней, къ чувству оскобленнаго самолюбія прибавлялось постоянно чувство угрызенія совѣсти. Въ душѣ онъ бранился, а прямо въ глаза людямъ, его окружающимъ, смотрѣть не могъ... Положеніе среди чужихъ людей стало крайне фальшиво и безтолково. По обыкновенію, по привычкѣ, жена Обросимова попросила его что-то сдѣлать. Онъ не нашелся, сжалъ только зубы и проговорилъ: «хорошо-съ».—Это, наконецъ, глупо! скажутъ иные. Что же дѣлать! онъ не пріобрѣлъ еще той житейской наглости, при которой такъ легко отстранить желаніе ближняго сѣсть на вашу шею и прокатиться на ней. Впрочемъ, потомъ какъ-то онъ ухитрился отказаться раза два-три отъ порученій, которыя онъ не обязанъ былъ исполнять. Въ немъ быстро развивались подозрительность и мнительность: такъ и чудилось, что вездѣ слѣдятъ за нимъ, потому что «его насквозь знаютъ», потому что онъ «умный молодой человѣкъ» и живетъ «не у дурака». Подозрительность его росла не по днямъ, а по часамъ... Сядетъ онъ за столъ, боится лишній кусокъ взять,—такъ ему и припомнится этотъ прекрасный комплиментъ дамскій: «какъ онъ ѣстъ много!» Этотъ комплиментъ былъ плохою приправою къ обѣдамъ, чаямъ и десертамъ помѣщика. Женщина сильнѣе умѣетъ обидѣть, чѣмъ мужчина: въ ея жалобѣ, въ ея упрекѣ всегда слышится, какъ будто вы ее угнетаете, будто ей трудно васъ побѣдить, и смотритъ она, точно проситъ пощады; захочетъ уязвить, такъ отыщетъ самую больную струну. Просто сказано: «ѣстъ много»; а эти слова всего тяжеле легли на сердце Молотова. Онъ слышалъ въ этой фразѣ самое

безпощадное презрѣніе къ своей плебейской натурѣ. Ему казалось, что Обросимовы въ немъ ничего не разсмотрѣли, кромѣ брюха, что онъ въ ихъ глазахъ ничто иное, какъ большой-большой животъ. Это было обидно для Молотова. Бывало, заберется онъ въ огромный садъ, который такъ обязательно предлагали ему, и роскошествуетъ въ немъ; а теперь каждое яблоко, слива и малина напоминали ему, что онъ батракъ, котораго надобно пріурочить. Кажется, и конца не будетъ этому тяжелому мѣсяцу, а онъ и приноровиться не можетъ, какъ ему вести себя: то усиливается держаться съ Обросимовыми наравнѣ, что́ прежде выходило безъ всякихъ усилій, само собою, то заберетъ вдвое выше, то смотритъ обиженнымъ. Онъ радъ былъ уединенію. Такъ прошло четыре дня. Всѣ стали замѣчать перемѣну въ немъ.—«Здоровы ли вы?» спросила его однажды хозяйка. — Здоровъ-съ, отвѣтилъ онъ, а самъ подумалъ: «слѣдятъ за плебеемъ, слѣдятъ!..» Онъ отказывался нѣсколько разъ отъ чаю, чтобы только рѣже видѣться съ семействомъ... Онъ похудѣлъ... Въ отвѣтахъ его было что-то странное, рѣзкое, большею частію они были односложны. Видѣли, что онъ полюбилъ уединеніе; видѣли, какъ онъ опускалъ надъ работой голову и долго о чемъ-то думалъ. Онъ ѣсть меньше сталъ... Все это обращало на себя вниманіе, все это замѣчали. Для него наступило время, когда такъ легко коверкается характеръ.

Егоръ Иванычъ сидѣлъ измученный и угрюмый въ своей комнатѣ. Вошелъ Володя.

— Что-съ? спросилъ непривѣтливо Молотовъ.

— Егоръ Иванычъ...

— Что?

— Вы не будете сердиться за то, что я вамъ скажу...

Нѣтъ, ничего, говорите, отвѣчалъ Молотовъ мягче.

— Я васъ нынче боюсь...

— Полно, дружокъ, сказалъ ласково и грустно Егоръ Иванычъ: — развѣ я обидѣлъ васъ? Полно, Володенька, мы всегда были друзьями. Вѣдь вы меня любите?

— Да, вы хорошій, добрый такой...

Егоръ Иванычъ погладилъ его по головѣ.

— Что же вамъ нужно?

— Савелій привезъ вамъ письмо...

— Изъ города?

— Изъ города.

— Гдѣ же оно? Ахъ, да вы и не принесли!

— Я думалъ...

— Скорѣй же бѣгите и несите, скорѣе, Володя...

— Сейчасъ!.. я живо!..

Егоръ Иванычъ замѣтно встрепенулся.— «Это онъ, непремѣнно онъ!.. что-то пишетъ?.. Спасибо тебѣ, Андрей!»

— Вотъ! сказалъ Володя, вбѣгая въ комнату и подавая письмо.

Егоръ Иванычъ взглянулъ на адресъ и вскрикнулъ:

— Онъ [redacted] есть!. . . Володенька, я хочу одинъ остаться...

Вотъ что писалъ къ нему Негодящевъ:

«Задушевный другъ,
Егоръ Иванычъ!

«Насилу время нашелъ, чтобы написать тебѣ письмо. Не повѣришь, сколько дѣла: шесть слѣдствій сряду

произвелъ, изъѣздилъ четыре уѣзда, перевидалъ множество люду, переписалъ множество бумаги. Поздравь меня, я вполнѣ чиновникъ, наглухо застегнутый, безкорыстный и безстрастный, какъ сама Ѳемида, хотя и не завязаны у меня глаза. Я всегда говорилъ, что созданъ для слѣдственныхъ дѣлъ... Служу пока счастливо, но не безъ хитрости. Чиновникъ долженъ быть великимъ психологомъ... Ты думаешь, что если чиновникъ знаетъ свое дѣло и не кривитъ совѣстью, такъ онъ уже и полезенъ обществу? Нѣтъ, при такихъ условіяхъ успѣхъ не всегда вѣренъ, нужно еще быть и психологомъ. Необходимо изучить начальниковъ, подчиненныхъ, сослуживцевъ, ихъ женъ, знать весь городъ, какъ пять своихъ пальцевъ; всякую сплетню надобно умѣть предупредить, всякую подлость и каверзу... Подкопавъ бездна, потому что я хоть и не великая птица, но тяжелъ имъ пришелся. Тотъ, кого у насъ зовутъ «самъ», въ моихъ рукахъ. Помню, что ты говорилъ противъ моей системы, доказывая, что въ ней большая доля іезуитства. Но если тебя на недѣлю послать сюда, ты увидишь, что нѣтъ больше средствъ на свѣтѣ. Здѣсь всѣ враги закона, а насъ самый небольшой кружокъ. Мы отбываемъ свой постъ, насколько то возможно. Цѣлый годъ я трудился, чтобы выворотить секретаря вонъ, — выворотили наконецъ!.. и никто не знаетъ, откуда ему такое счастье. Я съ тобою всегда былъ откровененъ... Ты спросишь, кто я такой: наушникъ, доносчикъ, фискалъ? Ничуть не бывало!.. я дипломатъ и психологъ: моя задача—такъ вести дѣло, чтобы провалился негодный человѣкъ, подвести его на службѣ, напутать, повредить ему. Впрочемъ, я не прочь и шепнуть кому слѣдуетъ на ухо, что можно. Мы всѣ знаемъ, что надобно дѣлать, но не знаемъ, какъ дѣлать. Пишу

теперь вообще, сообщаю только свои служебныя начала. Похожденій своихъ не описываю.

«Главная цѣль моего письма — ты. Я довольно хорошо основался здѣсь, имѣю нѣкоторую силу, и, руководствуясь своею системою, подвожу мину подъ одного чиновника. Это негодный человѣкъ, на совѣсти котораго не мало черныхъ дѣлъ. Онъ непремѣнно провалится—часъ его пробилъ! Вотъ тебѣ и вакансія. Кромѣ того, «самъ» ищетъ дѣльнаго чиновника. Я говорилъ ему о тебѣ, и онъ соглашается принять тебя. Вотъ и другая вакансія. Прошу подумать серьезно о моемъ предложеніи. Опять мы заживемъ по старому; я посвящу тебя въ нашъ кружокъ; здѣсь довольно весело; жалованья меньше, чѣмъ въ Обросимовкѣ, но за то есть шансы для будущаго. И что ты забрался въ Обросимовку? Тамъ ли твое мѣсто? Ты долженъ дѣлать другое дѣло, а не тратить жизнь на службу какому-то барину. Развѣ въ томъ твое призваніе? Но я и забылъ твои понятія о призваніи. Ты обложилъ себя книгами, вглядываешься въ жизнь, изучаешь себя и людей, и только послѣ такой работы хочешь добиться, къ чему ты призванъ... Вопросъ по истинѣ громаднаго размѣра! Шутка ли, на двадцать третьемъ году онъ хочетъ понять себя за всю прошлую и за всю будущую жизнь, составить программу, да потомъ и выполнять эту программу! Но, другъ мой, мы родились жить, а не составлять программы. Живи и учись, одно отъ другого не отдирай насильно, а то, Богъ знаетъ, до чего можно додуматься. Не ты первый, не ты послѣдній. Иной создастъ себѣ норму жизни, носится съ нею, кричитъ, трепещетъ, а чѣмъ кончитъ? Какъ идіотъ, упрямо тянетъ многолѣтнюю лямку, самимъ на себя наложенную, — и самому-то наконецъ ему тяжело, и люди на

него пальцами показываютъ, и спину ему ломитъ, — но нѣтъ, несетъ свое ярмо, свою проклятую ношу, самимъ же на свои плечи взваленную, и оглянется потомъ бѣдняга, да ужь поздно, часто сорокъ лѣтъ стукнуло, нѣтъ молодыхъ силъ и энергіи. Что же остается? заплакать о даромъ потраченной жизни, озлобиться на весь міръ, запить, или сдѣлаться лежнемъ, байбакомъ? Мало ли у насъ этихъ рыцарей печальнаго образа? Нѣтъ, мой другъ, жизнь пускай насъ учитъ, а не будемъ выдумывать жизни. Два-три слѣдствія лучше познакомятъ тебя съ человѣкомъ, нежели сто книгъ, — только смотри всему прямо въ глаза, смѣло всему давай свое имя. Ошибаешься—поправиться можно; тогда лишь не поправишься, когда упрямо пойдешь по одной дорогѣ. Жизнь сама скажется. Ты опять спросишь, какое твое призваніе? ты все дѣлать можешь. Притомъ, развѣ ты не можешь служить и въ то время изучать свое призваніе, если тебѣ ужь очень нравится это занятіе? Знаю я твои запросы отъ службы. Иногда подумаешь: что, если этотъ человѣкъ попадетъ на свою дорогу? вонъ онъ сидитъ теперь сиднемъ, а какъ разомнетъ кости и пойдетъ шагать, такъ куда тебѣ и Илья Муромецъ! Дайте ему только осмыслить все, привести въ систему, понять всякое явленіе и всю жизнь связать одною идеею, а ужъ тамъ вѣдь «тряхнулъ кудрями—дѣло вмигъ поспѣло?» Жизнь осмыслить? никогда ее не осмыслишь! Гдѣ ее одолѣть, и притомъ не зная хорошо? Бери ее, наконецъ, безъ смысла, или добивайся смыслу и въ то же время служи; для службы человѣкъ созданъ.—«Мы не приготовлены къ труду.»— «Самъ» готовься. — «Мы не чувствуетъ любви къ той или другой службѣ». — Безъ любви служи. — «Этакъ засохнешь на службѣ». — Сохни, Егоръ Иванычъ,

сколько тебѣ угодно! кому какое дѣло до безполезнаго человѣка? Отъ тебя и не потребуютъ любви къ службѣ; намъ нужны твой умъ, честь и трудъ, а любви пожалуй и не надо; ее и въ формуляръ не вносятъ... А то вы и на службѣ ищете счастья, а не пользы общественной. И любовь, и удовольствіе, и прогулка среди лѣсовъ, и луна, что ли, — все это должно быть на-второмъ планѣ нашей жизни. Поэзію всякій любитъ; нѣтъ, надобно въ прозѣ покупаться — вѣдь отъ нея не убѣжишь. Наконецъ, вы и къ поэзіи притупляетесь, создаете Богъ вѣсть какія стремленія, которыхъ и сами опредѣлить не можете. Мы тоже любимъ и закаты солнца, и май, и нѣгу, и поцалуи, и вечернюю зарю, но мы и ломать себя умѣемъ... Можно читать «Фауста» и служить очень порядочно, не носить докторской хламиды, а приличный вицъ-мундиръ. Прочь вопросы! ихъ жизнь разрѣшитъ, только бери ее такъ, какъ она есть, не прибавляя и не убавляя: безъ смысла жизнь, живи безъ смысла; худо жить, живи худо—все лучше, чѣмъ только мыслью носиться въ заоблачныхъ странахъ. Прямая линія не ведетъ къ данной точкѣ, такъ есть ломаная. Ты бы хоть посмотрѣлъ на своихъ товарищей; большая часть населила присутственныя мѣста; немногіе пошли въ учителя и продаютъ теперь старыя познанія; одинъ уѣхалъ въ Китай; очень немногіе промышляютъ только частными дѣлами, и между прочимъ нашъ любезнѣйшій Патокинъ читаетъ газеты у слѣпой княгини Зеленищевой, но и тотъ ищетъ протекціи для чиновной же карьеры. Двое женились уже. А ты-то что же? должность твоя немного повыше Патокина. Правда, ты писалъ въ послѣднее время, что занялся съ сыномъ помѣщика и хочешь отыскать, по своему обыкновенію, искру божью въ этомъ болванчикѣ; но вѣдь

это все-таки служба частнымъ лицамъ, а будто мы къ тому готовились? Смотри, придется вспомнить мои слова, что частная служба хуже общественной и относительно гонору, и относительно выгодъ. Ты опять спросишь, гдѣ же служить? такъ считай же: ты не можешь быть докторомъ, не можешь быть купцомъ, архитекторомъ, механикомъ, литераторомъ, бариномъ, священникомъ... ты можешь быть чиновникомъ — это неизбѣжно. Больше и говорить не хочу. Я высказалъ откровенно свои мысли и прошу тебя подумать хорошенько о моемъ предложеніи. Пора начинать карьеру. А какъ мы знатно заживемъ!.. опять вмѣстѣ, опять воротятся старые годы!.. Довольно, хотя и есть что написать. Завтра рано ѣду въ Д* на слѣдствіе. Дѣла пропасть... Подумай о моемъ предложеніи, а теперь прощай!

«Другъ твой, Андрей Негодящевъ».

Лицо Егора Иваныча было грустно и въ то же время выражало недоумѣніе. Онъ еще разъ прочиталъ письмо все сполна, потомъ читалъ его по мѣстамъ, отрывками, а самъ думалъ:

«Вотъ чиновные принципы, возведенные къ вѣчнымъ началамъ разума!.. трансцендентальное чиновничество!.. Фаустъ въ вицъ-мундирѣ, Гамлетъ канцеляріи его превосходительства!... Боже мой, много ли времени прошло, а ужь ты, Андрей, начинаешь подаваться! Ты ли это говоришь: «если прямая линія не ведетъ къ данной точкѣ, то есть ломаная?» Остается одинъ шагъ до убѣжденія, что можно и дугой дойдти до того же... Хорошо же ты философствуешь и обличаешь! Громи, добрый сынъ отечества, громи! Неужто надобно опутать всѣхъ, надуть, быть психологомъ и дипломатомъ? да лучше безполезнымъ человѣкомъ остаться.

Вотъ дорога: либо подличай, либо ходи по ломаной линіи. Это возмутительно, этого быть не можетъ! Иначе даю честное слово навсегда остаться безполезнымъ человѣкомъ».

Молотовъ опять открылъ письмо. Его вниманіе остановилось на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ идетъ дѣло о призваніи, карьерѣ, службѣ. Эти мѣста подѣйствовали на него. Рѣзко высказанныя, онѣ ясно встали передъ его воображеніемъ и неотступно требовали отвѣта. Трудно было что нибудь сказать противъ той истины, что Молотовъ готовился не для службы частнымъ лицамъ, хотя и оскорбило его слово «болванчикъ», приложенное къ Володѣ, мальчику очень умному. Трудно было спорить съ тѣмъ, что служба государству есть общечеловѣческое призваніе. Онъ самъ уже дошелъ до вопроса: «я уйду отсюда, но куда?» Потому письмо поразило его. «Неужто въ канцелярскіе Гамлеты?» онъ спрашивалъ себя. Вопросъ требовалъ отвѣта настоятельно. Молотову хотѣлось отбиться отъ него, подавить его хотя на время, потому что тяжело, мучительно тяжело идти на службу сегодня, когда вчера еще не зналъ, какую избрать дорогу, да вовсе и не думалъ о томъ, а жилъ день за днемъ, какъ птица, безъ заботы, безъ будущаго. Это минута критическая, потому что служба — полжизни нашей. Ему хотѣлось хоть на время обмануть себя, а когда человѣкъ захочетъ доказать что нибудь, онъ непремѣнно докажетъ. Я зналъ одного крайне упрямаго господина, который, если доказывали что нибудь противное ему, и если онъ не находился въ данную минуту что нибудь отвѣчать, то всегда говаривалъ: «постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вамъ непремѣнно скажу что нибудь». Подумавши, онъ изворачивался и дѣйствительно изобрѣталъ резонъ. Если его

ловили и на этомъ резонѣ, то онъ опять просилъ: «постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вамъ непремѣнно скажу что нибудь». Словомъ, за нимъ не угонишься. Это къ тому, что Егоръ Иванычъ, напрягая силы, чтобы отвязаться отъ назойливыхъ вопросовъ, успѣлъ изворотиться съ удивительною ловкостью древняго діалектика. Онъ прибѣгнулъ къ правилу: «если тебя обвиняютъ, ты не оправдывайся, а обвиняй самъ». Прочитавъ слова: «безъ любви служи», онъ пришелъ сначала къ той мысли, что нигдѣ не нуженъ слуга безъ любви къ службѣ, потомъ, что онъ не машина, а человѣкъ тоже. «А тряхнулъ кудрями — дѣло вмигъ поспѣло». Это что такое? Надо мной смѣется, или надъ поэтомъ? Боже мой, писать-то какъ легко! давайте, всѣхъ обличу, всѣмъ опредѣлю призванія и родъ занятій. А какъ горячо пишетъ? отъ души, такъ и кипитъ, и все-таки неправду,—значитъ, и отъ души лгать можно. Но нѣтъ, тутъ и правда есть, правда горькая. Не о себѣ ли ты пишешь? Думая обличить меня, ты обнаружилъ свою душу, ту болѣзнь, которую носишь въ ней теперь. Ты уже выдумалъ норму и носишься съ нею едва ли не такъ, какъ тотъ идіотъ, о которомъ говоришь, что онъ своими руками надѣлъ себѣ на шею проклятое ярмо. Вѣрно не легко ходить по ломаной линіи, и ты уже чувствуешь тяжесть своей нормы, она гнетъ тебѣ спину, оттого ты и кричишь въ письмѣ: не меня, а себя обличаешь! О комъ ни пиши, все одно: душевное состояніе скрыть трудно, оно слышится въ твоемъ письмѣ съ полуслова, сквозитъ между строками... Призваніе?.. ты уже Фаустъ въ вицъ-мундирѣ, а я все еще Молотовъ; ты уже создалъ норму жизни, и какую норму! а я все еще нѣтъ. Я только одно понялъ: мое призваніе—жить... всей душой, всѣми порами тѣ-

ла жить хочу. «Бери жизнь, какъ есть она, не прибавляя и не убавляя?» да, вотъ она, вотъ смотритъ въ глаза; она идетъ, въ дверь стучитъ. „Я не могу пока постигнуть, что она такое, но безъ смысла не возьму ее; разгляжу я жизнь, разниму по частямъ, душу ея выну. Я и учился для того, чтобы жить; государству часть себя отдамъ, а весь не отдамся. Эхъ, Андрей, поговорить бы съ тобою. Да подожди, я напишу тебѣ». Видите ли, читатели, какъ легко отдѣлаться отъ назойливыхъ вопросовъ, но, повѣрьте, отдѣлаться только на время. Онъ сѣлъ писать письмо и описалъ все, что случилось въ Обросимовкѣ, только о Леночкѣ не упомянулъ, вѣроятно потому, что съ разстояніемъ уменьшается откровенность. Письмо отвело душу Молотова, но не надолго. Ему хотѣлось живой рѣчи, а вотъ уже нѣсколько дней, какъ Егоръ Иванычъ прервалъ всѣ искреннія отношенія съ окружающими лицами. Онъ все злился въ это время; его мучила гордость. Горячая кровь ключомъ била въ молодомъ, здоровомъ организмѣ Егора Иваныча, и въ это-то время пришлось ему испытать не молодую злобу. Его ломало и коробило. Въ чистую кровь благороднаго и добродушнаго плебея жизнь начала вливать дурные соки. Да, наступила пора, когда такъ легко портится характеръ человѣка...

Въ тотъ же день Марья Павловна сказала своему супругу:

— Ты ничего не замѣчаешь въ Егорѣ Иванычѣ?

— А что?

— Онъ, послѣ поѣздки въ городъ, какъ въ воду опущенный.

— Да; что-то странное съ нимъ дѣлается; никогда я не видалъ его такимъ... даже похудѣлъ...

— Нѣтъ ли у него какихъ непріятностей?

— Должно быть, есть. Стоитъ вчера у окна мрачный такой: «ахъ», говоритъ, «черти, черти!» потомъ махнулъ рукой и задумался. Я изумился, потому что никогда не слыхалъ отъ него такихъ выраженій.

— Ты бы, мой другъ, поговорилъ съ нимъ. Богъ знаетъ, что съ бѣднымъ дѣлается. Можетъ быть, надо помочь чѣмъ нибудь.

— Охъ ты, моя добрая!.. всегда одинакова, отвѣчалъ Обросимовъ:—хорошо, я поговорю...

Въ тотъ же день Аркадій Иванычъ зашелъ къ Молотову и пошелъ прямо къ цѣли.

— Извините, Егоръ Иванычъ, сказалъ онъ: — мою нескромность. Увѣряю васъ, что одно только искреннѣйшее участіе руководитъ мною въ настоящемъ случаѣ. Я замѣтилъ, что вы въ послѣднее время самъ не свой. У васъ есть какое-то горе...

— Вы замѣтили?.. нѣтъ... что же... ничего не случилось...

Егоръ Иванычъ отвѣчалъ съ трудомъ, съ замѣшательствомъ. Онъ невольно закрылъ рукою только что конченное письмо, въ которомъ относился о помѣщикѣ не очень лестно. Такое движеніе Обросимовъ принялъ за желаніе скрыться отъ него. Онъ понималъ, что глубокая печаль не всегда откровенна, что человѣкъ не сразу покажетъ душевную рану, что простое любопытство раздражаетъ ее, и касаться раны можетъ только любящая рука. Поэтому онъ деликатно и ласково сказалъ:

— Егоръ Иванычъ, довѣрьтесь мнѣ, какъ другу: вы встрѣтите во мнѣ не пустое любопытство. Я осмѣли-

вамъ думать, что пріобрѣлъ нѣкоторое право на вашу откровенность...

Молотовъ ничего не отвѣтилъ. Онъ спряталъ въ карманъ письмо, и, потупясь, молча отошелъ къ окну и сталъ писать вензеля на вспотѣвшемъ стеклѣ.

— Егоръ Иванычъ!

Молотовъ писалъ вензеля и молчалъ.

— Послушайте, сказалъ Обросимовъ, подошелъ къ нему и взялъ его за руку:—у васъ, право, есть какое-то горе... будьте откровенны... Богъ знаетъ, я, быть можетъ, и помогу вамъ... Все, что отъ меня зависитъ...

Молотовъ высвободилъ свою руку.

— Вы, Аркадій Иванычъ, заслужили полное право на мою откровенность... я знаю, что вы уважаете меня, но... повѣрьте, мнѣ ничего, ничего не нужно...

Аркадій Иванычъ отошелъ въ сторону и остановился въ раздумьи. На лицѣ его замѣтно выразилось недоумѣніе.

— Можетъ быть, Егоръ Иванычъ, я дѣйствительно не въ свое дѣло суюсь... можетъ быть, сердечныя обстоятельства...

Обросимовъ наблюдалъ за нимъ. Егоръ Иванычъ опустилъ руки въ карманъ и наклонился къ стеклу. Онъ покраснѣлъ.

«Дуракъ же я», подумалъ Обросимовъ.

А на душѣ Егора Иваныча было одно чувство ожиданія, скоро ли отстанетъ отъ него помѣщикъ,—похожее на чувство школьника, которому учитель читаетъ нотацію, когда у школьника не бываетъ ни раскаянія, ни вниманія къ словамъ учителя, а одно тягостное ожиданіе, скоро ли скажутъ: «пошелъ, негодяй, на мѣсто». Потомъ у него повторилась въ умѣ фраза помѣщика: «можетъ быть, сердечныя обстоятельства», и почему-

то Молотову припоминались образы гоголевскихъ героевъ; ему казалось, что гоголевскіе герои говорятъ точно такимъ языкомъ. Молотову немного весело стало.

— Ну, такъ извините, великодушно сказалъ Обросимовъ.

Егоръ Иванычъ вдругъ засмѣялся.

— Богъ васъ пойметъ, сказалъ помѣщикъ, и пошелъ съ этими словами къ дверямъ.

Но у него явилось новое предположеніе, за которое онъ и ухватился съ живостью. Страннымъ можетъ показаться, что Обросимовъ отъ души жалѣлъ молодого человѣка. Но глядя на дѣло объективнымъ окомъ (по старости, мы не пишемъ обличительной статьи, а просто анализируемъ данныя явленія), должно сказать, что онъ любилъ Молотова, хотя въ то же время смотрѣлъ на него, какъ на плебея. Тутъ нѣтъ никакого противорѣчія: развѣ вы, напримѣръ, не любите свою старую няню, но смѣетъ ли она думать о равенствѣ съ вами? Можно любить собачку, картину, куклу,—это не подлежитъ сомнѣнію; можно любить своего лакея, крестьянина, подчиненнаго — это не подлежитъ сомнѣнію; и при всемъ томъ, можно собачку выгнать, картину продать, куклу разбить, лакея выпороть, подчиненному дать головомойку — это не подлежитъ сомнѣнію. Обросимовъ любилъ Молотова; ему жалко было молодого человѣка, хотѣлось помочь ему; онъ готовъ былъ сильно безпокоиться о немъ. Егоръ Иванычъ не понималъ этого. Онъ думалъ, что его не любитъ Обросимовъ. Молодой человѣкъ, очевидно, заблуждался...

— Можетъ быть, денежныя затрудненія, такъ вы не стѣсняйтесь пожалуйста, сказалъ помѣщикъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, отвѣтилъ Молотовъ сухо.

Обросимовъ переминался.

— Не оскорбилъ ли васъ кто, Егоръ Иванычъ?

— Нѣтъ, нѣтъ! съ живостью заговорилъ Молотовъ: — какъ можно?... нѣтъ, никто не обидѣлъ, Аркадій Иванычъ.

Обросимовъ пожалъ плечами.

— Но васъ не узнать, вы совсѣмъ перемѣнились...

Наконецъ Егоръ Иванычъ не вытерпѣлъ:

— Да, у меня есть... затрудненія... большія затрудненія...

Обросимовъ сталъ слушать съ полнымъ вниманіемъ.

— Но мнѣ невозможно высказаться... поймите это.. Господи, да что же это такое?

Егоръ Иванычъ взялся за голову руками и опять повернулся къ окну...

— Извините меня великодушно, Егоръ Иванычъ... Будьте увѣрены, я нисколько не претендую на вашу скрытность... есть такія чувства...

— Да, да, есть такія чувства! нетерпѣливо и съ замѣтной досадой перебилъ Молотовъ.

— Ну, извините меня... Пошли вамъ Богъ миръ на душу...

Обросимовъ отправился къ двери, но опять остановился:

— Вотъ что, Егоръ Иванычъ: вы теперь разстроены, поэтому вамъ не совсѣмъ удобно заниматься... вы не стѣсняйтесь, отдохните...

Молотовъ молчалъ. У него появилось судорожное движеніе въ скулахъ... Еще бы немного, и онъ наговорилъ бы помѣщику грубостей; въ головѣ его стали складываться довольно энергическія фразы...

— Пожалуйста, не стѣсняйтесь, — и съ этими словами помѣщикъ вышелъ вонъ.

— Насилу-то!... проговорилъ Молотовъ: — черти! мерзавцы!..

. . . . . .

Тутъ изящнаго ничего нѣтъ: Егоръ Иванычъ ругается, и ругается довольно грубо...

Егоръ Иванычъ отвелъ душу энергическими выраженіями, и мы будемъ продолжать.

Послѣ изліянія Обросимова ему еще тяжеле; еще запутаннѣе и безтолковѣе стали его отношенія къ чужой семьѣ. Никогда онъ не ощущалъ такого сильнаго неисходнаго, томящаго чувства одиночества, какое теперь охватило все его существо. Слезы пробивались на его глазахъ, а онъ всегда стыдился слезъ, не любилъ ихъ... Егоръ Иванычъ напрягалъ мускулы, чтобы не заплакать, но непрошенныя слезы сами ползли, и, медленно пробираясь по щекамъ, падали тяжелыми каплями, и много было соли въ тѣхъ слезахъ... Пустое, беззвучное, глухое пространство охватило его. «Одинъ, одинъ на всемъ свѣтѣ!» — эта мысль поражала его, холодомъ обдавала кровь, онъ терялся... «Пора жизнь начинать, надобно уйти отсюда, а куда идти? зачѣмъ идти? для кого?» — Толпами идутъ изъ души мысли, самыя разнообразныя и доселѣ мало знакомыя—откуда онѣ поднялись? Среди ихъ основное чувство—досада и жалоба на обиду. Гордость, эта страшная сила въ своемъ развитіи, мучила его такъ, какъ мучитъ человѣка преступнаго совѣсть. Ему стыдно было, что его отталкивали отъ себя нѣкоторые люди, а какъ примутъ его другіе—не зналъ онъ, и являлось сомнѣніе въ своемъ достоинствѣ. И все одинъ, некому слова сказать. Заперта въ немъ эта сила гордости, не разрѣшенная ни единымъ откровеннымъ словомъ, сила жалобъ на одиночество, тревога несозрѣвшихъ вопро-

ковъ и предчувствія темной будущности. Переломъ совершался въ его жизни, а тяжелы тѣ минуты, когда человѣкъ переходитъ тяжелымъ шагомъ изъ безсознательнаго юношества, яснаго, какъ майскій день, въ зрѣлый, сознательный возрастъ. Это время дается легко и мирно однимъ дуракамъ да счастливцамъ... Онъ просилъ смиренія и спокойствія, не понимая, что смиреніе не въ его натурѣ, которая теперь сказалась, а спокойствіе рѣдко бываетъ въ періодъ его жизни...

Но вотъ онъ оглядѣлся, пошелъ къ двери, посмотрѣлъ въ сосѣднюю комнату—тамъ никого не было. Лицо его освѣтилось особеннымъ свѣтомъ; въ немъ выразилось что-то доброе, смѣшанное съ впечатлѣніями, только что согнанными... Надежда проливалась въ его сердце. Неужели такъ сильна его натура, что лишь только возникли въ душѣ вопросы, онъ сряду же рѣшилъ ихъ?.. Вернувшись, онъ заперъ дверь на ключъ, потомъ остановился въ раздумьи... Разнообразныя впечатлѣнія пробѣжали по лицу его...

— Нѣтъ, не могу! сказалъ онъ съ тоскою.

Но онъ сдѣлалъ усиліе, и... какъ вы думаете, что онъ сталъ дѣлать?.. онъ началъ молиться. . . . . .

. . . . . .

Не долго онъ молился.

. . . . . .

Молотовъ подошелъ къ окну и нѣсколько времени смотрѣлъ въ него; потомъ подошелъ къ столу, закрылъ глаза и взялъ на обумъ книгу.

— Что это? — спросилъ онъ самъ себя.

— Лермонтовъ, — самъ же и отвѣтилъ Молотовъ.

Началось пустое гаданье, которому человѣкъ образованный не вѣритъ; но кто не испытывалъ этого любопытства, смѣшаннаго съ тайнымъ, глубоко зарытымъ

суевѣріемъ, которое говоритъ:—«дай открою, что выйдетъ!»—Егоръ Иванычъ раскрылъ книгу... Лицо его покрылось легкой блѣдностью и руки задрожали. Онъ прочиталъ:

«Несчастіе мужиковъ ничего не значитъ противъ несчастія людей, которыхъ преслѣдуетъ судьба.»

Онъ судорожно скомкалъ книгу, бросилъ ее на полъ и захохоталъ. Что-то дикое было въ его фигурѣ; странно видѣть молодое лицо, искаженное злобой, — непріятно. Онъ въ эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэтъ не отвѣчаетъ за своихъ героевъ, что бъ они ни говорили. Но онъ почти ни съ кѣмъ не сообщался въ это время, былъ въ положеніи школьника, отвергнутаго своими товарищами, въ положеніи ужасномъ, при всемъ сознаніи правоты своей.

«Несчастье мужиковъ ничего не значитъ!.. ихъ судьба не преслѣдуетъ! говорилъ онъ: — это господинъ Арбенинъ сказалъ!... больной баринъ и большой негодяй!.. Черти, черти!» —шепталъ онъ. — «Господи, да съ чего я выхожу изъ себя? Что мнѣ до нихъ?»

Однако не скоро улеглась его злость.

Мало по малу мысль Молотова перешла къ тому, о чемъ писалъ Негодящевъ. Быть можетъ, и справедлива была догадка, что другъ, обличая Молотова, высказалъ свои личныя немощи, но за всѣмъ тѣмъ много рѣзкой правды осталось въ письмѣ. При помощи письма, недавно возникшіе вопросы опредѣлились окончательно и съ новою силою хлынули въ его душу. «Призваніе?» — вотъ вопросъ, отъ котораго онъ не могъ отдѣлаться всею силою діалектики. Это слово было такъ значительно, что не оставляло его головы. Съ полнымъ напряженіемъ мозговой силы работалъ Егоръ Иванычъ.

Врасплохъ застала его новая задача; и учился онъ, и жилъ, не думая о будущемъ.—«Ты изучаешь свою старую жизнь, и на основаніи такого изученія хочешь рѣшить вопросъ по-истинѣ громаднаго размѣра» — этого-то съ нимъ и не было. Онъ раскаявался, зачѣмъ не думалъ о томъ прежде, зачѣмъ проглядѣлъ въ своей жизни такой важный вопросъ; Егоръ Иванычъ не привыкъ къ нему, не приготовленъ. Всего остается жить въ Обросимовкѣ нѣсколько дней, а дальше? дальше видѣлась какая-то бездна пустоты, безбрежный океанъ жизни, въ которомъ ничего не разсмотрѣть. — «Господи, твоя воля!» думалъ онъ: «сегодня или завтра, на этихъ дняхъ надобно рѣшить задачу, зачѣмъ я родился на свѣтъ.» Ему даже приходило на умъ, не остаться-ль въ Обросимовкѣ еще на мѣсяцъ: но лишь только Молотовъ вспоминалъ, какъ онъ «ѣстъ много»—злость закипала съ тѣмъ большей силой, что онъ раздраженъ былъ душевными вопросами и измученъ. — «Черти, черти!..» шепталъ онъ. Молиться Егоръ Иванычъ не могъ, да ему казалось, и некогда молиться. Ужасъ охватилъ его страшнымъ холодомъ, какъ человѣка, потерявшаго надежду найти дорогу изъ лѣсу. «Призваніе?» — охъ, какая сила въ этомъ словѣ для того, кто не успѣлъ отыскать въ немъ никакого смысла, а между тѣмъ понялъ все значеніе его. Многіе у насъ родятся какъ будто взрослыми, сразу поймутъ, что имъ надобно дѣлать на свѣтѣ; и, не спрашивая, что такое жизнь, начинаютъ жить; иные эту безвѣстность жизни возводятъ даже въ принципъ, какъ Негодящевъ; иному скажутъ папаша и мамаша: «будь юнкеромъ, чиновникомъ, дипломатомъ», — и эти счастливцы съ пяти, шести лѣтъ знаютъ, что они должны дѣлать на свѣтѣ. Егоръ Иванычъ былъ поставленъ въ иныя условія. —

«О, проклятая, безсознательная, птичья жизнь!», говорилъ онъ и не понималъ теперь, какъ это онъ жилъ до сихъ поръ; ему не вѣрилось, что онъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ такъ безмятежно, прожитое время представлялось какой-то сказкой, лирическимъ отрывкомъ изъ давно-читанной поэмы, а между тѣмъ эта поэма кончилась всего нѣсколько дней назадъ... Отъ мучительной работы ослабѣли его твердые нервы... наконецъ, пусто стало въ головѣ... Такъ ученый труженикъ, послѣ семи или осьми-часовой работы архивной, послѣ микроскопическаго вглядыванья въ мелкіе факты, цифры и штрихи историческіе, въ виду огромныхъ, покрытыхъ пылью фоліантовъ, которые еще предстоитъ одолѣть ему, — наконецъ опускаетъ обезсмысленвшій на время взоръ и не видитъ ничего въ своей тетради, куритъ сигару и запаху въ ней не слышитъ. Легко сказать: «я прямо смотрю въ жизнь! вонъ она?» — Какже!.. Лишь только жизнь глянула своими широкими, прекрасными и страшными очами, Молотовъ зажмурился отъ невыносимаго блеску очей ея. Оно въ поэзіи, въ пастораляхъ и эклогахъ — такъ, а на дѣлѣ невыносимо трудно бываетъ, если только папаша не сказалъ: «ты дипломатъ», или мамаша: «ты юнкеръ»... Наступилъ покой въ душѣ Молотова, тишина; никакая мысль не шевелится, ничего не хочется, не чувствуется. Сгорбившись, съ помутившимся взглядомъ, съ глупымъ выраженіемъ лица, смотритъ онъ въ воздухъ и ничего не видитъ... Вонъ трещина на штукатуркѣ стѣны, и онъ слѣдитъ за ея изгибами и сѣченіями: какъ будто носъ выходитъ; потомъ начинаетъ побалтывать ногою и внимательно смотритъ на кончикъ сапога; съ чего-то припоминаются слова сказки, говоренной еще отцомъ: «а Спиря поспириваетъ, а Се-

ма посемываетъ»; потомъ онъ сталъ разглядывать ладонь свою, близко поднесъ ее къ лицу и важно и безъ смыслу глядѣлъ на нее; слышитъ онъ, какъ будто волоса шевелятся у него, а по ногѣ ползутъ муравьи; всѣ мелкія явленія останавливаютъ его утомленную полумысль. Онъ вздохнулъ, но это вздохъ физическій, какъ и спокойствіе его — физическое спокойствіе, мучительное, миръ, отъ котораго избави Богъ всякаго, страданіе безъ борьбы; такъ охватываетъ вода человѣка, такъ душитъ его тяжелая перина... Но наконецъ засидѣвшееся тѣло просило, чтобы въ немъ разбили кровь. Молотовъ вышелъ на улицу, пошелъ черезъ поле, мимо пашни, обогнулъ кусты у рѣки, къ лѣсу, оттуда къ кладбищу. Спокойствіе уже не душило его. Это былъ простой моціонъ. Движеніе и разнообразіе предметовъ занимали его. Вотъ онъ у мельницы, на той скамейкѣ, гдѣ сиживалъ съ Леночкою. Теперь онъ едва ли не совершенно спокоенъ, даже выраженіе лица его довольно и кротко, взоръ ясенъ, мысль блуждаетъ безпредметно. Онъ сталъ напѣвать что-то, какъ часто напѣвалъ сквозь зубы. Возвращались силы и способность къ впечатлѣніямъ. Надолго ли онъ успокоился? Не всякому выдаются такіе деньки, какіе выдались на долю Егора Иваныча, хотя — что такое съ нимъ случилось? ничего особеннаго. Это большой мальчикъ капризится, оттого, что старшаго надъ нимъ нѣтъ. Будь у него старшіе, они, вѣроятно, объяснили бы Молотову, что ему иначе надобно понимать Обросимовыхъ и иначе вести себя по отношенію къ нимъ, но у него не было руководителя, и пришлось все понимать по своему, такъ, какъ Богъ на душу положитъ. Предоставьте человѣка самому себѣ, и выйдетъ съ нимъ то же, что

съ Егоромъ Иванычемъ: человѣкъ будетъ очень требователенъ. Хорошо ли это?.. не хорошо?

Егоръ Иванычъ занимался съ Володей по граматикѣ.

— Извините, я, кажется, помѣшала вамъ, сказала Лизавета Аркадьевна, входя въ комнату Молотова.

— Ничего-съ; вотъ мы и кончили, отвѣтилъ онъ.

— Я къ вамъ съ просьбой.

Молотовъ поклонился.

— Вы не достанете ли мнѣ китайскій розанъ?

— Но гдѣ же я могу достать, Лизавета Аркадьевна?

— У Леночки Илличовой есть китайскіе розаны?

Молотову показалось, что эти слова были сказаны насмѣшливо, не безъ задней мысли; но онъ не довѣрялъ себѣ, потому что потерялъ способность судить объ окружающихъ его людяхъ безпристрастно.

— Вамъ бы удобнѣе самимъ обратиться къ Илличовой, сказалъ онъ.

— Не хочется мнѣ. Кажется, въ послѣднее время вы довольно коротко сошлись съ нею.

Молотовъ покраснѣлъ и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на Лизавету Аркадьевну, которая отвѣчала ему испытающимъ взглядомъ.

— Вы такъ часто проводите съ ней время, — гуляете, говорите. Но скажите, пожалуйста, какія книги вы посылаете ей? Что читаетъ эта дѣвушка?

— Я давалъ ей Пушкина, отвѣтилъ Молотовъ неохотно.

— Такъ вы достанете мнѣ розанъ?

— Хорошо-съ...

— Я надѣюсь, что это вамъ легко будетъ сдѣлать.

Лизавета Аркадьевна ушла.

«Неужели это намеки?» думалъ Молотовъ. «Какъ это не деликатно съ ея стороны!»

Это Молотова безпокоило.

«Еще Леночка!» подумалъ онъ.

— Егоръ Иванычъ, спросилъ Володя.

— Что?

— Знаете, какая глупость мнѣ пришла въ голову?

— Скажите, Володя.

— Я въ воскресенье бѣгалъ по саду; мнѣ захотѣлось стрижа поймать...

— Ну съ...

— Вотъ я и побѣжалъ къ вамъ...

— Ну-съ...

— Вы были въ бесѣдкѣ съ Еленой Илвининной.

— Ну-съ...

— Мнѣ показалось, кто-то цаловался.

Молотовъ покраснѣлъ и съ досадою сказалъ:

— Глупости вы говорите, Володенька.

Володя не понялъ, отчего ему сдѣлали такое строгое замѣчаніе, однако не продолжалъ исторіи о стрижѣ. Егору Иванычу неловко было въ присутствіи этого простодушнаго и наивнаго мальчика.

— Я пойду, сказалъ Володя.

— Ступайте, отвѣтилъ Молотовъ.

«Канъ запуталось все!» думалъ онъ: «еще Леночка на моихъ рукахъ—это дѣло чѣмъ кончится?.. Что, если слѣдятъ за нами?... Но никому нѣтъ дѣла до меня; всякій за себя отвѣчаетъ... Мѣшаться въ дѣла такого рода нельзя...»

Но никто и не думалъ мѣшаться и напрасно Егоръ Иванычъ безпокоился. Егоръ Иванычъ долго обдумывалъ что-то.

Въ шесть часовъ вечера Молотовъ отправился въ Илличовку. Не доходя до ней, онъ услышалъ съ берегу знакомый голосъ.

— Егоръ Иванычъ!

Онъ вздрогнулъ. Елена Ильинишна удила рыбу.

— Какъ хорошо клюетъ!... ступайте сюда!

Когда Егоръ Иванычъ спустился къ рѣкѣ, Леночка оставила удочку и пошла къ нему навстрѣчу.

— Здравствуйте, Егоръ Иванычъ: что это вы не отличаетесь?

Егоръ Иванычъ подалъ ей руку и поздоровался.

Леночка, казалось, вполнѣ была счастлива; она смѣялась и заглядывала въ лицо Молотову. Но вдругъ лицо ея приняло озабоченное выраженіе.

— Что это, Егоръ Иванычъ, васъ не узнать совсѣмъ, скучный какой!... Егорушка, что съ тобой? говорила ласково и заботливо Леночка.

Она поправила его волосы и приложила ко лбу свою руку.

— Какая горячая голова!

Она поцаловала его.

— Да ну, Егорушка, перестань; что ты такой сердитый?

Въ ея голосѣ слышались слезы.

Егоръ Иванычъ тряхнулъ головой и повелъ плечами.

— Ишь какой! сказала Леночка: — что дуться-то? муху что ли проглотилъ?

— Ахъ, Леночка, проглотилъ!

— Здоровъ ли ты?

— Здоровъ.

Оба помолчали.

— Такъ давно не видались, сказала Леночка: — а ты вотъ какой! а я про тебя все думала.

Они дошли до дому Илличовыхъ и отправились въ садъ на дерновую скамейку.

— Ну, что же выдумали вы? спросилъ Молотовъ.

— Ахъ, какой ты сегодня!... что выдумала!... ничего не выдумала...

— Леночка...

— Что?

— Хотите, я вамъ скажу о чемъ-то.

— Хорошо.

— Что бы вы сказали, когда бы привели къ вамъ кого нибудь и спросили: дайте этому человѣку дѣло на всю жизнь, но такое, чтобы онъ былъ счастливъ отъ него?

— Зачѣмъ это вамъ?

— Нужно.

— Да этого никогда не бываетъ.

— Бываетъ.

Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выраженіе лица дѣвушки, когда она занята серьезною мыслью, а Леночка почувствовала женскимъ инстинктомъ, что ей не пустой вопросъ заданъ. Она, ей Богу, отъ всей души желала бы разрѣшить его, но ничего не смыслила тутъ.

— Не знаю, сказала она и посмотрѣла на Молотова—что̀ съ нимъ будетъ.

Онъ усмѣхнулся.

— Вы бы спросили умныхъ людей, если это вамъ такъ надобно, посовѣтовала Леночка серьезно...

— Умныхъ людей? да они меньше всего смыслятъ въ этомъ дѣлѣ. Никто не знаетъ такого дѣла, да и нѣтъ его на свѣтѣ... Кого занимаютъ такіе вопросы? И говорятъ о нихъ рѣдко и слегка, и то для того, чтобы языкъ не залежался. А! пустяки все! сказалъ онъ и махнулъ рукою.

— Ты, Егорушка, не думай объ этомъ...

Молотовъ не слыхалъ ея словъ. У него подня-

лись и заходили мысли о будущемъ. Опять вспыхнула внутри работа...

— Господи, сказалъ онъ въ глубокомъ раздумьи: — не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою... выдумать ее, что ли?.. сочинить?.. у умныхъ людей спросить?.. Умные люди оттого и умны, что никогда о такихъ вещахъ не говорятъ...

— Такъ и мы не будемъ говорить...

— Нельзя, Леночка...

Леночка слушала его съ полнымъ вниманіемъ, раскрывши глаза широко. Въ ея чудныхъ глазахъ любовь свѣтилась; ротикъ ея полуоткрытъ; яркій румянецъ горитъ на щекѣ...

— Неужели моя жизнь пропадетъ даромъ?.. Гдѣ моя дорога?.. Неужели такъ я и не нуженъ никому на свѣтѣ?

Онъ крѣпко задумался. Леночка все смотрѣла на него, ожидая признаній; но при послѣднихъ словахъ Молотова, она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцалуями, крѣпкими и жаркими, какими еще никогда не цаловала его.

— Егоръ Иванычъ!.. душка!... ты герой!..

Молотовъ пожалъ плечами и чуть вслухъ не сказалъ: «Душка!.. герой!.. вонъ куда хватила!..»

Поцалуи не разогрѣли его, не смотря на то, что Леночка первый разъ охватила его такъ страстно. Въ ея поцалуяхъ, горячихъ и бѣшеныхъ, было что-то серьезное; станъ ея выпрямился, она точно больше ростомъ стала; во всей ея позѣ была рѣшительность и какая-то женственная смѣлость и отвага; грудь поднималась медленно и равномѣрно, и чудно откинула она въ сторону свою маленькую ручку... Молотовъ ничего не замѣтилъ. Онъ смотрѣлъ угрюмо въ землю...

— Милый мой!.. Егорушка!.. И мнѣ тоже все чего-то хочется... Я перестала понимать себя... боюсь всего... такіе странные сны... Я плакала давеча...

— О чемъ, Леночка?

— И сама не знаю, о чемъ... Но теперь ты сталъ говорить, и мнѣ такъ легко... Я никого на свѣтѣ не боюсь... я птица!.. полетимъ, Егорушка!..

— Полетимъ, сказалъ Молотовъ, и засмѣялся...

Леночку обидѣлъ этотъ смѣхъ...

— Всегда такъ... зачѣмъ чувство охлаждать?...

— Куда же летѣть?

— А вотъ черезъ кладбище за озера, за Волгу... туда, туда... Ты понесешь меня въ объятіяхъ... Пойдемъ въ долину; хижину выстроимъ... Пусть всѣ меня оставятъ; я никого не хочу...

— Леночка, возможно ли это?

— Ахъ, какой ты несносный!... я знаю, что нельзя, вѣдь не дурочка... Для того развѣ говорятъ?... это такъ. Вѣдь я люблю тебя, Егорушка...

Молотовъ засмѣялся...

— Ой, какъ ты громко смѣешься!

Леночка замолчала, опустила рѣсницы внизъ; досадныя слезы пробивались на ея глазахъ, она гнѣвно щипала мантилью.

— Господи, чѣмъ это все кончится? вырвалось у Молотова.

— Да о чемъ же ты горюешь, Егорушка?

Не спросила бы его Леночка съ такою любовью, если бы знала, о чемъ онъ думаетъ. Молотовъ отъ злости сталъ несправедливъ; у него желчь разливалась... Онъ думалъ: «полетимъ, Егорушка!... ахъ, ты, птичка, птичка!... Полетимъ!... Я сама знаю, что нельзя!... Что это я надѣлалъ?... Какъ такъ втянулся въ эти

странныя отношенія?» — Припомнилась ему вся любовь, вся игра въ поцалуи, пожатіе рукъ и сладкіе глазки, припомнились страстныя ночи, и досадно ему было, зачѣмъ все это случилось. Но, не смотря на все это, онъ какъ-то невольно тянулъ время послѣдняго свиданія. — «Надобно покончить», думалъ онъ; «сказать ей...» а самъ все сидѣлъ и не хотѣлось ему уйдти такъ скоро...

— Егорушка, да что ты такой скучный?.. что съ тобой сдѣлалось?..

Егоръ Иванычъ не отвѣчалъ; онъ думалъ: «ахъ, вы, божьи ласточки!.. Господи, какъ все это сдѣлалось? Неужели наши отношенія кладутъ не меня серьезныя нравственныя обязательства?.. Что насъ связало? нѣсколько поцалуевъ, Богъ-знаетъ какимъ образомъ полученныхъ. Я и самъ не знаю, что такое у насъ вышло. Во всякомъ случаѣ, одинъ исходъ — разстаться».

— Егорушка, говорила Леночка...

«Допрашивается!» думалъ Молотовъ: «но, быть можетъ, я напрасно безпокоюсь; вѣроятно кончится все просто...»

Леночка опять обняла Молотова. Ему сдѣлалось невыносимо.

— Елена Ильинишна, сказалъ онъ серьезно...

— Что?

— Намъ пора объясниться...

У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егоръ Иванычъ не говорилъ такъ съ нею.

— Развѣ мы не объяснились? спросила она...

— Нѣтъ, не объяснились; все у насъ было, кромѣ объясненій.

— Ну, скажите, отвѣтила Леночка, боязливо глядя на собесѣдника.

— Вы меня любите?

Леночка хотѣла обнять его. Онъ уклонился.

— Я васъ очень люблю...

— Но, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что мы не всегда будемъ поддерживать наши отношенія?..

— Къ чему же объ этомъ говорить?

— Подумайте пожалуйста и выскажитесь откровенно.

Ей никогда не приходилъ такой вопросъ на умъ, и она съ замѣшательствомъ отвѣчала:

— Да, я васъ люблю...

— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вамъ не могу отвѣчать тѣмъ же...

Леночка взглянула на него испуганнымъ взглядомъ и вскрикнула. Болѣзненно отозвался этотъ крикъ въ душѣ Молотова. — «Вотъ она такъ любила!» подумалъ онъ.

— Елена Ильинишна, кто жъ виноватъ? кто виноватъ? вы должны помнить, что не я первый... Молотовъ оборвался на полуфразѣ, потому что невольно почувствовалъ угрызеніе совѣсти. — «Что жъ такое, что не я первый?» шевельнулось у него въ душѣ, и онъ кончилъ иначе, нежели началъ:

— Боже мой, что же это на меня напало!..

Онъ страдалъ. Леночка смотрѣла все молча и испуганно. Лицо ея было блѣдно; сердце сжалось и ныло страшно; рука ея какъ лежала на плечѣ Молотова, такъ и осталась, и Молотовъ слышалъ, какъ рука ея дрожала слегка. — «Зачѣмъ же она любила!» думалъ Молотовъ со страхомъ.

— Что жъ это, Егоръ Иванычъ, развѣ можно такъ?.. вы говорили, что будете любить.

— Нѣтъ, Елена Ильинишна, проговорилъ онъ съ усиліемъ; — я никогда не говорилъ... припомните пожалуйста... Я и самъ не понимаю, какъ все это случилось...

Леночка не возражала.

— Вѣдь это пройдетъ; вы меня не сильно любите...

Леночка заплакала.

— Этого еще не доставало, прошепталъ Молотовъ.

Послышалось всхлипыванье и тихое, ровное, мучительное рыданіе; запрется въ груди звукъ, надтреснетъ, переломится и разрѣшится долгой нотой плача; слезы катились градомъ... Прислушиваясь къ ея плачу, Егоръ Иванычъ невольно вспомнилъ ночь, когда видѣлъ «до гроба вѣрную и любящую...»

— Вонъ изъ чего слагается горе человѣческое, прошепталъ онъ: — плачетъ она, бѣдная!.. что же я-то могу сдѣлать?

— Никому мы не нужны... кому любить такихъ?

Она зарыдала сильнѣе.

Молотовъ сидѣлъ ополоумѣвши. Послѣднія слова задавили его. Мучительныя минуты одна за другою еле ползли. Онъ слышалъ, какъ въ вискахъ его стучало... Наконецъ Леночка стихла.

— Кого же вы полюбили? спросила она.

— Никого, Елена Ильинишна...

— Вы не хотите сказать... не бойтесь...

— Увѣряю васъ, никого не полюбилъ...

— Что же это? спросила она съ изумленіемъ.

— Ахъ, какъ тяжело мнѣ, сказалъ Молотовъ...

Долго они сидѣли молча. Вечернее солнце уходило за лѣсъ, и листья сада зыблились и блестѣли красно-

ватымъ свѣтомъ. Молчная птица кончала свои пѣсни. Тѣни ложились углами и квадратами. Блѣдный серпъ мѣсяца уже глядѣлъ съ неба. Ласточки, вылетая изъ-подъ крышъ, трепетали въ воздухѣ, летѣли на рѣку, омачивали крылья въ воду и опять неслись съ визгомъ... Кто не знаетъ, что въ птичьей пѣснѣ нѣтъ человѣческаго смысла? но кто не отыскиваетъ въ ней смысла? И Егору Иванычу казалось, что птицы его дразнятъ. Зябликъ все одну и ту же руладу повторяетъ... отчего?.. оттого, что одну только и знаетъ... Не всегда бываетъ такъ тяжело разставанье для истинно-любящаго, какъ оно было тяжело для Молотова. — «Итакъ, ко всѣмъ несчастіямъ еще подлость?» думалъ онъ: «ты не долженъ былъ цаловать ее, если впереди не видѣлъ ничего серьезнаго. Но кто же могъ все это предвидѣть? Бѣдная, бѣдная Леночка! какъ она плачетъ!.. какъ ей тяжело!..»

— Леночка, сказалъ онъ, взялъ ея руки и крѣпко поцаловалъ ихъ. — Леночка, простите меня... все это пройдетъ какъ нибудь... не горюйте... не сердитесь на меня... скажите, что вы вспомните меня добрымъ словомъ...

Леночка опять заплакала... Она какъ будто предчувствовала, что въ ней чего-то нѣтъ, за что любятъ другихъ женщинъ, что ее полюбили такъ, нечаянно, по ошибкѣ, и теперь, такъ поздно, хотятъ поправить ошибку. И уже въ ея слезахъ слышалась не только жалоба о потерянномъ счастьи, но и жалоба на обиду, недовѣріе къ себѣ... Между тѣмъ Молотовъ думалъ: «Ничѣмъ нельзя оправдаться: я подло поступилъ, подло!»

Онъ вслушивался въ это новое для него слово, какъ человѣкъ, который вслушивается въ только-что родив-

шуюся и начинающую расти мысль. Вотъ онъ что-то очень ясно понялъ и усвоилъ, такъ что это выразилось во всей его фигурѣ, и онъ прищурилъ глаза отъ внутренней боли.—«Подлость? ну такъ что жъ такое?» думалъ онъ: «съ новымъ чувствомъ познакомился. Опыты обходятся не легко, ничего даромъ не узнаешь. За то теперь вполнѣ человѣкъ!» Ему противно стало отъ такого направленія мыслей. — Но кому какое дѣло?» думалъ онъ: «всякій самъ за себя отвѣчаетъ, а тутъ иначе и быть не могло.» Ему хотѣлось остановить въ себѣ это мучительное броженіе мыслей.

— Елена Ильинишна, намъ проститься надобно.

Она не отвѣчала.

— Не плачьте, Елена Ильинишна; простите меня.

— Егорушка, меня никто больше любить не будетъ.

Она бросилась къ нему на грудь, обняла, поцаловала его. Рыданія ея надрывали душу Молотову.... Жутко ему стало... слеза прошибла, и онъ съ чувствомъ отвѣчалъ на ея поцалуи... Жаль, невыносимо жаль стало ему эту бѣдную дѣвушку... глупенькую, кисейную дѣвушку... Она такъ жить хотѣла, такъ любить хотѣла, и доживала послѣднюю лучшую минуту жизни. Впереди ея пошлость, позади тоже пошлость. Ясное дѣло, что она выйдетъ замужъ, и, быть можетъ, еще бить ее будутъ... Теперь она могла бы воскреснуть и развиться, но... суждено ужь такъ, что изъ нея выйдетъ не человѣкъ-женщина, а баба-женщина. Молотовъ чувствовалъ это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадетъ она!» думалъ онъ.

— Леночка, прости меня, шепталъ онъ...

— Я знаю, отчего ты не можешь любить меня...

Молотовъ цаловалъ ея руки и самъ не зналъ, что

съ нимъ творилось. Онъ сознавалъ, что не имѣетъ любви къ ней, но Леночка была дорога ему... не какъ сестра, не какъ другъ... а за то, что она любила его... Никому и дѣла не было до него, а она?...

— Я знаю, повторила Леночка: — ты не можешь любить меня, потому что я глупенькая...

Молотовъ невольно закрылъ лицо руками...

— Тебѣ жалко меня, потому что ты добрый.

— Боже мой!.. проговорилъ Молотовъ, и по какому-то инстинкту онъ прибавилъ: — такъ женщины не говорятъ.

— Насъ много такихъ дѣвушекъ, говорила Леночка:— но, Егорушка, и такія, какъ Лизавета Аркадьевна, не лучше насъ.

— Леночка, ты ревнуешь?.. Я не могу ее любить... я уѣзжаю отсюда... я ненавижу ихъ... Эти аристократы обидѣли, обругали меня...

Молотовъ, будучи радъ, что нашелъ человѣка, предъ которымъ могъ высказаться, вполнѣ открылъ свою душу. Онъ разсказалъ Леночкѣ все, что онъ пережилъ въ послѣдніе дни, и какъ подслушалъ разговоръ Обросимовыхъ, и что онъ думалъ, какъ помѣщикъ помочь ему хотѣлъ, какъ гадалъ онъ по Лермонтову, и о письмѣ друга своего, и какъ страшна для него будущность — все, все, точно Леночка подругой его стала... Она слушала его съ увлеченіемъ, положивъ на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «да этого не бываетъ»...

— Я ихъ не люблю, сказала она горячо.

Молотовъ поцаловалъ ее, но это былъ не страстный, а добрый поцалуй.

— Богъ съ ними, сказалъ онъ.

— Никогда ихъ не буду любить... Я тебя люблю;

и не сержусь на тебя. . . . . .

. . . . . .

Они разстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего же насъ любить нельзя?.. отчего?»—Прошли для нея хорошіе, добрые дни; но ей было жалко не только добрыхъ дней, тихихъ вечеровъ и ясныхъ поцалуевъ,—она чувствовала какую-то особенную горечь на сердцѣ и все спрашивала: «отчего же насъ любить нельзя?» У насъ не мало встрѣчается такихъ женщинъ, какъ Леночка, и многіе увлекаются ихъ щечками, щечки цалуютъ, и хорошо, если останавливаются только на томъ, на чемъ остановился Молотовъ... Иначе для нихъ невозможна и бабья карьера. Что тогда?.. Молотову пришло въ тотъ день на умъ: «Обросимовъ не хочетъ меня признать полнымъ человѣкомъ, какъ самъ онъ, а я Леночку не хотѣлъ признать полной женщиной. Но дѣло сдѣлано, теперь не воротишь!» Однако и Молотовъ эту ночь провелъ неспокойно, несмотря на то, что въ тотъ день измучился и физически, и нравственно.

Егоръ Иванычъ не мало услыхалъ добрыхъ пожеланій отъ Обросимовыхъ, когда они узнали, что онъ ѣдетъ на службу, по приглашенію пріятеля. Всѣ были къ нему внимательны, ласковы, добры. Вотъ уже въ залѣ накрытъ столъ бѣлой салфеткой, раскинутъ огромный дорогой коверъ, изъ спальной комнаты принесена большая икона, свѣчи зажжены. Аркадій Иванычъ настоялъ, чтобы отслужили напутственный молебенъ. Пришли священникъ и дьячокъ. Во время обряда, отъ котораго Молотовъ хотѣлъ было уклониться, его посѣтили кротость и смиреніе. Ему представилось, что онъ, быть можетъ, никогда не встрѣтится съ этими людьми, а послѣ этого ему казалось дико и не логично сердить-

ся на нихъ. Тогда возникло на душѣ его то чувство, которое создало афоризмъ: «о мертвыхъ либо ничего, кромѣ хорошо». — «Все это прошло», думалъ онъ: «а на прошедшее нечего сердиться. Все мертвое, все прошлое, все, что больше не встрѣтится въ жизни нашей,— не возбуждаетъ злости».

— Ну, дай вамъ Богъ счастья на новомъ поприщѣ, сказалъ Обросимовъ: — не забывайте насъ...

— Желаемъ вамъ всего хорошаго; мы васъ любили, сказала Марья Павловна: — пусть всѣ васъ такъ любятъ.

Лизавета Аркадьевна подала ему руку.

— Прощайте, Егоръ Иванычъ, сказалъ Володя.

Молотовъ поцаловалъ его въ голову...

Прислуга толпилась и тоже кланялась Молотову, и отъ души желала ему всего хорошаго.

Его провожали, какъ родного, и умилительна была эта картина, когда чужому человѣку чужіе люди желали всего хорошаго. Вѣдь это рѣдко бываетъ. . . .

. . . . . .

Но не выдумывать же автору несуществующихъ пока примиреній! Егоръ Иванычъ все-таки ненавидѣлъ ихъ, хотя и говорилъ: «о мертвыхъ либо ничего, кромѣ хорошо». — «Такъ гдѣ же счастье?» спроситъ читатель: — «въ заглавіи счастье обѣщано?» Оно, читатели, впереди. Счастье всегда впереди — это законъ природы.

МОЛОТОВЪ.

(ПОВѢСТЬ).

1861.

МОЛОТОВЪ.

(повѣсть.)

Осень глубокая.

На Екатерининскомъ каналѣ стоитъ громадный домъ старинной постройки. Онъ выходитъ своими фронтонами на двѣ улицы. Изъ пяти его этажей на длинный проходной дворъ смотритъ множество оконъ. Барство заняло средніе этажи—окна на улицу; порядочное чиновничество—средніе этажи—окна на дворъ; изъ нижнихъ этажей, на дворъ, глядятъ мастеровые разнаго рода—шляпники, мѣдники, квасовары, столяры, бочары и тому подобный людъ; изъ нижнихъ этажей, на улицу, купечество выставило свое тучное чрево; ближе къ небу, подъ крышками, живетъ бѣдность — вдовы, мѣщане, мелкіе чиновники, студенты, а ближе къ землѣ, въ подвалахъ флигелей, вдали отъ свѣта божьяго, гнѣздится сволочь всякаго рода, отребье общества, та одичавшая, безпашпортная, безшабашная часть человѣчества, которая вѣчно враждуетъ со всѣми людьми, имѣющими какую-нибудь собственность, окрадываетъ ихъ, мошенничаетъ: это отребье сносится съ днищемъ всего Петербурга — съ знаменитыми домами Сѣнной площади. Такъ и въ большей части Петербурга: отребье и чернорабочая бѣдность на днѣ столицы, на нихъ

основался достатокъ, а чистенькая бѣдность подъ самымъ небомъ. Въ этомъ домѣ сразу совершается шесть тысячъ жизней. Онъ представляется громаднымъ каменнымъ брюхомъ, ежедневно поглощающимъ множество припасовъ всякаго рода; одни нижніе этажи потребляютъ до осьми телѣгъ молока, огромное количество хлѣба, квасу, капусты, луку и водки. На дворѣ безпрестанно раздаются голоса и гулъ, слышенъ колокольный звонъ къ обѣднѣ, стукъ и громъ колесъ по мостовой, въ аптекѣ ступка толчетъ, внизу куютъ, рѣжутъ, точатъ и пилятъ, бьютъ тяжко молотомъ по дереву, по камню, по желѣзу; кричатъ разнощики, кричатъ старцы о построеніи храмовъ господнихъ, министрели и троверы нашего времени вертятъ шарманки, дуютъ въ дудки, бьютъ въ бубны и металлическіе треугольники; танцуютъ собаки, ломаются обезьяны и люди, полишинеля чортъ уноситъ въ адъ; приводятъ морскихъ свинокъ, тюленя или барсука; все зычнымъ голосомъ, рѣзкой позой, жалкой рожей силится обратить на себя вниманіе людское и заработать грошъ; а франты летятъ по мостовой, а ступа толчетъ въ аптекѣ, и тяжко тяжко бьетъ молотъ по дереву, по камню, по желѣзу.

Вечеръ. Тридцать минутъ седьмого.

Въ томъ же громадномъ домѣ, въ среднемъ этажѣ, есть квартира, на улицу окнами, которую занимаетъ семья чиновника, Игната Васильевича Дорогова. Вся семья пріютилась около круглаго стола, въ небольшой комнатѣ, освѣщенной стеариномъ. Направо сидитъ женщина, лѣтъ сорока, въ чепцѣ безукоризненной бѣлизны, съ лицомъ умнымъ, моложавымъ и серьезнымъ — это мать семейства, Анна Андреевна Дорогова; налѣво, супругъ ея—читаетъ газету; старшая дочь, Надя,

дѣвушка лѣтъ двадцати, вышиваетъ; въ то же время, подъ ея руководствомъ, меньшая сестра занялась азбукою; здѣсь же пріютился и гимназистъ съ латинской грамматикой; два младшихъ брата играютъ въ мѣдные солдатики; самый меньшой спитъ въ люлькѣ... Тихо... Всякій занятъ своимъ дѣломъ; изрѣдка перекидываются незначительными фразами, которыя для всѣхъ насъ заготовляетъ повседневная жизнь. Слышенъ шелестъ газеты, трескъ въ комнатѣ, шорохъ платья, монотонные склады, тихій смѣхъ и разговоръ играющихъ дѣтей, щолканье маятника и удары люльки... Уединилась эта жизнь, и глухо, точно изъ другого царства, пробивается сквозь двойныя рамы шумъ и грохотъ городской. Такихъ тихихъ вечеровъ много бываетъ въ этой семейной жизни, и мало словъ говорится въ тѣ вечера. И зачѣмъ слова? Откуда взять матеріалу для рѣчей? У всякаго возникаетъ своя мысль, возникаютъ и зрѣютъ думы и мечты, воспоминанія и образы. Игла матери пробирается по краю платка, изъ-подъ ноги раздаются удары колыбели, съ боку склады дочери, а мысль ея летитъ по всему пространству прожитой жизни и хочетъ заглянуть въ будущую. Въ душѣ дѣвушки развиваются фантазіи и воздушные замки, обдумываніе разныхъ плановъ и секретовъ, воспоминаніе домашней и институтской жизни. Многія женщины любятъ рукодѣлье, потому что во время его остается полная свобода для незанятой мысли. Эта семейная группа въ настоящую минуту полна смысла и мирнаго счастья, а между тѣмъ тутъ нѣтъ душевной тревоги, страстей, насильственныхъ остротъ и фразъ. Когда во всемъ Петербургѣ окна запираются двойными рамами, тогда въ низшихъ слояхъ средняго сословія начинается домашняя, комнатная, запертая въ кружки жизнь, и въ это

время многихъ манило въ свѣтлыя, чистыя, тихія комнаты Дороговыхъ, потому что зимой скучно, и всякій ищетъ случая пріютиться къ чужому мирному гнѣзду. Такого гнѣзда ищутъ всѣ бездѣтные и безсемейные; часто холостякъ, одурѣвшій въ уединеніи или разгулѣ, заходитъ въ тѣ дома, гдѣ горитъ тихая жизнь, хотя бы для того только, чтобы безъ дѣла и развлеченія, а просто такъ, сложа руки, посидѣть за семейнымъ круглымъ столомъ. Иной и отецъ семейства бѣжитъ опрометью изъ своего дома, потому что тамъ дѣти плачутъ, у жены зубы болятъ, прислуга разсчета проситъ. А вотъ и бѣдненько-одѣтый чиновникъ заглянулъ случайно въ свѣтлую комнату, и у него отъ зависти навернулись слезы на глазахъ. — «Вотъ какъ живутъ-то!» думаетъ онъ.—Но бѣднякъ не знаетъ, какъ трудно вырабатывается и добывается эта мирная жизнь. Если бы предложить ему, чтобы онъ прошелъ весь путь, послѣ котораго достигается такая жизнь, онъ, вѣроятно, махнувъ рукой, сказалъ бы: «нѣтъ, трудно!» и поплелъ бы опять горемычную жизнь, подумавъ про себя: «о, Господи Боже, гдѣ бы денегъ украсть на честный манеръ, такъ, что бы можно было жить среди честныхъ людей!»

Да, не сразу устроилась эта жизнь; лѣтъ сто, цѣлый вѣкъ долженъ былъ пройти прежде, нежели создалась эта мирная, семейная группа, которую мы видимъ въ свѣтлой, уютной комнатѣ за круглымъ столомъ. Лѣтъ сто назадъ, когда еще не было громаднаго дома старинной постройки, жили въ Петербургѣ старикъ со старухой. Старикъ шилъ дрянные сапоги, а старуха пекла дрянные пироги, и такими трудами праведными они поддерживали съ бѣдой пополамъ свою дрянную жизнь. Но дочь ихъ, Мавра, была умна, хороша, вы-

училась грамотѣ, читала исторію и псалтырь, четьи-минею и сонникъ, Бову и новѣйшій пѣсенникъ. Скоро случилось, что она осталась круглой сиротою, безъ состоянія, безъ покровителей. На помощь явился Чижиковъ, мелкій-мелкій чиновникъ; ему понравилась Мавра Матвѣевна, и онъ женился на ней. Тогда-то обнаружились ея таланты. Уже въ медовый мѣсяцъ началась ея трудовая жизнь; вставала она въ четвертомъ часу, ложилась въ одиннадцать, стряпала, шила, мыла, а потомъ, когда благословилъ ее Богъ, няньчила дѣтей —все сама. Научилась она бабничать, знакома была съ мелкими торговками, умѣла все купить по крайне дешевой цѣнѣ. При всѣхъ недостаткахъ, Мавра Матвѣевна съ изумительнымъ тактомъ, сводила концы съ концами и даже откладывала кое-какіе гроши въ запасъ, не на черный день, а, какъ мечтала она, на свѣтлый. Жизнь ея день ото дня становилась свѣтлѣе. Въ квартирѣ Чижикова незамѣтно стали являться довольство и приличіе, которыхъ до того онъ не зналъ. Онъ, личность незначительная, смиренная, жившая до сихъ поръ впроголодь, сразу подпалъ вліянію своей жены, что̀ вышло для его же пользы. Онъ чувствовалъ себя хорошо и спокойно, не могъ нарадоваться на свою хозяйку, на бѣдно, но чистенько одѣтыхъ дѣтей. Однако Мавра Матвѣевна предоставила мужу не одно наслажденіе жизнью; она доставала ему переписку нотъ и бумагъ, по ея настоянію онъ выучился дѣлать конверты, коробочки, вырѣзать изъ алебастра зайцевъ съ качающимися головами, лѣпить изъ воску мышей, кошекъ и медвѣдей. Гордость маленькаго чиновника сначала оскорблялась подобными занятіями; но когда, подъ руками жены, мыши и коробки превратились въ рубли и полтинники, а рубли и полтинники вносили достатокъ

въ его семью, онъ подавилъ въ себѣ гордость и удвоилъ рвеніе къ занятіямъ всякаго рода. Между тѣмъ Богъ благословилъ Мавру Матвѣевну — у ней было много дѣтей. Когда знакомые по этому поводу соболѣзновали ей, она отвѣчала: «хоть еще столько!» Такъ и вышло. Увеличеніе семьи составляетъ для иныхъ несчастье, а здѣсь оно повело къ лучшему. Дѣятельный умъ матери перешелъ и къ дѣтямъ; они съ перваго молоду привыкли къ хозяйству; шестнадцати-лѣтняя дочь, Анна, заправляла всѣмъ домомъ. Тогда Маврѣ Матвѣевнѣ стало удобнѣе отлучаться отъ семьи; она появлялась на всѣхъ аукціонахъ, во многихъ домахъ бабничала, доставала дѣтямъ работу изъ хорошихъ магазиновъ, и такимъ образомъ, многотруднымъ раченіемъ, въ продолженіе двадцати слишкомъ лѣтъ, Мавра Матвѣевна, единственно своимъ умомъ и энергіею, съумѣла вывести семью изъ тяжелой, одуряющей бѣдности. Наконецъ, она почти руками могла ощупать ту мечту, которая когда-то представлялась ей такъ далека и недостижима, для которой много ночей не спала ея большая семья за срочной работой. У ней составился порядочный капиталецъ. Тогда совершился переворотъ въ ея жизни; алебастровые зайцы, конверты, собственноручное мытье половъ и тому подобные черноработе промыслы и занятія были изгнаны изъ семьи, оставлена старая квартира, брошено знакомство съ мелкими торговками. Въ новомъ мѣстѣ, на Песнахъ, отрѣшившись отъ черноработей жизни, она стала полною чиновницею, въ чепцѣ съ желтыми разводами, въ салопѣ съ длинной перелиной и съ огромнымъ зонтомъ въ дождливую погоду. Мужъ ея достигъ столоначальническаго термина, и стали его посѣщать столоначальники, архиваріусы, экспедиторы, контролеры. Они ма-

ло по малу прививались къ древу Мавры Матвѣевны, вступая въ бракъ съ дочерьми ея. А сама Мавра Матвѣевна еще въ большой силѣ; когда дочь ея, Анна, родила сына, тогда она родила себѣ еще дочь, другую Анну — это было послѣднее и самое любимое ея дитя, рожденное въ свѣтлой комнатѣ и положенное въ кружевныя пеленки, это и была Анна Андреевна Дороговна. И вотъ поколѣніе Мавры Матвѣевны стало расти шире и шире, получая въ наслѣдство ея дѣятельный и практическій духъ. Отъ нея-то и произошли Бирюковы, Касимовы, Дороговы, Рогожниковы, Ильинскіе, Бенедиктовы, Череванины; по крайней мѣрѣ, ея духомъ связались во-едино. Тогда Мавра Матвѣевна, по ея понятію, достигла возможнаго счастья. Образовалась цѣлая порода чиновниковъ, особая корпорація, члены которой служили въ безчисленныхъ присутственныхъ мѣстахъ столицы. По родственной связи поддерживая другъ друга, они всегда давали знать своимъ о вновь открывшейся вакансіи, за своихъ горой стояли, добывали протекцію, и такимъ образомъ, поколѣніе, созданное Маврою Матвѣевною, проработывало себѣ карьеру во всѣхъ сферахъ чиновнаго царства. Многіе тогда знали Мавру Матвѣевну, и маленькій чиновникъ считалъ за особое счастье попасть въ ея кружокъ. Чтобы представить себѣ такое счастье, надобно отрѣшиться отъ обыкновеннаго пониманія карьеры, съ которымъ соединяются генеральскіе чины, многотысячные капиталы, внушающія звѣзды, аристократическія жены, помѣстья, —все, что добывается въ высшихъ сферахъ бытія, гдѣ и поклоняются высшимъ богамъ и богинямъ. Есть другого рода карьеры, не поднимающіяся выше столоначальническаго термина, такъ что этотъ терминъ, какъ путеводная звѣзда, блеститъ для юноши гдѣ-то далеко,

въ глубокой старости. Въ этой-то сферѣ Мавра Матвѣевна занимала высшее мѣсто, распоряжаясь силами многихъ душъ чиновныхъ. Такъ она пріобрѣла въ своемъ кругу значеніе и вѣсъ, которые успѣла упрочить и за дѣтьми своими. На шестидесятомъ году она лишилась мужа, одѣлась въ черное, оставила всѣ дѣла, читала духовныя книги и знала пол-библіи на память; часто можно было видѣть, какъ она одѣляла нищую братію грошами и копѣечками, приговаривая: «поминайте раба божія Андрея»... На осьмидесятомъ году она купила себѣ мѣсто на Волковомъ кладбищѣ, подлѣ могилы мужа, «абонировалась», какъ выразился тогда одинъ изъ ея внуковъ, обнесла мѣсто полисадникомъ, насадила клену, малины и сирени. А поколѣніе ея разрослось до осьмидесяти человѣкъ. Очень стара она была въ то время; подъ чепцомъ ея все побѣлѣло; морщины на лицѣ, на рукахъ, на шеѣ превратились въ трещины: она сгорбилась; память ея отказывалась отъ сегодняшняго дня, хотя все, случившееся давно, старуха разсказывала съ изумительными подробностями, повторяя одно и тоже нѣсколько разъ, всегда одними словами и въ томъ же порядкѣ. Ея житія было 91 годъ, и похоронена она, какъ завѣщала, среди малины и сирени.

По мужской линіи родъ Дороговыхъ восходитъ до временъ Анны Іоанновны. Первыя извѣстія о нихъ сохранились въ документѣ, который оставленъ прапрадѣдомъ потомству, подъ именемъ: «Памятникъ событій», такъ что лѣтъ черезъ тысячу родъ Дороговыхъ будетъ очень древній. Изъ памятника мы узнаемъ, что прадѣдъ Дорогова былъ придворнымъ конюхомъ, служилъ подъ начальствомъ Волынскаго, который однажды пожаловалъ его сотней рублей, въ другой разъ — шубой, а однажды ни за что отодралъ кошками; дѣдъ былъ

приказнымъ, а отецъ уже чиновникомъ назывался; наконецъ, въ лицѣ Игната Васильевича древняя кровь окончательно очистилась и возвысилась. Такимъ образомъ поколѣнія прабабушки-мѣщанки и прадѣда-конюха слились во-едино и такъ переродились, что теперь невозможно и подозрѣвать, что предки ихъ нѣкогда стояли на такой низкой общественной ступени. Таковы историческія судьбы!

Во всякой черной работѣ есть идея, стремленіе осуществить въ жизни свое желаніе, завести такой порядокъ, какой хочется, заставить судьбу совершать тѣ событія, которыя намъ нужны. Мавра Матвѣевна народила много дѣтей, и, при ихъ пособіи, забрала судьбу въ руки. Надо же, наконецъ, было воспользоваться ею. Чего хотѣли эти люди? Они изъ силъ бились-выбивались, чтобы заработать себѣ благосостояніе, которое состояло ни въ чемъ иномъ, какъ въ спокойномъ порядкѣ, съ разсчетомъ совершающемся существованіи, похожемъ на отдыхъ послѣ большого труда, такъ чтобы можно было совершать обрядъ жизни сытно, опрятно, честно и съ сознаніемъ своего достоинства. Такой идеалъ у нихъ опредѣлялся словами «жить, какъ люди». Они справедливо думали, что до сихъ поръ только работали, а не жили. Теперь отдыхъ насталъ, и естественно имъ казалось, что самое блаженное состояніе на землѣ—это вѣчно отдыхать, чувствуя ежедневное спокойствіе и упрочивая это спокойствіе на завтрашній день. Больше ничего. Но семьѣ все-таки поздно было начинать жизнь снова: много лѣтъ ушло, силъ потрачено, горя помнилось; оставалась на сердцѣ обида за двадцать лѣтъ трудной жизни; по-неволѣ хотѣлось отвѣдать на комъ нибудь изъ своихъ того идеала, который имъ былъ такъ любезенъ, прочув-

ствовать день за днемъ, какое есть на свѣтѣ существованіе хорошее, и вотъ вся страсть къ жизни нашла исходъ, окончательно завершенный, при появленіи Аннушки, ко дню рожденія которой отецъ, мать, братья и сестры доработались до своего благосостоянія. Всѣ заботы семьи выпали на долю послѣдняго дитяти; всѣ любили это дитя, наперерывъ ухаживали за нимъ. Трудно представить себѣ то довольство, то безконечное наслажденіе, какое ощущали они, глядя на дитя въ кружевныхъ пеленкахъ, на рукахъ здоровой и красивой няньки, дитя, начинающее жить такъ, какъ имъ хотѣлось. — «Такъ бы и намъ расти нужно было!» думали они. — Жизнь этого ребенка была произведеніемъ многихъ рукъ, непокладно работавшихъ двадцать лѣтъ, потому онъ и былъ гордостью семьи. — «Что-то будетъ?»—думали они, и ни на минуту не закрадывалось въ ихъ сердце сомнѣніе, что Аннушка, быть можетъ, не оправдаетъ ихъ надеждъ. Они не имѣли случая разувѣриться въ ней. Когда Аннушка стала понимать, ей родные разсказали, что она сейчасъ же можетъ начать благоденствовать, что они много трудились для нея и все приготовили, разсказали, какъ они бѣдствовали, терпѣли нужду, не спали ночи надъ срочной работой, копили деньги; они дали понять ей, какая страшная сила въ деньгахъ и показали ей много денегъ. Они говорили, какая у нихъ была квартира, какимъ пьянымъ, грязнымъ, ворующимъ сосѣдствомъ они бывали окружены, какое у нихъ было знакомство, и при этомъ обнаруживали искреннюю радость, что она ничего подобнаго не испытаетъ. Прежній бытъ казался Аннушкѣ противнымъ и тягостнымъ; въ то же время она чувствовала, что недавно еще всѣ успокоились, послѣ долгаго выбиванья на свѣтъ бо-

жій, и убѣдилась, что цѣль достигнута, дальше некуда стремиться, до предѣла дошли. У ней, подъ вліяніемъ такихъ условій, выработался складъ души, вполнѣ ясный, опредѣленный, удовлетворенный. Она любила своихъ родныхъ, свое хозяйство, свое благосостояніе. День за днемъ проходили ея дѣвственные годы, безъ порывовъ изъ замкнутаго около нея круга. Все шло у ней регулярно, чинно, благонравно; репутація ея была въ высшей степени безукоризненна. Въ такихъ дѣвушкахъ предвидятся отличныя хозяйки. Она желала себѣ всего того, чего ей другіе желали. Отсюда не слѣдуетъ, что у нея не было своего ума и своей воли; напротивъ, она была умна и настойчива, но ея умъ и воля вполнѣ совпадали съ цѣлями старшихъ; она сама хотѣла всего того, что съ ней случалось. Насилія не было. Въ ея натурѣ не было нравственной потребности сдѣлать попытку — взглянуть за предѣлы семейнаго міра. Она родилась въ такой положительный часъ, когда завершался результатъ долгой работы цѣлаго поколѣнія, результатъ, которымъ осталось ей только воспользоваться. Въ ней воплотился идеалъ поколѣнія, и вотъ къ такимъ-то личностямъ невозможно относиться обличительно, представляя ихъ ограниченный кругозоръ, нельзя досадовать, видя ихъ спокойныя лица, выражающія откровенное нежеланіе идти впередъ. — «Довольно!.. для насъ лучшаго не надо!» — написано на ихъ красивыхъ, дышащихъ счастьемъ лицахъ. Невольно соглашаешься, что такое спокойствіе вполнѣ законно, точно чувствуется, что жизнь и природа, долго работая въ этомъ уголкѣ сословія, хотѣли достигнуть пока ближайшей цѣли, достигли, сложили руки и отдыхаютъ. Напрасно говорить Аннушкѣ, что есть жизнь болѣе полная и широкая, хотя часто сопро-

вождаемая душевными муками и не такъ обезпеченная, — она ничего не пойметъ и ничему не повѣритъ. Если же на минуту и возникнутъ въ душѣ ея сомнѣнія, она спроситъ мамашу, сестеръ, и тѣ легко и ясно докажутъ ей, что нѣтъ счастья выше ихъ счастья — сытнаго и спокойнаго, регулярно каждый день справляемаго. Впрочемъ, на ея долю не выпало и случаевъ такихъ, которые заставили бы ее развиться въ иномъ направленіи. Книги ей попадались большею частію такія, которымъ нельзя было вѣрить — очевидно лгали, описывая то, чего нѣтъ на свѣтѣ, — либо такія, которыхъ она не понимала. Правда, она читала и лучшихъ поэтовъ, но они не расшевелили ее: въ книгахъ она не нашла ничего похожаго на свою жизнь, что отчасти случилось и съ дочерью ея, Надей, хотя у послѣдней имѣло совершенно иной исходъ. Книги развили ея вкусъ и научили говорить хорошо. Немного она получила и отъ пансіоннаго воспитанія. Наконецъ, въ кругу этой дѣвушки не было тѣхъ образованныхъ, молодыхъ и горячихъ на слово людей, которые могли бы увлечь ее,—все чиновники, чиновники и чиновники, охъ, какъ много чиновниковъ! Да и явись самый увлекательный мужчина и позови Аннушку на иную жизнь, она, прислушавшись чутко къ новымъ рѣчамъ, увлеклась бы на нѣсколько минутъ, а потомъ опять точно ничего не слыхала, ничего не узнала. Вотъ это-то и называется цѣльною натурою. Она всегда прилична, достаточно благочестива, старшимъ покорна, къ хозяйству прилежна. Но полной женщиной она сказалась во время замужества; тогда въ ея характерѣ развились новыя стороны, которыя въ дѣвушкѣ лежали пока въ зародышѣ.

Бракъ Анны Андреевны состоялся послѣ семейнаго

совѣта, въ которомъ и она принимала участіе. Когда обсудили со всѣхъ сторонъ дѣло и нашли, что Дороговъ—отличная партія, она сказала матери и сестрамъ: «я согласна», заплакала, но тотчасъ же почувствовала влеченіе къ Игнату Васильичу, который, надо сказать, былъ молодъ и недуренъ собою. Она по чистой совѣсти въ церкви сказала — «да».

Анна Андреевна незамѣтно сдѣлалась царицей домашней жизни, хотя это было для нея труднѣе, нежели для ея сестеръ, которыя уже въ медовый мѣсяцъ обозначились полными домовладычицами, чему мужья и покорялись послѣ легкой борьбы. Но знаете ли, каковъ былъ нѣкогда ея мужъ, да и теперь остался отчасти? Онъ, какъ большинство, думалъ съ молоду, что холостая жизнь есть самая лучшая жизнь, не только потому, что она удобна для разгула и частой перемѣны любовнаго продукта, а и потому, что пока человѣкъ не женатъ, онъ никого не знаетъ и знать никого не хочетъ, не стѣсненъ никѣмъ, ни о комъ не заботится, никого не кормитъ, всѣ деньги идутъ на его одного: несчастливъ, такъ одинъ несчастливъ, — никто, кромѣ тебя, не тяготится; никто, вмѣстѣ съ тобою, не плачется на судьбу; а счастье посѣтило, такъ возьми перваго встрѣчнаго на улицѣ — всякій съ охотою раздѣлитъ счастье. Не слышите ли чего знакомаго въ этой системѣ, по которой намъ горько дѣлить съ ближнимъ даже несчастье, потому что съ какой стати будутъ вторгаться въ мою душу посторонніе люди? Этой системы съ молоду держался и Игнатъ Васильичъ. Онъ женился бы въ свое время, лѣтъ подъ сорокъ, когда бы понадобилась хозяйка, сидѣлка, стряпуха, когда нельзя ожидать большого плодородія, а слѣдовательно и большихъ расходовъ и заботъ по лю-

бовному дѣлу. Такъ разсуждаютъ самцы: такая система — дѣло разсчета, коммерческій оборотъ. Но подошли же и сложились обстоятельства иначе. Игнатъ Васильичъ, — онъ до-сихъ поръ не понимаетъ, какъ это съ нимъ случилось, — страстно полюбилъ Анну Андреевну и до того запутался въ этомъ дѣлѣ, что увлекся и позволилъ себѣ жениться въ молодыхъ лѣтахъ, на двадцать осьмомъ году жизни. Когда прошелъ первый пылъ увлеченія, онъ сталъ раскаяваться; когда же молодая, горячая страсть совершенно остывала и должна была превратиться въ тихую, ровную и прочную любовь семьянина, онъ просто сбѣсился и началъ такъ кутить, что едва его не выгнали изъ службы. Въ это время онъ немного образумился. Между тѣмъ, во время безпутной жизни мужа, зрѣлъ характеръ Анны Андреевны. Будучи мѣщанскаго рода, она много сохранила въ памяти разсказовъ о страшно-изломанной семейной жизни, о деспотизмѣ и полноправіи мужей, о пьянствѣ ихъ, домашней бѣдности и неисходномъ семейномъ горѣ. Анна Андреевна дрожала и блѣднѣла отъ одной мысли, что и она можетъ испытать такія же бѣдствія; она уже видѣла приближеніе ихъ, и въ головѣ ея проходили отвратительныя картины разрушеннаго хозяйства, невоспитанныя, быть можетъ ворующія на улицѣ, дѣти, и въ то же время она очень хорошо знала, что нѣтъ на свѣтѣ власти между мужемъ и женою, жаловаться некому, судиться негдѣ, что мужъ и жена такъ связаны между собою, что всякое наказаніе ему служитъ наказаніемъ и ей, и дѣтямъ, и всему будущему ея поколѣнію. Она въ ужасѣ падала передъ иконою Божіей Матери, и рыдала, и молилась. Безсонныя ночи и полусонные дни летѣли чередой, но не было помощи ни откуда. Въ

одинъ день она почувствовала, что подъ сердцемъ ея что-то живетъ — то была Надя; она сознала въ себѣ силы и рѣшилась бороться съ мужемъ, безъ слезъ и жалобъ,—требовать, тогда какъ до сихъ поръ она только плакала, худѣла и умоляла мужа. Тогда ей жизнь дала новый урокъ. Игнатъ Васильичъ былъ страшно упрямъ и крѣпколобъ. Съ нимъ трудно вести открытую войну; у него какъ-то особенно строились убѣжденія, организація ихъ была оригинальна. Онъ, знаете ли, [illegible]тникъ и поразсуждать, но, ради Бога, не доказывайте ему ничего, не надѣйтесь пріобрѣсти въ лицѣ его адепта вашего ученія, коль скоро замѣтите, что онъ съ вами не сходится, — даромъ потеряете время. Лучше предоставить его самому себѣ: быть можетъ, и догадается какъ нибудь и самъ дойдетъ до вашей мысли. Онъ долго слушаетъ, запоминаетъ слова ваши, соображаетъ, и бровями поведетъ, и носъ пальцемъ подопретъ; онъ повидимому увлекается, но подъ конецъ все-таки скажетъ неожиданно: «да нѣтъ... все это не то... я не думаю такъ». — Отчего? — Отвѣтъ старый. — Трудно своротить Игната Васильича, потому что своя мысль сильно врастаетъ въ его крѣпкую голову. Кто знаетъ этого человѣка, тотъ не любитъ съ нимъ много говорить, а прямо приглашаетъ къ зеленому столу. При этомъ упорномъ характерѣ, въ немъ были развиты дикіе инстинкты. Онъ смѣялся надъ любовью, не смотря на то, что женился по любви. Этотъ мормонистъ по натурѣ имѣлъ нѣкоторыя и служебныя неподвижныя истины. Онъ нѣкоторыхъ начальниковъ глубоко ненавидѣлъ, но ни разу не подвелъ ихъ, хотя и имѣлъ къ тому много случаевъ; службу онъ считалъ священнѣйшимъ долгомъ своимъ, хотя одно время, увлекшись разгуломъ, едва не лишился мѣста; чело-

вѣка выгнаннаго, даже напрасно, онъ презиралъ; формалистъ былъ страшный, смѣшивалъ самымъ искреннимъ образомъ службу дѣлу со службою лицу; исполнительность и безгласное повиновеніе считалъ едва ли не выше самаго знанія дѣла. Вотъ этого-то господина, — произведеніе департаментской фауны, — пришлось укрощать Аннѣ Андреевнѣ. Она рѣшилась твердо предъявить свои права. Прежде, при слезахъ и упрашиваньяхъ жены, молодой супругъ только охалъ да хмурился, выжидая перваго повода уйти изъ дому; но когда она стала требовать отъ него порядочной жизни, какъ долга, упрекала его, напомнила брачныя клятвы, Игнатъ Васильичъ вышелъ изъ себя, обругалъ жену, надѣлъ пальто и шляпу и, на ея же глазахъ положивъ въ портъ-моне двѣсти рублей, скрылся изъ дому на недѣлю. Анна Андреевна едва не захворала; но у ней былъ организмъ желѣзный, и она перемогла обиду. Она поняла, что за человѣкъ былъ Игнатъ Васильичъ; попытка наступить на мужа прямо — была съ ея стороны первая и послѣдняя. Она нашлась наконецъ. Съ того времени мужъ рѣдко видалъ ее недовольною. Родилась у нихъ дочь — это нѣсколько привязало Дорогова къ дому, а между тѣмъ въ воображеніи Анны Андреевны быстро развернулась цѣлая система дѣйствій относительно мужа, вліяніе которой онъ и испыталъ на себѣ. Успѣхъ жены былъ полный, такъ что мы видимъ въ Игнатѣ Васильичѣ мирнаго семьянина, который изрѣдка только отзывается по-старому холостякомъ, и то въ слабой степени и въ другомъ направленіи. Анна Андреевна оказалась и умнѣе, и сильнѣе своего мужа. Она незамѣтно сдѣлалась полной царицей домашней жизни; ея планы, ея мечты осуществлялись, а мужъ долженъ былъ ступеваться. Гдѣ же она

нашла силы? Это женскій секретъ. Она принялась ткать дивную ткань, тонкими шелками, по канвѣ семейной жизни, долго и усидчиво. Съ грубой силой, съ беззаконнымъ правомъ вступилъ въ тайную, подземную борьбу умъ женскій — изобрѣтательный и изворотливый, гибкій и терпѣливо выжидающій. Дороговъ не замѣчалъ, какъ подводили подкопы подъ его убѣжденія, перевоспитывали его, перестряпывали, отняли у него прежній характеръ и дали ему совершенно иной. Онъ не подозрѣвалъ, что при всѣхъ поцалуяхъ, при всей любви къ нему, Анна Андреевна ни разу, въ продолженіе двадцати двухъ лѣтъ, не была вполнѣ откровенна съ нимъ, изучаетъ всѣ его слабыя стороны, знаетъ, что̀ и когда можетъ имѣть на него вліяніе. Здѣсь требовалась работа мелкая, а Анна Андреевна любила заниматься узорами. У ней для того и времени много: мужъ на службѣ, а жена сидитъ за шитьемъ; голова ея свободна, она многое передумаетъ, все разсчитаетъ, свѣситъ и предусмотритъ. Подъ полнымъ вліяніемъ Анны Андреевны дѣти и прислуга; она искусно дѣлаетъ ихъ орудіемъ своихъ цѣлей: дѣти всегда хотятъ того, чего она хочетъ, ласкаются къ отцу, приготовляютъ его, просятъ. Она съумѣла заставить дѣтей любить отца, угождать ему, а черезъ это отца привязаться къ нимъ. У самой у ней были дорогія для житейской практики свойства. Она, не смотря ни на какое расположеніе духа, могла держать себя ровно и прилично. Она говоритъ довольно связно и слушаетъ на столько внимательно, что знаетъ, что̀ надобно отвѣчать, но въ то же время думаетъ о своемъ дѣлѣ. Для собственныхъ ощущеній у нея не было выраженія на лицѣ; трудно догадаться, когда этотъ человѣкъ скучаетъ или сердится; лицо ея сразу навсегда приняло

извѣстныя формы, да такъ и не перемѣнило потомъ. Она никогда почти не краснѣла, не увлекалась, не отступала отъ внѣшнихъ обрядовъ жизни. При этомъ Анна Андреевна мастерица заставить дѣлать то, чего ей хочется, не сказавъ о томъ ни слова, не попросивъ ни разу. — «Надъ диваномъ бы повѣсить отцовскій портретъ»—говоритъ мужъ.—Отчего жъ и не повѣсить? соглашается жена, но ей это не нравится, и посмотришь, черезъ полгода портретъ виситъ въ спальнѣ за печкою. Потомъ Анна Андреевна съумѣетъ навести мужа на мысль, что онъ захочетъ *самъ* перемѣнить мѣсто портрета, а жена, когда придетъ время исполниться ея затаенной мысли, притворяется и называетъ мужа безхарактернымъ: тотъ захочетъ поставить на своемъ, а чрезъ это-то и сдѣлаетъ то, что желаетъ жена. Анна же Андреевна устроиваетъ ему и пульку, и шахматную игру, и любимое кушанье, и бесѣду умныхъ людей. Она знаетъ всѣ его привычки и прихоти, знаетъ, когда можно съ нимъ говорить, просить его, желаніе его не исполнить, какъ приготовить сигару, гдѣ поставить солонку во время обѣда; она сосчитала всѣ мозоли на его ногахъ, и чулки къ нимъ приноровила. Анна Андреевна старалась сдѣлаться необходимою для мужа, такъ чтобы безъ нея у него весь день пошелъ на выворотъ отъ безпорядка, чтобы онъ жить безъ нея не могъ. Все хозяйство было приноровлено къ тому, чтобы каждая вещь нравилась мужу, и въ умной головѣ Анны Андреевны домашняя обстановка является въ тысячѣ комбинацій; вѣчно, безустанно мысль ея работаетъ надъ одной и той же задачей. Анна Андреевна создалась такъ, что удальство, рѣзкость, крупное остроуміе, громадныя физическія силы, распаляющія страсти, лирическіе порывы изъ верхняго этажа внизъ головою и тому

подобные идеально-широко-безшабашные аттрибуты, цѣнные въ характерѣ мужчины для нѣкоторыхъ женщинъ, для нея не имѣли никакого смысла. Она любила тишину, деньги и дѣтей. Она рѣшилась добыть себѣ мирную жизнь, и вотъ повела многолѣтнюю переработку своего сожителя, и, послѣ неимовѣрно-напряженной и тайной, неуслѣдимой борьбы, у Дорогова оказалось не то лицо, не та походка, не тѣ вкусы, не тѣ рѣчи, не тѣ друзья и знакомые, которые были прежде, — такъ онъ перемѣнился. Обуздали его и перевоспитали. И что удивительнѣе всего, во всемъ этомъ не вражда была; нѣтъ, это любовь была. Какихъ чудесъ не совершается въ православной, русской жизни? Анна Андреевна любитъ своего мужа, всегда вѣрна ему, о своихъ удовольствіяхъ заботится менѣе, нежели о его удовольствіяхъ; она скорѣе сошьетъ мужу шубу, нежели себѣ салопъ, а еще скорѣе деньги употребитъ на дѣтей. Она лелѣетъ его, покоитъ, Богу за него молится. Вѣдь Дороговъ произведеніе рукъ ея, — какъ же не любить ей Дорогова? Но, главнымъ образомъ, любовь и терпѣніе Анны Андреевны вытекали изъ ея положенія. Любовь ея была обязательная, предписанная закономъ, освященная церковью, и потому неизбѣжная. Ей нельзя было ненавидѣть мужа, иначе она погибла бы. Въ иныхъ слояхъ общества жена мужу говоритъ: «я не хочу съ тобой жить», и уѣзжаетъ на вольную квартиру, а здѣсь объ этомъ и думать было невозможно... Бѣжать?.. куда?.. А проклятіе матери, которая ее не пощадила бы? а ненависть родныхъ? а бѣдность? а дѣти — бросить ихъ, что ли? а страстное желаніе жить, какъ люди? а наконецъ, сила брачныхъ обязательствъ? Все такъ сложилось въ жизни Анны Андреевны, что она поставлена была въ необходимость полюбить свое-

го мужа, и она съумѣла полюбить душу его, наружность, общественное положеніе. Для этого она отыскала въ мужѣ добрыя стороны, выдумала ихъ, обольстила себя насильно, что было возможно только при ея холодномъ и степенномъ характерѣ. Само собою разумѣется, что обязательная любовь Дороговой не могла быть страстною, романическою. Это была сдержанная, спокойная, искусственно воспитанная привязанность къ законному мужу. Изъ этой сферы, довольно узкой и душной, никогда не порывалась Анна Андреевна. За предѣлами заколдованнаго круга она не знала ни смысла, ни свѣта. Ей думалось, все, что она слышала о нравственномъ, изящномъ, святомъ, — осуществилось наконецъ въ ея жизни. Она была невозмутима, совѣсть ея спокойна; и если каялась Анна Андреевна духовному отцу, приговаривая: «грѣшна, батюшка, грѣшна», то единственно по христіанскому смиренію. На самомъ же дѣлѣ она сознавала свое достоинство и считала себя безгрѣшною, и мужъ едва ли не признавалъ ее святою — такъ была безукоризненна ея репутація. Все въ ней нравилось Дорогову, онъ видѣлъ въ ней что-то аристократическое, важное, она похожа на барыню хорошаго тона, что окончательно покоряло его; она хороша, умна, получила нѣкоторое образованіе, любитъ мужа, отличная хозяйка, у нея такъ много дѣтей, она такъ хороша съ гостями, дѣтьми, прислугой, его друзьями. Въ добромъ расположеніи духа, Игнатъ Васильичъ, цалуя свою жену, говаривалъ, что благоговѣетъ передъ нею. Но Игнатъ Васильичъ смутно чувствовалъ, что черезъ жену сталъ домовитымъ человѣкомъ, и никогда не могъ допустить и сознаться, что въ его домѣ царствуетъ женщина. — «Я глава дома!» думалъ онъ съ непобѣдимою своею упорностью. — Анна

Андреевна о словахъ не спорила; ей дорогъ былъ результатъ. Женщина съ большими запросами отъ жизни объявила бы явную вражду такому мужу, какъ Игнатъ Васильичъ, и непремѣнно проиграла бы, потому что онъ крѣпокъ былъ на слово и на дѣло; а она не проиграла, взнуздала мужа, укротила его и поѣхала, куда хотѣла.

Такимъ образомъ, нужно было сто лѣтъ назадъ народиться Маврѣ Матвѣевнѣ, работать двадцать слишкомъ лѣтъ, добыть матеріальное благосостояніе, потомъ народиться Аннѣ Андреевнѣ, работать надъ мужемъ тоже слишкомъ двадцать лѣтъ, и тогда только могъ состояться тотъ мирный семейный вечеръ, который мы видѣли въ домѣ Дорогова. Но и послѣ всего этого, все-таки мирные вечера нарушались здѣсь по самымъ пустымъ причинамъ, все еще счастье не было упрочено окончательно. Игнатъ Васильичъ сдѣлался домовитымъ человѣкомъ, но все-таки остался Игнатомъ Васильичемъ. Много мрачнаго осталось въ его характерѣ. Подозрѣвалъ ли онъ инстинктивно, что его обезличили, или въ натурѣ русскаго человѣка, даже чиновника, гореванье и сѣренькій взглядъ на жизнь, — что бы то ни было, но ему подчасъ становилось невыносимо скучно. Расположеніе духа Дорогова было большею частью серьезное, съ оттѣнкомъ строгости, грусти и задумчивости. Онъ мало разговаривалъ съ дѣтьми, отвѣчалъ имъ резонно, коротко и ясно; дѣти дичились его, любили уходить изъ той комнаты, гдѣ онъ сидѣлъ, потому что отецъ не терпѣлъ шуму, говорили съ нимъ тягучимъ, жалобнымъ голосомъ. Но когда случалось, что отецъ позволялъ себѣ болтать и шутить съ ними, дѣти дѣлались свободны, карабкались къ нему на ко-

лѣни, рылись въ его бакенбардахъ; хохотъ дѣтскій, крикъ и визгъ около Игната Васильича, и наслаждается онъ сознаніемъ, что у него добрая семья, и называетъ ихъ канальями. Но лишь только скажетъ отецъ своимъ строгимъ голосомъ: «довольно, дѣти!» — дѣти сразу оставляли его и начинали выжидать, какъ бы уйдти изъ той комнаты, гдѣ сидитъ отецъ. Въ добромъ расположеніи духа Игнатъ Васильичъ все проститъ и забудетъ; когда же расположеніе смѣнялось, тогда толкъ и правда въ семьѣ становились иные: прежде умное считалось глупымъ, позволительное — запрещеннымъ, часто слѣдовало наказаніе, за что прежде почти поощряли. Не доспитъ ли онъ, или не поладитъ въ департаментѣ, дуется ли его любимая канарейка, или много луку положено въ супъ, или просто пасмурный день произвелъ дурное впечатлѣніе, — все это у него сейчасъ же обнаружится на словахъ и на дѣлѣ. Онъ любилъ сорвать на комъ-нибудь гнѣвъ, при чемъ онъ къ женѣ рѣдко придирался, къ старшей дочери тоже мало, но меньшимъ дѣтямъ приходилось плохо. Въ такомъ случаѣ всегда слѣдилъ за нимъ зоркій, всевидящій глазъ жены. — «Что, если перемѣнится?» думала она: — «начнетъ бездомничать, пристрастится къ клубу, къ товариществу, къ трактирной жизни?»

Семейная группа за круглымъ столомъ начинаетъ разстроиваться. Мать пошла хлопотать по хозяйству; гимназистъ ушелъ въ другую комнату, и другія дѣти посматриваютъ, какъ бы улизнуть изъ-за стола, за которымъ нѣсколько минутъ назадъ такъ весело было сидѣть. Эти люди на столько знаютъ другъ друга, что довольно одного взгляда на отца, и они догадываются, что отецъ обезтолковѣлъ немного.

— Поди ты прочь!.. Что тутъ торчишь все? гово-

рить отецъ Володѣ, который очень близко сѣлъ къ нему.

Володя подвинулся; потомъ, посидѣвъ немного, поднялся со стула и направился къ двери.

— Куда? остановилъ его отецъ.

— Въ ту комнату́, папенька...

— Зачѣмъ?

— Такъ.

— Шалить?.. Сиди здѣсь.

Володя садится къ столу съ стѣсненнымъ сердцемъ.

— Зачѣмъ ногами болтаешь? кричитъ ему отецъ.— Тебѣ говорили, что это не хорошо?

— Володя! слышно изъ другой комнаты.

— Вонъ мать зоветъ, поди, говоритъ отецъ.

Володя уходитъ съ радостью и твердымъ намѣреніемъ избѣгать встрѣчи съ отцомъ до самаго ужина.

Игнатъ Васильичъ сознаетъ между тѣмъ, что по пусту придирался, и въ его душѣ является смѣсь и борeніе разныхъ чувствъ — и грусти, и досады, и недовольства собою, и совѣстно ему, и самъ онъ понять не можетъ, что съ нимъ дѣлается. Все это безпокоитъ и раздражаетъ, а Ѳедя, какъ нарочно, начинаетъ скрипѣть дверью, чего отецъ терпѣть не могъ и въ добромъ расположеніи духа.

— Что я тебѣ тысячу разъ говорилъ, а? спрашиваетъ онъ сына.

Тотъ молчитъ.

— Говори же!

Молчитъ.

— Я-жъ себя заставлю отвѣчать, каналья этакая!.. Встань въ уголъ!

Ѳедя ни съ мѣста.

— Ну!

Мальчикъ, потупясь въ землю, медленно подвигается къ углу.

— Стой до тѣхъ поръ, говоритъ отецъ внушительно и съ разстановкою: — пока не скажешь, зачто поставленъ.

— Не знаю, говоритъ жалобно Ѳедя,

— Ѳединька, вмѣшивается Надя: — скажи, что скрипѣлъ дверью, и проси у папаши прощенья.

— Не хочу, шепчетъ упрямецъ.

— Не тронь его, Надя, — онъ упрямъ.

— Ну, да, упрямъ!

— Молчи, каналья!

Игнатъ Васильичъ подходитъ къ окну и начинаетъ барабанить по стеклу пальцами. Сынъ опять начинаетъ ворчать подъ носъ себѣ:

— И поиграть нельзя... все запрещаютъ... все худо...

— Вотъ я тебя, грубіянъ, не велю къ теткѣ брать...

— И не нуждаются...

— Я тебѣ уши выдеру...

Послѣ этого Ѳедя перестаетъ говорить.

Чувства безпокойства и недовольства собою еще выше поднимаются въ душѣ Дорогова. Онъ думаетъ о сынѣ: «откуда въ немъ это упорство? въ кого онъ такой уродился? Боже мой, заботишься о нихъ, ростишь, а вотъ какая благодарность!» — На сердцѣ его становилось горько-горько. А, очевидно, Ѳедя уродился въ него же, поддаваясь не вліянію наставленій и наказаній, а примѣра въ поступкахъ отца. Мальчикъ, видя постоянныя противорѣчія, привыкъ полагаться на себя и рѣшеніе свое считать послѣднимъ. Онъ инстинктивно ростилъ свое: «мнѣ досадно» и «мнѣ такъ хочется», и рѣдко могъ воздержаться, чтобы не отвѣчать на выговоръ отцовскій заунывнымъ тономъ какую-нибудь

грубость. Такъ во всякомъ семействѣ можно наблюдать ту силу, которая въ разныхъ его членахъ создаетъ одинаковыя свойства, по законамъ отраженія отъ одного лица на другое.

Гимназистъ заглянулъ въ комнату.

— Что-жъ ты не занимаешься своимъ дѣломъ? спросилъ его отецъ.

— Я приготовилъ уроки.

— Что-жь, уроки только?

— Я...

— Я, я, я! Затвердилъ одно!.. Экіе упрямые у меня уродились, прости Господи!.. На-ко вотъ книгу, прочитай эти пять листиковъ... Онъ только для учителя готовитъ! — а ты для себя учись!

Отецъ долго говорилъ на эту тему, такъ долго, что гимназистъ радъ-радехонекъ былъ, когда получилъ изъ отцовскихъ рукъ книгу и дождался времени уйдти вонъ. Отцу еще хуже. Онъ начинаетъ ходить изъ угла въ уголъ, ходитъ долго и тревожно, нахмурившись, какъ туча.

— Папаша!.. говоритъ, глядя на полъ, Ѳедя.

— Ага! отвѣчаетъ отецъ злорадостно. — Что? надоѣло въ углу стоять?

Какъ только сказалъ отецъ «ага», Ѳедя опять не можетъ говорить, точно ему заперли ротъ на замокъ.

— Что ты хочешь сказать?

Ничего не можетъ сказать мальчикъ.

— Постой же еще! говоритъ отецъ съ упорствомъ и злостью.

Ѳедя хочетъ сказать, но не можетъ: ему стыдно.

— Ви... но... ватъ! наконецъ произноситъ онъ съ усиліемъ.

— Въ чемъ же ты виноватъ?

У Ѳеди слезы на глазахъ.

— Ну, объясни толково...

— Скр...ри...пѣ...лъ, отвѣчаетъ ребенокъ, всхлипывая.

— Зачѣмъ ты скрипѣлъ?

— Не...зна...ю.

— Тебѣ запрещено было?

— Запре...ще...но...

Ребенокъ разрыдался.

— Слезы!.. слезы!.. сказалъ съ тоской Игнатъ Васильичъ. — Охъ, ты, Господи! (Сильное удушье слышалось въ этомъ отцовскомъ «охъ».) Ну, полно тебѣ, перестань, говорилъ онъ смягченнымъ, но все еще суровымъ голосомъ. — Ну, поди, Ѳеди, къ матери; поди къ ней.

Ѳеди постоялъ и помялся немного, отеръ кулачонкомъ слезы и потомъ пошелъ къ матери.

— Дѣти, дѣти, глубоко вздохнувъ, проговорилъ Игнатъ Васильичъ: — ничего-то не понимаютъ они, только отца сердятъ, а отецъ для нихъ какъ волъ работаетъ...

— Вы, папаша, не волнуйтесь, говоритъ Надя.

— Обуть, одѣть, накормить всѣхъ надобно, выучить и къ мѣстамъ пристроить, а какая благодарность.

Проходитъ нѣсколько мучительныхъ минутъ. Дороговъ хочетъ заняться газетой, но не можетъ. Все его сердитъ и раздражаетъ.

— Антонелли, Кавуръ, Викторъ-Эммануилъ, ворчитъ онъ, пробѣгая газету: — а пропадай они совсѣмъ, — мнѣ-то что до нихъ за дѣло? Вотъ честное слово, провались Италія сквозь землю, и я не поморщусь (говоритъ онъ это, а между тѣмъ вчера интересовался политикой и завтра будетъ интересоваться

ею). — Это что? критика!.. Ну ее къ бѣсу... (Онъ перевертываетъ листъ). — Тутъ что! «О дороговизнѣ квартиръ»... Вотъ чепуху-то разводятъ; ничего не смыслятъ, а все-таки пишутъ. — «Пожары». (О пожарахъ онъ прочиталъ внимательно). — Такъ и есть, причина неизвѣстна, сказалъ онъ, причемъ въ его головѣ шевельнулись злыя и довольно либеральныя для его чина мысли. — «Самоубійство», читалъ онъ далѣе. — Болванъ какой-то повѣсился; отодрать бы его хорошенько (но тутъ и самъ онъ смѣкнулъ, что мертвыхъ драть нечего). — «Откармливаніе свиней»... «о мостовыхъ»... «несчастье отъ кринолина»... «иригонъ скота»... — Пишите себѣ на здоровье! О свиньяхъ пишетъ, и то гуманность упомянетъ: повѣсится какое-нибудь животное, и тутъ о прогрессѣ скажутъ... Литераторы!.. Экія газеты у насъ!.. Эту еще почтенный и ученый человѣкъ издаетъ, семьянинъ, свой домъ имѣетъ, и все-то тамъ, говорятъ, живутъ писатели. Ну къ чему ты, Надя, дала мнѣ газету?

Дочь посмотрѣла на него съ удивленіемъ, потому что она не давала ему газеты.

— Зачѣмъ ты подсунула мнѣ эту газету? О, Надя, меньше читай; я тебѣ это не разъ говорилъ, и еще много разъ буду говорить. Станешь зачитываться, — забудешь добрую нравственность, потеряешь вѣру, уваженіе къ родителямъ и старшимъ, появится вольнодумство, недовольство собою и всѣми людьми... Книги ведутъ къ размышленію... это-то и худо... покажется, что надо жить не такъ, какъ живешь, а отсюда непослушаніе и развратъ.

Надя молчала; ей скучно было. Отецъ долго бранилъ книги и писателей.

«Хоть бы ушелъ онъ куда-нибудь», подумала Надя: «либо къ намъ навернулись бы гости.»

Желаніе Надежды Игнатьевны было очень естественно. Когда приходили посторонніе люди, хотя бы и родные, отецъ изъ приличія не позволялъ себѣ дѣлать разныхъ выходокъ, хотя бы и былъ не въ духѣ,— никогда и никого не поставитъ въ уголъ, не сдѣлаетъ выговора; развѣ только за угломъ гдѣ-нибудь, улучивъ удобную минуту, шепнетъ непріятное словцо. Одинъ купецъ, который билъ дѣтей своихъ и плетью, и палкой, и за вихры таскалъ ихъ, говаривалъ Надѣ: «у васъ Игнатъ Васильичъ не отецъ, а просто добрѣйшій человѣкъ!»

Въ отвѣтъ тайной мысли Нади, вдругъ раздался звонокъ въ прихожей.

Боже мой, какъ все оживилось, забѣгало, повеселѣло въ квартирѣ Дорогова! Гимназистъ швырнулъ книгу на этажерку, Ѳедя поѣхалъ верхомъ на отцовой палкѣ, Надя отправилась къ фортепьяно, — канарейка, и та проснулась и шарахнулась въ клѣткѣ; одна Анна Андреевна всегда одинаково серьезна и ровна. Въ воздухѣ точно пронеслось: «свобода, тишина! брань миновалась! Дѣти, играйте, отецъ васъ не тронетъ больше!» — И дѣйствительно, отцовское лицо прояснѣло. Онъ заботливо осмотрѣлся, взялъ газету, только что швырнутую имъ, и, какъ будто читая, глядѣлъ въ нее внимательно, а самъ нетерпѣливо ждалъ посѣтителя.

Въ комнату вошелъ коротенькій, толстенькій человѣкъ лѣтъ сорока, съ крупной золотой цѣпью на брюшкѣ, съ багрянцемъ на щекахъ, съ лысиной на головѣ, подвижной и бойкій, аккуратно и опрятно одѣтый.

— Макаръ Макарычъ, привѣтствовали его Дороговы: — добро пожаловать.

Макаръ Макарычъ Касимовъ, помощникъ столоначальника и бухгалтеръ одного акціонернаго общества, освѣдомился сначала о здоровьи дамъ, потомъ хозяина, наконецъ малыхъ дѣтушекъ, одного изъ нихъ поймалъ за плеча и поцаловалъ, другого погладилъ по головѣ, успѣлъ поправить свѣтильню на свѣчкѣ и снять нитку съ сюртука Дорогова, сказавъ: «у васъ ниточка», и потомъ вдругъ угомонился и смирнехонько сѣлъ къ столу.

Въ гостиную опять собралась вся семья: опять начался мирный семейный вечеръ.

— Что новаго? — спросили у Макара Макарыча.

— Извѣстно, что!.. отвѣчалъ онъ.

Всѣ посмотрѣли на него.

— Дороговизна, закричалъ Касимовъ, и разсердился не на животъ, а на смерть.

Всѣ слушали его спокойно, зная, что это у него ужь темпераментъ такой, что высокія ноты въ его голосѣ не должны никого безпокоить, онъ сейчасъ же и утихнетъ.

— Угадайте, что просили съ меня за сажень дровъ?

Никто не отвѣчалъ.

— Нѣтъ, вы угадайте.

Всѣ продолжали заниматься своимъ дѣломъ, будучи увѣрены, что Макаръ Макарычъ самъ же и отвѣтитъ на свой вопросъ.

— Семь рублей... сказалъ онъ язвительно, точно дразнилъ всѣхъ. — Что, хорошо? нравится это вамъ? утѣшаетъ?

Дорогова забрало наконецъ.

— Скажите, отвѣчалъ онъ:—ахъ мошенники!

— То-то и есть, мошенники!

Завязался оживленный разговоръ. Вспомнили тѣ времена, когда фунтъ хлѣба стоилъ грошъ и даже менѣе; перебрали, что нынѣ стоятъ свѣчи, сахаръ, мука, мясо, дрова, квартиры и т. п. Непринужденно и бойко лилась рѣчь. Макаръ Макарычъ выводилъ одинъ за другимъ на свѣтъ божій поразительнѣйшіе факты. Вся душа его кипѣла; онъ былъ въ своей сферѣ и жилъ полной жизнью.

— Зато деньги теперь дешевле, сказалъ, входя въ комнату, новый гость.

— Только не для насъ, отвѣтилъ запальчиво Макаръ Макарычъ и даже не здороваясь съ гостемъ: — не для чиновниковъ; вы, доктора, ничего этого не понимаете.

Докторъ, Ѳедоръ Ильичъ Бенедиктовъ, былъ серьезный господинъ, высокаго роста, съ умнымъ лицомъ и въ очкахъ. Онъ говорилъ крупной октавой, точно дробью катилъ по туго-натянутому барабану.

Коммерческая ярость Макара Макарыча мало по малу укротилась. Одинъ вопросъ, касавшійся насущныхъ потребностей круга Дороговыхъ, отошелъ въ сторону. На очередь выступилъ другой вопросъ.

— У Ильинскихъ плохо, сказалъ докторъ: — корь у дѣтей.

Началось общее сожалѣніе и тревога.

Дѣти были любимымъ предметомъ Анны Андреевны, и вотъ она, будучи рада, что есть случай поговорить о нихъ, въ сотый разъ разсказывала, какъ Ѳедя, на третьемъ году, снялъ съ себя башмаки, чулки, рубашонку, побросалъ ихъ за окно и остался совершенно голый; какъ Леша едва научился ходить и ушелъ, незамѣченный никѣмъ, за двери, успѣлъ спуститься съ двухъ лѣстницъ и только тогда хватились его; какъ

Сеня насыпалъ песку въ табакерку крестной мамашѣ, генеральшѣ. Она сообщила, что Надя хлѣбъ называла —«мо», Коля—«фа», Соня—«фу-фу», а Володя—«ли». Все, что составляетъ жизнь дѣтей, — когда ребенокъ первый разъ улыбнулся, взялъ въ ручонку какую нибудь вещь, началъ ползать, стоять, ходить, когда куплена азбука, какъ опредѣляются въ гимназію и институты, — все это предметы душевныхъ разсказовъ Анны Андреевны. Но наконецъ истощился запасъ разговоровъ и по этой части. Анна Андреевна не знала, чѣмъ бы занять гостей, и когда завела разговоръ о выпройкахъ, въ то время пришли еще гости.

Одинъ изъ нихъ былъ экзекуторомъ, Семенъ Васильевичъ Рогожниковъ, любившій посмѣяться надъ дамами, ненавидѣвшій католиковъ, лютеранъ и ученыхъ. Глаза его тусклы, носъ круглъ, щеки большія, шея короткая — живое олицетвореніе паралича. Другой гость былъ болѣе нежели средняго роста, нѣсколько сутуловатъ, плотно сложенъ; здоровье и крѣпость были видны во всей его фигурѣ; хорошо устроенный лобъ и сѣрые глаза обнаруживали умъ; густые бакенбарды покрывали его щеки. Это былъ Егоръ Иванычъ Молотовъ, архиваріусъ одного присутственнаго мѣста. Пришедшіе поздоровались.

— Макаръ Макарычъ, сказалъ Рогожниковъ: — у насъ вакансія открылась.

Все смолкло.

— Вотъ вашему сынишку и мѣстечко. Директоръ обѣщалъ.

Всѣ шумно поздравляли Макара Макарыча. На сцену выдвинулся, въ лицѣ Рогожникова, служебный вопросъ, столбовой, коренной вопросъ жизни этихъ людей.

— Вы знаете нашего урода-то, говорилъ Рогожниковъ о директорѣ: — насилу нашелъ удобный случай поговорить съ нимъ.

— Какъ же вамъ удалось переговорить съ этимъ звѣремъ?

— А презабавный тутъ вышелъ случай у насъ. Есть у насъ чиновничекъ, Меньшовъ, молоденькій, хорошенькій, умненькій, бѣдно, но всегда чистенько и щеголевато одѣвается. Этотъ господинъ, какъ вы думаете, какую шутку выкинулъ? Ни больше, ни меньше, какъ влюбился.

— То есть, какъ влюбился? спросилъ Дороговъ.

— Вотъ, какъ въ романахъ влюбляются...

— Ну, полно, сказалъ Дороговъ.

— Поросенокъ! прибавилъ Макаръ Макарычъ.

— Въ чиновницу влюбился, продолжалъ Рогожниковъ: — тоже бѣдненькую дѣвочку. Вотъ нашъ Меньшовъ самъ не свой, на седьмомъ небѣ, всѣхъ своихъ товарищей перецаловалъ, и на радостяхъ, сдуру, разлетѣлся къ нашему директору: «такъ и такъ», говоритъ, «жениться хочу».

— Ну, что же директоръ?

— Слушайте. Директоръ спрашиваетъ его: «сколько жалованья получаете?»—Двѣнадцать рублей въ мѣсяцъ.—«Приданое большое?»—Оказалось никакого. — «У васъ есть благопріобрѣтенное, родовое? — Нѣтъ, ваше превосходительство.—«Такъ это вы нищихъ плодить собрались?» закричалъ директоръ:—«ни за что не дамъ свидѣтельства на женитьбу!»—Меньшовъ растерялся, а генералъ началъ его поучать: — «Я васъ подъ арестъ посажу, лишу награды, замараю вашъ формуляръ. Народите дѣтей, воспитать ихъ не съумѣете, все это будутъ невѣжды, воры, писаря, канальи! Вы хоти-

те государство обременять! Зачѣмъ вамъ дѣти, скажите-ко? Какъ ихъ вы будете ростить? драть начнете, ругать каждый день, а они играть въ бабки, въ свайку, въ орлянку, таскать гвозди изъ заборовъ, копить кости и продавать эту дрянь, чтобы добыть грошъ на пряники; съ горемъ пополамъ научите ихъ читать да писать, и кончится тѣмъ, что помѣстите ихъ куда нибудь въ писцы, и правительство же должно будетъ учить ихъ правописанію? Вотъ женихъ-то! Повернитесь-ко, я на васъ въ профиль погляжу... ничего, повернитесь, повернитесь!.. Ай, да женихъ!.. я самъ, батюшка, холостой человѣкъ... отчего?... а что я стану съ дѣтьми дѣлать? пороть ихъ каждый день, а съ женой браниться? — а вѣдь этакъ-то нельзя, милый мой.» — Меньшовъ заплакалъ.—«Что жъ, очень хороша, что-ли, ваша невѣста?» спросилъ директоръ. — Да, ваше превосходительство.—«Она съ кѣмъ живетъ?»—Съ тетенькой.—«Тетенька позволяетъ вамъ видѣться, гулять вмѣстѣ, оставаться вдвоемъ?»—Позволяетъ.—«Ни за что же не дамъ свидѣтельства. Можете и такъ любиться. Не шумѣть, молодой человѣкъ!.. Ну, я васъ къ наградѣ представлю, повышу мѣстомъ, только оставьте свои нелѣпыя затѣи».—Меньшовъ цѣлую недѣлю послѣ того не являлся въ должность.

— Такъ и не получилъ свидѣтельства? спросили Рогожникова.

— Слушайте, что дальше будетъ. Недѣли двѣ спустя, является къ нашему директору невѣста Меньшова—и бухъ ему въ ноги. Его превосходительство растерялся; онъ не мастеръ обращаться съ женщинами. Невѣста объяснила ему свою просьбу. — «А, такъ это вы? очень пріятно познакомиться... прошу покорно садиться... Я слышалъ, что вы желаете вступить въ за-

ковный бракъ... Что жь, это похвальное дѣло. Но хорошо, что вы ко мнѣ пришли, а то бы вы натерпѣлись большого горя. Вѣдь вашъ женихъ Меньшовъ?» — Да. — «Но вѣдь онъ негодяй первой руки, пьетъ страшно, грубитъ начальству, его скоро выгонятъ вонъ. Товарищи недавно поколотили его за кражу часовъ; онъ нѣсколько разъ сидѣлъ въ полиціи». — Дѣвушка едва не упала въ обморокъ. — «Ну, хорошо ли вамъ будетъ, когда сдѣлаетесь его женою? Представьте, что онъ будетъ всегда пьянъ, бить васъ будетъ, наведетъ домой буйныхъ товарищей, послѣдній салопишко вашъ продастъ; когда выгонятъ его изъ службы, вы же будете кормить его трудами рукъ своихъ; куда бы вы ни скрылись, онъ вытребуетъ васъ черезъ полицію и заставитъ жить вмѣстѣ. Поди-ка, онъ разсказываетъ, что я запрещаю ему жениться за его бѣдность?.. Полноте, бѣдность не порокъ; и въ бѣдности добрые люди живутъ хорошо. Я оттого не дамъ ему свидѣтельства на женитьбу, что онъ негодяй и что онъ погубитъ такую прекрасную дѣвицу, какъ вы». — Директоръ такіе ужасы наговорилъ невѣстѣ, что она съ рыданіемъ оставила его. Его превосходительство проводилъ развѣнчанную невѣсту до дверей, и когда она скрылась изъ глазъ, сказалъ: «Вотъ теперь я посмотрю, какъ ты женишься!.. молокососъ!.. нищій!.. Покажи-ко теперь невѣстѣ свой регистраторскій носъ, да она тебѣ глаза выцарапаетъ! Эй, кто тамъ?» крикнулъ онъ. — Въ это время я подвернулся. — «Скажите, кому слѣдуетъ», крикнулъ онъ, «чтобы Меньшова перемѣстили на старшій окладъ, тамъ вакансія есть, и чтобы къ празднику назначили ему награду». — Я вижу, что его превосходительство въ добромъ расположеніи духа, и потому рѣшился просить

для вашего сына вакансію, открывшуюся послѣ Меньшова. Что же? безъ слова обѣщалъ.

Всѣ порадовались за сына Макара Макарыча.

— Ну, а Меньшовъ что? спросилъ докторъ.

— Ничего, служитъ.

— И прекрасно сдѣлалъ генералъ. Вѣда жениться недостаточному человѣку.

— Но оставаться въ холостякахъ вотъ такимъ людямъ, какъ Егоръ Иванычъ, по моему мнѣнію, непростительно.

— А помните, докторъ, отвѣчалъ Молотовъ: — вы обѣщали, что жените меня къ новому году. Послѣ того прошло уже два новыхъ года.

— Что жъ съ вами дѣлать станешь? Сколько я вамъ невѣстъ предлагалъ, и все были хорошія невѣсты. Во-первыхъ, купчиха, образованія не богъ-знаетъ какого, но не безграмотна, хозяйка хорошая, изъ себя женщина красивая, а главное — съ большими деньгами. Потомъ, помните Попкину? не особенно хороша она и небогата; но генеральская дочь и воспитанница княгини Чеботарево-Пробатской, а съ такой протекціей, говорятъ, до звѣздъ дослуживаются. Потомъ красавицу пріискалъ, потомъ идиллическую дѣвушку, ученую, со вздохами и съ норовомъ; наконецъ, очень недурненькую и очень миленькую — дочь чиновника Ломовскаго. Не тутъ-то было, ничѣмъ не угодишь! И какъ же отплатилъ, злодѣй, за хлопоты? «Напрасно», говоритъ, «безпокоитесь,—по чужому выбору нельзя жениться!» Что жь, вы обрекли себя на дѣвство?

— Нѣтъ, не обрекъ.

— Пообжились, устроились?

— Да.

— А лѣтъ вамъ сколько?

— Тридцать три.

— Деньжонки есть?

— Небольшія есть.

— Вы управляющимъ здѣшняго дома и, значитъ, получаете даровую квартиру и дрова?

— И это правда.

— Наконецъ, изъ департамента выдадутъ пособіе на свадьбу. Какихъ еще условій недостаетъ? Собой вы молодецъ, репутаціи отличной, здоровья желѣзнаго, а невѣсты сотнями. Остается жениться и жить семьянином...

— И все-таки я не женился. Значитъ, чего-нибудь да недостаетъ...

Разговоръ вдругъ упалъ. Всѣ затихли. Матеріалъ для рѣчей истощился. Дороговизна, болѣзни, дѣти, служба и свадьбы — пять насущныхъ, вѣчныхъ, столбовыхъ вопросовъ жизни были подвергнуты обсужденію, одинъ за другимъ. Все, что было интересно для этихъ людей, все было сказано; дальше оставалось выдумывать, дѣлать слова. Ангелъ мира и кротости пролетѣлъ надъ семьей и гостями Дороговыхъ. Гости не знали, что и дѣлать имъ, зачѣмъ и доживать этотъ день—отъ него нечего было еще ожидать, не дастъ онъ больше ни одной мысли, слова или событія. Тысячи дней, прежде прожитыхъ, давали каждый не болѣе сегодняшняго, — значитъ, и отъ сегодняшняго нечего ожидать болѣе. Ударило девять часовъ. Вдругъ Макаръ Макарычъ вывелъ гостей изъ апатіи. Онъ въ неистовствѣ соскочилъ со стула и закричалъ:

— Святые угодники, а пулька-то?..

Такимъ образомъ въ семейной жизни всегда есть спасеніе отъ скуки и апатіи. Мужчины, кромѣ Молотова, отправились къ картамъ. Скоро внесли большой са-

моваръ, и Надя занялась чаемъ. Клокочетъ вода въ самоварѣ, слышны смѣхъ и говоръ дѣтей, маятникъ щолкаетъ мѣрно, разрушилась горящая громада въ каминѣ, изрѣдка сотрясается рама отъ ѣдущей кареты, «безъ двухъ» слышно изъ зала, стучатъ чашки на подносѣ и весело звенитъ ложка, опущенная въ стаканъ.

Уже давнымъ-давно здѣсь совершается такая мирная жизнь, никогда не перемѣняя характера своей повседневности. Люди, наслаждающіеся такимъ счастьемъ, думаютъ, что они вѣчно будутъ такъ жить и что такую же жизнь наслѣдуютъ отъ нихъ внуки и правнуки, чего и желаютъ отъ всего сердца. Человѣку же съ большими запросами отъ жизни думается: «о, Господи, не накажи меня подобнымъ счастіемъ, не допусти меня успокоиться въ томъ мирномъ, безмятежномъ пристанищѣ, гдѣ совершается такая жизнь!»

Надежда Игнатьевна была очень хорошенькая и серьезная дѣвушка. Въ лицѣ ея, какъ и въ характерѣ, были нѣкоторыя черты матери, но преобладающее выраженіе оригинально. Она довольно высокаго роста, стройно сложена; лицо чистое, бѣлое, съ легкимъ румянцемъ; глаза большіе, голубые, съ длинными рѣсницами, умные и ласковые; волосы каштановаго цвѣта свернуты въ массивную косу. Горѣлаго цвѣта платье, шитое самою Надею, сидѣло на ней ловко. Надя особенно хорошо смѣялась, всегда тихо, ласково и задушевно. Ея какъ-то не слыхать, точно нѣтъ ея въ комнатѣ. Болтать Надя не любила, выражалась коротко, спокойно, просто. Какъ и мать, она рѣдко краснѣла. Она постоянно занята, и всякое дѣло у ней дѣлается легко и охотно. Со стороны весело смотрѣть, когда Надя шьетъ воротничокъ, разливаетъ чай, учитъ грамотѣ сестру, читаетъ отцу газету, кормитъ канарейку, поливаетъ

цвѣты, укачиваетъ ребенка, приговаривая заботливо: «ну, спи же, спи!» — Все это занимаетъ ее въ высшей степени, и идеалисту досадно видѣть безмятежное выраженіе женскаго лица, полное довольство своей работой и развлеченіями, своимъ днемъ, своими окружающими лицами. Вообще, съ перваго взгляда, она очень походила на Анну Андреевну, такъ что всѣ родные говорили: «Надя вылитая мать». Но они ошибались. Она развивалась при другихъ условіяхъ и иначе.

Воспитаніе она получила въ закрытомъ заведеніи, но странны были ея отношенія къ учебной жизни. Она, съ первой же минуты, какъ оставила родной домъ, стала ждать, скоро ли конецъ ученью, — только тѣнь и дышала семь лѣтъ. Къ мѣсту своего воспитанія, къ начальницамъ и наставницамъ, даже къ подругамъ, по крайней мѣрѣ къ большинству ихъ, Надя относилась холодно, вспоминала объ ученьи, какъ о тяжелой необходимости разлучиться съ роднымъ гнѣздомъ и прожить въ огромныхъ, казеннаго характера, комнатахъ, много-много времени, подъ надзоромъ дѣвствующихъ дамъ тоже казеннаго характера, къ которымъ она питала положительную антипатію, за что дамы и ненавидѣли ее. Когда кончилось семь лѣтъ, и всѣ, прощаясь, плакали навзрыдъ и давали клятвы вѣчной дружбы, Надя тоже плакала, обнимала двухъ подругъ, которыхъ она серьезно любила; ей какъ будто жалко стало дѣтской жизни. Но это чувство быстро смѣнилось другимъ. «Домой, домой!» думала она. Въ то время, когда лицо ея было освѣщено этой радостной мыслью; одна классная дама, самая уксусная, прокислая дѣва, проходя мимо Нади, невольно прошептала: «экая каменная»; а сердце у Нади не было каменное, но трепетало отъ дѣтскаго веселья. Вернувшись домой, она

сразу, легко и свободно отдалась домашней жизни. Немногое перемѣнилось въ семьѣ. Братья и сестры подросли, отецъ постарѣлъ немного, да Егоръ Иванычъ не такой молоденькій, какимъ былъ прежде; но и эти перемѣны не могли поразить ее; онѣ совершались незамѣтно и на ея глазахъ, потому что родные и даже Егоръ Иванычъ постоянно посѣщали ее въ институтѣ. Молотовъ былъ знакомъ съ Надей еще тогда, когда ей былъ всего девятый годъ, а ему девятнадцатый. Егоръ Иванычъ, вернувшись изъ губерніи въ столицу, на новую службу, не засталъ Нади дома, она уже училась. Онъ сталъ вмѣстѣ съ Дороговыми ходить къ ней въ гости. При немъ, отчасти подъ его вліяніемъ, она выросла, кончила курсъ и развилась. Дома Надя въ первый же день увидѣла Егора Иваныча. Въ семьѣ Дороговыхъ онъ былъ почти какъ свой; всѣ обращались къ нему запросто и безцеремонно; онъ точно не гость, его не стараются занимать; иногда онъ возьметъ газету, читаетъ цѣлый часъ, и никому нѣтъ дѣла до него; ходитъ по всѣмъ комнатамъ, знаетъ, что гдѣ лежитъ, беретъ, что нужно, безъ спросу; съ нимъ совѣтуются часто отецъ и мать по хозяйству; когда померъ маленькій братъ, и онъ былъ печаленъ. Это короткое знакомство, установившееся въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, произвело то, что Надя взглянула на Молотова, будто на родного. Онъ будто жилъ съ ними: то гимназистъ проситъ объяснить по математикѣ, то Ѳедя — сдѣлать пѣтушка, то играетъ онъ съ отцомъ въ шахматы; случается, онъ и люльку качнетъ, когда мать уходитъ въ другую комнату, а Надя чѣмъ нибудь занята. Этотъ, обжившійся въ ихъ семьѣ, вечерній посѣтитель, какъ человѣкъ бывалый, любилъ разсказывать; говорилъ онъ хорошо, ровно, не торопясь, и

чего онъ не зналъ, чего не видѣлъ, гдѣ не бывалъ? — о чемъ угодно спросите, на все есть отвѣтъ. При этой короткости знакомства, Молотовъ, кромѣ того, безъ всякаго желанія съ своей стороны, пріобрѣлъ въ семьѣ Дороговыхъ положительный авторитетъ. Дѣло было послѣ севастопольской войны, всюду появилось новое, невѣдомое до сихъ поръ движеніе. Но иной не повѣритъ, что у насъ есть слои общества, въ которые очень смутно проникали свѣдѣнія о настоящемъ положеніи вещей. Въ этихъ слояхъ общества понимали, что тяжело жить на свѣтѣ, душно,—это само собою чувствовалось; но отчего тяжело, откуда ждать спасенія, что дѣлать надобно — этого никто не зналъ. И вдругъ заговорили о такихъ предметахъ, осуждались такія лица, развивались системы, читались книжки, передавались разсказы о старой и современной жизни, такъ что многіе совершенно растерялись и не знали, что и думать. Однимъ изъ такихъ глухихъ кружковъ была и семья Дороговыхъ. Многое, что извѣстно намъ, читатели, по счастью, по случаю, по особому положенію въ обществѣ, по столкновенію съ людьми свѣдущими, — для Дороговыхъ вовсе было невѣдомо. Люди мрака въ то время испугались, люди свѣта торжествовали, люди невѣдѣнія, какъ Дороговы, ждали какихъ-то потрясающихъ переворотовъ. Тогда увлеченія эти представлялись совершенно въ иномъ свѣтѣ, нежели нынѣ, и потому можно понять, какую цѣну въ глазахъ Дороговыхъ имѣлъ такой человѣкъ, какъ Молотовъ. Онъ былъ для нихъ единственнымъ человѣкомъ, который могъ объяснить явленія новой жизни. Его слова сбывались, и поэтому даже Игнатъ Васильичъ, не смотря на свою оригинальную манеру убѣждаться, привыкъ вѣрить ему до того, что когда Надя обращалась къ нему съ вопро-

сами, на которые онъ не зналъ, что отвѣчать, тогда обыкновенно говаривалъ: «а вотъ спроси ужо Егора Иваныча». Ни съ кѣмъ такъ легко не говорилось Надѣ, какъ съ Молотовымъ. Складъ его ума, казалось Надѣ, такъ подходилъ къ складу ея ума. У Егора Иваныча не было обыкновенія поддразнивать женщину, подсмѣиваться сладенько, нарочно спорить съ нею,—въ чемъ многіе полагаютъ элегантное отношеніе къ дамамъ. Особенно ей нравилось въ Егорѣ Иванычѣ добродушіе его; она скоро замѣтила въ немъ ту черту, которая осталась въ немъ съ молоду,—онъ во всемъ отыскивалъ искру божію и любилъ приникать къ доброй сторонѣ жизни. Надя была еще ребенокъ, а уже понимала, что Молотовъ чѣмъ-то отличается отъ всѣхъ окружающихъ ее людей, и ей хотѣлось разузнать этого человѣка короче. Молотовъ доставалъ Надѣ книги, объяснялъ ихъ, проводилъ съ нею вечера. Въ воспитаніи Нади осталось много пробѣловъ. И жизнь, и наука въ ея учебномъ заведеніи были выдуманы, построены искусственно и фальшиво, заперты въ стѣны институтскаго зданія. Сквозь окна, закрашенныя зеленой и желтой, больничныхъ цвѣтовъ, красками, немного она видѣла, хотя и справедливо, что институтъ далъ ей образованіе, какого она дома не получила бы. За это образованіе она и была благодарна, — но кому? не той или другой наставницѣ или учителю, а вообще мѣсту воспитанія. Надю мучила нѣсколько совѣсть, что она дома рѣдко когда вспоминала особенно тепло объ институтской жизни. Узнавши, что умерла начальница ихъ института, Надя легко и притворно вздохнула, полагая это себѣ въ обязанность, подала поминанье—и забыла свое напрасное горе. «Неужели я въ самомъ дѣлѣ каменная?» думала она, и съ своими сомнѣніями она попыталась обратиться къ Молотову.—

Молотовъ легко разсѣялъ ея сомнѣнія, показавъ, что ея холодность очень естественна и совсѣмъ не преступна.

Молотовъ, изъ разсказовъ Нади и изъ собственныхъ наблюденій, довольно близко зналъ институтскую жизнь, и порадовался за Надю, что она была холодна къ этой жизни, хотя и не протестовала противъ нея съ ненавистью и горькими жалобами, а даже упрекала себя въ безчувственности. Подъ вліяніемъ разсказовъ Надиныхъ, Молотову невольно приходило въ голову, что многія наши дамы давно приготовлены къ эманципаціи послѣдняго предѣла, что ихъ пора посылать на службу въ полки и департаменты. Говорятъ, это не въ женской натурѣ, а по нашему глубокому убѣжденію, — ничего, можно! хоть въ повытчики, въ хожалые, на пожарную каланчу! Съ перваго взгляда такое сужденіе представлялось, правда, черезчуръ рискованнымъ. Приличіе, благочиніе, опрятность въ институтѣ были доведены до послѣдней степени. Напримѣръ, когда учитель исторіи, читая лекцію, привелъ текстъ изъ лѣтописи, гдѣ упоминались «поганые ляхи», то ему сдѣлали строжайшій выговоръ за «поганые». Онъ оправдывался, ссылаясь на лѣтопись; а ему отвѣчали, что эта лѣтопись дурного тона и что читать ее не слѣдуетъ. Въ видахъ смягченія нравовъ, дѣвицамъ позволялось пѣть пѣсню «Что такъ жадно глядишь на дорогу» — только до словъ: «завязавши подъ мышки передникъ, перетянешь уродливо грудь: будетъ бить тебя мужъ привередникъ и свекровь въ три погибели гнуть». Начальница была такъ высоко-нравственна, что въ великомъ посту приказала отдѣльно развести куръ отъ пѣтуховъ, хотя потомъ и сердилась, зачѣмъ это нѣтъ къ пасхѣ домашнихъ яицъ. Какъ, неужели и это Надя разсказала Молотову? Нѣтъ, это не она разсказала

ему, хотя, не скроемъ, Надя и всѣ ея подруги знали оный фокусъ благочинія и знали многія другія вещи, которыя совершались у нихъ и о которыхъ разсказывать было крайне щекотливо. Читатель самъ увидитъ, въ чемъ дѣвушка шестнацати лѣтъ могла быть откровенна и въ чемъ нѣтъ. До того доходило, что когда одну десятилѣтнюю воспитанницу отецъ ея посадилъ къ себѣ на колѣни, то, со строгимъ замѣчаніемъ, что это дурной примѣръ другимъ, ему запретили дѣлать подобныя вещи. Дѣвицъ предупреждали, чтобы онѣ не позволяли своимъ дядямъ, братьямъ и даже отцамъ цаловать себя, потому что это... какъ бы сказать?.. ну, неприлично, что ли. Могло ли быть что нибудь безнравственное тамъ, гдѣ благочиніе куръ и пѣтуковъ, каждая строка лѣтописца и писателя русскаго, и даже отцовскій поцалуй находились подъ полнымъ контролемъ старой дѣвки, готовой заподозрить во всемъ ужасы? При всѣмъ этомъ, въ институтѣ процвѣтала филантропія на самыхъ широкихъ основаніяхъ. Одна классная дама постоянно разыгрывала вещицы въ пользу одного бѣднаго семейства, о которомъ только и было извѣстно, что ему покровительствовала сама начальница заведенія. Билеты должны были брать учителя и дѣвицы. Что же разыгрывалось? А вещи, жертвуемыя тоже учителями и дѣвицами. Кто ихъ выигрывалъ? А выигрывали наставницы—не все изъ учителя да дѣвицы. Нѣкоторыя дѣти и, какъ на зло, всегда почти любимыя Надею, затруднялись платить за билеты и жертвовать коврики, пресс-папье, серьги и т. п., тѣмъ болѣе, что этимъ расходы ребенка не ограничивались: должно было дѣлать подарки начальницѣ, наставницамъ и другимъ лицамъ въ дни именинъ, рожденій и большихъ праздниковъ. Между тѣмъ, замѣтьте, въ томъ

же институтѣ, въ пріемномъ залѣ, набито на стѣну объявленіе, которое гласитъ, что родственники ни подъ какимъ видомъ не должны давать дѣтямъ дѣньги или вещи для подарковъ кому бы то ни было. Когда принципъ только на стѣнѣ, поневолѣ въ честныхъ и добрыхъ душахъ дѣтей возникаетъ разладъ съ окружающей жизнью; но большинство дѣвицъ какъ-то не раздражалось всѣми этими явленіями пошлости. Такъ та же классная дама, любительница лоттерей, имѣла обыкновеніе просить у своихъ воспитанницъ денегъ *въ долгъ*, разумѣется, безъ отдачи, и многіе съ радостью отдавали свои деньжонки, зная, что черезъ это пріобрѣтаютъ протекцію у повытчика-дамы. Но бѣда было бѣднымъ дѣтямъ, или такимъ оригиналкамъ, какъ Надя, которая всегда сочувствовала своимъ безденежнымъ подругамъ. Такихъ называли жадными, преслѣдовали на каждомъ шагу, привязываясь къ манерамъ, походкѣ, голосу, ко всякой тесемочкѣ на платьѣ, височку на головѣ, пуговкѣ на рукавѣ. Ихъ ожидали выговоры и наказанія за всякую мелочь, — и какія наказанія? Бурса такихъ не создавала: въ бурсѣ — карцеръ, а здѣсь — лазаретъ. На провинившуюся дѣвицу надѣвается рубашка сумасшедшихъ, съ рукавами вдвое длиннѣе противъ рукъ, послѣ чего руки складываются крестомъ, а рукава завязываются подъ спиною, и въ такомъ видѣ несчастная кладется на кровать больной. Случалось, что такому наказанію иныхъ подвергали въ продолженіе пяти и болѣе дней. Въ это время въ пищу шла полуторакопѣечная булка и габеръ-супъ. Можетъ ли быть что нибудь обиднѣе этого? Можетъ, и было именно въ томъ же институтѣ. Было не мало дѣвицъ, которыя постоянно протестовали противъ своихъ вторыхъ матерей, не готовили уроковъ, портили

рукодѣлья, грубили и смѣялись надъ заведенными порядками, такъ что ихъ не укрощала даже и рубашка сумасшедшихъ. Такихъ протестантокъ отдѣляли въ особую комнату, безъ различія возраста и классовъ, оставляли ихъ на собственный произволъ, не читали для нихъ лекцій, не слѣдили за ихъ поведеніемъ. Отторгнутыя отъ общества подругъ, находясь въ презрѣніи у наставницъ, бѣдняжки дичали и дѣлались мстительны. По полугоду и болѣе содержались нѣкоторыя такимъ образомъ. Впрочемъ, впослѣдствіи этотъ родъ наказанія былъ уничтоженъ, нравы смягчились, и, къ удивленію, изъ заключенныхъ большинство заняло первыя мѣста. Кто бы могъ подумать, что дѣвичья школа — этотъ разсадникъ поэтическихъ существъ, невинныхъ созданій, о которомъ и мы имѣемъ такія невинныя дѣвственныя понятія, — могъ вырабатывать въ себѣ такія оригинальныя явленія въ жизни? Не диво, что Надя стала въ сторонѣ отъ этой жизни, и ждала, дождаться не могла, скоро-ль настанетъ пора вернуться подъ кровъ родной. Родители, когда она имъ жаловалась, говорили ей: «что жь дѣлать, терпѣть надо», и такія наставленія, разумѣется, не могли примирить ее съ окружающими лицами. Она терпѣла, уединялась, вела себя осторожно, слѣдила за каждымъ своимъ шагомъ, чтобы, избави Боже, не попасть какъ нибудь въ рубашку сумасшедшихъ, и ни разу она не попала; но злые люди чутьемъ чуяли, что она боится и не любитъ ихъ. — «Но отчего же она съ подругами не сошлась?» спросятъ насъ. Да какъ же было и сойдтись, посудите сами? Замкнутость жизни, удаленіе отъ общества, отсутствіе интересовъ общечеловѣческихъ— создавали искусственные, фальшивые, институтскіе характеры. Такъ здѣсь было развито въ высшей степени

такъ-называемое *обожаніе*. Это не дружба, не капризъ, не игра дѣтей, не передразниванье старшихъ, — это фальшивое развитіе, неизбѣжное въ закрытомъ заведеніи, и отъ этой бѣды не спасетъ даже куриное благочиніе и смягченныя дамскою рукою лѣтописи. Обожались учителя, посѣтители-гости. Случалось, что дѣвицѣ нравился отецъ, братъ или другой родственникъ, посѣщавшій ея подругу, и она обращала всѣ ласки и любовь на эту подругу, если только она немного была похожа на своего гостя. Обожались, наконецъ, дѣвицы мужественныя лицомъ, высокаго роста, имѣющія громкій голосъ, твердый и отважный характеръ. Дѣвица обожающая хранила на груди ленточки обожаемой, цаловала книги и тетради, къ которымъ она прикасалась, ее цаловала съ наслажденіемъ, пила оставшуюся послѣ нея въ стаканѣ воду, писала любовныя письма, назначала ей свиданія на корридорѣ или въ спальнѣ. Если обожаемая дѣвица не отвѣчала на любовь, то обожающая плакала, томилась, видимо страдала и худѣла. Бывали случаи, что человѣкъ по двадцати волочились за одной дѣвицей. Страннѣе же всего то, что сами наставницы, спасающія куриную нравственность, сами доставляли возможность своимъ любимицамъ, большею частію дающимъ въ долгъ или имѣющимъ вліятельныхъ родственниковъ,—видѣться и говорить съ обожаемыми учителями. Вотъ въ этотъ-то періодъ обожанія, многія изъ дѣвицъ, желая казаться интересными,—а нѣкоторыя по какому-то болѣзненному расположенію организма,—ѣли мѣлъ и уголь, пили уксусъ и чернила, сосали штукатурку, кирпичные кусочки и грифеля... Во всемъ этомъ было очень мало божественнаго, неземного, и очень много такъ называемаго исключительно-институтскаго, созданнаго почти отрѣшенною отъ общест-

ва жизнью. И сколько изъ этого разсадника невинныхъ созданій выходило блѣдненькихъ, тоненькихъ, дохленькихъ барышень, съ синими жилками на лбу, съ прозрачной, матовой кожей на лицѣ, съ рожицами, выражающими ненужное страданіе, отъ чего онѣ становятся такъ обидно для нихъ жалкими. Между тѣмъ, многихъ ожидала суровая, необезпеченная жизнь, и всѣхъ — иная дѣйствительность; а ихъ окружала дѣланная, фальшивая среда. Надя, вообще развивавшаяся медленно, еще не чувствовала потребности любить и потому не была въ положеніи своихъ подругъ, которыя, не находя правильнаго исхода чувству, въ запертомъ на-глухо заведеніи, на глазахъ дѣвственныхъ воспитательницъ, выдѣлывали всѣ вышеозначенныя штуки учебнаго амура; но она все понимала, хотя самъ читатель догадается, что́ она могла разсказать Молотову и чего не могла. Но Молотовъ и безъ ея разсказовъ зналъ, что она умалчивала. Онъ легко успокоилъ ея тревожную совѣсть, и она черезъ полгода забыла свой институтъ — точно и не жила въ немъ.

Но періодъ непонятныхъ стремленій, туманныхъ мечтаній и волненій, въ той или другой формѣ, развивается въ жизни всякаго человѣка. Если не испытала этого Надя въ школѣ, то испытала дома. Не многимъ семнадцатый годъ Нади покажется не поэтичнымъ, хотя и съ примѣсью даже институтскаго элемента, только въ болѣе изящной формѣ. Она, задумываясь по дѣтски о будущемъ, слегка мечтала и о женихѣ; жениха она представляла чѣмъ-то въ родѣ папаши, разумѣется, помоложе; задумывалась она тогда не надолго. Когда Надя подросла, у нея сталъ формироваться болѣе опредѣленный образъ жениха, о которомъ она часто думала и за шитьемъ, и читая газету, и лежа въ постелѣ.

То былъ чиновникъ, молодой, добрый, любящій свою жену и домъ, получающій большое жалованье и хорошій хозяинъ. По ночамъ и за шитьемъ этотъ образъ выяснился — онъ имѣлъ ростъ и звукъ голоса, съ нимъ часто разговаривала Надя, и у нея вышло двѣ жизни,— одна дѣйствительная, другая мечтательная — обѣ жизни были полны. Въ мечтательной жизни, которой она отдавала большую долю своего существованія, у нея было свое хозяйство, свой мужъ, даже о дѣтяхъ она думала — тогда-то вдругъ вспыхивало ея лицо и становилось задумчиво; у ней свои гости, она принимаетъ ихъ, разговариваетъ съ ними, проситъ садиться, играетъ для нихъ на фортепьяно, готовитъ имъ чай и закуску. Иногда думается ей: «вотъ мужъ захворалъ», а не то: «крестъ получилъ». — Какая дѣвица, играя мыслью, не была прежде брака замужемъ? но такъ играютъ дѣти, вѣнчаютъ другъ друга и поютъ: «Исаіе, ликуй!..» Скоро и незамѣтно наступила другая пора жизни, пора полнаго разцвѣтанія. Стала она разсѣяннѣе, ея грудь наливалась, появились непонятные сны и послѣ нихъ тайныя слезы, по дѣвичьей душѣ прошли невѣдомыя доселѣ движенія, разрѣшавшіяся Богъвѣсть откуда родившимся вздохомъ. Она что-то разлюбила свое фантастическое хозяйство. Когда выдуманный мужъ являлся въ ея воображеніи, она прогоняла его, и мужъ, вмѣстѣ съ хозяйствомъ, чаями и гостями, сталъ являться рѣже и рѣже, и наконецъ совсѣмъ скрылся гдѣ-то этотъ надоѣвшій и опротивѣвшій образъ. Поневолѣ вспомнила Надя подругъ — неужели и она обожала? Ей хотѣлось цаловать канарейку, цвѣты, мраморныя статуэтки и картины.... Тревога пришла и кипучая жизнь... Боже, какъ она любила, какъ страстно любила, и сама того не зная... Кого

же?... Непремѣнно, кого?... просто любила!... Полная и дѣйствительная любовь, съ поцалуями, объятіями, клятвами, со всѣмъ счастьемъ и горемъ, бываетъ для избранныхъ, а неизбранныя что-то во снѣ видятъ похожее на объятья и поцалуи, а на яву чувствуютъ лишь жаръ жизни и широту души. Для многихъ любовь проходитъ этимъ внутреннимъ путемъ, помимо мужчинъ, жениховъ и мужа. Къ ней кто-то сходилъ по ночамъ, стоялъ въ ея изголовьѣ, и, вставая, она плакала и счастлива была несказанно. Сумерками, долго она сиживала въ залѣ, сложа руки, глядя на улицу и ничего не дѣлая. Трудно понять было, какъ этой дѣвушкѣ не скучно. Надѣ же казалось, что вдругъ всѣ, какъ-то особенно и безъ видимой причины, полюбили ее; примѣчала она надолго остановившійся на ней взглядъ матери, отецъ сталъ цаловать ее чаще, дѣти около нея увивались. — «А Коля гдѣ?» однажды она спросила маленькихъ братьевъ и сестеръ, и такъ хорошо, ласково, задумчиво спросила, что дѣти кинулись къ ней на шею, стали ее цаловать, она ихъ цаловала, и весь вечеръ тотъ пропѣла... Все существо дѣвушки было ясно, чисто и счастливо... Прошло еще немного времени... Мало по малу горячая жизнь стала остывать, струны, высоко натянутыя, упали, показалось, что всѣ стали холодны къ ней, появилось дурное расположеніе духа, какая-то темная мысль кралась въ сердце. Она затосковала безпричинно, но не плакала больше. Мать первая поняла, что̀ нужно было Надѣ. Скоро въ домѣ Дороговыхъ появился чиновникъ и предложилъ Надѣ руку. Это былъ чиновникъ молодой еще, съ крестомъ, получалъ хорошее жалованье и водки пилъ мало — рюмку передъ обѣдомъ и двѣ рюмки передъ ужиномъ. — «Маменька, я не пойду за него», — ска-

зала Надя. — Мать долго уговаривала ее, доказывая всѣ выгоды предстоящаго брака, а дочь упросила отца, и Игнатъ Васильичъ рѣшился отказать жениху. — «Помни, Надя, тебѣ скоро будетъ осьмнадцать лѣтъ», сказала Анна Андреевна.—Богъ знаетъ, съ чего бракъ показался Надеждѣ Игнатьевнѣ какой-то службой, долгомъ, поденьщиной, точно опять отдавали ее въ институтъ. Она усердно молилась Богу, чтобы хотя на время отдалить бракъ... Началось усиленное чтеніе. Она читала большею частію романы и повѣсти, изъ которыхъ въ институтѣ слышала одни невинные отрывки. Лицо ея горѣло отъ свободныхъ, поэтическихъ страницъ; все, что есть у насъ лучшаго, прочитала она въ это время; Тургеневъ сдѣлался ея любимымъ поэтомъ. Многія страницы, одинъ разъ прочитанныя, съ того времени остались въ ея памяти навсегда... Хорошо читается въ эти годы, и славное это время!... Ясное, свободное счастье горѣло на ея лицѣ, когда она, сидя за шитьемъ, увлекалась безсознательно и повторяла въ воображеніи чудныя картины природы и любви, созданныя нашими поэтами! Если въ дѣйствительности нашей многимъ не приходится любить, запрещено, либо не удается, и въ грядущемъ предвидится лишь обязательная любовь, то пусть эти многія хоть надъ книгами поживутъ — и задумаются, и поплачутъ, и улыбнутся счастливо. Иначе скучно жить на свѣтѣ; одной прозой прожить невозможно... Но проза неизбѣжна... Часто лицо Нади надъ самой пламенной страницей перемѣняло выраженіе, становилось совсѣмъ другое. Оно показывало, что Надя соображаетъ, разсчитываетъ что-то и обдумываетъ; и дѣйствительно, въ одну изъ такихъ минутъ, она поняла... она поняла, что такое хлѣбъ насущный, что родители, хотя и любятъ ее, особенно,

какъ казалось ей, отецъ,—но не вѣкъ же имъ кормить ее: пора искать Надѣ брачной жизни, какъ чиновникъ ищетъ мѣста, лошадь — корму... Мерзко стало на душѣ ея и страшно... Книга была закрыта и на обложку легла дрожащая отъ волненія рука... Она не заплакала... Что-то суровое и холодное отразилось въ ея глазахъ. Она встала съ нервнымъ движеніемъ, глубоко вздохнула, взяла книгу и надолго положила ее въ комодъ... Поняла, наконецъ, кто она такая... Какъ въ то время она боялась жениховъ, какъ ихъ ненавидѣла!.. Всякій разъ, когда появлялся въ домѣ незнакомый мужчина, Надя думала съ замирающимъ сердцемъ: «не онъ ли?» — и прибирала въ головѣ слова, которыми она станетъ упрашивать отца и мать, чтобы они не торопились покамужествомъ ея... Черезъ полгода женихъ явился, и Надя едва не вышла замужъ, — такъ ей трудно было уговорить и мать, и отца, который теперь не держалъ ея сторону. Большихъ слезъ и упрашиваній стоилъ Надѣ этотъ отказъ, но все-таки она отдѣлалась отъ жениха, хотя и чувствовала съ стѣсненнымъ сердцемъ, что можетъ придти третій, четвертый, что много ихъ на свѣтѣ, и что разъ отъ разу ей труднѣе будетъ выпроваживать ихъ. Чего-же она ждала? не въ дѣвахъ же хочетъ она остаться? Она сама не знала, чего хотѣла: но натура ея была такъ чиста, что инстинктивно она берегла сердце для того, кого полюбитъ, а не для перваго встрѣчнаго, рекомендованнаго отцомъ. Она не родилась для обязательной любви.... Опять потянулось время среди занятій домашнихъ, но теперь какъ-то скучно и вяло, день за днемъ, по черепашьи.... Не было ни радостей, ни печалей. Надя стала удаляться отца и матери; сидя съ ними же, сдѣлалась особнякомъ. Ее никто не упрекаетъ, по прежъ-

нему съ ней ласковы, сама мать заботится о ея здоровьи и удовольствіяхъ; но скажутъ ли, что нынѣ все дорого стало, дѣти подростаютъ, или что у Лены Рогожниковой, Саши Касимовой женихи есть, такъ и подумается Надеждѣ Игнатьевнѣ, что ей пора искать корму, пора! Въ такихъ случаяхъ ей никто и ничего не намекалъ, она это хорошо знала, да изъ самой жизни вытекалъ такой, а не иной смыслъ. Гостю дѣлалось съ ней скучно. И говоритъ, и хозяйничаетъ, и подчуетъ Надя, какъ всегда; какъ всегда, ласкова и внимательна, а все что-то не то, скучно, души нѣтъ.... Она опять вернулась къ книгамъ. Но чтеніе уже не давало ей, какъ въ былые дни, страстнаго наслажденія книгою. Она критически стала относиться къ каждому образу, къ каждому положенію дѣйствующаго лица. Жалко было смотрѣть на нее, когда она съ сомнительной усмѣшкой пробѣгала тѣ живыя строки, которыя прежде такъ увлекали ее. Ни съ кѣмъ она не была откровенна; лишь съ однимъ Егоромъ Иванычемъ она говорила о томъ, о чемъ съ другими говорить не рѣшалась; ждала его всегда съ нетерпѣніемъ, и когда онъ не приходилъ, была особенно скучна и задумчива. Даже въ тѣ вечера, когда Егоръ Иванычъ не успѣвалъ перемолвить съ нею слова, она все-таки была довольна его присутствіемъ, чувствовала что-то успокоивающее при взглядѣ на него. Если же онъ говорилъ съ Надей, она въ рѣчахъ его почерпала непонятную для нея силу. Никто ей такъ дорогъ не былъ, какъ онъ. Нравственная связь съ окружающими родными была надорвана, а знакомыхъ было мало, да и тѣмъ она не довѣрялась. Надя была увѣрена, что, случись съ ней какое-нибудь большое горе, Молотовъ всегда поможетъ ей; случись, что она сдѣлаетъ дѣло, за которое ее всѣ осу-

E LIBRARY
OF THE
IVERSITY
OF
LIFORNIA

дятъ, онъ ее не осудитъ, и если бы даже должно осудить, то пожалѣетъ и помилуетъ. Добрѣе и умнѣе Егора Иваныча она никого не знала. Положеніе ея было окрѣпощено условіями, которыя не давали ей взглянуть на то, какъ живутъ люди за стѣнами родного дома; одинъ только Молотовъ могъ разсказать ей о иной жизни,—и вотъ это не институтъ, не старорусскій теремъ, а заколдованный семейный кругъ столичнаго чиновника! Это тотъ же теремъ, только нынѣшняго времени. Отчего-жъ не пѣть и до сихъ поръ: «я у батюшки въ терему, въ терему, я у матушки высоко, высоко»?... Но и съ Молотовымъ, что̀ очень естественно, Надя вполнѣ откровенна еще ни разу не была. Разговоръ всегда заводился о предметахъ, только побочно, а не прямо относящихся къ ея тайнымъ мыслямъ. Все, что говорилъ Молотовъ, служило для нея только данными, на основаніи которыхъ она сама выясняла и провѣряла свои скрытыя въ душѣ думы, и потому въ разговорахъ ея всегда было болѣе содержанія и серьезнаго смысла, нежели сколько казалось съ перваго взгляда. Такое искусство говорить невольно пріобрѣтается въ тѣхъ обществахъ, гдѣ запрещается многое обсуживать ясно, просто и открыто. Но эта сдержанность, робость высказаться, напрасная стыдливость — понемногу ослаблялись; откровенное слово само собою рождалось, когда обстоятельства заставляли Надю искать рѣшенія того или другого вопроса. Молотовъ чувствовалъ, что Надя не договариваетъ, что у ней есть дума, которая томитъ, безпокоитъ, стѣсняетъ ея молодую жизнь. Онъ не посягалъ на откровенность Нади, но день-ото-дня хотѣлось ему узнать, что такое дѣлается съ ней, и день-ото-дня хотѣлось Надѣ узнать, что такое за человѣкъ Егоръ Иванычъ. Онъ такъ, казалось

ей, не похожъ на другихъ. Когда она была еще маленькая, пришелъ откуда-то и сталъ почти жить съ ними этотъ вечерній посѣтитель. Ей хотѣлось разгадать и добродушіе его, и ласковую насмѣшливость надъ увлеченіемъ, и его многостороннее знаніе. Она думала, что въ жизни онъ знаетъ безконечно много такого, о чемъ съ ней никогда не говорилъ, думая, что она не поймётъ его; и какъ ей хотѣлось распросить обо всемъ, обо всемъ на свѣтѣ, чтобы догадаться, додуматься, наконецъ, что же ей дѣлать и какъ жить на свѣтѣ. Въ послѣднее время въ Надѣ стало развиваться религіозное направленіе. Долгіе разговоры вела она по этому предмету, и черезъ нѣсколько времени почувствовала, что подъ вліяніемъ Молотова, просвѣтлѣла ея вѣра, легче стало ея сердцу, когда оно, еще неиспорченное, легко освободилось отъ многихъ предразсудковъ; но Надя спрашивала себя: «вѣруетъ ли онъ?» — отвѣта не было. Надя не знала, какъ въ нынѣшній вѣкъ вѣруютъ люди, и въ этомъ отношеніи Молотовъ такъ былъ непохожъ на всѣхъ, кого она знала. Одинъ только Череванинъ, художникъ, выдѣлялся изъ ихъ круга, но онъ рѣдко посѣщалъ ихъ. Нѣсколько разъ Надя порывалась поговорить съ Молотовымъ о женихахъ, любви и бракѣ, но всякій разъ что-то ее сдерживало. Такъ и плелись дни за днями, безъ всякихъ внѣшнихъ событій, «въ терему да въ терему», куда едва проникалъ жизненный лучъ свѣта, пока не наступилъ Надѣ двадцатый годъ.

Молотову надо было побывать у художника Михайла Михайлыча Череванина, родственника Дороговыхъ. Егоръ Иванычъ часто бывалъ на Песнахъ, гдѣ жилъ Череванинъ, и потому Игнатъ Васильичъ просилъ Мо-

Молотова зайдти къ нему и спросить, не поправитъ ли онъ портретъ Дорогова; Молотовъ все забывалъ о порученіи, и вотъ однажды вечеромъ, чтобы исполнить его наконецъ, отправился къ художнику.

— У насъ здѣсь большое декольтэ, — говорилъ Михаилъ Михайловичъ Череванинъ, вводя Молотова въ свою комнату.

Молотовъ оглядѣлся. Довольно большая комната была освѣщена сальными свѣчами. Стояли мольберты, станки, манкеты, палитры; окна были безъ занавѣсей и заставлены картонами; на окнахъ стояли горшки дрянѣйшихъ, ржавыхъ геранiумовъ, покрытыхъ копотью и пылью; тутъ же, между горшками, валялась отъ чаю булка, кусокъ колбасы въ бумагѣ, мѣдная сдача, кисти и табачные окурки.

У Череванина былъ праздникъ. Въ гостяхъ у него было человѣкъ двѣнадцать, все почти молодежь, только одинъ пожилой офицеръ съ залихватской физіономіей и еще старичокъ, тоже художникъ. Въ воздухѣ плыли табачныя облака; въ стаканахъ дымился пуншъ. Въ то время, какъ въ другихъ углахъ столицы совершалась тихая жизнь, здѣсь молодежь проводитъ буйно время.

— У насъ большое декольтэ, повторилъ Михаилъ Михайлычъ: — не хочешь ли пуншу?

— Не хочу.

— Твоя воля.

— Какъ гадко у тебя!

— Ну, ну! — отвѣчалъ художникъ.

— Вѣдь ты свой талантъ губишь.

— Что жъ дѣлать, братецъ, органическій порокъ.

Череванинъ былъ товарищемъ Молотова въ продолженіе двухъ курсовъ университетскихъ. Онъ былъ

сынъ профессора семинаріи, женатаго на родственницѣ Дорогова, и приходился Игнату Васильичу чѣмъ-то въ родѣ племянника. Онъ былъ человѣкъ странный, оригиналъ, талантливый человѣкъ, добрая душа и по временамъ сильно поклонялся Діонису. Но въ его фигурѣ широкаго размѣра не выражалось древле-славянской удали, напротивъ, видно было что-то печальное, слабость видна была, хотя всякій, взглянувъ на него, сразу пойметъ, что у него организмъ желѣзный, выносливый. Причесываетъ его сама мать-природа, и она, любя разнообразіе, отправила одинъ клокъ волосъ за ухо, а другой повѣсила на щеку, на темени приподняла вихоръ, проборъ перепутала, не завила въ волосахъ ни одного колечка, а оставила ихъ прямыми, какъ нити, не напомадила ихъ, а приправила пухомъ, рѣдко побуждала его бриться, не берегла платья отъ пыли и пятенъ..... И работа его не отличалась тщательной отдѣлкой, какъ и наружность, какъ и манера выражаться, какъ и все, ему принадлежащее. Краски ложились у него клочьями. Онъ не рисуетъ попеременно волоса, лобъ, глаза, уши и т. д. начиная верхнимъ волоскомъ лицо и кончая послѣдней чертой подбородка. Вотъ онъ оживился, схватываетъ черту на щекѣ, но вдругъ кисть его переносится и лѣпитъ подъ глазами, потомъ удачный взмахъ опредѣлитъ характеръ губъ; онъ чертитъ зря, смѣло, увѣренно, твердо: ошибется, такъ трудно поправить. Не умѣетъ онъ изображать идеальную красоту, не увидите у него аполлоновъ бельведерскихъ и венеръ медицейскихъ, но у него встрѣчаются удивительно-вѣрно выхваченные изъ жизни типы. Онъ имѣлъ золотую медаль за картину въ родѣ жанра, и не дорожилъ той медалью. Было время, когда Череванинъ съ любовью занимался сво-

имъ дѣломъ; его одобряли друзья, товарищи и учителя, но не былъ самъ онъ убѣжденъ въ своемъ талантѣ, и тогда это сильно волновало его. — «Что, если я простой маляръ?» думалъ онъ. — «Что, если придется бросить кисть, вмѣсто ея взять въ руки перо чиновника, а мастерскую промѣнять на канцелярію?» Но онъ давно увѣренъ, что имѣетъ талантъ — не великій, но довольно крупный; и — съ той поры самый талантъ сталъ представляться ему достоинствомъ не великимъ. Череванинъ удивлялся, отчего это другіе не могутъ рисовать, какъ онъ: не хотятъ, а рисовать просто, — и съ страннымъ презрѣніемъ художникъ относился къ своему искусству. Ему не жалко было продавать свои картины. Картина становилась ему противна, лишь онъ успѣвалъ окончить ее.—«Вѣдь всякую черту знаю на память!» говорилъ онъ. Но были картины, проданныя Череванинымъ, которыя были для него дороже другихъ: головка дѣвушки, деревенское кладбище, семейная группа, сонъ нищей и др. Къ этимъ любимцамъ онъ иногда ходилъ въ гости; придетъ къ владѣтелю и проситъ посмотрѣть на картину, пробудетъ съ ней около часу и опять уйдетъ на годъ или на два. Разъ онъ собрался сдѣлать копіи съ своихъ любимцевъ, но не ужился съ ними и мѣсяца, — живо онѣ перешли въ чужія руки. Ни къ чему онъ не могъ надолго привязаться — были ли то люди, избранныя книги, произведенія его искусства или простыя вещи. Онъ былъ два раза влюбленъ. Первый разъ за три дня до свадьбы невѣста измѣнила ему. Онъ сильно страдалъ, и съ горя ходилъ на мостъ, чтобы погребсти въ Невѣ свое грѣшное тѣло, но кончилъ тѣмъ, что нарисовалъ на свою невѣсту карикатуру; впрочемъ съ тѣхъ поръ онъ особенно коротко сошелся съ Діонисомъ. Другой разъ

онъ увлекся «погибшимъ, но милымъ созданіемъ.» Это была очень миленькая дѣвушка, но тоже надула его. На этотъ разъ Череванинъ не лѣзъ на стѣны, не думалъ топиться, но предпринялъ оригинальную мѣру, чтобы отдѣлаться отъ тоски. Вставши поутру, онъ выходилъ на улицу, отправлялся, куда глаза глядятъ, ходилъ до истощенія силъ, и, вернувшись домой, страшно измученный физически, бросался на постель и засыпалъ. Проснувшись ночью, онъ опять отправлялся въ походъ, съ единственной цѣлью измучить себя; вставалъ онъ въ полдень, и принимался за то же самое. Черезъ двѣ недѣли, послѣ такихъ прогулокъ, съ него какъ рукой сняло. Впрочемъ, хотя горевать онъ пересталъ и говорилъ съ тѣхъ поръ «лекарство отъ любви— моціонъ», но эти двѣ неудачи сильно подѣйствовали на его характеръ. Онъ получилъ наклонность къ цинизму и отрицанію жизни, что, впрочемъ, лежало въ его натурѣ. Сталъ онъ перебираться съ квартиры на квартиру, и нигдѣ не уживался. Сначала онъ занялъ отличную модную мастерскую, хорошо меблированную, она вся была заставлена портретами его работы. Въ это время онъ велъ себя джентльменомъ. Но не прошло и полгода, какъ ему захотѣлось идилліи, и онъ поселился на хлѣбахъ у одного семьянина, нанимая двѣ простенькихъ, но чистенькихъ комнатки; около него постоянно дѣти, цвѣты, чижи въ клѣткѣ, старуха въ углу вяжетъ чулокъ и окружаютъ его уже не портреты, а вполнѣ оригинальныя произведенія. Черезъ годъ ему надоѣли и новый бытъ, и люди, и картины, и вотъ мы застаемъ его на Пескахъ въ неопрятной квартирѣ. Теперь онъ кутилъ, былъ грязенъ, говорилъ грубо, и дико-дико было въ его комнатахъ, освѣщенныхъ сальными свѣчами, гдѣ среди манекеновъ молодежь совершала оргію.

Съ перемѣною людей, обстановки и работы, и при наступленіи періодическаго честнованія Діониса, ярко обнаружился его крупный, рѣзкими чертами одаренный характеръ.

— Органическій порокъ, милый человѣкъ! повторялъ Черезанинъ.

Молотовъ чѣмъ болѣе вглядывался въ окружающую обстановку, тѣмъ въ большей дикости и нелѣпости она представлялась ему. Онъ съ изумленіемъ замѣтилъ въ компаніи двухъ молодыхъ людей, одного — сына Рогожникова, а другого — Касимова.

«Эти какъ попали сюда?» подумалъ онъ. — «Что ихъ гонитъ изъ дому? развѣ тамъ неспокойно, немило, нѣтъ жизни и свободы? Недостатокъ эстетическаго чувства, грубость одичалость характера заставляютъ человѣка не любить ровную, тихую, полную глубокаго смысла, семейную жизнь».

— Не стыдно тебѣ, сказалъ онъ Михаилу Михайлычу: — вѣдь ты губишь молодой народъ...

— Безъ меня хороши! Ты лучше посмотри да послушай, что здѣсь за народъ, — это очень занимательно и поучительно. Отличные этюды встрѣчаются. Тутъ собрались дивные ребята, всѣ любятъ отечество, искусство, науку, водку, — больше ничего не любятъ!... Пейте, господа! крикнулъ Черезанинъ какъ-то вяло.

— Слѣдуетъ, отвѣтили ему.

— Хоть бы ты вымылся, — сказалъ ему кто-то.

— Медвѣдь не моется, да всѣ его боятся, — отвѣчалъ художникъ.

Пошло страшное попоище; начались пѣсни, хохотъ, остроты, пойло пѣнное, пойло пуншевое, пойло пивное.

— Что ты дѣлаешь?

— Все пустяки въ сравненіи съ вѣчностью!... Какъ что дѣлаешь? Мы вопросы современные рѣшаемъ..... Слушай, вонъ въ углу кричитъ: ты думаешь, что-нибудь спроста? Нѣтъ, это онъ о Суэзскомъ перешейкѣ вопитъ! — не слышно что, да и такъ можно догадаться, что околесную несетъ. Прислушайся теперь къ рѣчамъ въ другомъ углу — тамъ рѣшаютъ вліяніе французскаго кабинета на дѣла Азіи. А посмотри-ка на того парня, который соскочилъ съ дивана, точно его по шеѣ треснули. О, бѣдняга, какъ онъ худощавъ и безконечно длиненъ, поднялъ костлявыя руки, кричитъ, вопитъ и распинается, а за что?

— Гегель и прогрессъ!... — Гегель и прогрессъ! — кричалъ длинный господинъ.

— Это все любители просвѣщенія, жрецы, братецъ ты мой.

— Чортъ знаетъ, какъ скучно дома! говорилъ Касимовъ: — что за пошлая, телячья жизнь! Ни о чемъ не услышишь живого слова; Богъ знаетъ, о чемъ толкуютъ съ утра до вечера, просто невыносимо!... А какая чистота нравовъ! Знаете-ли, что у меня есть тетушка, сорока пяти лѣтъ, которой группы, выставленныя на Аничкинскомъ мосту, кажутся безнравственными? Она не можетъ смотрѣть на тѣло человѣка, ей совѣстно. Въ сорокъ-то пять лѣтъ ее соблазняетъ болванъ-композиція!..

Молотовъ не могъ не улыбнуться.

— Выпьемъ еще! слышно въ углу.

— Выпьемъ.

— Поцалуемся, дружище!

— Поцалуемся!

— Тебѣ, что ли, ходить? говоритъ одинъ изъ играющихъ въ шашки.

— Сходимъ, сходимъ!

— Кто, господа, идетъ со мной «въ ту страну, гдѣ апельсинъ ростетъ?»

— Подожди, еще рано...

— Такъ пѣсню, господа!

И затягиваютъ: «Внизъ по матушкѣ, по Волгѣ, по широкому раздолью». Послѣ этой пѣсни слѣдовала патріотическая, извѣстная всѣмъ молодымъ людямъ столицы. Поднялся шумъ и грохотъ, и ярые возгласы.

— Россія на ложной дорогѣ! кричалъ какой-то политикъ.

— Вы съ Англіи примѣръ берите, — перебилъ его другой голосъ...

— Нѣтъ, въ Германію, въ страну философіи, — началъ было гегелистъ...

— Пошелъ ты къ чорту! перебили его другіе: — въ Германію, страну колбасниковъ? да имъ всѣ морды побить надо! Германія — огромная портерная въ Европѣ...

— А Россія — кабакъ.

— Да ты самъ пьянъ!

— Что жъ изъ этого?

— А если хочешь быть послѣдователенъ, убирайся къ чорту съ Гегелемъ!

— Нѣтъ, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, онъ пойдетъ шагать!

— А до тѣхъ поръ, что будемъ дѣлать?

— Ничего!

— Ну, и на здоровье.

— Слова прошу, закричалъ офицеръ съ залихватской физіономіей: — послушайте слова опытнаго человѣка! Молчите и внимайте.

Все стихло.

— Я предлагаю, господа, устроить сейчасъ же общими силами скандалиссиmусъ!

— Какой, какой?

— Переломать кости первому встрѣчному.

— Да за что же?

— Здорово живешь!

Скандалиссиmусъ былъ отвергнутъ большинствомъ голосовъ.

Молотовъ съ изумленіемъ смотрѣлъ на окружающія его лица и слушалъ ихъ ярыя рѣчи.

— Что это у тебя творится? спросилъ онъ Михаила Михайлыча.

— Будто не понимаешь?

— Ничего не понимаю.

— Здѣсь совершается великая тайна акклиматизаціи европейскаго прогресса, включительно до скандалиссиmуса... Я тебѣ говорилъ, что мы рѣшаемъ современные вопросы. Мы не аскеты, не люди стараго закала; здѣсь нѣтъ ни одного человѣка, который бы изъ прогресса создалъ пугало нравственное и открещивался бы отъ него, какъ отъ сатаны. Здѣсь процвѣтаютъ широкіе нравы!

— Что же будетъ съ этими людьми послѣ, когда пройдетъ время разгула, перегоритъ человѣкъ, переломаются его кости и испортится кровь?

— Вонъ ты куда хватилъ!

— Вѣдь потянетъ же ихъ когда нибудь изъ этого бѣшенаго круга; жизнь заставитъ взглянуть на себя серьезнѣе; — что тогда будетъ съ ихъ убѣжденіями?

— Съ какими?

— Да вотъ, которыя они проповѣдуютъ.

— Это развѣ убѣжденія?

— Что же?

— Просто дурь на себя напустили. Горло драть хочется, ну, и дерутъ. Имъ бы только посуетиться, побыть въ массѣ, покричать, а покажи только розгу, такъ сейчасъ: «ай, маменька, не буду!» Предложи любому чинъ регистратора, сейчасъ и убѣжденія по боку, и еще будетъ потомъ говорить, что его пошлая дѣйствительность задавила, среда заѣла, — а какая среда? натуришка гнилая! Идеалы ихъ книжные, и поверхъ натуры идеалы плаваютъ, какъ масло на водѣ. Ничего не выйдетъ изъ нихъ. Квасные либералы..... Хоть бы пару мужиковъ научили грамотѣ, а то даже и говорить-то не умѣютъ, убѣдить никого не могутъ.... Пей, ребята! крикнулъ Череванинъ.

Молотовъ пожалъ плечами.

— Зачѣмъ же ты сбираешь ихъ около себя?

— Развѣ не видишь, что веселенькій пейзажикъ выходитъ? Надо же чѣмъ нибудь утѣшать себя.

Молотовъ опять пожалъ плечами.

— Михаилъ Михайлычъ, сказалъ Касимовъ, подходя къ нему. — А, Егоръ Иванычъ, сказалъ онъ: — извините, я васъ и не замѣтилъ въ дыму...

Поздоровались.

— Что вамъ угодно? спросилъ Череванинъ.

— Я хочу идти въ художники...

— Такъ что же?

— Какъ посовѣтуете?

— Ступайте.

— Ей-Богу, ничего не можетъ быть лучше жизни художника: свобода, вино, женщины и друзья!

— И картины... прибавилъ Череванинъ.

— Только не знаю, есть ли у меня талантъ.

— Все же будете принадлежать къ числу худож-

никовъ, и у васъ будетъ свобода, вино, женщины и друзья...

Касимова отозвали пирующіе.

— Вѣришь ли, что я изъ этого господина могу сдѣлать хоть сейчасъ краскотера? И всѣ они таковы: это люди подражательные, юноши безъ всякаго содержанія. Онъ какъ родился не потому, что хотѣлъ того, а пожелали мамаша съ папашей, — такъ и все потомъ дѣлалъ потому, что люди это дѣлаютъ. Между тѣмъ Касимовъ умѣетъ острить, какъ ты слышалъ, но всегда впадаетъ въ чужой тонъ; вообще онъ не глупъ, у него есть умъ, но не свой. Съ молоду такіе люди всегда подаютъ надежды. У нихъ ничего нѣтъ за душой, кромѣ впечатлительности. Поживши съ угрюмымъ человѣкомъ, Касимовъ совсѣмъ отвыкъ отъ улыбки; съ рыцарями — онъ рыцарь, съ франтами — франтъ, среди ученыхъ корчитъ глубокомысленную рожу. Однажды онъ вздумалъ идти въ монахи, потому что наслушался какого-то старика о развращеніи рода человѣческаго; а черезъ мѣсяцъ онъ уже былъ отчаяннымъ франтомъ. Заклятый ненавистникъ брака, пока холостъ, а женится — попадетъ подъ башмакъ жены. Человѣкъ съ небольшимъ характеромъ и какой нибудь оригинальной выправкой — можетъ заставить ихъ сапоги себѣ чистить. Противно смотрѣть на нихъ, такъ они и льнутъ въ глаза и точно въ губы поцаловать хотятъ. Словомъ, народъ сонливый. Онъ всегда находится подъ вліяніемъ послѣдней прочитанной статейки. Сегодня онъ кричитъ: «индѣйцы англичанъ раскатали»; завтра: «Гумбольдтъ умеръ»; послѣ-завтра: «прочитайте Манонъ-Леско, очень развратная книжка», и нигдѣ ничего не понимаетъ, всегда съ чужого голоса поетъ. Когда пошла обличительная литература, тогда онъ съ благоговѣй-

нымъ страхомъ говорилъ: «вотъ отличныя-то головы!.. что пишутъ!.. и не боятся!» — Попавшись за увлеченія въ просакъ, онъ вдругъ хвостъ опускаетъ, робѣетъ, и, не зная, что дѣлать, иногда плачетъ и Богу молится, не понимая, что жъ это за напасть на него. Когда же ихъ поймаютъ въ минуту растерянности и станутъ стыдить, то они, безъ зазрѣнія совѣсти, умѣютъ напустить на себя рысь дурака: «эхъ, господа, полно смѣяться, я самъ знаю, что я глупъ; что жъ дѣлать, если Богъ ума не далъ», — и вретъ, каналья: онъ вовсе не глупъ, а просто не хочетъ шевельнуть мозгами, разобраться, наконецъ, во что онъ вѣритъ и не вѣритъ. Вотъ я и потѣшаюсь. Надоѣдятъ, запру двери, и дѣлу конецъ.

— И тебѣ не жалко ихъ?

— А тебѣ жалко? Мнѣ смѣшно, но это одно и то же: одинаково оскорбительно для человѣка. Жаль, нѣтъ здѣсь одного господина, который пописываетъ статейки. Вотъ забавникъ-то! — Какъ это вы пишете обличительные очерки? спросилъ я его однажды, и что же? — онъ сознался: «откроешь, говоритъ, Сводъ Законовъ, прочитаешь статьи, нарушишь ихъ и припишешь это какому нибудь чиновнику... при этомъ обстановка маленькая, современный духъ... ну, и ничего, платятъ за это деньги, все же на табакъ годится». — Смѣшно ли это или жалко, я разности большой въ томъ и другомъ случаѣ не вижу.

— Ну, а самъ-то ты что?

— А я, можетъ быть, еще хуже ихъ... Эхъ, Егоръ Иванычъ, пойдемъ отсюда вонъ... Опротивѣло.

— Пойдемъ, отвѣчалъ Молотовъ: — только какъ же гости-то?

— Вонъ тамъ старичекъ есть, распорядится.

Молотовъ и Череванинъ ушли.

— Куда жъ мы отправимся? спросилъ Молотовъ, когда они вышли на улицу.

— Куда глаза глядятъ; пойдемъ хоть на Невскій.

Молотовъ согласился.

— Не понимаю я... проговорилъ Молотовъ.

— Чего, милый человѣкъ?

— Скоро ли у насъ кончится это вѣчное гореванье, никому не нужная тоска, мрачный взглядъ на жизнь, доморощенная байроновщина.

— Доморощенная, — это вѣрно сказано, Егоръ Иванычъ.

Прошли нѣсколько молча.

— Мало ли чего ты не понимаешь, милый человѣкъ, началъ Череванинъ. — Вѣкъ живи, вѣкъ учись, а дуракомъ помрешь. Скажи ты, добрая душа, куда мнѣ дѣвать свои досуги? Сидишь, сидишь, и такая тоска заберетъ, что и самъ не замѣтишь, какъ очутишься въ портерной или трактирномъ заведеніи. Я увѣренъ, что ты не смыслишь ничего въ винѣ, а ты вообрази себѣ, выпьешь, вдругъ огни потекутъ по тѣлу, грудь вздохнетъ широко, вотъ она, жизнь-то, начинается!.. Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка!... думы и печали далеко летятъ. И хмѣль не заснетъ въ тебѣ; онъ ходитъ, ростетъ и разростается... въ головѣ туманъ, въ крови жаръ... пѣть хочется, плакать и цаловать всѣхъ... Вотъ это не мечта, а жизнь... я ее чувствую, едва не ощущаю руками... Понялъ, милый человѣкъ?... И пойдутъ писать дубы еловые, дубы сосновые, дубы липовые!...

— Плохо, если они пойдутъ писать...

— Пожалуй, что и плохо...

— Зачѣмъ же ты это дѣлаешь?

— Потому что мнѣ нравится.

— Въ наше время стыдно пить...

— Это отчего? Если будешь пить, такъ отъ вѣка отстанешь, что ли? Полно, меня вѣдь не надуешь. Вѣкъ вырабатываетъ не только такія натуры, какъ твоя, но и такія, какъ моя. Ты не найдешь ни одного человѣка, который жилъ бы такъ, какъ жили въ прошломъ столѣтіи, да и такого не найдешь, чтобы сегодня по вчерашнему: то же самое дѣлаетъ, но иначе, въ другой формѣ и по другимъ причинамъ. Кто жь отстаетъ отъ вѣка? Ни для кого солнце не остановится. Смѣняющіяся въ жизни обстоятельства лишь коснутся человѣка, непремѣнно имѣютъ на него вліяніе, и тутъ хочешь, не хочешь, а отъ вѣка не отстанешь. Рутинеровъ вѣдь нѣтъ на свѣтѣ, милый человѣкъ; ихъ добрые и умные люди выдумали. Покажи-ка ты мнѣ хоть одного отсталаго человѣка.

— Всѣ приверженцы старины, отвѣчалъ съ удивленіемъ Молотовъ:—отсталые люди.

— Старину копнулъ!... Вѣдь ее тотъ же вѣкъ произвелъ, намъ современный... Этой старины никогда еще не бывало, она новая старина.... Если бы дѣды пришли да посмотрѣли на эту старину, они не узнали бы ее, стали бы отплевываться и открещиваться отъ нея. Эту старину только въ нынѣшній вѣкъ и найдешь... Какая же она старина? Она тоже новость, продуктъ современной жизни, послѣдняго часа, настоящей минуты... И выходитъ — пустое слово, которыхъ такъ много на свѣтѣ, діалектическій фокусъ!.. Кто же отсталъ отъ вѣка?..

— Но есть же новые люди и новая жизнь?...

— Вона!.. кто-жъ этого не знаетъ? Вѣдь всѣ нынѣ живущіе люди народились въ нашъ вѣкъ, а не изъ могилъ вышли, не съ того свѣта воротились, и всѣ живутъ новой жизнью. Напримѣръ, доселѣ никто еще не жилъ, какъ я живу; ни у кого еще не было такого взгляда на жизнь, какъ у меня. Если ты о пьянствѣ говоришь, такъ что же? И оно не старинное, а новое, прогрессивное...

— Съ тобой не сговоришь... Ну, отчего ты не пристаетъ къ лучшимъ людямъ?

— Лучшіе люди?.. лучшая жизнь?... вотъ оно что!.. Значитъ, ты согласенъ въ томъ, что я новый человѣкъ, и въ то же время и лучшій человѣкъ.

Егоръ Иванычъ засмѣялся...

— Смѣйся, добрая душа, смѣйся; но ты опять сказалъ пустое слово... Лучшихъ людей нѣтъ на свѣтѣ; одинъ худъ, а другой лучше, а третій еще лучше; и наоборотъ, одинъ хорошъ, другой хуже, а третій еще хуже,—такъ безъ конца и безъ начала. Только самаго худаго не отыщешь и самаго лучшаго не отыщешь. —Всѣ лучшіе и худшіе.

— Однакожъ одни хуже, а другіе лучше...

— И этого нѣтъ.

— А ты хорошъ?

— Нѣтъ.

— Такъ худъ?

— И не худъ.

— Что же это такое?

— Я, какъ и всѣ люди, безъ достоинствъ и недостатковъ. По твоему, роза хороша, а крапива худа, а по моему, обѣ хороши, или, если угодно, обѣ худы, а

вѣрнѣе — ни хороши, ни худы, обѣ — произведеніе почвы... Ни хвалить, ни бранить ихъ не за что.

— И тебя выростила почва?

— А то что же?

— Это называется, среда заѣла?

— А вотъ и не заѣла!... Среда!... заѣла!... Новыя пустыя слова. Я просто продуктъ своей почвы, цвѣтокъ, пойми ты это.

— То есть, и не животное даже, а ниже животнаго, растеніе.

— Растеніе ниско́лько не ниже животнаго и не выше.

— Значитъ, никто невиноватъ въ твоей жизни, жаловаться не на кого?

— Еще пустое слово!... Виноватъ?... Развѣ винована крапива, что ее выростила почва? Виноватыхъ и невинныхъ нѣтъ на свѣтѣ. Развѣ я виноватъ, что родился? Меня не спрашивали, желаю ли я явиться на свѣтъ; развѣ я виноватъ въ томъ, что умру? не виноватъ же и въ томъ, что живу!... Все пустыя слова!... Одинъ чудакъ приходитъ къ другому: «ты подлецъ»,— говоритъ ему; а тотъ и струситъ: «что-жъ», говоритъ, «дѣлать, обстоятельства»; — первому станетъ жалко, онъ и давай утѣшать его: «ну, ну, успокойся, ничего, это тебя среда заѣла». — Вѣчное пустословіе! Обвиняютъ среду, ну, — и бить бы ее, или гуманныя какія средства предпринять. Не тутъ то было: оказывается, всѣ заѣдены... вотъ тебѣ и разъ!...

— Такъ ты никого не обвиняешь?

— Съ молоду была глупость; ругался на чемъ свѣтъ стоитъ; благородно и со злостью винилъ людей въ своемъ характерѣ, да во́-время смѣкнулъ, что и они, въ свою очередь, будутъ винить другихъ людей, которые

ихъ испортили, и выйдетъ чепуха неисходная!.. Нѣтъ, никого не обвиняю...

— Это шагъ впередъ, Михаилъ Михайлычъ.

— Ахъ, милый человѣкъ, разумѣется, впередъ, а не назадъ... Иначе и нельзя... Если бы у меня на мѣстѣ лица затылокъ былъ... Да нѣтъ, и тогда бы, затылкомъ, а все же впередъ.

— То-то и бѣда, что ты двигаешься затылкомъ впередъ.

— Утѣшилъ!... шагъ впередъ!... Онъ не отъ насъ зависитъ: хочешь, не хочешь, а заноси ногу, ступай. И никто не идетъ назадъ, всѣ — впередъ. Есть въ природѣ что-то такое, что движетъ людей... именно сторукія силы!.. Впередъ,—да какъ же иначе-то быть?

— Но неужели же тебѣ невозможно перемѣнить свою жизнь?

— Что возможно, то всегда и есть на дѣлѣ, въ жизни! Если мы идемъ не по той сторонѣ проспекта, то, въ настоящую минуту, и не возможно идти тамъ; а лишь только перейдемъ на ту сторону, тотчасъ, но только въ будущую минуту, и сдѣлается возможнымъ идти тамъ. Ты странный вопросъ задалъ!

— Однако ты понимаешь меня?

— Нисколько.

— Я спрашиваю, отчего ты ведешь такую грязную жизнь?

— Не знаю.

— Отчего не перемѣнишься!

— Тѣмъ болѣе не знаю.

— Попытался бы...

— Не хочется...

— Принудилъ бы себя.

— Не хочется принудить. Принудилъ бы? иначе вы-

разиться: захотѣлъ бы пожелать? — Не хочется захотѣть. — Что, милый человѣкъ, договорились до абсолютнаго бытія?... Найди ты мнѣ хоть одно слово, въ которомъ былъ бы смыслъ.

— Ты не знаешь такихъ словъ?

— Нѣтъ.

— Трудъ, честь, любовь, талантъ, да много еще, отвѣчалъ Молотовъ.

Михаилъ Михайлычъ тихо засмѣялся; Молотовъ пожалъ плечами.

— Что, ты до всего этого самъ додумался?

— Самъ...

Молотова интересовалъ его бывшій товарищъ; онъ предложилъ ему зайдти въ ресторанъ, Череванинъ согласился. Когда они сѣли въ маленькой комнатѣ, гдѣ никого не было, кромѣ ихъ, и поставлено было на столъ вино, Молотовъ сказалъ:

— Удивляюсь діалектическому направленію твоихъ мыслей! Охота тебѣ питаться софизмами!

— Слушай, отвѣчалъ Череванинъ: — я дѣйствительно съумѣю что угодно опровергнуть или доказать, но я съ тобой не играю въ слова, а говорю по совѣсти и прямо, что во всѣхъ этихъ хорошихъ рѣчахъ не нахожу никакого содержанія. Діалектика у меня развита. Мой отецъ преподавалъ реторику и логику, и онъ, бывало, заставляетъ меня на одну и ту же тему говорить pro и contra; или прикажетъ описать какое-нибудь чувство, и опишетъ такъ, что хоть сейчасъ въ «Великопостный Конфектъ».

— Что это такое?

— Книга такая — «Великопостный Конфектъ, или слово на вопрошеніе о смерти». — Но не въ «Конфектѣ» дѣло. Я тебѣ сознаюсь, что умѣю говорить, и, ес-

ли угодно, буду противъ себя краснорѣчивъ. Да что толку, лучше правду говорить. Вотъ я тебѣ и сообщаю, что думаю. Если можно, такъ сдѣлай, чтобы я не думалъ; уничтожь мои мысли. Не сдѣлать тебѣ этого, практическій человѣкъ.

— Это время сдѣлаетъ... Очень просто могутъ разрѣшиться твои сомнѣнія. Пусть обстоятельства пристукнутъ тебя покрѣпче; тогда поневолѣ оставишь діалектику и найдешь смыслъ въ такихъ предметахъ, какъ кусокъ хлѣба, заплата на брюки, полѣно для печи.

— Случалось, милый человѣкъ, и это, — голодалъ. Перетерпишь, и ничего. Все пустяки въ сравненіи съ вѣчностью!

— Но вѣдь запасешь на старость?

— Нѣтъ.

— Старъ будешь, болѣзни пойдутъ, а ты безъ денегъ.

— Веселенькій пейзажикъ!

— Тогда не покажется веселенькимъ. Но это еще въ будущемъ... Неужели тебя теперь никогда совѣсть не мучитъ?

— Вотъ это слово не пустое!.. Въ немъ реальное понятіе; ощутить можно совѣсть, и она не выдумка добродушныхъ людей.

— Наконецъ-то!.. И ты ощущаешь ее?

— А то какъ же? нельзя же безъ того! Вѣдь не мною выдумана совѣсть, а ужь это самою природою устроено, и я тутъ ни при чемъ. Мнѣ только остается любоваться на то, какъ она меня мучитъ, наблюдать ее, смотрѣть прямо въ лицо пучеглазой совѣсти, — я это и дѣлаю. При этомъ замѣть: что тебя тревожитъ, то, можетъ быть, на меня и не дѣйствуетъ; кромѣ того, у меня особый родъ совѣсти — такъ называемая

«сожженная».—Михаилъ Михайлычъ сказалъ: не «сожжонная», а «сожженная».

— Это что такое еще?

— Многое ложилось и на мою совѣсть; но я страшной силой воли всегда умѣлъ подавить въ себѣ моральное страданіе; не то, чтобы заглушалъ совѣсть, закрывалъ передъ ней глаза, трусилъ, лукавилъ и оправдывался, — нѣтъ, нѣтъ, я прямо смотрѣлъ ей въ рожу, холодно и со злостью, стиснувъ зубы. — «Впередъ не будешь?» спрашивалъ я себя. — Почемъ знаю, можетъ быть, и буду! — Случалось, что я бросался на кровать и, накрывъ голову подушкой, едва не задыхался; и подъ подушкой я слышалъ голосъ: «впередъ не будешь?» — Тогда я отвѣчалъ въ бѣшенствѣ: «буду; теперь непремѣнно буду!»

Череванинъ быстро выпилъ двѣ рюмки, одну за другой. Нельзя было сомнѣваться въ томъ, что Череванинъ говорилъ правду. Молотовъ только произнесъ:

— О, Боже мой!

— Знаешь что меня сгубило? продолжалъ Череванинъ. — Я всегда честно мыслилъ.

— Развѣ это можетъ сгубить человѣка?

— Можетъ. Но знаешь ли, что значитъ честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотрѣть въ свою душу, не подличая, а если не вѣришь чему, такъ и говорить, что не вѣришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дѣло! Кто надуваетъ себя, тотъ всегда спокоенъ; но я не хочу вашего спокойствія. Есть страшныя мысли въ мірѣ идей, и бродятъ онѣ днемъ и ночью, и когда рисуешь, и когда вино пьешь. Особенно, когда находишься одинъ, глухо вокругъ тебя, задумаешься, замечтаешься, фантазіи и образы ростутъ, мысли поднимаются на такую высоту, что ка-

жутся дикими; но идетъ за ними душа до тѣхъ поръ, что начинаешь бояться за свой разсудокъ, и въ страхѣ хватаешь въ руки голову. Мысли рождаются, ростутъ и живутъ свободно, — ихъ не убьешь, не задавишь, не подкупишь. Въ этомъ царствѣ полная свобода, которой добиваются люди, изъ-за которой рѣжутся они. Свобода, вѣчная независимость здѣсь только и возможна, и только въ этомъ мірѣ можно жить въ собственномъ смыслѣ. Но рѣдко я живу теперь мыслью, состарился и измучился безплодно. Гаснетъ хмѣль въ рѣчахъ, всякая мечта замираетъ, не чувствую злости ко злу, расположенія къ добру; смѣхъ пропадаетъ: хоть бы совѣсть мучила, и того нѣтъ; скоро я, кажется, совсѣмъ мучиться перестану, — останется одна безчувственность, и скажутъ: «этотъ человѣкъ совсѣмъ сгнилъ»; день-ото-дня слабѣетъ мой организмъ, и я въ самомъ дѣлѣ становлюсь немощнымъ сосудомъ. Не желалъ бы я воротить свою молодость! Ей-богу, не желалъ бы! Не надо мнѣ ея, не надо! Это время выработыванія идей, непониманія жизни и осмысливанія ея, взъерошиванья волосъ, — одушевленныя лица, безсонныя ночи, горячія рѣчи — все это опротивѣло мнѣ, потому что человѣкъ, какъ ни горячится, а все-таки кончится тѣмъ, что оплѣшивѣетъ и окиснетъ. А гдѣ же моя дѣтская жизнь? Она стала предметомъ умозрѣнія, фантазіи, общихъ фразъ и слѣпого воспоминанія. Всѣ состоянія тѣла и души, все, что составляетъ жизнь, есть предметъ забвенія. Всѣ событія отъ времени потеряли цвѣтъ подробностей и значеніе внутренняго смысла; цѣпь жизни разорвана на куски, пружины и кольца ея распались. Чѣмъ доказать, что и я жилъ? Пусть другіе насъ забудутъ, намъ ли думать о безсмертіи; но неужели я

такъ ничтоженъ, что не стою собственнаго вниманія и памяти? Скучно, скучно!

— Ей-Богу, не понимаю, о чемъ мы толкуемъ, — отвѣчалъ Молотовъ, когда Михаилъ Михайлычъ послѣ долгой, полушальной рѣчи поникнулъ головою. — Никто такъ не говоритъ и никто не страдаетъ такими болѣзнями.

— Такъ и зналъ: никто не страдаетъ, какъ ты; поэтому никому и нѣтъ дѣла до тебя. Всѣ въ отвѣтъ только и поютъ стихъ о страшномъ судѣ. Ужь очень вамъ хочется, чтобы отъ насъ грѣшныхъ «было не слышати ни зыку, ни крику, ни рыданія»... «Рѣка Сіонъ протечетъ, какъ громъ прогремитъ», а вы, святые люди, просите, умоляете, чтобъ «берега съ мѣстъ содвинулись, перстьемъ засыпались».

— Но, право, не понимаю, чѣмъ ты страдаешь. Неужели можно совсѣмъ потерять вкусъ къ жизни? Это невѣроятно.

— А потерялъ же!.. Во мнѣ не только положительнаго, во мнѣ и отрицательнаго ничего нѣтъ, — полное безразличіе и пустота! У меня такъ голова устроена, что я во всякомъ словѣ открываю безсодержательность, во всякомъ явленіи — какую-нибудь гадость. Торичелліева пустота и сожженная совѣсть!.. Прежде, бывало, ломался и кричалъ: трудъ, отечество, любовь, свобода, счастье, слава и много иныхъ прекрасныхъ словъ; но и тогда уже чувствовалъ, что лгалъ, а теперь ничего не хочу, кромѣ сна, забвенія, обморока...

Черевашинъ налилъ рюмку себѣ и закурилъ сигару.

— Любовь, дѣва, луна, поэзія... перебиралъ Черевашинъ.—На свѣтѣ нѣтъ любви, а есть аппетитъ здороваго человѣка; нѣтъ дѣвы, а есть бабы; вмѣсто поэ-

зіи, въ жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная; ну, луна, пожалуй, и есть, да мнѣ плевать на луну: какого чорта я въ ней не видалъ? Все мнѣ представляется ничтожнымъ до невѣроятности, потому что «все на свѣтѣ скоропреходяще и тлѣнно!» Мнѣ только это вдолбили съ молоду. Я постоянно слышалъ объ антихристѣ, кончинѣ міра, о тлѣнности благъ земныхъ... Мы жили подлѣ кладбища, я еженедѣльно видѣлъ покойниковъ, и тогда уже дѣтскими, пытливыми глазами всматривался въ мертвецовъ. Постоянно я безъ нужды смирялся, усиленно откапывая въ себѣ всевозможные пороки и гадости, воображалъ себя червемъ, прахомъ, ничтожествомъ, человѣкомъ, недостойнымъ счастья; я презиралъ себя въ дѣтствѣ! Потомъ я и очнулся, протянулъ руки къ жизни, но уже поздно было! Взглядъ мой былъ направленъ къ тому, чтобы видѣть одно только зло въ себѣ и людяхъ. Гадко и мрачно! Если вкусъ человѣка испорченъ, то хотя послѣ онъ убѣдится, что пища, употребляемая другими, хороша, а все-таки не будетъ онъ способенъ питаться ею. Но мало ли нашего брата и всѣ они идутъ своей дорогой, всѣ они понимаютъ, что они такое. Отчего это всѣ веселы, а я одинъ только ничего не понимаю? Оттого, что было время, когда я принималъ все близко къ сердцу, въ плоть и кровь вошли убѣжденія; а когда очнулся, вкусъ мой уже былъ испорченъ, трудно было перевоспитаться. Мало только понять новую жизнь, надо жить всѣмъ организмомъ, быть цѣльнымъ, здоровымъ человѣкомъ. Разныя сомнѣнія и нерѣшимые вопросы для васъ, людей инаго воспитанія, быстро проходятъ и не имѣютъ никакого значенія, а для насъ, спеціалистовъ въ этомъ дѣлѣ, они составляютъ неискоренимое вліяніе, такъ

что и на новую жизнь, которая предъявляла права свои, я набросилъ тайный флёръ.

— Я никого не люблю, продолжалъ Череванинъ: — человѣкъ я честный и въ товариществѣ добрый, но ни къ кому я не привязанъ, никого мнѣ не надо.... Хоть теперь, развѣ для тебя я здѣсь сижу и говорю? Поучать, что ли, тебя собрался? Я тебя и знать не знаю. Дѣлалъ и я людямъ добро, и не любилъ никогда тѣхъ, кому помогалъ.

— Зачѣмъ же ты и помогалъ?

— Себя тѣшилъ!.. Себя только люблю, продолжалъ художникъ: — одинъ эгоизмъ, полный, безапелляціонный эгоизмъ!... Да нѣтъ, и не эгоизмъ.... Тамъ, гдѣ дѣйствуетъ эгоизмъ, бываетъ полное довольство, сознаніе собственнаго достоинства, а я не живу и не умираю, и всегда самъ себѣ гадокъ. Для кого же, зачѣмъ я буду работать? Себя я не люблю, не уважаю, васъ тоже... О комъ же заботиться, для кого хлопотать? Ужь не для будущаго ли поколѣнія трудиться?.. Вотъ еще діалектическій фокусъ, пунктъ помѣшательства, благодумная дичь! Часто отъ лучшихъ людей слышишь, что они работаютъ для будущаго, — вотъ странность-то!... Вѣдь насъ тогда не будетъ?... Благодарно будетъ грядущее поколѣніе? Но вѣдь мы не услышимъ ихъ благодарности, потому что уши наши будутъ заткнуты землею... Да нѣтъ, и благодарно не будетъ грядущее поколѣніе; оно обругаетъ насъ, потому что пойдетъ впередъ дальше насъ, будетъ сдавлено въ своихъ стремленіяхъ людьми стараго вѣка, то есть моими и твоими сверстниками и единомысленниками. Вѣдь все, что мы называемъ отсталымъ, во время оно было передовымъ, свѣжимъ, бодрымъ, боролось въ свою очередь съ давно прошедшей рутиной, о которой до насъ

еле слухъ дошелъ. Что же, и стариковъ въ былое время называли лестнымъ именемъ «вольтерьянцевъ», хотя они тоже небо коптили... И ваше время минетъ!.. Почемъ ты знаешь, можетъ быть, самое-то молодое поколѣніе, вотъ то, которое сидитъ теперь на школьныхъ скамейкахъ, уже чувствуетъ что-то неловкое по отношенію къ вамъ, и въ лицѣ его воспитывается вамъ протестъ. Неужели оно проживетъ такъ же, какъ и вы, носиться будетъ съ тѣми же идеями?.. Оно пойдетъ впередъ, или нѣтъ?.. И вотъ помни ты мое слово, что, когда тебѣ и твоимъ сверстникамъ стукнетъ лѣтъ шестьдесятъ и вы, при божьей помощи, дослужитесь немалаго чина, вы притисните молодое поколѣніе, право, притисните.... На свѣтѣ ужь таковъ обычай, что лишь только сынъ доростетъ до того, что самъ можетъ имѣть сына, такъ и начинаетъ ругать отца. Вѣдь вѣчное движеніе впередъ—сытость старымъ; блага, прежде добытыя, становятся до того обыденными, что мы теряемъ вкусъ въ нихъ. Мы пользуемся всѣмъ добромъ, для насъ заготовленнымъ, но все еще несчастливы; какъ животъ нашъ добра не помнитъ: вчера кормили, — такъ нѣтъ, сегодня опять хлѣба проситъ. Добьются люди своего, удовлетворятся; но потомъ, глядишь, новые вопросы, новыя желанія, иныя силы возникаютъ, и старая жизнь давитъ молодое поколѣніе, потому что человѣкъ не можетъ жить двѣ жизни. И новое поколѣніе состарится въ свою очередь, и нашихъ внуковъ, будущихъ людей, станетъ тѣснить за невѣдомыя ему стремленія. Внуки заставятъ плакаться правнуковъ, и такъ далѣе, въ безконечность. Экая нелѣпость!... Выпить, что ли?

— За будущее поколѣніе?

— За всѣ поколѣнія, потому что всѣ они равны.

Будто молодое лучше стараго или старое лучше молодого? Которое нибудь изъ нихъ счастливѣе, нравственнѣе, разумнѣе?... Всѣ равны!...

— Слушалъ, слушалъ я тебя, сказалъ наконецъ Молотовъ:—и ничего не понялъ изъ твоихъ рѣчей. Я не приготовился къ такому потоку софизмовъ, къ такому траурному взгляду и полному отрицанію свѣта и жизни. Какъ назвать, извини меня, твою дикую систему?

— Если нужно, и названіе есть. Ты видишь, какъ я говорю гладко; изъ этого слѣдуетъ, что все у меня обдумано, приведено въ систему и можетъ быть выражено очень краснорѣчиво...

— Въ чемъ же дѣло?

— Кого рефлексія, а насъ кладбищенство заѣло.

— Именно, кладбищенство!

— Оно и есть!... Да, братецъ ты мой, какъ ни закрывай глаза и ни затыкай уши, а печальныя явленія печальной жизни ежедневно и повсюду совершаются и неотступно требуютъ нашего вниманія. Заснула ли жизнь, какъ болото, захрясла ли въ бѣдности, истомилась ли въ болѣзни, заглохла ли въ невѣжествѣ, порокѣ или такой аномаліи, какъ у меня, — много ли насъ тревожитъ жизнь? Равнодушны мы къ ближнему; рѣдко можемъ понять его несчастіе. Когда несчастіе выдается рельефно, съ крикомъ и болью, когда мы видимъ раны, сильно развороченныя болѣзнью, — тогда только мы спрашиваемъ себя: «въ самомъ дѣлѣ, не страдаетъ ли этотъ человѣкъ чѣмъ такимъ?» Узнавши, мы смѣемся его глупости. Если ближній страдаетъ отъ бѣдности душевной, намъ нѣтъ дѣла до него. Кто, дескать, велитъ ему страдать? Пусть себѣ!

— Но что такое кладбищенство?

— Вотъ тебѣ для образчика. Напримѣръ, я часто думаю о смерти, до подробностей вникаю въ это прекрасное явленіе природы, потому что я нисколько не брюзгливъ. Вотъ придетъ чадолюбивая холера, или прохватитъ столичная лихорадка, а можетъ быть, бревно сорвется съ крыши и прихлопнетъ на мѣстѣ, и отлучится, какъ говорятъ, душа отъ внѣшней оболочки. Вообрази теперь хоть ту картину, которую я чаще всего видѣлъ въ дѣтствѣ... Положатъ тебя на столъ; подъ столъ поставятъ ждановскую жидкость; станутъ курить ладономъ, запоютъ за душу хватающіе гимны— «житейское море», или: «о, что это за чудо? какъ мы предались тлѣнію? какъ мы съ смертью сопряглись?» Соберутся други и знаемые; станутъ цаловать тебя, кто посмѣлѣе — въ губы, потрусливѣе — въ вѣнокъ... Дальше?.. что дальше?.. Захлопнутъ гробъ крышкой, и завинтитъ ее вѣчнымъ винтомъ вѣчнаго цеха мастеръ, гробовщикъ Иванъ Софроновъ, и опустятъ тѣло въ подземныя жилища... Могила... Что такое тамъ?.. Я уже вижу, какъ идутъ, лѣзутъ и ползутъ черви, крысы, кроты... Веселенькій пейзажикъ!.. Черезъ десять лѣтъ провалится крышка отъ гроба... я все это знаю... а черезъ тридцать останется только черепъ да двѣ кости отъ таза...

— У тебя манія, сказалъ Молотовъ.

— Органическій порокъ, наслѣдственный...

— Какая-то нравственная торичелліева пустота, сожженная совѣсть и прогрессивное кладбищенство!

— Самородокъ!

— Движеніе впередъ спиною, веселенькіе пейзажики...

— Важно!.. Экая сила поднялась!..

— Глухой мракъ и дубы еловые!

— Гадко! сказалъ съ отвращеніемъ Череванинъ.

— Не вѣрю я, чтобы нельзя было отрѣшиться отъ такого могильнаго направленія... Иначе, зачѣмъ тебѣ и существовать на свѣтѣ?.. Вѣдь отжилъ, самъ говоришь? такъ ступай на Неву и отыщи прорубь пошире! Чего ты ждешь отъ завтрашняго дня? Зачѣмъ же тебѣ и жить завтра? Убирайся!..

Череванина озадачилъ такой оборотъ рѣчи.

— Зачѣмъ до сихъ поръ ты не вырвалъ изъ души всю могильную гадость?

— Не могъ...

— Лжешь!

Череванинъ даже привсталъ съ этого слова.

— Человѣкъ все можетъ сдѣлать, продолжалъ Молотовъ:—ты не заботился о себѣ, запустилъ свою болѣзнь, развратилъ себя.

— Я родился такимъ...

— Переродиться надо.

— Поздно!

— Лжешь! повторилъ Молотовъ.

Череванинъ вспыхнулъ, но это было на минуту. Онъ глубоко задумался.

— Странное явленіе — такіе господа, какъ ты, говорилъ Молотовъ. — Скучаетъ о томъ, что жизнь коротка. Чѣмъ короче она, тѣмъ болѣе побужденій жить! Если ты увѣренъ, что твоя жизнь не повторится, то и долженъ беречь ее; немного дней дано природою...

— И ляжетъ въ основѣ существованія полный эгоизмъ...

— Эгоизмъ рождаетъ любовь. Когда удовлетворены твои потребности, является страстное желаніе сдѣлать всѣхъ счастливыми. Ты не любишь другихъ потому,

что не любишь себя. Но бывало же и тебѣ жалко людей, помогалъ ты имъ, заботился о нихъ, сострадалъ имъ?

— Самого себя жалко было — больше ничего. Несчастія людскія раздражали, не давали покою, это сердило, — вотъ и все.

— Въ томъ-то и любовь, что чужое горе до такой степени станетъ твоимъ горемъ, что дѣлается жалко самого себя.

— Перестану, сказалъ неожиданно Череванинъ.

Молотовъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ...

— Попробую, что будетъ...

— Съ Богомъ, Михайло Михайлычъ!

— Скучно будетъ, лягу на диванъ, задеру на стѣну ноги и буду ждать часъ, другой, третій; выжду же, что перемѣнится расположеніе духа; а не то выйду на улицу и буду ходить до изнеможенія... Скучно тебѣ? спросилъ себя художникъ и самъ же отвѣтилъ: «скучно». Ну, и пусть скучно! прибавилъ онъ...

— Вотъ это не спиной впередъ, сказалъ Молотовъ...

— Право?

— Вотъ и возможно стало перемѣниться?

— Въ настоящую минуту возможно; а давеча не было перемѣны, — значитъ, тогда, въ ту-то минуту, и возможности не было. Что возможно, то сейчасъ и на дѣлѣ есть...

— Ну, такъ и дубы еловые въ сторону?

— Въ сторону...

— И великопостные конфекты...

— И конфекты туда же!

— И торичелліеву пустоту?

— Ну, не совсѣмъ, сказалъ въ раздумьи художникъ...

— Кладбищенство осталось, значитъ, можно соблазнить.

— Соблазнить?.. да, вотъ тебѣ еще пустое слово!.. Соблазнить никто и никого не можетъ... Соблазнить?.. что это такое? Я въ этомъ словѣ ничего не слышу, — оно совсѣмъ пустое!... Меня никто и никогда не соблазнялъ; я всегда удовлетворялъ только своимъ потребностямъ... Теперь поворотъ на новую жизнь — вотъ и все!

— Что жъ ты думаешь предпринять теперь?

— Начну работать, какъ волъ. Не будетъ художественнаго жара, стану копіи писать да за рубль продавать. Заведу чистоту въ квартирѣ, насильно заведу, выгоню квасныхъ либераловъ; поселюсь среди женщинъ — пусть смягчатъ мои нравы: это ихъ дѣло, и, вотъ тогда посмотрю, что со мной будетъ.

Череванинъ долго мечталъ о новой жизни. Онъ встрепенулся и повеселѣлъ...

— Скучно тебѣ? говорилъ онъ, выходя изъ ресторана. — Скучно! — А мнѣ какое дѣло? пусть скучно!

Молотовъ смѣялся.

У Дороговыхъ вечеромъ опять было маленькое собраніе. По обыкновенію пришолъ Молотовъ; Череванинъ занимался портретами; здѣсь же былъ молодой Касимовъ, который на дняхъ получилъ мѣсто. Касимовъ радовался по-дѣтски, что и онъ наконецъ сталъ чиновникомъ. Молодые люди, среди ихъ и Надя, собрались около ярко освѣщеннаго портрета, надъ которымъ трудился Череванинъ; дѣти съ любопытствомъ смотрѣли на его работу. Касимовъ болталъ безъ умолку, строилъ разные планы о службѣ, и наконецъ уже сталъ впадать въ роль совершеннаго дѣятеля, воображая, какъ онъ, дастъ Богъ, поразитъ всевозможную

административную неправду. Череванинъ не могъ не отравить его молодой радости.

— А карьера художника вамъ не нравится болѣе? спросилъ онъ.

Касимову неловко стало.

— Нѣтъ, мое назначеніе другое; я долженъ быть чиновникомъ.

— Отчего же вы въ чиновники пошли, а не въ монахи, не въ художники? — а во время войны вы мечтали объ офицерской карьерѣ...

Касимовъ покраснѣлъ...

— Отчего же вы думаете, что чиновничество — ваше призваніе?

— Ахъ, Боже мой, отчего и другіе думаютъ это. Вотъ спросите Егора Иваныча, отчего онъ чиновникъ, а не кто нибудь другой?..

— Отчего, Егоръ Иванычъ?

Молотовъ засмѣялся.

— По призванію? спросилъ Череванинъ...

— Нѣтъ, по приглашенію друга...

— Развѣ можно безъ призванія служить? возразилъ Касимовъ запальчиво.

— Егоръ Иванычъ, разскажи господину Касимову въ назиданіе, какъ ты ѣхалъ на службу, точно мокрая курица...

— Къ чему! отвѣтилъ Молотовъ.

— Разскажите, присоединила и Надя свой голосъ...

Касимову тоже очень хотѣлось послушать Молотова, котораго онъ очень высоко ставилъ въ своемъ воображеніи и едва ли не считалъ необыкновеннымъ существомъ. Онъ зналъ Молотова, какъ человѣка независимаго, гордаго, который ни предъ кѣмъ не гнулъ спины, какъ человѣка свободно-мыслящаго и притомъ

степеннаго, положительнаго и практическаго.—«Вотъ у кого поучиться!» думалъ онъ и боялся, что Егоръ Иванычъ не захочетъ высказаться...

— Извольте, разскажу, отвѣчалъ Молотовъ къ общему удовольствію.

— Моей карьерой распорядился фатумъ, началъ онъ: — а не разумный выборъ. Не то, чтобы я самъ захотѣлъ служить, а это со мною просто случилось... Дѣло въ томъ, что я занимался у одного помѣщика, нисколько не думая о будущемъ; помѣщикъ оскорбилъ меня, приходилось оставить мѣсто,—и вотъ тогда взяло меня страшное раздумье о моемъ призваніи. Тогда первый разъ возникъ въ моемъ умѣ вопросъ, который я долго потомъ рѣшалъ: «не старую, отцами переданную, жизнь продолжать, а создать свою, — выдумать что ли ее, вычитать, у людей умныхъ спросить?» Вотъ такъ, какъ и вы теперь желаете пораспросить о томъ же умныхъ и практическихъ людей. — Вопросъ родился неожиданно, поставленъ былъ неотразимо, но отвѣчать на него все-таки было нечего, потому что за душой ничего не было. Въ это время пріятель мой написалъ мнѣ письмо, въ которомъ ясно, какъ день Божій, доказывалъ мнѣ, что я рожденъ чиновникомъ. Я не повѣрилъ ему, но у меня денегъ не было, средствъ къ жизни никакихъ, а ѣсть хотѣлось; кромѣ того, неловко же такъ жить на свѣтѣ и на вопросъ: «что ты?» надо отвѣчать хоть это: «я чиновникъ!» Вотъ я, долго не думая, махнулъ рукой и поѣхалъ въ губернію къ пріятелю, который обѣщалъ достать мнѣ мѣсто. Если бы онъ предложилъ мнѣ мѣсто учителя, корреспондента, управляющаго, я бы согласился съ такимъ же расположеніемъ, какъ и на должность чиновника. Вся сила въ томъ, что мнѣ некуда было пріютиться. Я за-

видовалъ тѣмъ юношамъ, которые, кончивъ курсъ, имѣютъ возможность года три-четыре не поступать ни на какую службу, которые обезпечены своими отцами и дѣдами. Они могутъ осмотрѣться, поучиться, пожить. Будь у меня небольшое состояніе, я ни за что не пошелъ бы на службу, какія тамъ ни пиши мой пріятель письма. Я ѣхалъ къ другу мокрой курицей, подавленный обстоятельствами, чувствуя, что я не чиновникъ, —а кто? не зналъ я тогда... Тяжело мнѣ было думать: «зачѣмъ меня несетъ туда? ни больше, ни меньше, какъ на казенную пищу, на государственные харчи!...» Мнѣ совѣстно было такого положенія, и вотъ я сталъ успокоивать себя фразами друга: «отъ тебя не требуютъ любви къ службѣ; намъ нужны твой умъ, честность, трудъ». — «Что жъ, подумалъ я: и буду работать». И съ этого слова вдругъ на меня напала какая-то фальшивая торжественность, напряженная, дѣланная злоба ко всему подлому. Я поѣхалъ такимъ карателемъ, что страшно стало за человѣка... Пересталъ я жалѣть себя, готовъ былъ взяться за дѣло честно, вынести какую угодно борьбу, всю жизнь свою положить на истребленіе подлости людской, на гибель нарушителямъ закона. — «Сдѣлаю же что нибудь!» увѣрялъ я себя. Мнѣ даже весело стало... Припомнилась мнѣ судьба нѣкоторыхъ молодыхъ людей, задавленныхъ сильными міра за прогрессивныя идеи. — «Такъ что же?» отвѣчалъ я на свои мысли: — «пусть выгонятъ изъ службы... мнѣ не жалко себя... я постою за правду... на пядень не отступлю отъ нея». Какъ теперь помню, я тогда раздумался, способенъ ли я рѣшиться на какую нибудь чиновную подлость; долго я прислушивался къ своей душѣ и наконецъ, съ юношескимъ восторгомъ, сказалъ себѣ: «нѣтъ, неспособенъ!» Я чуть не закричалъ во

все горло: «итакъ, борьба!» и сталъ торопить ямщика — вѣрно, поскорѣй хотѣлось вступить въ борьбу..... примѣрно, завтра же поутру... Я былъ почти увѣренъ, что мнѣ придется страдать за правду, что не диво, если меня и выгонятъ изъ службы за высокія мои добродѣтели. Немного погодя, я уже мечталъ о такой участи съ наслажденіемъ и гордостью; мнѣ было весело, и увлекаясь, я торопилъ ямщика... Но скажите, ради Бога, отчего это я опять поѣхалъ мокрой курицей? Юноша понялъ, что онъ занимался дѣланіемъ фразъ пустыхъ... Мнѣ стыдно стало за то, что я мечталъ, какъ выгонятъ меня изъ службы... Во всемъ этомъ слышалось одно: «не хочется быть чиновникомъ, — охъ, какъ не хочется», а обстоятельства насильно дѣлаютъ чиновникомъ. Вотъ и думалось, что судьба же и спасетъ меня, что авось либо, дастъ Богъ, вытурятъ со службы. Такъ школьникъ мечтаетъ о томъ, что его исключатъ изъ училища, и онъ опять будетъ жить дома, среди сестеръ, братьевъ, товарищей, подлѣ матери и отца. Вотъ когда сжалось мое сердце... «Кто же такой Молотовъ?» спрашивалъ я себя со злостью. У меня не только не было ни роду, ни племени, ни кола, ни двора, — у меня не было и сословія, я не принадлежалъ ни къ какому кружку; я былъ космополитъ, человѣкъ, не имѣющій почвы подъ ногами. Какъ мнѣ хотѣлось тогда видѣть своего друга, единственнаго человѣка, который былъ близокъ ко мнѣ; какъ хотѣлось обнять его и высказать все, что было на душѣ! Мнѣ казалось, что на меня напала тоска отъ одиночества на большой дорогѣ, вдали отъ людей... «Впередъ!.. жизнь широка!.. не сегодня она началась, не завтра кончится! Перейдетъ время, все уляжется и опредѣлится». Я представлялъ себѣ, какъ встрѣчусь съ моимъ пріятелемъ, что̀ буду го-

ворить, о чемъ спорить, какъ проводить вмѣстѣ время. Въ моемъ воображеніи уже рисовался губернскій городъ. Доселѣ я былъ студентомъ, потомъ жадно всматривался въ сельскую жизнь и природу, а теперь приходилось увидѣть провинціальную городскую жизнь, для меня еще незнакомую. Служба въ моихъ мысляхъ отходила на второй планъ, интересы ея стушевывались, а возбуждалась простая любознательность. Будущее было смутно и неразгаданно; но хотѣлось повидать людей, — а въ этомъ отношеніи, что лучше слѣдственныхъ дѣлъ и жизни губернскаго города, гдѣ всѣ хорошо знаютъ другъ друга? И значитъ, въ губернію, какъ прежде къ помѣщику, я ѣхалъ безъ яснаго сознанія цѣли жизни, въ качествѣ зрителя, съ единственнымъ намѣреніемъ поучиться, лишь съ той разницей, что у меня уже не было дѣтски яснаго взгляда на міръ Божій. Я понялъ, что̀ мнѣ нужно было: «о, Боже мой, если бы можно года четыре пожить безъ службы частной и общественной, осмотрѣться, одуматься и отвѣдать вольнаго, нестѣсненнаго существованія!» Но желанія мои были неосуществимы, и я черезъ нѣсколько дней надѣлъ мундиръ чиновника... Оно и выходитъ, что я поѣхалъ на службу не по призванію, а по приглашенію друга...

Всѣ ожидали продолженія разсказа Молотова, но онъ не хотѣлъ больше говорить. Касимовъ не сдѣлалъ ни одного замѣчанія насчетъ Молотова. Онъ сознавалъ, что идетъ на службу по приказанію отца: его просто опредѣлаютъ въ департаментъ, и что у него нѣтъ и тѣхъ побужденій идти въ чиновники, какія были когда-то у Молотова. Онъ чувствовалъ, что не можетъ взять на себя роль Егора Иваныча, и совсѣмъ растерялся. Но

на него уже никто не обращалъ вниманія: всѣхъ занялъ Молотовъ.

— Что же потомъ было съ вами? спросила Надя Молотова.

— Не хочется вспоминать, Надежда Игнатьевна.

— Отчего же?

— Молодъ былъ, ничего не понималъ и кончилъ очень нехорошо.

— Не взятки же бралъ? замѣтилъ Череванинъ.

— Какія тутъ взятки?.. Я самъ готовъ былъ дать взятку, чтобы только образумили меня...

— Что же случилось? повторила Надя съ замѣтнымъ любопытствомъ.

— Если не хочешь говорить, позволь, я разскажу... вмѣшался Череванинъ.

— Нѣтъ, послѣ когда нибудь, — отвѣтилъ рѣшительно Молотовъ.

Надя на этотъ разъ надѣялась услышать отъ Молотова нѣчто въ родѣ исповѣди; но Егоръ Иванычъ не былъ расположенъ въ откровенности. Подъ вліяніемъ воспоминаній о молодыхъ годахъ, онъ сгрустнулъ и задумался. Надя смотрѣла на него пытливымъ взглядомъ, желая отгадать, что у него на душѣ. Въ это время послышался звонокъ въ прихожей. Надя вздрогнула отъ этого звука. Молотовъ проговорилъ: «кто бы это?» и обратилъ вниманіе на Надежду Игнатьевну. Она была вся взволнована. — «Что бы это значило?» подумалъ онъ и сталъ съ нетерпѣніемъ ожидать гостя, на встрѣчу котораго побѣжали дѣти... Въ комнату, вмѣстѣ съ Игнатомъ Васильичемъ, вошелъ мужчина лѣтъ тридцати, высокій, стройный и красавецъ... Надя быстро окинула взоромъ гостя и сердце ея упало.—«Третій разъ онъ здѣсь!» подумала Надя: — «зачѣмъ?» —

Гость не нравился ей, а между тѣмъ она думала: «не женихъ ли?»

Гость сдѣлалъ общій поклонъ, но особенно почтительно, даже съ благоговѣніемъ, онъ поклонился Надеждѣ Игнатьевнѣ, точно она была жена его начальника. Этотъ господинъ былъ секретаремъ при статскомъ генералѣ Подтяжинѣ, директорѣ одного присутственнаго мѣста, Иванъ Ѳедорычъ Чаплинскій. Чаплинскій и Игнатъ Васильичъ прошли въ кабинетъ. Бесѣда молодыхъ людей разстроилась. Надя ушла къ матери; Касимовъ отправился домой. Остались Молотовъ и Череванинъ.

— Какъ твои дѣла? спросилъ Молотовъ Череванина.

— Все еще скучно, хоть и перемѣнилъ жизнь...

— Подожди, не сразу же.

— Подожду... А теперь пока худо... Послѣ того, какъ мы видѣлись, прошла цѣлая недѣля самой пошлой и безсодержательной жизни.

— Что же ты дѣлалъ?

— Читалъ, въ театрѣ былъ, смотрѣлъ парады, шлялся по улицамъ, либо сидѣлъ цѣлые часы и, выпуча глаза, смотрѣлъ на дворъ; ходилъ по комнатѣ и считалъ свои шаги, — однажды насчиталъ до десяти тысячъ. Третьяго дня я отправился на набережную Невы, оттуда ко дворцу, отъ дворца къ Даціару, потомъ въ Пассажъ; шелъ, шелъ, и очутился у Невскаго монастыря, и обратно домой... Все скучно было. Встрѣтилась баба съ шарманкой, при которой былъ приткнутъ ребенокъ ея. Я далъ бабѣ десять копѣекъ... Мнѣ не было ее жалко, нисколько!.. Вѣдь и ты бы не сталъ жалѣть? Много идетъ народу, и никому нѣтъ дѣла, некогда!.. Мнѣ-таки было некогда.

— Чѣмъ же ты былъ занятъ?

— Мнѣ скучно было, я собственно этимъ и былъ занятъ. Впрочемъ, что жъ? Я ей далъ гривенникъ — пусть выпьетъ! Для того же, чтобы помочь этой женщинѣ, надо отнять у ней ребенка, изломать ея шарманку, дать ей тепло, деньги и хоть нѣсколько здравыхъ идей, а здравыхъ-то идей у меня у самого нѣтъ... Охъ, вы, благодѣтели рода человѣческаго! Вотъ и я ходилъ по улицѣ, добрыя дѣла дѣлалъ: но у меня, когда я дѣлаю такъ-называемое добро, послѣ никогда не бываетъ того радостнаго чувствованьица, которое ощущаетъ всякій, подавшій нищему гривну. Иной гривну дастъ, а на рубль блаженствуетъ; а справься, блаженствуетъ ли человѣкъ, получившій гривну? Отсюда одно слѣдуетъ — что добродѣтель награждается еще и въ этой жизни. За нѣсколько грошей, сколько чистаго, высокаго, духовнаго наслажденія! Вотъ и мы попытались блаженствовать; нѣтъ, не выходитъ: за свою же гривну скучно!

— Что же еще ты видѣлъ замѣчательнаго?

— Видѣлъ я еще старика-нѣмца. Въ одномъ сюртучишкѣ, на морозѣ, выводилъ онъ какую-то дичь музыкальную. Собралась около него публика... Музыкантъ нашъ беретъ ноты на авось. — «Плохо, нѣмчура», сказалъ кучеръ, слушавшій его, и вслѣдъ за нимъ толпа разошлась. На другой день мнѣ случилось опять быть на улицѣ, — и что же? Вижу, старикъ мой стоитъ за угломъ, скрипчонка подъ мышкой, самъ весь трясется и протягиваетъ руку. — «Что, братъ, не вывезло святое искусство?» спросилъ я его. — Чортъ дернулъ нѣмца заплакать; я ему далъ рубль серебромъ.— «Выпей, дружище!» сказалъ я ему. «Охъ, геръ, выпью», отвѣтилъ онъ. — Такъ мы и разстались.

— Неужели ты только то замѣчалъ, что можетъ нагнать скуку?

— Нѣтъ, и веселенькіе пейзажики попадались.

— Опять пейзажики.

— Опять они. Такъ я увидѣлъ мальчишку, замараннаго, оборваннаго, но который съ полнымъ наслажденіемъ копается въ снѣгу. — «Бравый парень!» говорю ему. — Онъ на меня взглянулъ и отвѣтилъ: «дяденька, а, дяденька?» — «Что тебѣ?» — «Дай глосыкъ.» — «Зачѣмъ?» — «Гостинца куплю».

— И ты далъ?

— Я ли не далъ?.. Полныя пять копѣекъ отсчиталъ. Мой парень подралъ къ пряничнику. Я спрятался за уголъ и сталъ наблюдать. Онъ скоро вернулся назадъ, уписывая трехкопѣечную ковригу; потомъ оглядѣлся и началъ рыть что-то около забора. — «Что ты дѣлаешь?» спросилъ я, подкравшись къ нему сзади. — Мальчуга испугался. Оказалось, что онъ закапывалъ подъ заборомъ оставшуюся отъ покупки пряника сдачу. — «Это зачѣмъ?» сказалъ я. — «Мамка отыметъ.» — «А ты не давай!» — «Выпогетъ.» — «У тебя мамка злая?» — «Чегтовка!» — Ну, какъ такому развитому мальчику не дать было еще пять копѣекъ?

— Ты далъ?

— Далъ... Еще разъ я видѣлъ исторію... Стоитъ будочникъ и нюхаетъ табакъ. Къ нему подходитъ пьяный мужикъ и подъ самымъ носомъ его начинаетъ мычать. Лицо стража принимаетъ административное выраженіе. — «Чего тебѣ?» говоритъ. — Мужикъ мычитъ себѣ. — Лицо стража принимаетъ выраженіе юридическое. — «Пошелъ прочь!» говоритъ. — Но мужикъ во все горло закричалъ: «знать ничего не хочу!» — «Чего ревешь?» — убѣждаетъ его стражъ и принимаетъ вы-

раженіе военное. — «Ничего знать не хочу!» кричитъ мужикъ. — Тогда будочникъ взялъ его за шиворотъ и, ударивъ методически, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой, три раза по шеѣ, приговорилъ: «одёръ, не реви, а коли натрескался, ступай домой!» — Мужикъ постоялъ, посмотрѣлъ на стража безъ смысла, промычалъ что-то и пошелъ себѣ далѣе.

— Неужели все это время ты шатался по улицамъ?

— Былъ и дома; но и тутъ не веселѣй. Все работать не будешь, а что же дѣлать, когда не работается? Настаетъ тогда самое глупое препровожденіе времени; лежишь, задравши ноги на стѣну, куришь сигары, плюешь на полъ и ждешь, скоро ли опять шевельнется мысль въ головѣ, скоро ли захочется работать.

— И только?

— Только и есть. Впрочемъ, на дняхъ собрался съ силами: всю квартиру перерылъ, велѣлъ выместь полы, прикупилъ мебели, чистоту завелъ, добылъ цвѣтовъ, и думаю: «дай устрою идиллію!»... Какъ бы это сдѣлать? Необходимы дамы, потому что, какъ тебѣ извѣстно, ихъ назначеніе — смягчать наши нравы. По сосѣдству двѣ сестрицы, шитьемъ занимаются; я ихъ и пригласилъ, объяснивъ предварительно, что я ихъ приглашаю единственно для идиллiи, а не для чего иного. Пили чай, угощались конфектами и разными сиропами, играли въ дурачки, даже танцовать хотѣли, да только я одинъ былъ кавалеръ... Дѣвицы все сомнѣвались, что я просилъ ихъ только для идиллiи, но наконецъ убѣдились, и когда прощались, старшая сказала: «хорошо съ кѣмъ нибудь компанію водить... Давайте быть знакомыми... ходить будемъ одинъ къ другому...» — Будемъ, говорю. — Видишь, какъ быстро смягчаются мои нравы? — Онѣ обѣщались устроить мою квартиру,

сошьютъ мнѣ новое бѣлье, всѣ брюки и сюртуки мои перечистили, а младшая сестра такъ напомадила мою голову, что чудо!

— А старые пріятели?

— Уплыли.

— А что, если ты полюбишь которую нибудь изъ сестеръ?

— Врядъ-ли.

— Онѣ образованныя дѣвушки?

— Нельзя сказать, да это все равно.

— А поведеніе?

— Онѣ добрыя дѣвушки.

Молотовъ разсмѣялся. Но онъ неохотно слушалъ Череванина. Ему хотѣлось поговорить съ Надей, разспросить, чѣмъ она взволнована: но какъ нарочно, пришелъ дворникъ и отозвалъ его по дѣламъ управленія домомъ. Игнатъ Васильичъ и Чаплинскій вышли изъ кабинета; и они куда-то отправились. На лицѣ Дорогова было написано торжество, онъ сіялъ съ головы до ногъ. Чаплинскій съ глубокимъ благоговѣніемъ шелъ около него. Во всемъ этомъ было что-то загадачное.

Надя опять сильно встревожилась, когда, при уходѣ гостя, встрѣтилась съ нимъ и когда гость отвѣсилъ ей глубочайшій поклонъ. Страннымъ покажется, что Надя, лишь появится въ домѣ новое лицо, не можетъ смотрѣть на него иначе, какъ на жениха. Но въ ея кругу съ посторонними людьми безъ нужды не знакомятся; притомъ молодые и старые люди сватаются безъ совѣсти и церемоніи: увидятъ хорошенькую дѣвушку, не познакомятся даже съ ней покороче, не распросятъ лично ее, какова она, а прислушиваются на сторонѣ о

ея поведеніи, и потомъ обращаются прямо къ отцу: я, дескать, хорошій человѣкъ, такъ давай твою дочку, — жить съ ней хочу. Вотъ и все. Но Надя, постоянно живущая въ ожиданіи жениха и, значитъ, привычная къ такому состоянію, скоро успокоилась. Увидя Череванина одного, она спросила:

— Гдѣ жъ Егоръ Иванычъ?

— Ушелъ. За нимъ дворникъ приходилъ.

Надя сѣла подлѣ Череванина.

— Скажите, что съ Егоромъ Иванычемъ случилось въ губерніи?

— Ужь не думаете ли вы, что его гнали за современныя идеи, за либерализмъ!...

— Что же? спросила Надя съ любопытствомъ.

— Ничего. Онъ просто оказался неспособнымъ человѣкомъ. Вмѣсто того, чтобы служить, какъ люди, все вникалъ въ дѣло, размышлялъ, волновался и тосковалъ. Онъ добрый парень, простой мужикъ...

— Вы, Михаилъ Михайлычъ, на весь свѣтъ сердиты...

— Ну, да; а вотъ онъ такъ не сердился на свѣтъ, а безтолково любилъ его. Начать съ того, что его постоянно смущало, зачѣмъ онъ поступилъ по рекомендаціи друга, а не по своимъ достоинствамъ. Пріятель, разумѣется, смѣялся его странной щекотливости.

— Пріятеля его звали Негодящевъ?

— Да.

— Какая странная фамилія, точно нарочно выдумана...

— А между тѣмъ онъ велъ себя умнѣе, нежели Молотовъ. Онъ умѣлъ пользоваться случаемъ. Однажды Негодящевъ въ публичномъ саду подалъ какой-то пожилой дамѣ перчатку, которую она уронила. Оказалось,

что она была тетка губернатора. Другой разъ, онъ нашелъ поминанье, принадлежащее правителю канцеляріи, человѣку набожному; онъ поминанье представилъ по принадлежности, лично правителю. Потомъ еще подошелъ случай: предводитель губерніи былъ ни во что невѣрующій; ему кто-то сообщилъ, что и Негодящевъ ни во что не вѣруетъ. Открылось мѣсто по слѣдственной части... Вы извините меня, я плохо знаю всѣ эти термины административные, можетъ быть, и спутаю что... Негодящевъ подалъ просьбу. Многіе разсчитывали на открывшуюся вакансію; но за обѣдомъ у губернатора предводитель сказалъ: «Негодящевъ — молодой раціональный человѣкъ»: правитель сказалъ, что онъ— «молодой набожный человѣкъ», а губернаторская тетка, что онъ — «молодой почтительный человѣкъ». По этимъ тремъ приговорамъ состоялась резолюція объ его опредѣленіи, составилась его карьера. Ну, есть ли тутъ смыслъ? Очевидно, нѣтъ; а все-таки Негодящевъ сталъ чиновникомъ особыхъ порученій. Вотъ Негодящевъ сталъ хлопотать о Молотовѣ. Онъ былъ знакомъ съ одной помѣщицей, имѣвшей огромное вліяніе на всякія дѣла. Эта госпожа владѣла огромными имѣніями, которыя, не смотря на ея богатство, всѣ были заложены. Она была дама пожилая, степенная. Много своихъ воспитанницъ повыдала замужъ за чиновниковъ. Это была заступница всѣхъ несчастныхъ и гонимыхъ: откупщикъ какъ-то совсѣмъ пропадалъ — выходила дорога въ Сибирь, къ гипербореямъ; но онъ просилъ нашу даму похлопотать — и спасся. Вотъ къ этой-то госпожѣ Негодящевъ свезъ своего друга. Послѣ визита, Молотовъ проговорилъ энергически: «о, чортъ бы побралъ и службу совсѣмъ!» что̀ Негодящеву показалось очень страннымъ. Онъ объяснилъ своему пріятелю, что умы-

вать нечего, что дѣло не въ формѣ, а въ дѣлѣ, не въ средствахъ, а въ принципѣ, что всѣ служатъ съ протекціей, значитъ, и ты служи, лишь только пользу приноси. Мы, говоритъ, люди современные, съ гоноромъ, взятки не возьмемъ, подлости не сдѣлаемъ, но не воспользоваться рекомендаціей, — это нелѣпость, это приторный, смѣшной пуризмъ. Потому и служба называется «фортуной». Послѣ того онъ пересчиталъ служащихъ лицъ, кого зналъ, съ ихъ окладами, чинами, заслугами и формулярами, и что же? оказалось, что немногіе изъ нихъ добились карьеры единственно своими силами. «Вотъ тебѣ факты», говоритъ: «ты ихъ любишь!» «Неужели», спрашивалъ онъ Молотова: «ты придешь къ начальнику губерніи и скажешь: не хочу мѣста! вы тогда дайте его, когда обнаружатся способности мои?» — «У тебя», заключилъ пріятель: «я вижу, нѣтъ объ этомъ предметѣ даже элементарныхъ понятій!...» Молотовъ давеча сказалъ, что онъ мечталъ о томъ, какъ выгонятъ его изъ службы, что обстоятельства сдѣлали его чиновникомъ, а не призваніе, что ему хотѣлось погулять, поучиться, пожить, а его запирали въ канцелярію. Вотъ онъ и сталъ придираться ко всякой мелочи...

— Развѣ это мелочи? спросила Надя.

— А то что же? Представьте себѣ героя, который говоритъ: «не хочу мѣста, — дайте мнѣ его по заслугамъ, а не по протекціи.» — Благородно, а смѣшно!... А главное дѣло въ томъ, что Молотовъ придирался потому, что служить не хотѣлось ему, — значитъ, благородство-то является на второмъ планѣ.

— Вы все умѣете представить въ мрачномъ видѣ...

— Такова уже моя профессія!.. Я...

— Продолжайте, перебила Надя, видя, что Череванинъ хочетъ распространяться о своей профессіи.

— Ну-съ, началъ Череванинъ: — Молотовъ получилъ мѣсто. Пріятель ввелъ его въ свой кружокъ; мало-по-малу онъ сталъ привыкать, всматриваться въ службу и окружающую жизнь; время тянулось довольно вяло и скучно, какъ тому и слѣдуетъ быть..... Но вотъ Андрей объявилъ Молотову, что онъ, вмѣстѣ съ нимъ, назначенъ на слѣдствіе. Дѣло было серьезное: объ убійствѣ женою мужа. Егоръ Иванычъ встрепенулся; во-первыхъ, онъ никогда не видалъ убійцъ; во-вторыхъ, служба вдругъ представилась ему непосягаемо-высокимъ и священнымъ долгомъ — въ его рукахъ были судъ и правда! но съ перваго же шага начался разладъ. Не въ его натурѣ было вести такія дѣла хладнокровно, не горячась, безучастно. Товарищъ смѣло и бодро ходитъ, а онъ какъ будто на него похожъ, но уже кралось что-то зловѣщее въ сердце его. Скоро Молотовъ увидѣлъ преступницу. Это была женщина блѣдная, исхудалая, трепещущая... Ей уже было внушено, что она... Эхъ, Надежда Игнатьевна, женщинамъ многаго говорить нельзя! вдругъ перервалъ Череванинъ...

— Отчего же?

— Неприлично...

Надя не отвѣчала.

— Хорошо ли сказать: преступницѣ уже внушено было, что она не избѣжитъ... плетей!

Надя вздрогнула и покраснѣла...

— Молотовъ засталъ преступницу въ минуту яростнаго увлеченія, когда она ругалась, страшно клялась, выла отъ злости и на томъ свѣтѣ грозила мужу. Егоръ Иванычъ сначала остановился въ ужасѣ, потомъ

ему жалко стало, наконецъ на глазахъ добраго парня показались слезы. Сердце его было молодо, зелено, горячо и впечатлительно... Понятно, онъ не могъ остаться безчувственнымъ камнемъ, видя въ лицѣ женщины весь ужасъ грядущихъ плетей... Молотовъ взялъ женщину за руку... Она замѣтила его сожалѣніе, затряслась, заплакала; одичалость и отчаяніе смѣнились страхомъ и смиреніемъ. — «Баринъ, научи ты меня Богу молиться!» сказала она.—Вотъ этого-то онъ и не умѣлъ сдѣлать. Онъ только отвернулся въ сторону. Когда преступница успокоилась немного, Молотовъ обласкалъ ее, утѣшалъ и уговаривалъ ее, какъ могъ... Она сдѣлалась довѣрчива и разсказала о своихъ несчастіяхъ. Видите ли... (Череванинъ остановился, затрудняясь почему-то вести разсказъ...)

— Говорите же, замѣтила нетерпѣливо Надя...

— Я пожалуй скажу! отвѣчалъ онъ цинически. — Баринъ, котораго она любила, отдалъ ее насильно замужъ за своего крестьянина.

Надя опустила глаза; но она слушала съ напряженнымъ вниманіемъ,—и странно: ей не столько хотѣлось узнать, что будетъ съ преступницей, скотько то, что будетъ дѣлать Егоръ Иванычъ.

— Мужикъ ненавидѣлъ свою жену, билъ ее, тиранилъ, унижалъ всѣми мѣрами, публично попрекалъ ее, а она, дура, въ ногахъ у него валялась и просила прощенія... Въ чемъ?.. Скоро у нихъ родился сынъ; мужъ и его сталъ ненавидѣть... Жена все терпѣла... Наконецъ, по жалобѣ мужа, ее высѣкли однажды... Съ той минуты стало твориться съ ней недоброе; мужъ сталъ невыносимъ для нея... Однимъ словомъ, она убила мужа своего топоромъ, а сама убѣжала въ лѣсъ, гдѣ и нашли ее въ полупомѣшанномъ состояніи. Разсказъ

своя женщина кончила истерическими рыданіями и просьбой — отдать ей сына...

— Что же Молотовъ? спросила Надя.

— Плакалъ, — отвѣчалъ насмѣшливо художникъ.

— Что жъ тутъ смѣшного? спросила Надя.

— Сейчасъ скажу... Егоръ Иванычъ, оставивъ женщину, какъ отъ хмѣля качался. Товарищъ встрѣтилъ его—бодрый, веселый, точно живой водой спрыснутый... Подъ его руками кипѣло слѣдствіе, и онъ фактъ за фактомъ выводилъ на свѣжую воду. Молотовъ былъ блѣденъ. — «Что съ тобой?» спросилъ Андрей. Молотовъ отвѣчалъ: «Неужели она погибнетъ?» — «Кто?» — «Преступница?» — и Егоръ Иванычъ разсказалъ свою встрѣчу съ ней. Онъ съ ужасомъ вспомнилъ ея обиды, клятвы и рыданія. Товарищъ радовался, что будетъ обстоятельное слѣдствіе, а Молотовъ жалобно повторялъ: «она такъ много страдала, за что же еще будетъ страдать?» — Вотъ и вышло смѣшно, потому что онъ не нашелся, что отвѣчать на такія слова пріятеля: «Она должна быть наказана за убійство. Многіе страдаютъ больше ея, а не берутся за топоръ и ищутъ законнаго пути. Всѣ эти чувствованія, другъ мой, общеміровыя идеи, не имѣютъ никакого юридическаго смысла. Можешь стихи писать на эту тему, повѣсть. Я думалъ, ты мнѣ помогаешь, а ты только путаешь дѣло. Въ службѣ ничего нѣтъ поэтическаго; служба — трудъ тяжелый. Стоитъ только пуститься въ психологію, у насъ всю губернію ограбятъ. Да и что я могу сдѣлать? Мы — исполнители закона и должны быть безстрастны!» — Весь юридическій факультетъ выскочилъ изъ головы добраго парня. На глазахъ его шло дѣятельно слѣдствіе: мѣсто преступленія освидѣтельствовано, орудіе кровавое при дѣлѣ, раны убитаго осмотрѣны, смѣрены,

сосчитаны, опредѣлены и записаны, отобраны всѣ показанія. Молотовъ лишь объ одномъ заботился—сколько нибудь успокоить страдалицу и облегчить ея положеніе. Онъ хлопоталъ, чтобы принесли къ ней сына, онъ просилъ приставленныхъ къ женщинѣ сторожей — обращаться съ ней какъ можно ласковѣе и предупредительнѣе.

— Какой онъ добрый, — проговорила Надя тихо.

— Да; но онъ заботился не объ обществѣ, которое страдаетъ отъ убійцы, а самой убійцѣ, которая вредила обществу. Ему жалко стало... При его характерѣ и въ его лѣтахъ не слѣдовало брать на себя такія обязанности. Онъ оправдывался тѣмъ, что не готовилъ себя къ такому роду занятій, призванія не чувствовалъ, а призваніе, по его словамъ, все одно, что любовь; — оно, видите ли, при всѣхъ противорѣчіяхъ и сомнѣніяхъ, ведетъ къ практической цѣли; при немъ въ самомъ разладѣ бываетъ гармонія. Пустяки... діалектическіе фокусы! Призванія, какъ и любви, нѣтъ на свѣтѣ... Къ чему вы, напримѣръ, призваны? къ чему всѣ люди призваны?.. Разумѣется, не слѣдовало идти въ чиновники. Ему надо было остаться простымъ зрителемъ, вотъ какъ всѣ бабы и мужики, которые, увидѣвъ трепещущую преступницу, утирали слезы кулаками и вздыхали; ему слѣдовало вмѣшаться въ толпу и плакать.

— Я не понимаю, на что вы негодуете, Михаилъ Михайлычъ?

— Я уважаю его, Надежда Игнатьевна: онъ добрый мужикъ...

— Какія выраженія!

— Ну, мужичокъ, что ли... Эдакъ ласковѣе...

— Вы никого не любите...

— Никого, Надежда Игнатьевна...

— Что жъ дальше? спросила Надя съ досадой.

— Нашъ вѣкъ — дивный вѣкъ, отвѣчалъ Черевaнинъ. — Нынѣ всѣ заѣдены: кто рефлексіей, кто средой, я, напримѣръ, кладбищенствомъ... (Надя поморщилась при этомъ словѣ...), кто чѣмъ; не только умные, всѣ дураки заѣдены; прежде вы встрѣчали просто болвана, а теперь болванъ съ рефлексіей.

— Перестаньте браниться!

— Молотовъ не дуракъ, но онъ долженъ быть заѣденнымъ по духу нашего вѣка... Дамы не страдаютъ этой болѣзнью, — она мужская. Но послушайте, что̀ его заѣло.

— Все же не то, что васъ...

— Нѣтъ, не кладбищенство. Этотъ случай опредѣлилъ направленіе Молотова. Онъ первый разъ встрѣтилъ преступницу, которая, въ существѣ дѣла, была женщина честная, преступленіе совершила она по внѣшнимъ, не въ ея натурѣ лежащимъ условіямъ. Это дало толчокъ для дальнѣйшаго его развитія. Онъ все началъ объяснять внѣшними уловіями; всякаго негодяя ему стало жалко. Они казались ему несчастными, больными, либо помѣшанными. Молотовъ и до сихъ поръ сохранилъ свое добродушіе, будучи увѣренъ, что во всякомъ человѣкѣ есть добрыя начала. Онъ кого угодно оправдаетъ, какъ я кого угодно опровергну. Ему нужно быть адвокатомъ, защитникомъ, а не карателемъ. — Чего онъ искалъ? Тайну жизни разрѣшить хотѣлъ? — Словомъ, не жилъ, а философствовалъ..... Вотъ и напустилъ онъ на себя блажь.

— Я еще не вижу никакой блажи, — замѣтила Надя...

— Потому что главнаго еще и не знаете. Бывало,

онъ выйдетъ на рѣку и всматривается въ волжскую дѣятельность. На берегу огромными толпами бѣгаютъ дѣти, оборванныя, грязныя, съ непокрытыми головами, босоногія; въ бѣдности и безъ смыслу зачиналась ихъ жизнь. Онъ стоитъ и думаетъ: «вотъ новое поколѣніе безграмотнаго люда; сколько изъ нихъ будетъ воровъ, людей, не имѣющихъ нравственности!» — Пусть бы онъ развлекался только такими мыслями, а то онѣ тревожили его. Онъ въ то время говорилъ, что желалъ бы снять крыши со всѣхъ домовъ и заглянуть въ эти тысячи жизней. Ко всему этому поднялись со дна души всѣ такъ-называемые коренные вопросы. Богъ, душа, грѣхъ, смерть — все это ломало его голову и коробило. Ему хотѣлось и въ свою, и въ чужую жизнь заглянуть до самой глубины, до послѣднихъ основъ ея. Онъ думалъ, что учился мало, и началъ просиживать ночи надъ книгами. Но все это показываетъ только то, что онъ былъ мальчикъ способный, хотѣлъ провѣрить все своей головой и жизнью, т. е., онъ развивался, что̀ неизбѣжно въ молодые годы. Важно то, до чего онъ додумался.

Череванинъ перевелъ духъ.

— Молотовъ — продолжалъ Череванинъ: — въ такомъ состояніи непремѣнно долженъ былъ высказаться. Къ пріятелю своему онъ охладѣлъ и уже не могъ быть съ нимъ откровеннымъ. Молотовъ сошелся съ однимъ докторомъ, человѣкомъ въ высшей степени положительнымъ и спокойнымъ, котораго ничто не могло потревожить. Молотовъ проговорился передъ докторомъ, что его жизнь раздражала. — «Напрасно, отвѣчалъ докторъ: если бѣдствія людскія должны тревожить насъ постоянно, то значитъ, вотъ и теперь мы не имѣемъ права сидѣть здѣсь спокойно. Вотъ въ эту же минуту

кого нибудь рѣжутъ, окрадываютъ, кто нибудь умираетъ съ голоду, либо топится. Давайте плакать. Но никакіе нервы не вынесутъ, если мы сдѣлаемся участниками всякаго горя, какое только есть на свѣтѣ. Я сейчасъ былъ у женщины, которая впала въ помѣшательство, и вотъ видите, все-таки, сигару курю спокойно. Отчего же я не лѣзу на стѣны? Оттого, что моя дѣятельность опредѣлена ясно. По моему мнѣнію, все, что совершается въ данную минуту, — должно совершаться; потомъ, служимъ мы лицу частному, индивидууму. Поэтому, встрѣчаясь съ болѣзнью, мы не смотримъ на нее съ нравственной точки зрѣнія, судейской, религіозной. Для меня ясно, что сильно ожирѣвшій человѣкъ не будетъ дѣятеленъ, чахоточный — веселъ; у кого узокъ лобъ, тотъ не выдумаетъ и пару здравыхъ идей. Поэтому мы ненависти къ больному не питаемъ; напротивъ, съ любознательностію заглядываемъ въ глубокую рану, хотя бы она была сдѣлана порокомъ. Если болѣзнь неизлѣчима, мы не сокрушаемся, а говоримъ спокойно: по законамъ природы, намъ извѣстнымъ, она и должна быть неизлѣчима. Видите, какъ все это просто?

— Что же Молотовъ отвѣчалъ? спросила Надя, для которой подобный разговоръ былъ черезчуръ новъ и неожиданъ.

— Онъ отвѣчалъ: «я ничего не понимаю». Докторъ ему объяснялъ свое, а въ головѣ у него было свое, молотовское. Въ его головѣ стоялъ вопросъ: «кто виноватъ въ томъ, что человѣкъ дѣлается злодѣемъ? Вы докажите, что онъ самъ одинъ виноватъ въ сдѣланномъ злѣ, а не привили его къ нему другіе, и тогда дѣлайте, что хотите». Вонъ куда метнулъ!

— Однако сказалъ же что нибудь докторъ?

— Тотъ свое несетъ: «мы никого не наказываемъ; у насъ нѣтъ виноватыхъ, а есть больные. Мы не казнимъ больной членъ, когда отрѣзываемъ его; волка бѣшеннаго убиваемъ не за то, что онъ виноватъ, а за то, что онъ бѣшенъ; по той же причинѣ не подставимъ голову подъ падающее бревно съ крыши, или запираемъ сумасшедшаго въ больницу; я думаю, по тѣмъ же побужденіямъ надо уничтожить и преступника — онъ вреденъ.» — Всегда вѣдь споры подобнымъ образомъ кончаются. У Молотова осталось все перепутано въ головѣ. Онъ и безъ доктора зналъ, что преступники— вредный народъ. Это, знаете, Надежда Игнатьевна, у мужчинъ бываетъ въ молодости въ родѣ болѣзни—умственная немочь, какъ и у женщинъ въ эти годы бываютъ свои странности. Заберется въ голову какая нибудь мысль и все перепутаетъ.

«Такъ вотъ каковъ онъ былъ!» подумала Надя: — «однако онъ теперь спокоенъ,— значитъ онъ рѣшилъ все это?»

Какъ будто отвѣчая Надинымъ мыслямъ, Череванинъ сказалъ:

— Рѣшилъ ли онъ эти вопросы, или просто они надоѣли ему, но только онъ ихъ бросилъ. Дѣло въ томъ, что Молотовъ могъ распустить разныя чувства, но не могъ долго страдать головой. Болѣзнь прошла, какъ минуются и дамскія болѣзни. Организмъ переработаетъ, и кончено.

Надя думала: «умный же человѣкъ Егоръ Иванычъ и добрый». Она еще болѣе убѣдилась въ мысли, что Молотовъ многое пережилъ и головой, и сердцемъ, что онъ человѣкъ опытный, и случись съ ней бѣда, поможетъ ей. И вотъ она рѣшилась въ слѣдующій разъ поговорить съ нимъ отъ души..... Многое хотѣлось ей

спросить. При ея боязливости высказываться, которая развилась оттого, что она потихоньку, не говоря никому, обдумывала многія вещи, Надя, очевидно, не могла заговорить откровенно съ Череванинымъ, хоть и онъ, какъ Молотовъ, выдѣлялся изъ круга ея знакомыхъ и зналъ жизнь не ту, которая была ей знакома. Откуда она, замкнутая въ своемъ кругу со всѣхъ сторонъ, узнала, что есть иная жизнь? Вычитала, со словъ Молотова догадалась, или подсказало ей собственное сердце?...

— Однако, чѣмъ же кончилъ Егоръ Иванычъ? спросила она.

— Относительно вопросовъ — хорошо. Къ людямъ онъ остался снисходителенъ, но не къ себѣ. Докторъ былъ самый умный человѣкъ въ городѣ и ничего ему не разъяснилъ. Тогда онъ сказалъ себѣ: «*я* долженъ, *самъ* долженъ, *своимъ* опытомъ, *своей* головой дойдти до того, что *мнѣ* нужно. Люди не помогутъ; да и требовать, чтобы они въ *твоей* головѣ уложили *твои* же противорѣчія, — несправедливо. Всякій самъ для себя работаетъ. До сихъ поръ меня учили, теперь я буду учиться. Великое дѣло — своя мысль, свое убѣжденіе; это то же, что собственность. Только то и можно назвать убѣжденіемъ, что самимъ добыто, хоть бы добытое было и у другихъ точно такое же, какъ и у меня. Я самъ и есть первый и послѣдній авторитетъ, исходная точка всѣхъ моральныхъ отправленій, и чего нѣтъ во мнѣ, того не дадутъ ни воспитаніе, ни примѣръ, ни законъ, ни среда. Положимъ, я глупъ, но глупаго человѣка никакая сила не сдѣлаетъ умнымъ, — учите или бейте его, смѣйтесь или сокрушайтесь. И въ чемъ я правъ и виноватъ, во всемъ томъ я самъ правъ и самъ виноватъ, а не кто либо иной. Можетъ быть, такихъ

началъ не лежитъ въ натурѣ другихъ людей, — я ихъ не сужу; а въ моей натурѣ лежатъ. У меня все свое и за все я одинъ отвѣчаю!»—Такъ развивался онъ туго, мозольно, упрямо, и нисколько на меня не похожъ, потому что я думаю наоборотъ — я не виноватъ въ своей жизни и не правъ въ ней.... Меня, я говорилъ, что̀ заѣло..... вѣдь у насъ рѣдко кто имѣетъ нравственную собственность, своимъ трудомъ пріобрѣтенную: все по наслѣдству, всѣ—ходячее повтореніе и подражаніе. А Егоръ Иванычъ хотѣлъ имѣть все свое...

Надю поразила эта характеристика воплощеннаго упрямства того человѣка, каторый такъ интересовалъ ее, и Богъ-знаетъ, на что она была готова, чтобы только разгадать Молотова, съ которымъ она такъ давно знакома и такъ мало знаетъ его.

— Вотъ и началъ Егоръ Иванычъ поживать своимъ умомъ, продолжалъ Череванинъ. — Первымъ слѣдствіемъ было то, что Молотова стали тѣснить. Онъ въ обществѣ говорилъ неуважительно о своей благодѣтельницѣ; добрые люди довели это до нея. Вышла большая непріятность: ему предложили подать въ отставку, хотя онъ успѣлъ прослужить всего полтора года.

— Вы знаете, что́ съ нимъ было послѣ?

— Знаю. Послѣ....

Въ это время раздался звонокъ въ прихожей, и Надя съ замираніемъ сердца подумала: «неужели у меня есть женихъ?» Она вспомнила давишняго новаго гостя.

Показался въ дверяхъ Игнатъ Васильичъ. Онъ прямо направился къ Надѣ, подошелъ къ ней и звонко поцаловалъ ее.

— Ты счастливица, моя Надя, сказалъ онъ дочери, глядя на нее съ полною любовью.

Надя поблѣднѣла. Догадалась она.

— Чего, дурочка, испугалась? говорилъ Дорогонъ, ласково, и опять поцаловалъ ее въ щеку.

Надя молчала; у нея шумѣло въ ушахъ; она переставала понимать себя.

— Голубушка моя! продолжалъ отецъ ласкать.

— Кто онъ? прошептала Надя едва слышно.

— Генералъ, генералъ! отвѣтилъ Дороговъ съ искреннимъ восторгомъ, отъ котораго трепетало все его существо.

— Какой?

— Подтяжинъ.

Надя слегка вскрикнула.

— Шампанскаго! закричалъ отецъ.

— Я не пойду за него, сказала Надя.

Отецъ не дослышалъ.

Радостный крикъ отцовскій разнесся по всѣмъ комнатамъ; прибѣжали жена, дѣти.

— Папаша, сказала Надя, взявъ его за руки: — я не хочу.

— Что? крикнулъ онъ грозно, и послышался старый, юность напоминающій, дороговскій голосъ.

Надя обмерла....

— Полно, дурочка, заговорилъ онъ опять ласково и весь дрожа отъ волненія: — полно, моя милая... Ахъ! (онъ махнулъ рукой) — что, ты отъ всѣхъ женіховъ рѣшилась отказываться? Но на этотъ разъ дѣло рѣшенное: ты будешь генеральшей, произнесъ отецъ твердо и прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, хлопнувъ крѣпко дверью.

— Свинья! прошепталъ Череванинъ, и ему захотѣ-

лось ударить кистью въ лицо портрета, который онъ подновлялъ.

Мать ушла къ отцу. Дѣти смотрѣли съ сожалѣніемъ на сестру свою.

— Надежда Игнатьевна, успокойтесь! проговорилъ, неуклюже подходя къ ней, Череванинъ.

— Ахъ, оставьте меня одну, отвѣчала Надя.

Она заплакала.

«Значитъ, я тутъ ни причемъ», подумалъ Череванинъ, и, не простившись ни съ кѣмъ, онъ убрался во свояси.

Надя подошла къ окну и облокотилась на косякъ. Слезы лились градомъ. Наконецъ пробилъ часъ, когда долженъ былъ рѣшиться главный вопросъ Надиной жизни. Пришелъ узаконенный мужъ и говоритъ: «ты мнѣ нравишься, ты хороша и умна, я буду жить съ тобой»... Ей живо представился Подтяжинъ, Алексѣй Иванычъ... Онъ былъ въ лѣтахъ Надина отца. Лицо его было антипатично. Такія лица иногда встрѣчаются только у отъявленныхъ бюрократовъ. Всѣ двадцать лѣтъ честной формалистики отпечатлѣлись на немъ. Кожа на лицѣ была аккуратно пригнана и туго натянута, и потому всѣ черты его разъ на всегда рѣзко опредѣлены; между бровей образовалась складка; кости надъ щеками, около глазъ, выдались выпукло; отъ мѣста, гдѣ ноздря къ щекѣ прилипла, и до края губъ, направо и налѣво, нарѣзаны двѣ черты, тонкихъ, какъ нити; впалыя щоки лежали на широкихъ челюстяхъ; крутой подбородокъ выдался впередъ. Этотъ форменный обликъ освѣщался изъ подъ нависшихъ бровей бойкими, всевидящими глазами. Взглянувъ на него, вы сказали бы: ни одной подчистки или помарки, будто вымылъ его, выбрилъ, посыпалъ пудрой, отеръ полотенцемъ и вста-

вилъ въ воротничкѣ яркой бѣлизны—тотъ самый писецъ, который готовилъ ему бумаги. Представьте себѣ, это лицо иногда улыбалось, показывая желтые зубы и твердыя десны. Роста онъ былъ средняго, съ выпуклой грудью, прямъ и украшенъ орденами. Безъ всякой подлости, единственно точнымъ исполненіемъ обязанностей, онъ достигъ генеральнаго чина. Надѣ и въ голову не приходило, чтобы она могла цаловать это заслуженное лицо...

Когда дожилъ этотъ господинъ до сорока лѣтъ слишкомъ, онъ, сосчитавъ свои деньги, вообразилъ, что ему необходимо жениться. Онъ видѣлъ Надю нѣсколько разъ у Рогожниковыхъ, гдѣ иногда игралъ въ карты; Надя понравилась ему, и онъ сказалъ себѣ: «вѣдь не откажется быть генеральшей?» Вернувшись домой, онъ написалъ своему секретарю письмо, съ выставкою наверху его слова: «конфиденціально», прося сдѣлать отъ его лица предложеніе Дорогову относительно его дочери. Дѣло велось документально и чиновнически, точно генералъ заботился объ опредѣленіи Нади на службу. Онъ просилъ поставить на видъ свои капиталы, степенный характеръ, генеральскій чинъ и надежды на будущія повышенія. Письмо было занумеровано и внесено въ число исходящихъ дѣлъ въ домашнюю книгу. Никто не замѣтилъ въ немъ никакой перемѣны: вчера былъ просто генералъ, а сегодня вздумалъ, да и сдѣлался женихомъ, отдавши приказаніе — сократить по нѣкоторымъ частямъ расходы. Онъ началъ соображать, какъ бы устроиться попокойнѣе: «пойдутъ дѣти, визгъ и плачъ начнется, а я человѣкъ дѣловой, мнѣ нужно уединеніе и спокойствіе. Всю хозяйственную часть отдамъ ей, ужь это ея дѣло и будетъ»... Вотъ въ это-то время онъ и улыбнулся.

«Что теперь дѣлать?» думала Надя: «нечего дѣлать... не придумаешь ничего, и посовѣтываться не съ кѣмъ!» —Надя чувствовала со-дня-на-день, что около нея становилось душнѣе и душнѣе, все ближе подходили къ ней непріятные образы, неотступнѣе предлагали свои требованія, и каждый день, а теперь ужь каждый часъ, неизбѣжнѣе становилась жизнь на заданную тему, по чужому плану, по отцовскому приказу. Давно уже хотѣлось Надѣ вонъ изъ родной семьи, хотѣлось жить по-своему, увидѣть иной быть и иныя лица, быть самостоятельной женщиной; но понятно ей было, что только женихъ могъ увести ее изъ дому, лишь подъ руку съ нимъ можно оставить свой теремъ; надо кого нибудь поцаловать, обнять, и тогда только признаютъ ее взрослымъ человѣкомъ, съ правомъ самой за себя отвѣчать. «Отчего же я всѣмъ женихамъ отказываю? Что будетъ послѣ? Чѣмъ это все кончится? Надо же когда нибудь выйдти замужъ!» И вотъ Надя съ усиліемъ, съ болью въ сердцѣ, представляетъ себя женою Подтяжина. Опять въ воображеніи возстаетъ всецѣло зачадѣлое, темнообразное лицо; она уже видитъ въ этомъ лицѣ что-то доброе и строго-честное, неумолимо-законное, и на сердцѣ ея мучительно тяжело. — «Твоя?» спрашиваетъ она съ трепетомъ, и не можетъ оторвать взоровъ отъ образа жениха... Является разсчетъ, что она станетъ дѣлать, если придется *его* полюбить, — надо же будетъ, если выдадутъ замужъ, нести обязанность брака. Во время этого разсчета, въ душѣ ея пока не мелькнуло ничего нечистаго, возможности вдовства или любви къ кому нибудь помимо мужа; она обдумывала, какой долгъ она приметъ на себя. Но вотъ, когда она подумала, что Подтяжинъ можетъ осчастливить и отца ея, и всѣхъ родственниковъ, что

съ замужествомъ ея открываются громадныя карьеры, кресты, чины и награды, что она все это принесетъ своимъ, и потому нечего и мечтать о возможности отказа жениху — ее принудятъ, — когда она это подумала, ей досадно стало, она съ отвращеніемъ и негодованіемъ оттолкнула отъ себя зачадѣлый ликъ, хотя въ это же время ясно поняла, что ей почти невозможно избавиться отъ Подтяжина. Да, она вспомнила грозный отцовскій голосъ, въ которомъ слышалось непобѣдимое упорство, но она не хотѣла больше думать о женихѣ, и на время насильно изгнала изъ головы мысли о немъ; она закрыла глаза, ей хотѣлось хоть немного забыться. Являлись мысли, совсѣмъ неидущія къ дѣлу... Душно было.

На плечо Нади легла чья-то рука. Надя оглянулась: подлѣ нея стояла мать и смотрѣла на нее съ удивленіемъ.

— Чего же ты ждешь еще? сказала она.

Надя молчала.

— Неужели ты и теперь откажешься?

— Маменька, отвѣчала Надя: — я ничего не понимаю!.. Дайте одуматься... хоть три дня...

— И ты пойдешь замужъ?

— Можетъ быть; нѣтъ, я ничего не знаю...

— Отецъ ужь слово далъ...

— О, Боже мой! проговорила Надя съ тоской, такъ что матери жалко стало свое дитя...

— Наденька, сказала она: — что это съ тобой, какая ты странная!... Такихъ, какъ ты, я не знаю. Вѣдь надо же когда нибудь идти замужъ. Или у тебя есть кто нибудь другой на примѣтѣ?

Надя опустила внизъ глаза.

— Ты ждешь еще кого нибудь, кто посватается?

— Нѣтъ! отвѣчала Надя и заплакала.

— Никого?

— Никого, во всемъ свѣтѣ никого! И плачъ ея перешелъ въ рыданіе.

Вошелъ отецъ...

— Черезъ три дня ты дашь мнѣ отвѣтъ, сказалъ онъ Надѣ.

— Хорошо, отвѣтила она сквозь слезы.

— А теперь спать пора! приказалъ отецъ.

Анна Андреевна благословила дочь свою; Игнатъ Васильичъ даже и не простился съ ней.

Надя не знала, что она скажетъ отцу черезъ три дня—«да» или «нѣтъ»; но она рѣшилась теперь, во что бы то ни стало, поговорить съ Молотовымъ откровенно и просить его совѣта. Она знала Молотова съ десятилѣтняго возраста; онъ всегда былъ къ ней добръ, ласковъ, всему ее училъ, никогда ни на какой вопросъ не отказывался отвѣчать;—неужели же теперь онъ не наставитъ ее? Больше не на кого было надѣяться. Она представила себѣ характеръ Молотова, сильно очерченный художникомъ, и сказала: «онъ все знаетъ; онъ добръ и на все отвѣтитъ». Онъ такъ много жилъ, думалъ, страдалъ, и теперь такъ спокоенъ, неизломанъ жизнью, счастливъ и въ то же время человѣкъ новый, свѣжій, мыслящій. Она понять не могла, какъ онъ разрѣшилъ тайну жизни, какъ онъ созрѣлъ и сталъ такой ясный для себя. Молотовъ долженъ показать ей дорогу въ иную жизнь, болѣе широкую, свѣтлую и разумную, которую она только предчувствуетъ, но не знаетъ. Она распроситъ его и разгадаетъ эту, какъ казалось ей, необыкновенную личность, отъ самого узнаетъ то, что не досказалъ ей Череванинъ. Надя заснула съ полной вѣрой въ Молотова.

И все заснуло; не спитъ лишь Анна Андреевна. Второй часъ ночи, а она стоитъ съ обнаженными плечами передъ иконой Божіей Матери и вотъ уже около часу молится усердно, со слезами. «Умири ея душу», шепчетъ она: «вразуми ее, укажи путь истинный, раскрой ея очи». Она плачетъ и даетъ обѣты. «Пресвятая Дѣва, услышь страждущую мать, молящуюся за несчастную дочь свою». Лицо ея блѣдно и истомлено безсонною ночью. Сыплются слезы на обнаженную грудь матери, и усиленнѣе она шепчетъ свои обѣты.— О, Господи, отпусти матери эту низкую, безчестную молитву!..

Дорого стоили Надѣ три срочные дня. Молотовъ на другой вечеръ не былъ у нихъ. Надя какъ-то уже менѣе надѣялась на него и опять готова была замкнуться отъ всѣхъ; рѣшимость высказаться пропала, хотя она и ждала Молотова съ нетерпѣніемъ. Она нѣсколько разъ пыталась убѣдить себя, что должна идти за Подтяжина; наконецъ, она стала равнодушна къ этому вопросу, отлагая рѣшеніе его съ часу на часъ. «Завтра», думала она, отгоняя отъ себя назойливыя мысли; но наступало и завтра, а она все не знала, что сказать: «да» или «нѣтъ?» На третій день, наканунѣ рокового рѣшенія, она увидѣлась съ Молотовымъ. Она долго не могла найдти предлога — остаться съ Молотовымъ на единѣ; но наконецъ, она сказала, что надобно привести вещи свои въ порядокъ, и пошла въ отдѣльную маленькую комнату, гдѣ находился ея комодъ. Скоро Молотовъ и Надя были одни, на что никогда не обращали вниманія, потому что Молотовъ былъ почти своимъ у Дороговыхъ. Надя сдерживала себя, такъ что

по лицу ея едва замѣтно было, что съ ней случились важныя событія; но Молотовъ, знавшій Надю хорошо, замѣтилъ въ ней перемѣну.

Надя вынула изъ ящика большой платокъ и очень спокойно просила Молотова помочь ей сложить его. Когда это дѣло было сдѣлано, она вынимала рубашки, платочки, воротнички, ночныя шапочки, клубки нитокъ, шерсти и гаруса, цѣлый арсеналъ швейныхъ орудій, нити жемчуга, бисеръ, небольшой образокъ, корзинку съ пасхальными фарфоровыми яйцами и много другихъ вещей...

— У васъ большое приданое, сказалъ Молотовъ.

Надя вынула шкатулку, слегка встряхнула ее и сказала:

— Вотъ какая я богачка!

— Не секретъ?

Надя открыла шкатулку.

— Золото? спросилъ Молотовъ, когда Надя показала на ладони пять полуимперіаловъ...

— И серебро, прибавила она: — а вотъ и старинная денежка.

— Зачѣмъ?

— Для разводу.... Здѣсь все хорошо, говорила Надя, выдвигая второй ящикъ. — Вамъ нравится эта матерія?.. Ко мнѣ идутъ темные цвѣта...

Надя совсѣмъ овладѣла собою и спокойно хозяйничала, точно душа ея была свободна отъ темнаго образа жениха.

— Вотъ архивъ мой и библіотека, сказала она, отворяя нижній ящикъ.

— Это что связано ленточкой?

— Тетради пансіонскія и книги.

— А книги какія?

Молотовъ успѣлъ прочитать: «Фаустъ».

Надя вспыхнула, быстро задвинула ящикъ и на минуту была въ замѣшательствѣ.

— Подождите, Егоръ Иванычъ, я сейчасъ принесу сюда шитье.

Надя ушла. Давно Надя, прочитавъ тургеневскаго «Фауста», хотѣла имѣть гетевскаго, но она остерегалась почему-то спросить его у кого бы то ни было. Ей думалось, что отецъ назоветъ «Фауста» безнравственнымъ и не позволитъ читать такую книгу, тѣмъ болѣе, что Дороговъ, съ нѣкотораго времени, съ неудовольствіемъ началъ смотрѣть на ея любовь къ чтенію, потому что онъ замѣтилъ, что дочь его, чѣмъ болѣе читала, тѣмъ становилась загадочнѣе. Она все сбиралась спросить «Фауста» у Молотова, но въ послѣднее време одна подруга родственница дала ей по секрету запретную вещь, потому что и подруга, и Надя не хотѣли, чтобы кто нибудь зналъ, что онѣ знакомы съ «Фаустомъ». Дурного ничего нѣтъ, думали онѣ, а все же лучше молчать. Такъ Надя развивалась секретно, крадучись, никому не говоря о томъ. Она половину не поняла изъ Гете, но все же онъ произвелъ на нее сильное впечатлѣніе. Высокое произведеніе поэта имѣло глубокое вліяніе на чистую душу дѣвушки. Она съ недоумѣніемъ остановилась передъ граціознымъ образомъ Маргариты и хотѣла разгадать его своимъ пытливымъ умомъ. Впрочемъ она въ послѣднее время какъ-то недовѣрчиво относилась къ книгамъ; ей не нравились эти умные люди, которые описаны въ нихъ, — ей нравились женщины. Книги теперь наводили только на мысль, развивая передъ нею картину жизни, значеніе которой она хотѣла постигнуть и понять по-своему. Надя вернулась съ шитьемъ и усѣ-

лась около небольшого рабочаго столика. Молотовъ помѣстился около нея.

— Вы читали «Фауста?» спросилъ онъ.

Надя ближе наклонилась къ шитью.

— Отчего вы стѣсняетесь, Надежда Игнатьевна, говорить о «Фаустѣ?»

Молотовъ рѣшился вызвать Надю на откровенность и потому спросилъ ее:

— Неужели вы стыдитесь, что узнали Маргариту?

— Нѣтъ, отвѣтила Надя тихо:—но что подумаютъ обо мнѣ?

— Кто?

— Папа, вы, — кто узнаетъ, что я читала «Фауста»...

— Боже мой, да мало ли у насъ женщинъ, которыя читаютъ Гете и говорятъ о немъ—ихъ никто не осуждаетъ.

— Это не у насъ,

— Гдѣ же?

— Не знаю.

Надя нѣсколько оправилась.

— Согласитесь, что смѣшно: дочь чиновника «Фауста» читаетъ, да и волнуется еще къ тому?

— Скучно это, Надежда Игнатьевна.

— Но что дѣлать, если смѣшно выходитъ!

— Что жъ тутъ смѣшного?

— Въ нашей жизни ничего нѣтъ гетевскаго: она очень проста.

— Жизнь Маргариты была еще проще...

— Зато...

— Зато вы не встрѣтитесь и съ Фаустомъ...

— Но, Егоръ Иванычъ... все же это одни слова, слова!..

Настало молчаніе. Егоръ Иванычъ смотрѣлъ въ лицо Нади. Она чувствовала его взглядъ; во всѣхъ чертахъ ея явилось стыдливое безпокойство, тревога и стѣсненіе. Она не могла долго вынести такого состоянія и хотѣла такъ или иначе выйдти изъ него. Въ душѣ ея накопилось столько сомнѣній, что она страстно желала откровеннаго разговора: хотѣлось, хоть разъ, поговорить безъ покрововъ и обиняковъ, такъ же свободно, какъ говорятъ мужчина съ мужчиной, или женщина съ женщиной... Она рѣшилась, подняла рѣсницы, взглянула на Молотова прямо, почти спокойно; но вдругъ ей стыдно, страшно стало, рука дрогнула и въ нервномъ движеніи переломила она иглу; на сердце пала тоска; краски быстро смѣнялись на лицѣ, кровь приливала и отливала... Молотовъ видѣлъ всю эту игру жизни и, по сочувствію къ Надѣ, лицо его оживилось... Онъ ждалъ... Для многихъ женщинъ часто простой вопросъ составляетъ подвигъ; иного слова сказать нельзя, чтобы сейчасъ же не представились благочестивыя лица «старшихъ», на которыхъ такъ и написано: «она развращается!» Всѣ тѣснитъ и сдерживаетъ молодую душу, готовую кинуться въ бездну жизни и переиспытать все, что есть хорошаго на свѣтѣ. Трудно было говорить Надѣ; но душевные вопросы давно зрѣли, потребность жить и любить была велика, а до сихъ поръ она въ уединеніи, среди живыхъ и родныхъ людей, одна одинешенька, своимъ женскимъ умомъ работала и зашла въ такую глушь притиворѣчій и сомнѣній, что душно и тяжело стало среди самыхъ близкихъ людей; мертво позади и мертво впереди, и оставалось либо распросить у всѣхъ, кого можно, либо броситься, очертя голову, въ объятія назначеннаго свыше жениха и прильнуть розо-

выми устами къ его зачадѣлому лику. Весь организмъ ея трепеталъ отъ думъ, запертыхъ въ головѣ, отъ страха, и тоски, переполнившихъ сердце. Но увидительно, когда Молотовъ сказалъ ей: «Надежда Игнатьевна, вы недовѣрчивы стали, скрываетесь отъ меня», она отвѣчала:

— Егоръ Иванычъ, не будемъ говорить объ этомъ.

— О чемъ?—спросилъ Молотовъ.

— О любви, о Маргаритѣ, о поэтахъ...

— Но вѣдь васъ все это мучитъ, я давно замѣтилъ. Легче будетъ, когда уясните себѣ эти вопросы...

— Ихъ нельзя уяснить...

— Такъ хоть облегчите себя откровеннымъ словомъ... Я же не врагъ вашъ... меня вы не первый день знаете...

Надя взглянула на него довѣрчиво. Ей совѣстно стало за свою скрытность предъ Егоромъ Иванычемъ, который всегда былъ такъ къ ней добръ и ласковъ, тѣмъ болѣе, что она сама же ждала его съ нетерпѣніемъ, чтобы спросить у своего добраго давнишняго знакомца совѣта... «Неужели и съ нимъ», подумала она: «нельзя поговорить отъ души?»

— Скажите же, Егоръ Иванычъ, начала она: — когда вы у насъ слышали разговоръ о любви? О любви только читаютъ да поютъ въ пѣсняхъ и романсахъ. Никто и никогда о ней серьезно не говоритъ — сколько бываетъ гостей, родственниковъ, знакомыхъ, — никто не говоритъ. Только въ институтѣ подруги болтали, и, разумѣется, вздоръ. Я однажды съ маменькой разговорилась, такъ она выговоръ дала. Дѣвицы, мнѣ знакомыя, родственницы, не вѣрятъ любви, смѣются надъ тѣмъ, кто говоритъ о ней. Вотъ и я молчу.. Заставьте какую угодно дѣвушку читать романъ вслухъ, особен-

но, что нынѣ пишутъ, всѣ эти интимныя мѣста будутъ выходить крайне неловко, она будетъ краснѣть, стѣсняться... И мужчины всегда говорятъ для шутки, для краснаго словца, и потому что предметъ такой... дамскій, что ли? Всегда разговоръ кончается пустяками и смѣхомъ,—все это для того, чтобы надъ нами посмѣяться, дѣлать разные намеки, и чтобы время весело провести; а кто и вдается въ психологическія тонкости, то слушаешь, какъ будто и дѣло говорятъ, а выйдутъ...

— Пустяки?

— Право, пустяки!.. Разъ только и слышала, какъ одинъ молодой человѣкъ, родственникъ, говорилъ серьезно, горячо, отъ души, и, должно быть, что нибудь умное, но такъ краснорѣчиво, такъ высоко, что я ничего не поняла... Значитъ, и толковать нечего...

— Но вы разговоръ о любви не считаете же предосудительнымъ?

— Нѣтъ, причина проще.

Надя прямо взглянула въ глаза Молотову, и, къ удивленію, взоръ ея былъ твердъ и спокоенъ, хотя и пытливъ; на губахъ появилась ласковая и насмѣшливая улыбка, которая такъ нравилась Егору Иванычу. Сразу пропали волненія.

— Какая же причина? — спросилъ Молотовъ.

— Я не хочу быть книжницею, синимъ чулкомъ, а хочу, какъ и всѣ, остаться простой женщиной. — Въ книжкахъ все любовь да любовь, а въ жизни ея нѣтъ совсѣмъ. Гдѣ эти страсти, говорила она, незамѣтно увлекаясь:—гдѣ эти клятвы, борьба, тайныя свиданія? Ничего этого нѣтъ на свѣтѣ!

— Надежда Игнатьевна, грѣхъ вамъ это говорить.

— Эти свиданія и невозможны въ нашемъ обществѣ, потому что дѣвицы вездѣ и всегда на виду, каж-

дую минуту на глазахъ отца или матери, дома, въ гостяхъ, въ церкви. Ну, какъ въ нашемъ быту устроить свиданія, долгія бесѣды, клятвы, которыхъ и выполнить-то невозможно? Наконецъ, пусть все это устроить можно, такъ кого любить? Будто у дѣвицы много знакомыхъ? можетъ она выбирать, искать человѣка, сходиться съ людьми молодыми, водить съ ними компанію? Вы, быть можетъ, сто, двѣсти мужчинъ знаете, а я?— помимо своихъ родственниковъ только четверыхъ. И у другихъ дѣвицъ тоже. Какъ же тутъ быть?... Изъ четверыхъ непремѣнно и полюбить кого нибудь?. Что ни говорите, а смѣшно выходитъ. Смѣшно вѣдь? Оттого и бываетъ такъ: узнаетъ молодой или старый человѣкъ о дѣвицѣ — что она хороша, не глупа, воспитанна, не бѣдна, — знакомится съ родителями; тѣ то же самое узнаютъ о немъ — вотъ и свадьба!

— А дочь?

— Думаете, насильно отдаютъ ее?.. Никогда!... Спросятъ ея согласія... Иначе не бываетъ, я не видѣла, не знаю...

— Вы многаго не знаете, Надежда Игнатьевна...

— Женщины, сказала Надя настойчиво и съ убѣжденіемъ: — женщины, которыхъ я знаю, никогда не любили.

— Извините, Надежда Игнатьевна, это неправда.

— Да! — сказала она упорно, и въ ея голосѣ не слышалось тѣни сомнѣнія или фальши. — Да!.. я такихъ только и знаю, и не вѣрю, чтобъ иныя были!.. Онѣ всѣ вышли замужъ очень просто, безъ любви, да такъ потомъ и жили, привыкли незамѣтно, и черезъ какой нибудь мѣсяцъ стали, какъ обыкновенно, мужъ и жена...

— И ничего съ ними не случилось ни до замужества, ни послѣ?

— Ничего, рѣшительно ничего...

— Такъ это не женщины, — сказалъ Молотовъ съ едва замѣтнымъ отвращеніемъ, которое не ускользнуло отъ взоровъ Надежды Игнатьевны... Она окинула его своимъ взглядомъ, смѣрила его съ головы до ногъ и остановила прямо свои глаза на его глазахъ, отчего Егоръ Иванычъ смутился и поневолѣ опустилъ взоры. Онъ былъ подъ полнымъ вліяніемъ Нади.

— Кто же онѣ? допрашивала Надя...

— Не знаю, — отвѣтилъ Молотовъ и пожалъ плечами.

— Онѣ женщины! сказала Надя...

Въ голосѣ ея было что-то поддразнивающее, насмѣшливое и въ то же время грустно-тяжелое...

— Эти женщины не жили никогда, а прозябали только, кормились да хозяйничали, сказалъ Молотовъ.

— Ну да, отвѣтила Надя коротко и ясно: — онѣ кормились и хозяйничали...

— И вы тоже? со страхомъ спросилъ Молотовъ.

— Тоже! — и быстро она наклонила голову, едва успѣвъ скрыть слезу, которая неожиданно набѣжала на глаза.

Опять наступило молчаніе. Молотовъ сталъ ходить по комнатѣ. Онъ ходилъ нахмурившись, весь въ волненіи и недоумѣвая, что для нея насталъ какой-то жизненный переворотъ, что ее мучатъ крѣпкія думы, и ума приложить онъ не могъ, какъ бы помочь ей, а помочь хотѣлось. — «Тоже», повторилъ онъ въ умѣ ея слово, — это слово бѣсило его. Онъ остановился подлѣ Нади.

— Вы не по лѣтамъ умны, сказалъ онъ.

Надя подняла голову; слезъ на глазахъ не было — но они были влажны.

— Егоръ Иванычъ, съ вами можно говорить? начала она.

— Говорите, говорите! съ замѣтной радостью отвѣчалъ Молотовъ.

— Вы умно говорите, разсуждаете. Мнѣ не поэзіи нужно, а простого пониманія. Я знать хочу. Скажите, видѣли вы сами, какъ любятъ?

— Множество случаевъ знаю...

— Право?

Лицо Нади загорѣлось отъ любопытства...

— Скажите хоть одинъ?

— У меня былъ пріятель Негодящевъ; онъ женился по любви. Знаю, одинъ учитель женился по любви. Знаю нѣсколько разстроившихся браковъ оттого, что вмѣшалась любовь. Въ губерніи я видѣлъ страшную драму въ крестьянской семьѣ — жена бросила мужа и потомъ убила его. Сколько случаевъ! они совсѣмъ не рѣдки...

— Неужели же всѣ любятъ? неужели это неизбѣжно? говорила Надя въ раздумьи.

— Непремѣнно всѣ. Правда, большая часть пошло любитъ, — сойдутся, прогорятъ быстро и разойдутся: но и во всемъ этомъ есть что-то прекрасное, въ самой пошлости видна особенная, необыденная, рѣдкостная, жизнь. И вы говорите, что не видѣли любви, — что жъ тутъ удивительнаго? Поэзію жизни, любовь, не такъ легко замѣтить, ее всѣмъ на показъ не выставляютъ, ее нужно откапывать въ глубинѣ повседневности, отыскивать, какъ кладъ, который ближній отъ ближняго прячетъ глубоко и далеко. Для всѣхъ она бываетъ: од-

ними она отжита, для другихъ не наступила, а иные любятъ, да не понимаютъ, что̀ съ ними дѣлается...

По лицу Нади пробѣжала какая-то новая, никогда души ея не освѣщавшая, мысль. Недоумѣніе отразилось во всѣхъ чертахъ ея.

— Скажите, продолжалъ Егоръ Иванычъ: — каково положеніе женщины, когда она, будучи замужемъ, полюбитъ другого?... Вся жизнь поломана.... отчего?... Отъ опрометчиваго брака...

Надя начинала поддаваться вліянію Молотова. Она привыкла ему вѣрить, ей такъ хотѣлось вѣрить; но это расположеніе мгновенно смѣнилось другимъ; быстро пробѣжали въ ея головѣ мысли: «я невѣста», «мнѣ двадцать второй годъ», «корму, корму», «не вѣкъ жить у родителей», «завтра отвѣтный день»... Сухо было ея выраженіе лица, строго, несимпатично.

— Не понимаю я васъ, сказала она: — и книги я разлюбила. Читаешь — не оторваться: такая прекрасная жизнь, горячія рѣчи, страстныя свиданія — существованіе полное; и, Боже мой, подумаешь, къ чему такія книги пишутся! И точно вѣдь живые люди тамъ, иногда голоса ихъ слышишь, понимаешь, отчего они плачутъ и радуются, а все же не вѣрится, и никто, какъ тамъ, не живетъ, — это обманъ художественный!

— Можетъ быть, и есть любовь на свѣтѣ, продолжала Надя, немного подумавъ: — да только для избранныхъ. Согласитесь, Егоръ Иванычъ, что тамъ, въ книгахъ, люди живутъ не по нашему, тамъ не тѣ убѣжденія; большею частію живутъ безъ труда, безъ заботы о насущномъ хлѣбѣ. Тамъ все помѣщики — и герой-помѣщикъ, и поэтъ-помѣщикъ. У нихъ не тѣ стремленія, не тѣ приличія, обстановка совсѣмъ не та. Страдаютъ и веселятся, вѣрятъ и не вѣрятъ не по на-

шему. У насъ нѣтъ дуэлей, дѣвицы не бываютъ на балахъ или въ собраніяхъ, мужчины не хотятъ преобразовать міръ и отъ неудачъ въ этомъ дѣлѣ не страдаютъ. У насъ и любви нѣтъ.

— Такъ у насъ гораздо хуже!

— Но какъ же я буду жить чужой, несвойственной мнѣ жизнью? Надобно читать да и помнить себя. Отчего не полюбоваться на чужую жизнь! Но какъ переложить ее въ наши нравы? Это невозможно.

— И не надо. Неужели вы думаете жить по книгѣ?

— О чемъ же и толковать? перебила Надя: — еще вотъ что я скажу. Барина описываютъ съ замѣтной къ нему любовью, хотя бы онъ былъ и дрянной человѣкъ; и воспитаніе, и обстоятельства разныя, все поставлено на видъ; притомъ баринъ всегда на первомъ планѣ, а чиновники, попадьи, учителя, купцы всегда выходятъ негодными людьми, безобразными личностями, играютъ унизительную роль, и смѣшно, часто такъ разсказано дѣло, что они и виноваты въ томъ, что баринъ худъ или страдаетъ. Пусть безобразна среда, въ которой родилась я, все же она не совсѣмъ мертвая... Такъ или иначе, а надо отыскать добрую сторону въ *своихъ* людяхъ. Безъ того жить нельзя!.. Въ монастырь, что ли, идти?

— Много горькой правды въ вашихъ словахъ, но еще болѣе ошибокъ, отвѣчалъ Молотовъ. — Какъ это странно, разсуждалъ онъ вслухъ самъ съ собою: — все это давно пережито мною и теперь не составляетъ вопроса... Жизнь на все даетъ отвѣты!

— Хороши отвѣты! сказала Надя съ горечью...

Молотовъ задумался. Надя своими распросами шевельнула въ его душѣ много стараго, выжитаго и давно улегшагося спокойно въ памяти, какъ въ архивѣ.

Онъ хотѣлъ продолжать рѣчь. Но Надя рѣшительно овладѣла разговоромъ, не давая Молотову сказать слова. Она точно торопилась высказать все, что накипѣло въ ея сердцѣ и было выработано въ уединеніи, подъ вліяніемъ фаталистическаго быта. Она сегодня возставала противъ всего, что говорилъ ей Молотовъ, противъ всѣхъ его понятій и взглядовъ. Егоръ Иванычъ это чувствовалъ. Зрѣлъ разрывъ. Первый разъ онъ слышалъ отъ Нади многія идеи, оригинальныя, самостоятельныя, не подъ его вліяніемъ развившіяся. Судьба круто поворачивала Надину жизнь по противоположному направленію. Ей хотѣлось слышать, отъ души, страстно хотѣлось, опроверженій ясныхъ, какъ день божій; но, увлекаясь, она не давала говорить Егору Иванычу.

— Хороши отвѣты! повторила она: — помню, я читала въ одной книгѣ, какъ женихъ говоритъ невѣстѣ: «наша любовь перейдетъ въ радости и печали, въ смѣхъ и слезы, въ молчанье и бесѣды наши. Она все освѣтитъ, всему дастъ смыслъ и значенье. Она радостна и трепетна теперь, прогоритъ божественнымъ огнемъ въ свадебные дни, и, какъ лампада предъ иконой, будетъ теплиться въ глубокой старости. Она всемогуща. Кто запретитъ намъ любить? отецъ? законъ?.. Всякая власть безсильна предъ любовью, всякая власть преступна.» — Пусть такъ, прибавила Надя: — да запрещать-то нечего. Изъ четверыхъ не выберешь..

— Если же рано или поздно придетъ пятый?

— Если же никогда онъ не придетъ?.. и будешь разборчивой невѣстой — тоже не весело...

— А если придетъ во время замужства?

— Что-жъ дѣлать, когда это неизбѣжно?

— Какъ же выходить замужъ, когда можно полюбить другого?

— Никто этого не знаетъ. Право, какъ вы странно разсуждаете: въ бракѣ видите преднамѣренную недобросовѣстность, разсчетъ на имя и деньги мужа и на любовь кого-то другаго, какого-то пятаго. А бываетъ совсѣмъ не такъ: соглашаются два порядочныхъ человѣка на семейную жизнь, романической любви вовсе не предполагается, ея нѣтъ и въ свадебномъ обыскѣ — вотъ и все! Если же и случится что послѣ, — никто не виноватъ!... Пускай!...

— Господи, фатализмъ какой!

— Что же дѣлать, если это неизбѣжно?

— Удивительная покорность!

— Не покорность, а неисходность.

— Нелѣпо же послѣ этого положеніе женщины!

— Положеніе и браните; можетъ быть, легче будетъ; а насъ-то за что?

Молотовъ не зналъ, что отвѣчать.

— Всѣ примиряются съ дѣйствительностію, сказала Надя: — какъ бы она ни была тяжела; даже любятъ ее, потому что жить всякому хочется...

Молотова задѣло за живое, такъ что онъ вспыхнулъ, точно порохъ, и опять поднялся со стула...

— Примиреніе? сказалъ онъ раздражительно: — о примиреніи заговорили?.. Лучшаго и выдумать нельзя?.. Нѣтъ, Надежда Игнатьевна, можно жить нашей такъ называемой дѣйствительностью и не знать ея, отъ всѣхъ замкнуться и никого не допустить до души своей. Можно имѣть понятія, которыхъ никто не имѣетъ, и не заботиться, что пошлая, давящая дѣйствительность не признаетъ ихъ. Можно весь вѣкъ ни одному человѣку на свѣтѣ не сказать, чѣмъ вы живе-

те, и кончить жизнь такъ. Я въ своемъ кабинетѣ царь себѣ. На голову и сердце нѣтъ контроля...

Надя слышала въ этихъ словахъ того человѣка, какимъ представлялся Молотовъ въ характеристикѣ Черевинина; но она съ каждой минутой становилась упорнѣе. Въ ея напряженномъ воображеніи стояли грядущій женихъ и родительскія лица. Вопросъ судьбы ея распался на двое: либо въ будущемъ — дѣва, либо завтра — невѣста. Она съ насмѣшкой отвѣчала

— Въ головѣ да сердцѣ и останется.

— А! сказалъ Молотовъ съ досадой и отвернулся въ сторону.

Надю радовало, что она сердитъ Молотова. Хотѣлось Надѣ взбѣсить его, чтобы хоть разойдтись навсегда, ей теперь все одно! «Ничего не можетъ сказать!» думала она. «Я надѣялась на него, а онъ на жизнь ссылается — жди отъ нея отвѣтовъ!»

— Переломать, наконецъ, можно дѣйствительность, сказалъ Молотовъ.

— Попробуйте, отвѣчали ему: — я говорила, что дѣвица имѣетъ такъ мало знакомыхъ, что и выбирать не изъ кого, любить некого. Какъ тутъ ломать дѣйствительность? Уйдти изъ дому, ходить по улицѣ да и выбирать? Ломать-то нечего... «Кто запретитъ намъ? отецъ? законъ?» И запрещать нечего...

— Ждать надо пятаго.

— До сѣдыхъ волосъ?

Молотовъ терялся.

— Высоко ваше ученіе, но къ дѣлу нейдетъ, говорила Надя, поддразнивая, ровно, спокойно и холодно, хотя къ горлу ея слезы подступали. — Внутренняя жизнь у всѣхъ можетъ быть, но какая? Чтеніе книгъ, разговоръ, мечта? Неутѣшительно, безплодно!

— Надежда Игнатьевна, стыдно той женщинѣ, которая никогда не любила.

— Высоко ваше ученіе, отвѣтила она съ разстановкою: — но къ дѣлу нейдетъ.

Она замѣтила, что такой тонъ раздражаетъ Молотова. Она ждала опроверженій и теперь думала: «ничего онъ не умѣетъ сказать, и я же не скажу ему ни одного откровеннаго слова».

— Но если, Надежда Игнатьевна, вы полюбили бы кого нибудь?

— Ну, и полюбила бы; а не полюбила, такъ и не полюбила. Не понимаю, о чемъ тутъ толковать?

Иногда двое договорятся до того, что дѣло становится, какъ день, ясно, и разговоръ продолжать незачѣмъ. Что можетъ быть проще, опредѣленнѣе и неотразимѣе такого отвѣта: «ну, полюбила бы, такъ и полюбила бы?»... О чемъ и зачѣмъ послѣ этого говорить? Надя хотѣла оставить работу и идти въ другую комнату, но, помимо ея воли, голова наклонилась надъ шитьемъ, на глаза выступили слезы, и какая-то странная мысль глубоко внѣдрялась въ ея отживающую душу. Она хоронила что-то, погребала. «Не у кого во всемъ свѣтѣ спросить, никто не выручитъ, отецъ и мать не скажутъ, вотъ и Егоръ Иванычъ ничего не знаетъ. Я точно запертая отъ всѣхъ людей, обреченная какая-то!» Слеза упала на шитье. «Это я свой дѣвичникъ справляю», думала она: «ну, такъ что же? весело будетъ.... денегъ много.... комнаты большія.... отцу и матери почетъ.... роднымъ всѣмъ помога... генеральшей буду». Слеза упала на шитье. — Ясно, какъ человѣку разстроенному привидѣніе, представился ей узаконенный мужъ, солидный, степенный, точно разлинованный, съ архивнымъ нумеромъ во лбу,

съ генеральской звѣздой надъ сердцемъ, а ей не онъ нуженъ... Кто же? Еще слеза упала на шитье...

— Надя!

Она не узнала голоса.

— Добрая моя!

Она подняла влажные глаза...

— Жизнь на все даетъ отвѣты.

Это говорилъ Молотовъ.

Надя закрыла лицо руками и заплакала...

— Зачѣмъ ты такая неразгаданная?.. О чемъ же ты плачешь? Неужели я ошибся?.. Ты любишь меня?

Надя что-то тихо проговорила, но Молотовъ разслушалъ ее. Онъ, стоя сзади, поцаловалъ ее въ голову, потомъ отвелъ ея руки отъ лица и поцаловалъ въ щеку. Слезы блестѣли на ея длинныхъ рѣсницахъ. Въ одно мгновеніе Надя такъ похорошѣла и просіяла, что Молотовъ не подумалъ повторить поцалуй, а просто заглядѣлся.

— Я люблю тебя... давно... прошептала она и прижалась крѣпко къ наклоненному лицу Молотова.

Тогда онъ поцаловалъ ее снова. Надя засмѣялась сквозь неостывшія слезы дѣтски-радостнымъ, трепетнымъ, тихимъ смѣхомъ.

— Не надо ждать до сѣдыхъ волосъ, проговорила она.

— Добрая моя...

Они сидѣли долго молча...

— Увидишь ты, Надя, что можно жить такъ, какъ хочется, не спрашивая ни у кого позволенія, никому отчета не давая. Можно такъ жить. Я хочу. Вотъ она, жизнь, и даетъ отвѣты.

— Да, прошептала Надя...

— Я на дняхъ буду свататься...

— Завтра, завтра! заговорила Надя стремительно: —скажи имъ, что ты женихъ мой, что я цаловала тебя —вотъ такъ! сказала она, обнимая его...

— Завтра! повторила она, оторвалась отъ Молотова, вышла въ другую комнату и скрылась.

Молотовъ отправился домой; но онъ не усидѣлъ дома, несмотря на позднее время, и часу во второмъ вышелъ на улицу. Глубокая осень. Все спало; лишь звонко гдѣ-то щелкаетъ копытами верховой конь, да съ медленнымъ визгомъ, проникающимъ въ душу, запирается желѣзная дверь. Онъ вышелъ на Невскій. На башню Думы луна наложила углами, квадратами и длинными полосами бѣлое серебро. Небо легло надъ домами широкой дорогой; оно густо-синее, чуть не черное, и на этой дорогѣ горитъ и смеркается много звѣздъ... Спитъ городовой; спятъ дворники; плетется какая-то женщина, должно быть, запоздалая крыса Невскаго проспекта, — Богъ съ ней, она завтра, быть можетъ, насидится голодная. Туча выдвинулась изъ-за Адмиралтейства и медленно, тяжело плыветъ ко Дворцу. Часовой вскрикнулъ далеко... Хороша ночь предъ разсвѣтомъ и въ позднюю осень... Молотовъ гулялъ долго, пока не умаялся.

Надя весь день дожидала вечера, когда долженъ былъ придти Молотовъ и просить ея руки. Она знала, что такой оборотъ дѣла будетъ непріятенъ родителямъ, но была увѣрена, что они не станутъ противорѣчить ей.

Душа ея была переполнена, но внутренняя жизнь мало проявлялась наружу; у ней не явилось даже желанія раздѣлить съ кѣмъ нибудь свою радость, тѣмъ

болѣе, что не съ кѣмъ было и дѣлить ее. Мелкіе, едва замѣтные признаки обнаруживали, что это невѣста и притомъ невѣста, не спросясь отца и матери. Игра красокъ на лицѣ, тайная слеза, запрещенный и потому сдержанный вздохъ, особенно-теплая молитва, никогда не посѣщавшія душу мысли и образы—все это было трудно замѣтить въ ней; для этого надо было знать напередъ, что съ ней случилось важное событіе, и тогда только, припоминая лицо Нади въ другіе дни и теперь, можно было замѣтить, что въ немъ отразилась новая жизнь. Въ ней ходили разнообразныя мысли и душу ея освѣщали радости и заботы грядущихъ дней. Она увѣряла себя, что можетъ опереться на крѣпкую руку, которую предлагалъ ей Молотовъ. Но странно, въ то же время, когда она увѣряла себя въ этомъ, — она прислушивалась къ глубинѣ своего сердца, гдѣ шевелилось что-то смутное и тяжелое, не созрѣвшее еще въ положительный вопросъ. Она была счастливѣе, нежели вчера, но все около нея молчало, и въ иныя минуты она чувствовала холодъ на душѣ; не пропала ея привычка разсчитывать и соображать даже въ эти торжественные часы жизни. Надя упрекала себя, что она не можетъ отдаться вполнѣ, безъ всякихъ думъ, новому счастью. — «Не стараго же жениха мнѣ жалко стало», думаетъ она: «я люблю Молотова; вотъ вчера, вотъ пять минутъ назадъ я была такъ счастлива, а теперь у меня холодъ на душѣ». — Надя не знала, что этотъ холодъ неизбѣженъ, когда человѣкъ рѣшается на свободный, самостоятельный шагъ: онъ мгновенно падаетъ на душу при мысли, что дѣлаешь новое, непривычное для окружающей среды дѣло, что люди, дивясь, посмотрятъ на тебя. Одиночествомъ порождается этотъ холодъ, а Надя не сказала ни полслова ни отцу, ни мате-

ри, и ждала съ нетерпѣніемъ, скоро ли придетъ Молотовъ сказать за нее свое слово роднымъ ея... Но вотъ ударило восемь, а нѣтъ ни отца, ни жениха ея... Теперь въ ней было замѣтное волненіе... Ей стало страшно... Прошло долгихъ полчаса, и вдругъ раздался благодатный звонокъ. Она затрепетала отъ радости, вспыхнула и замерла въ ожиданіи, чутко прислушиваясь къ дальнимъ комнатамъ изъ своего уединеннаго уголка. Чьи-то шаги раздались въ залѣ, кто-то вошелъ въ гостиную. — «Это онъ!» прошептала Надя, и такъ хорошо себя чувствовала, что на минуту не усумнилась въ возможности получить согласіе родителей.—Разговоръ чей-то едва пробивался изъ гостиной... вотъ будто смѣхъ... «вѣрно поздравляютъ?» думаетъ она, и трепещетъ ея сердце отъ событія, которое хочетъ сейчасъ совершиться. Она точно вновь нарождается на свѣтъ, шепчетъ полуоткрытыми губами: «скоро ли?» смотритъ на икону Божіей Матери, и вся одушевленная, сіяетъ дивной красотой. «Боже мой, какъ долго они говорятъ!» Но что это за крикъ? кто такъ неистово топаетъ ногами? Смертельная блѣдность разлилась по лицу дѣвушки, и на крикъ изъ гостиной она отвѣтила своимъ легкимъ крикомъ.

— Надежда! раздалось по всѣмъ комнатамъ.

Дикъ былъ голосъ. Надя слышала ударъ ногой объ полъ.

Надя поднялась со страхомъ со стула и пошла на голосъ. Глаза ея не ясны и походка не тверда; физическая немощь одолѣвала ее, хотя душа была напряжена неестественно. На щекахъ вспыхивали и пропадали розовыя пятна. Пройдя темный залъ, она въ полумракѣ увидѣла подлѣ окна группу дѣтей, своихъ маленькихъ братьевъ и сестеръ, глаза которыхъ были устрем-

лены на нее. Надя остановилась на минуту передъ гостиной, проведя рукой по лбу...

— Надежда! раздалось еще громче.

Надя разслушала слова матери: «ты испугаешь маленькаго». И дѣйствительно, въ ту же минуту заплакалъ ея меньшой братъ, спавшій въ дѣтской, въ колыбели...

Надя съ особенной силой распахнула двери и явилась предъ отцомъ. Игнатъ Васильичъ былъ одинъ; мать укачивала свое дитя въ сосѣдней комнатѣ.

— Подойди ко мнѣ, сказалъ Дороговъ.

Надя, блѣдная вся, стояла съ опущенной внизъ головой.

— Иди ко мнѣ! повторилъ отецъ.

Она сдѣлала шагъ впередъ.

Отецъ устремилъ на нее неподвижный, злобный взоръ. Онъ молчалъ нѣсколько минутъ...

— Говори что нибудь!—при этомъ Игнатъ Васильичъ топнулъ ногою.

Надя не знала, что ей дѣлать. Но вотъ она оправилась немного, на лицѣ выступила краска; быстро въ головѣ ея пробѣжало: «Молотову нельзя было придти... отецъ спрашиваетъ отвѣта... сегодня срокъ... я сама объявлю ему».

— Говори же!

— Папа, начала она тихо.

— Негодница! развратница! перебилъ ее рѣзко отецъ.

Надя вздрогнула, кровь бросилась ей въ лицо, она широко раскрыла глаза и съ изумленіемъ посмотрѣла на отца.

— Зачто? спросила она съ негодованіемъ.

— Молчать! крикнулъ отецъ.

Надя опять опустила голову. Она ничего не поняла. Игнатъ Васильичъ подошелъ къ своей дочери, положилъ на плечи ея свои руки и остановилъ на лицѣ ея неподвижный взоръ.

— Надя, сказалъ онъ:—гляди мнѣ прямо въ глаза.

Она не шевѣльнулась.

— Ну!

Надя съ страшнымъ усиліемъ подняла глаза и посмотрѣла на отца. Дороговъ спросилъ ее шопотомъ:

— Вы цаловались?

Надя не поняла.

— Цаловались? повторилъ онъ громко.

— Съ кѣмъ? спросила она.

— Сама знаешь, съ кѣмъ!

Но отвѣта не было. Страхъ и обида, что ее держатъ за плечи, сдавили ей горло.

— Молотова знаешь? спросилъ грозно отецъ и потрясъ ее за плечи такъ, что Надѣ больно стало.

Опять повторился плачъ ребенка въ дѣтской и слышалось убаюкиваніе.

— Такъ цаловались?

— Да! отвѣчала Надя раздирающимъ душу голосомъ.

— Негодница!..

Игнатъ Васильичъ надавилъ ея плечи руками такъ тяжело, что Надя наклонилась къ его лицу и ощущала его злое, прерывистое рыданіе; потомъ онъ оттолкнулъ ее отъ себя. Надя опустилась на стулъ, закрывши лицо руками. Она была почти въ безпамятствѣ.

— Боже мой! проговорилъ Дороговъ и отошелъ къ окну.

Настало тяжелое молчаніе... Мать не замолвила за Надю ни одного слова, не выбѣжала изъ дѣтской и не

схватила за руки своего мужа. Ея застарѣлая нравственность была оскорблена тѣмъ, что дочь ея позволила цаловать себя до брака. По ея понятію поцалуй освящался церковію и потомъ совершался только въ опочивальнѣ. Она дивилась и Молотову, котораго считала нравственнымъ человѣкомъ, — а онъ вдругъ оказался соблазнителемъ... Гордость матери страдала; она поражена была *паденіемъ* дочери. Она съ ужасомъ думала, что въ ея мирной семьѣ совершился скандалъ. Откуда отецъ узналъ объ отношеніяхъ Молотова и Нади, онъ не говорилъ. Онъ только сообщилъ, что Надя — «развратница», и несчастная дочь созналась, что позволила цаловать себя до брака. — «Боже мой», подумала Анна Андреевна: «онъ не первый годъ знакомъ съ нами, кто ихъ знаетъ, что между ними было?» Она вспомнила, что Егоръ Иванычъ часто оставался съ Надей наединѣ, иногда посѣщалъ ихъ домъ, когда Надя была одна, а они уходили куда нибудь... Страшныя мысли взволновали ея сердце, она заплакала и облила горячими слезами дитя въ колыбели...

Игнатъ Васильичъ никогда не уважалъ тѣхъ женщинъ, которыхъ самъ, бывало, цаловалъ до брака и въ началѣ женатой жизни. Онъ считалъ себя въ правѣ пользоваться слабостями этихъ женщинъ; но въ глубинѣ души презиралъ ихъ, называлъ потерянными, велъ себя небрежно, оскорбительно, насмѣхался въ глаза. Бывало, дѣвушка обнимаетъ его, называетъ ласковыми именами, радостно болтаетъ какой нибудь вздоръ, а онъ смотритъ острымъ взглядомъ, и едва замѣтная улыбка на его губахъ отражаетъ презрѣніе. Женщины, истинно любившія Дорогова (были такія), находили въ такомъ отношеніи къ нимъ признакъ силы, могучаго характера и высшей натуры, а въ немъ между тѣмъ не

было даже и дикаго «печоринства», которое выродилось бы въ лицѣ его въ канцелярскій типъ, — онъ дѣйствовалъ просто по принципу благочинія и условной порядочности. Этимъ и объясняется циническій элементъ въ его любви къ женщинамъ. «Настоящая женщина, говоритъ онъ, бережетъ себя; она не дастъ поцалуя до свадьбы». Поэтому не было никакого противорѣчія въ томъ, что Дороговъ чувствовалъ глубокое уваженіе къ Аннѣ Андреевнѣ за ея моральныя достоинства. До замужества, въ продолженіе мѣсяца его жениховыхъ посѣщеній, она не позволила ему прикоснуться губами даже къ рукѣ своей. Это-то и увлекло его, это же самое отчасти и покорило его впослѣдствіи женской власти. Когда же Дороговъ привыкъ къ осѣдлой жизни и полюбилъ семейственность, онъ сталъ считать себя недосягаемо-нравственнымъ господиномъ, потому что сознялъ въ себѣ не только принципъ свой, но и дѣло, основанное на принципѣ. Онъ всегда желалъ дать этому принципу широкое развитіе въ своей семьѣ. Дороговъ былъ привязанъ къ своей дочери, страстно любилъ ее. Представьте же, что о людяхъ онъ судилъ по себѣ; и вотъ онъ увѣрился, что нашелся мужчина, который, какъ онъ бывало на своихъ любовницъ, глядѣлъ на его дочь нагло, близко наклонялъ къ ея лицу свое лицо, разсматривалъ съ любопытствомъ знатока ея глаза, уши, губы, крутилъ ея ухо въ своихъ пальцахъ, цаловалъ ее гастрономически, держалъ на шеѣ свою руку, пока она не нагрѣется, и во все это время глядѣлъ на нее съ едва замѣтной улыбкой, съ оттѣнкомъ презрѣнія, — представьте себѣ все это, и вы поймете, что онъ нравственно страдалъ за свою дочь, онъ защитить ее хотѣлъ покрыть своей отеческой любовью. Отцы часто вспоминаютъ свою юность, когда дочери любятъ безъ ихъ поз-

воленія и согласія. Ко всему этому присоединилась страшная досада на то, что разрушались его планы, и даже онъ трепеталъ за свою будущность, если состоится отказъ, потому что жениху-генералу стоитъ написать другому генералу, у котораго онъ служитъ, и Дорогова выгонятъ вонъ изъ службы. Онъ не зналъ, что дѣлать: оскорблена была въ немъ нравственность семьянина, была опасность для его и служебной карьеры, — и до этого доводитъ его дочь! Онъ поднялся со стула и подошелъ къ Надѣ...

— Надя, сказалъ онъ, безъ крику и злости, но холодно и твердо: — ты выбросишь изъ головы Молотова. Я за тебя гибнуть не стану и не потерплю безнравственности въ своемъ домѣ. Молотова нога здѣсь не будетъ! Ты съ нимъ никогда не увидишься, — это мое святое слово, ненарушимое... Мать, — обратился онъ къ дверямъ той комнаты, гдѣ она была: — жена, уговори свою дочь,—это твое дѣло: она губитъ и себя, и насъ.

— Надя, обратился онъ опять къ дочери:—я у тебя спрошу отвѣта на дняхъ, — будь готова...

Онъ пошелъ въ свой кабинетъ, но въ его старомъ сердцѣ шевельнулась жалость къ своей любимой дочери; онъ остановился подлѣ нея и сказалъ, сколько можно, ласково:

— Надя! образумься!..

Она сидѣла, закрывъ лицо руками; молчала, какъ убитая.

— Одумайся!

Съ этимъ словомъ Дороговъ оставилъ гостиную.

Долго сидѣла Надя, убитая горемъ, оскорбленная, и ничего она не понимала. — «Что же Молотовъ?» безъ смысла повторялось въ ея головѣ: «откуда узналъ

отецъ?... зачто онъ меня назвалъ раз....» Этого слова она не могла договорить. И опять эти вопросы безсмысленно чередовались въ ея головѣ. Надя потеряла способность разсуждать... Она открыла лицо. Оно было измучено, блѣдно; послѣ цѣлаго дня ожиданій и радостныхъ надеждъ, въ немъ выражалось тупое страданіе. Ей хотѣлось освѣжиться; она вышла и умылась холодной водой, потомъ въ темномъ залѣ открыла форточку и облокотилась на косякъ окна. Дѣти все еще были въ залѣ и съ любопытствомъ, смѣшаннымъ со страхомъ, смотрѣли на свою сестру... Они тоже обсуживали своимъ невиннымъ умишкомъ семейное дѣло. Ѳедя подслушивалъ разговоръ у дверей, и разсказалъ другимъ, что Надя цаловалась, и за то ее папа сильно бранилъ, такъ, какъ ихъ никого не бранилъ... Между дѣтьми слышался шопотъ.

— Отчего цаловаться нельзя? спросилъ самый маленькій, Ѳедя: — вотъ мы же цалуемся...

— То совсѣмъ другое, отвѣчала Катя...

— Что же?

— Такъ женихи да невѣсты цалуются, — сказала Маша...

— А это худо?

— Худо...

— А что это «развратная»? спрашивалъ Ѳедя.

— Объ этомъ нельзя говорить,—отвѣчали ему...

— Отчего?

— Неприлично...

— Будешь большой, узнаешь, — замѣтилъ гимназистъ, двѣнадцати лѣтъ мальчикъ.

— Папа у насъ злой, сказалъ Ѳедя...

— Ахъ, какой ты! замѣтили ему сестры.

— Что же?

— Такъ говорить не надо.

— Да онъ злой!

— Надя плачетъ, проговорила Маша...

— Пойдемте къ ней! звалъ Ѳедя...

— Ей не до насъ, — отвѣчали дѣти съ удивительнымъ тактомъ.

Дѣти, мальчики и дѣвочки, всѣ, кромѣ Ѳеди, понимали, въ чемъ дѣло, знали, что такое «развратная», но ихъ дѣтскому сердцу жалко было своей любимой сестры. Они готовы были броситься къ ней на шею, утѣшать ее, плакать съ ней; мальчики были угрюмы, у дѣвочекъ слезы на глазахъ...

— Пойдемте! звалъ Ѳедя.

— Не надо...

Но Ѳедя уже былъ подлѣ сестры.

— Надя, не плачь! сказалъ онъ...

Надя замѣтила его...

— Ты не развратная... папа самъ развратный... Я не люблю его...

— Ахъ, Ѳедя, что ты говоришь? отвѣчала Надя: — отца надо любить. Папу велѣлъ Богъ любить...

Мальчикъ присмирѣлъ... Надя замѣтила, что дѣти смотрятъ на нее пытливо; ей неловко стало, она не хотѣла оставаться въ залѣ; идти въ свою комнату надо мимо отцова кабинета, а тамъ дверь отворена; въ гостиную, — но тамъ мать. Такъ Надя и мѣста не находила, гдѣ бы пріютиться ей, одуматься и успокоиться... — «Можетъ-быть, маменька въ дѣтской», подумала она и пошла въ гостиную... Дѣти остались шептаться въ залѣ...

Въ гостиной сидѣла мать за круглымъ семейнымъ столомъ. Въ рукахъ ея была работа; но дѣло, очевидно, не спорилось. Дѣлать нечего, Надя сѣла къ тому же

столу. Мать слышала, что она пришла, но не поднимала глазъ...

— Надя! сказала она, смотря на шитье. Руки ея дрожали. Дороговъ ничего ей не объяснилъ, откуда онъ узналъ, и что было между Надей и Молотовымъ. Она слышала, что и дѣти говорили: «Надя развратная»... Страшныя мысли тѣснились въ ея головѣ...

— Что, мама? отвѣчала Надя, тоже не поднимая глазъ.

— Что у васъ было?

— Я сказала папа...

— Скажи ты мнѣ, Надя, все, все...

— Я не понимаю ничего, мама...

— Вы только цаловались?

Краска бросилась въ лицо Нади. Оскорбленіе за оскорбленіемъ сегодня сыпались на нее.

— Боже мой, ты не отвѣчаешь? сказала, блѣднѣя, мать.

— Вы оскорбляете меня, — отвѣтила дочь съ горечью...

— О, Боже мой! проговорила она съ радостнымъ раскаяніемъ...

За эти дни рѣшительно всѣ измучились въ семьѣ Дороговыхъ. Настало тяжелое время. Мать, а особенно отецъ — ковали деньги и повышенія на дочери. Имъ выпалъ отличный случай продать выгодно благопріобрѣтенный, доморощенный товаръ, но товаръ былъ живой и не хотѣлъ идти въ продажу. Теперь мать и дочь сидѣли въ одной комнатѣ. Надя, наклонивъ свою умную головку, думала, гадала. Блѣдно и печально лицо ея. Опять въ головѣ ея чередовались вопросы: «откуда узналъ отецъ? что же Егоръ Иванычъ? зачто меня назвали негодною?»—Она вникала, ловила недаю-

щуюся сознанію мысль, и въ то же время на лицѣ ея было написано отталкивающее упорство. Мать подняла глаза. Взглядъ ея остановился на дочери. Она долго вглядывалась въ черты Нади. У ней сердце сжалось и заныло; слезы показались на глазахъ: невыносимо жалко стало дитя свое... Вдругъ взгляды ихъ встрѣтились... Надя замѣтила любящій, умоляющій взоръ своей матери и слезу ея, упавшую на шитье. Она вспыхнула, взволновалась, кровь бросилась ей въ лицо; хотѣла она сдержаться, но не могла, закрылась руками и зарыдала. Мать тоже рыдала. Плакали онѣ, не говоря слова другъ другу. Ни одного нѣжнаго звука не произнесено, ни одной ласки, ни тѣни примиренія. Какъ страшно плачутъ иныя—точно у нихъ ножъ въ сердцѣ поворачивается, а онѣ, сдерживая боль, рыдаютъ мучительно-ровнымъ рыданіемъ. Мать первая успокоилась. Такъ онѣ и разошлись, не сказавши слова другъ другу... И это было послѣднее событіе того дня.

Наступила ночь. Всѣ спали. Но маленькому, любимому брату Нади, Ѳедѣ, постель котораго находилась въ ея же комнатѣ, не спалось. И вотъ онъ тайкомъ, въ одной рубашонкѣ, на босую ногу, всталъ съ теплой постели, прошелъ мимо матери и подкрался къ сестрѣ. Плечи и грудь ея были обнажены, уста полуоткрыты, она жарко дышала, одѣяло шолковое было сброшено до половины. Онъ со смущеніемъ замѣтилъ, что въ ея рѣсницахъ дрожатъ слезы; локонъ, перевитой лентою, легъ на щеку и былъ влаженъ; вся она, прекрасная, облита луннымъ свѣтомъ. — «Какая же она развратная?» прошепталъ братишка, и заботливой дѣтской рукой закрылъ обнаженную грудь сестры. Потомъ онъ тихо наклонился и поцаловалъ сестру въ щеку, робко и осторожно. Точно отъ этого поцалуя, лицо ея про-

свѣтлѣло, слеза замерла въ дрожащихъ рѣсницахъ, и, вдругъ склонивъ голову на влажный локонъ, она вздохнула легко и спокойно. Вся тиха и счастлива, покоилась Надя, облитая луннымъ свѣтомъ, легшимъ золотыми полосами по шелковому одѣялу. Долго смотрѣлъ на нее братъ. Но вотъ онъ отошелъ отъ постели, сталъ голыми колѣнями на холодный полъ и прошепталъ молитву, въ которой слова и чувства были ребячьи. Не долго онъ молился, но хорошо, лучше своей матери. На другой день мальчику очень хотѣлось сказать сестрѣ, какъ онъ молился за нее, но стыдно было, неловко. Выростетъ большой, разскажетъ. Эта молитва будетъ дорога ему и тогда, когда онъ утратитъ самую вѣру. Бываютъ такія въ дѣтствѣ молитвы.

На другой день съ Надей почти никто слова не сказалъ. Разрушалось семейное счастье, мирное существованіе Дороговыхъ. Дѣти присмирѣли, и рѣдко рѣдко, точно запрещенный, раздавался ихъ смѣхъ и говоръ по комнатамъ. Вотъ уже два вечера отца нѣтъ дома, онъ въ гостяхъ. Надя ни разу не взглянула на него по прежнему, прямо и открыто. Мать молчитъ. Надя большую часть времени проводитъ уединенно, въ своей комнатѣ. Много перебрала она предположеній—откуда отецъ узналъ объ отношеніяхъ ея къ Молотову, и ни одно не объясняло дѣло удовлетворительно... Ей было только ясно, что Егоръ Иванычъ не придетъ къ ней, потому что для него заперты двери дома. Крѣпко было слово отцовское: «ты съ нимъ никогда не увидишься»... Что же тутъ дѣлать? И борьбы даже не предстоитъ, а остается лишь выносить гнетъ, тяжело налегшій на молодую жизнь. Казалось, никакихъ

событій больше не случится, а день за днемъ будетъ тянуться давящая монотонная жизнь; родители будутъ ждать, скоро ли все это опротивѣетъ Надѣ и она съ отчаянія, не находя исхода, бросится въ объятія генерала. — «Написать къ нему?» мелькнуло въ головѣ Нади...—«Но черезъ кого передать? черезъ кухарку?» —Такъ тяжело было оставаться въ неизвѣстности, что Надя рѣшилась на этотъ шагъ...

«Егоръ Иванычъ, милый мой!» писала Надя: — «я не понимаю, что это со мной случилось. Отчего ты не ходишь къ намъ? Откуда узналъ папа, что я люблю тебя? О, Боже мой, да можетъ быть, ты ничего не знаешь? Меня хотятъ выдать за Подтяжина, генерала, а я тебя, одного тебя люблю. Мнѣ сказали, что я съ тобой никогда не увижусь. Никому не вѣрь, кто скажетъ, что я отказалась отъ тебя. Папа очень сердитъ на насъ. Мнѣ тяжело. Дай какую нибудь вѣсточку, объясни, какъ это случилось, что дѣлать надо, чего ждать? Я люблю тебя, ты помни это, добрый мой! Твоя Надя».

Надя дала кухаркѣ рубль, и та согласилась отнести письмо къ Егору Иванычу. Часа черезъ два кухарка сказала, что отнесла записку, но что Молотова дома не застала и записку отдадутъ ему вечеромъ... Надя ждетъ вечера съ нетерпѣніемъ. Наступилъ и вечеръ, но вѣсти никакой не было.

—Боже мой! прошептала она въ отчаяніи, когда пробило восемь часовъ: — что же это?..... Одна!..... заперта отъ всѣхъ... живого слова сказать не съ кѣмъ!

Неожиданно на помощь явился Михаилъ Михайлычъ Череванинъ. Надя на силу выждала, скоро ли онъ сядетъ за работу... Михаилъ Михайлычъ установилъ на станкѣ портретъ, освѣтилъ его, но за работу не сѣлъ,

а оглядѣлся около, усмѣхнулся своей оригинальной улыбкой и пошелъ въ Надину комнату.

— Вамъ Егоръ Иванычъ кланяется, сказалъ онъ Надѣ...

— Что онъ? спросила тревожно Надя...

— Ничего... что ему дѣлается!... А вы-то зачѣмъ, Надежда Игнатьевна, похудѣли?... Стоило ли?

— Ахъ, Михаилъ Михайлычъ, что Молотовъ?...

— Да не волнуйтесь. Все пустяки, Надежда Игнатьевна...

— Какъ это все случилось?

— Очень просто. Послушайте, Егоръ Иванычъ проситъ васъ довѣряться мнѣ во всемъ... Я васъ не выдамъ... Вѣрите?

— Вѣрю, вѣрю...

— Такъ вы и объясните, что съ вами было. Я передамъ Молотову; я вамъ разскажу, что было съ нимъ.

Надя согласилась и разсказала Череванину. Она рада была отвести душу.

— Вашъ папаша—порядочный гусь: и не сказалъ ничего... А вѣдь весь секретъ въ томъ, что онъ видѣлся съ Егоромъ Иванычемъ.

— Когда?

— Въ тотъ же самый день. Егоръ Иванычъ встрѣтилъ вашего папашу, пригласилъ къ себѣ и сдѣлалъ декларацію... Игнатъ Васильичъ объявилъ, что есть у васъ женихъ и что вы дали свое согласіе...

— Что же Егоръ Иванычъ?

— Разумѣется, не повѣрилъ... Онъ просилъ позволенія повидаться съ вами; папа отвѣчалъ, что нога Молотова не будетъ въ его квартирѣ. Егоръ Иванычъ два раза стучался у вашихъ дверей, и каждый разъ ему отвѣчали: «принимать не велѣно».

— Что же дѣлать теперь?

— Ничего не надо дѣлать.—Эхъ, сказалъ Черевaнинъ, махнувъ рукой и впадая въ свой тонъ: — и это браки устроиваются!... Во всемъ ложь, пустыя слова, веселенькіе пейзажики! Вѣдь въ бракѣ необходимо взаимное согласіе и любовь. А что же мы видимъ въ огромнѣйшемъ большинствѣ тѣхъ людей, которые называются «мужъ» или «жена»? Надъ ними состоялось одно лишь благословеніе священника, а любви и въ поминѣ нѣтъ; однихъ родители принудили, другихъ соблазнили деньги... третьи женились для хозяйства, четвертые— съ дуру. И это бракъ!

— О чемъ вы мнѣ говорите?.. Развѣ я хочу идти за Подтяжина? Что мнѣ дѣлать, что дѣлать?

— Если вы убѣждены, что подло идти за Подтяжина, то и не идите за него... Васъ папаша назвалъ безнравственною, такъ ли? А самъ на какое дѣло васъ толкаетъ? Такъ вы и не обращайте на него вниманія, не слушайте своихъ родителей... Вамъ-то что за дѣло. Сидите себѣ спокойно въ комнатѣ и ждите, что будетъ.. Что они съ вами сдѣлаютъ? Кормить, что ли, не будутъ? Страшнаго ничего не случится; выйдетъ, какъ и во всемъ, пошлость, надъ которой вы сами посмѣетесь. Какая тутъ трагедія? Событій-то даже мало будетъ. Въ трагедіяхъ участвуютъ боги, цари и герои, а вы—чиновникъ и чиновница; потому и романъ вашъ будетъ мирный, безъ классическихъ принадлежностей, безъ яду, бѣшеной борьбы, проклятій и дуэлей... Ваше положеніе ужь таково, что ничего грандіознаго не должно случиться... Въ монастырь вы не пойдете, изъ окна не броситесь, къ Молотову не убѣжите и не обвѣнчаетесь съ нимъ тайно, — все это принадлежности высокихъ драмъ... У васъ выйдетъ простенькій романъ,

съ веселенькими пейзажиками, вмѣсто трагическихъ событій. Зачѣмъ же худѣть?... Не надо.... Теперь возьмите положеніе Молотова, — то же самое, что и ваше... классическаго тоже ничего не предстоитъ!... Ему даже дѣлать-то нечего. Вся эта пошлая туча мимо его пройдетъ, она будетъ носиться надъ вашей головой... Егоръ Иванычъ можетъ только просить и убѣждать папа и мама — вести съ вами переписку, дѣйствовать черезъ меня, бѣсноваться дома, сколько душѣ угодно, перебирать всѣ средства, какія употребляются людьми при связи, разорванной благочестивыми родителями, и видѣть, что онѣ неприложимы въ его положеніи. Нѣчто потѣшное выходитъ. У васъ не будетъ свиданія до самого благословенія родительскаго, которое утверждаетъ домы чадъ. Словомъ, романчикъ выходитъ оригинальный, кругленькій, въ которомъ все впередъ можно предвидѣть. Главное дѣло, стойте себѣ упорно на своемъ; что бы вамъ ни говорили, какъ бы ни убѣждали, хоть бы плакали или бранились хуже, чѣмъ до сихъ поръ, а вы все пропускайте мимо ушей, какъ будто и не вамъ говорятъ. Положимъ, каждый день вамъ придется выслушать отца или мать часа три, вы прослушайте ихъ; пройдутъ три часа, и вы опять сюда, въ свою комнату. Слышали вы поговорку: «какъ къ стѣнѣ горохъ?» — въ этой поговоркѣ весь смыслъ вашей борьбы, которая вамъ предстоитъ.

— Но чѣмъ же все это кончится?

— А сейчасъ я разскажу послѣднюю главу вашего романа. Генерала вы не бойтесь: не съ пушками же придетъ брать васъ..... онъ статскій, а не военный. Носу своего онъ сюда до тѣхъ поръ не покажетъ, пока вы не дадите своего согласія; папа не допуститъ его, скажетъ, что вы больны, либо что нибудь другое вы-

думаетъ,—онъ боится, что вы укажете непрошенному жениху двери... Вотъ родители и будутъ тянуть дѣло, мучить васъ, вымогать согласіе. Согласія вы не дадите. Наконецъ, генералъ разсердится и потребуетъ рѣшительнаго слова. Что папаша будетъ отвѣчать? — Дочь несогласна... Тогда, дѣлать нечего, позовутъ Молотова и благословятъ васъ на брачную жизнь... Вотъ и вся программа трагедіи... Все пустяки въ сравненіи съ вѣчностью, Надежда Игнатьевна...

— Скажите же Егору Иванычу, что я буду ему вѣрна, какъ бы мнѣ тяжело ни было...

— Да вы не худѣйте, Надежда Игнатьевна.

— Боже мой, какъ все это пошло, грязно, низко! проговорила Надя съ отвращеніемъ.

— Что жъ тутъ удивительнаго? Такъ тому и слѣдуетъ быть...

Надя наклонила голову и задумалась....

— Вотъ что, Надежда Игнатьевна, сказалъ Череванинъ:—мнѣ надо имѣть предлогъ бывать у васъ. Для этого я начну вашъ портретъ...

— Хорошо...

Череванинъ ушелъ въ залу. У Нади, послѣ рѣчей Михаила Михайлыча, пропали страхъ и отчаяніе; но ихъ мѣсто заступила скука и апатія. Лѣниво пробиралась игла по краю платка; голова разсѣянна. — «Скоро ли все это кончится?» думала она. Очень хотѣлось Надѣ увидѣть Егора Иваныча, который былъ всегда ихъ вечернимъ посѣтителемъ, къ которому она привыкла и котораго такъ полюбила... Она не знала, куда дѣться отъ тоски, когда представляла себѣ, что, быть можетъ, еще цѣлый мѣсяцъ пошлой скуки и томленія впереди...

Череванинъ, возвращаясь домой, бормоталъ себѣ

подъ носъ: «вотъ оно, любовь освѣтила и взволновала наконецъ это болотце... романчикъ начинается съ веселенькими препятствіями... Право, препотѣшно жить на свѣтѣ!.. Но что, если благочестивый родитель вздумаетъ припугнуть ее проклятіемъ и лишеніемъ вѣчнаго блаженства, — устоитъ ли Надежда Игнатьевна? Противъ воли отца и матери рѣдко кто устоитъ. Сколько бы проклятій разсыпалось у насъ по Руси, когда бы всѣ захотѣли выходить замужъ по своему выбору. Отчего это не запретятъ проклинать дѣтей своихъ — запрещено же ихъ убивать?.. Запретятъ!.. еще пустое слово: запретъ ни къ чему не ведетъ. О, будьте же вы прокляты сами, проклинающіе дѣтей своихъ! Нѣтъ, я не допущу Надю испугаться даже и проклятія. Я имъ всѣмъ нагажу!.. изъ любви къ искусству нагажу!.. А, ей-Богу, весело жить на свѣтѣ!»

Черезъ три дня, которые прошли по той программѣ, которую начертилъ Череванинъ, насталъ праздникъ Вѣры, Надежды, Любви и матери ихъ Софіи. Надя была имянинница. На Руси празднованіе имянинъ вытекаетъ нынѣ совершенно не изъ религіозныхъ причинъ. Ѣдятъ, пьютъ, сплетничаютъ и танцуютъ не во имя патрональнаго святого, а потому что случай такой вышелъ. Приходятъ гости, поздравляютъ съ ангеломъ, а сами и не думаютъ объ ангелѣ. Обычай справлять имянины многими оставленъ, — напрасно: отчего подъ предлогомъ «ангела» хоть разъ въ годъ не покормить родню и знакомыхъ? Дороговы держались этого православнаго обычая: обрядъ имянинъ совершался у нихъ съ особеннымъ торжествомъ. На стѣнахъ зажжены канделябры, сняты чехлы съ мебели, постланы парад-

ные ковры по полу. Шолкъ, бархатъ, тончайшее сукно на гостяхъ; дѣти въ праздничныхъ рубашкахъ, дорогихъ сюртучкахъ и курточкахъ, которые надѣваются всего разъ десять въ годъ. Таинственный шумъ платьевъ, свѣтлыя лица, общая предупредительность и утонченная, нѣсколько дѣланная деликатность — все это даетъ торжественный тонъ имянинному дню и заставляетъ искать какого-то особеннаго смысла, котораго, можетъ быть, и нѣтъ на дѣлѣ. Надя принимала поздравленія; люди въ лѣтахъ желали ей хорошаго жениха, молодые—просто счастья. Она ходила въ залѣ подъ руку то съ одной, то съ другой дѣвицами-родственницами, и такъ смотрѣла печально, точно просила пощады... Въ сердцѣ ея разрушена была вѣра въ своихъ, потерянъ смыслъ окружающей жизни и постигла она слово: «пошлость»...

Гостей было человѣкъ сорокъ. Черевaнинъ, на этотъ разъ во фракѣ и отличномъ бѣльѣ, стоялъ подлѣ играющихъ и дожидалъ случая переговорить съ Надей. Онъ интересовался не игрой, а игроками, злобно размышляя о нихъ: «вѣдь это не простые игроки, это — артисты. Я знаю васъ вдоль и поперегъ!.. Къ рефетамъ, табелькамъ, мелкамъ и разнымъ мусамъ они чувствуютъ родственное расположеніе. Играютъ они не столько для выигрыша, сколько изъ любви къ искусству; у всякаго своя система игры, свой стиль, преданія и предразсудки; у нихъ образовался свой языкъ: извѣстны всему крещеному міру «пикендрясы», «не съ чего, такъ съ бубенъ», «безъ шпаги», рефетъ они называютъ «рефетцомъ», бубны «бубешками», разыгрываютъ «сотенку», пишутъ «ремизцы», а не то дерганутъ «всепѣтое скуалико», десять безкозырныхъ вносятъ въ

календарь на томъ же листѣ, гдѣ можно встрѣтить: «надо помянуть раба божія Ивана», пульку не доигрываютъ, а «доколачиваютъ»... Какія рожи солидныя!.. А, вотъ и засмѣялись.

— Чего же, господа, смѣяться? говорилъ Макаръ Макарычъ.

— Какъ вы тузика-то просолили!

— Со всякимъ можетъ случиться несчастіе.

Настаетъ тишина.

Макаръ Макарычъ злится, мрачно выглядывая изъ подлобья, но вдругъ, спохватившись, что это нехорошо, старается насильно улыбнуться; одолѣлъ себя, улыбнулся, но краска все-таки пробилась на щеки, и онъ, глядя въ глаза счастливой партнеркѣ-дамѣ, думаетъ крѣпкую думу: «такъ бы и швырнулъ тебѣ колоду въ лицо!».

— Восемь черви! объявляетъ дама.

Въ душѣ Макара Макарыча поднимается страшная возня, роются тысячи мелкихъ чертенятъ — пошлыя страстишки, дрянной гнѣвъ, ничтожныя заботы и злорадованьице.

«Ишь ты», думаетъ онъ: «улыбается!.. глаза закатила... Господи помилуй, какъ плечомъ-то она поводитъ!» — И не можетъ понять Макаръ Макарычъ, что онъ самъ не можетъ воздержаться, чтобы не отразилась на лицѣ его игра картъ...

— Что, душенька? спрашиваетъ, подходя къ нему, любящая жена...

— Ничего не идетъ, отвѣчаетъ тоскливо Макаръ Макарычъ.

— Попробуй, душенька, писать столбиками.

— Пробовалъ. — ничего не выходитъ.

Жена вздыхаетъ печально...

— Съ твоимъ приходомъ еще хуже; ужъ ладно, душа моя, оставь меня...

Счастливый партнеръ — дама, долженствующая, какъ говоритъ Череванинъ, «смягчать мужскіе нравы», но въ душѣ ея ходятъ преступныя надежды.

«Подождите, господа», думаетъ она съ замираніемъ сердца, точно любящій юноша треплетъ ее по старой щекѣ: «подождите!.. на моей сторонѣ праздникъ!.. Я васъ сегодня всѣхъ оберу!..»

Третій партнеръ, докторъ, серьезно играетъ; передъ нимъ Касимовъ—мальчишка. Онъ изучаетъ игру; на туза смотритъ съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ на генерала, а семерка въ его глазахъ что-то въ родѣ чиновницы въ стоптанныхъ башмакахъ. Докторъ въ преферансѣ служитъ дѣлу, а не лицу; для него важны карты, а не партнеры. Онъ никогда не злится, и торжествуетъ только при открытіи какой нибудь трефонной комбинаціи или бубноваго закона... Макаръ Макарычъ — практикъ, докторъ — философъ, а дама смягчаетъ нравы того и другаго; въ ней олицетворилась золотая середина...

Но что выражаетъ собою четвертый партнеръ? Выиграетъ онъ — ничего, и проиграетъ — ничего: ему все одно. Это факиръ индійскій. Сидитъ факиръ, и вотъ мимо его носу пролетѣла муха, жукъ ползетъ въ травѣ, въ брюхѣ ворчитъ, восходитъ солнце; онъ погрузился въ созерцаніе всѣхъ этихъ явленій. Зачѣмъ они? какой ихъ смыслъ? Ему, добродушному, нѣтъ дѣла до того. Такъ и онъ остановится иногда на мосту, подлѣ портомойной, и смотритъ во всѣ стороны: тамъ щепочку несетъ, въ другомъ мѣстѣ пукъ соломы, бревешко, у пристани всплеснуло что-то, бабы моютъ бѣлье; онъ созерцаетъ все это, наконецъ надумается и плюнетъ

въ воду; плевокъ ударится подъ мостомъ, дастъ кругъ отъ себя и отразится широчайшей улыбкой на его рожѣ, которой не прикрыть и поповской шляпой... Онъ не наблюдаетъ, а просто глазѣетъ, глаза пялитъ; это объективнѣйшая голова; онъ служитъ исскуству для исскуства. То же самое у него и въ преферансѣ.—«Ишь, какъ моего туза хватили!»—думаетъ онъ, и это его не тревожитъ: ему дайте только полюбоваться, какъ его туза хватили. — «Вонъ какъ выходитъ!» разсуждаетъ онъ, объективно глядя на дѣло и ласково улыбаясь...

— Веселенькій пейзажикъ! шепчетъ Череванинъ.— Подождите, я васъ разоблачу передъ Надей...

Онъ читаетъ по ихъ лицамъ, какъ по книгѣ... У Череванина, всегда вѣрнаго своей профессіи, явилось желаніе — опошлить окончательно въ глазахъ Нади ея родню.

«До сихъ поръ», думалъ онъ: «Молотовъ только идеалы ей рисовалъ; онъ не касался этихъ лицъ; но онъ мнѣ поручилъ слѣдить за ходомъ дѣла, и я не опущу случая — потѣшусь...»

Череванину хотѣлось переговорить съ Надей, но Надя была съ дѣвицами... Михаилъ Михайлычъ ходитъ изъ угла въ уголъ: осмотрѣлъ всѣ цвѣты, картины, щипнулъ кота, выпилъ воды стаканъ.

«Этакая скука!» думалъ онъ: «нѣтъ, Егоръ Иванычъ очень снисходителенъ къ этимъ людямъ. Онъ съумѣлъ ихъ всѣхъ оправдать; и я не обвиню, а только выставлю въ настоящемъ свѣтѣ... Онъ говоритъ, что я вижу одну сторону, что здѣсь внѣшняя жизнь освѣщается внутреннимъ огнемъ, какими-то неуловимыми стремленіями, улегшимися въ форму обыденной жизни, безъ порывовъ, страстей и великихъ событій. Но вотъ я разберу эту внутренною жизнь и покажу

Надѣ неуловимый ея огонекъ! Раскроемъ же предъ Надей книгу скучнаго существованія, безцвѣтной жизни человѣческой — пусть поучится!»

Наконецъ Надя осталась одна. Михаилъ Михайлычъ воспользовался этимъ случаемъ и увлекъ ее въ сторону отъ гостей, къ окну. Первый вопросъ Нади былъ о Молотовѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ Надя дала слово Егору Иванычу, она говорила свободно, не стѣсняясь, о такихъ предметахъ, которые до того казались ей крайне щекотливыми. Впрочемъ, ей и некогда было разбирать, что прилично и что неприлично: она ловила вѣсти и совѣты на-лету, и потому отъ художника часто выслушивала рѣчи, какихъ никогда не слыхивала; притомъ и на Череванина она смотрѣла, какъ на человѣка, которому все равно, и который усердствовалъ единственно изъ любви къ искусству. На вопросъ Нади о Молотовѣ, онъ отвѣчалъ:

— Къ нему недавно сваха приходила.

— Зачѣмъ?

— Предлагала семьдесятъ тысячъ приданаго и руку вдовы, купчихи...

— Что же онъ?

— Я совѣтовалъ не упускать случая. «Тебѣ же, говорю, добру молодцу, на роду написано счастье — жениться на молодой вдовѣ. Не съумѣлъ ты, добрый молодецъ, изловить бѣлую лебедушку, такъ съумѣй ты, добрый молодецъ, достать сѣру утицу.»

— Вы все шутите...

— Вотъ и онъ сердится, а свахѣ читалъ цѣлый часъ проповѣдь о безнравственности ея профессіи—думаетъ, и дѣло дѣлаетъ.

— Скоро ли всему этому конецъ?

— Къ чему торопиться?

— Да тяжело вѣдь...

— Такъ что же? Вотъ мнѣ всегда тяжело, а не тороплюсь...

— Вы все о себѣ...

— Ну, давайте о другихъ... Знаете ли что, Надежда Игнатьевна, у меня есть довольно веселая мысль — познакомить васъ съ нашей родней.

— Я давно знаю ее, отвѣчала Надя съ досадой.

— Нѣтъ, не знаете. Напримѣръ, вонъ сидитъ наша Марья Васильевна — страстное, нервное, мечтательное существо, съ теплымъ духомъ и слабымъ тѣломъ. Посмотрите, какое у нея сквозное лицо: синія жилки ясно выступаютъ на лбу, ноздри блѣдно-розовыя, губки всегда открыты. Это единственная сантиментальная дѣвушка въ нашей роднѣ. Она любитъ все грандіозно-поразительное, напримѣръ, ударъ пушки, колокольный звонъ, барабанный бой. Она просила меня нарисовать ей картинку въ альбомъ; я изобразилъ ей всадника, упавшаго съ лошади; узда оборвала ей губы—мясо самое красное, съ кровью; у всадника рука сломана. Она очень благодарила меня за то, что я угадалъ ея вкусъ. Вотъ подите-ка, разскажите этой дохленькой барышнѣ про ея жениха. Вы его знаете?

— Да.

— Нѣтъ, не знаете этого благопристойнаго юношу, у котораго такъ гладко выбриты щеки и снята всевозможная пылинка съ платья. Кажется, ничего нѣтъ замѣчательнаго въ этой личности—тысячи такихъ; но всмотритесь попристальнѣй, вы увидите много особенностей, ему только принадлежащихъ. Попихаловъ—человѣкъ веселый, покладный, услужливый — такъ ли я говорю? Онъ душа дамскаго общества и мастеръ каламбурецъ запустить; личности ничьей не коснется,

остроумія нѣтъ въ его рѣчахъ, а такъ, легкій оттѣнокъ чего-то легчайшаго, получающаго свою миловидность отъ мягкости прононса, поворота головы, умѣнья придать тѣлу то или другое положеніе, отъ особенной манеры держать двумя пальцами папиросу, отъ искусства во-время крякнуть, поддакнуть, подпереть рукой щеку. Онъ глупъ, потому что никогда не сказалъ умнаго слова; но онъ уменъ, потому что никогда не сказалъ глупаго слова. Въ этомъ и состоитъ вся прелесть его юмора. Вѣдь прекрасный человѣкъ?

— Это все я знаю, и какъ все это скучно...

— Потому что самаго веселаго не знаете... Попихаловъ ѣстъ сытно, одѣтъ хорошо, живетъ въ уютной квартиркѣ, а между тѣмъ жалованья получаетъ всего семнадцать рублей въ мѣсяцъ. Объясните же это существованіе. Этотъ мягонькій господинъ просто-напросто мелкій воришка...

— Неужели? спросила Надя.

— Онъ всюду умѣетъ втереться, а у насъ даже въ женихи попалъ. Рѣдкій день Попихаловъ не бываетъ на похоронахъ, свадьбѣ, имянинахъ или крестинахъ, потому что любитъ жизнь хорошую, и потому что въ гостяхъ очень удобно совершать разныя экономическія операціи; напримѣръ, онъ куритъ одну вашу сигару, а отвернулись — другую онъ прячетъ въ карманъ; беретъ по шести кусковъ сахару, конфектъ вдвое болѣе другихъ, а не то стащитъ и гривну со стола. Со службы государственной, изъ департамента, онъ носитъ домой сургучъ, бумагу, перья, веревочки, потому что въ его чинѣ больше нечѣмъ взять съ казны; дома у него копятся кости, гвозди, битое стекло и тряпки, которыя онъ пускаетъ въ продажу. У него тысячи мел-

кихъ оборотовъ. Напримѣръ, онъ записался въ библіотеку, выписываетъ иллюстрированныя изданія, картинки вырѣзаетъ и продаетъ ихъ, а иногда цапнетъ и всю книгу. И вы думаете, что онъ считаетъ себя негодяемъ, что ему стыдно, совѣсть его мучитъ? Онъ съ особеннымъ, непонятнымъ для насъ чувствомъ, относится къ чужой мелкой собственности. Это не воровство, а пользованіе чужимъ безъ спросу. Онъ льститъ, подличаетъ, кланяется и крадетъ неутомимо, съ сознаніемъ своихъ достоинствъ, цѣли и силъ. Такъ уже устроилась его совѣсть. Онъ никогда не дѣйствуетъ противъ своего убѣжденія, а убѣжденія святы.

— Какой онъ негодяй! сказала Надя.

— Зачѣмъ сердиться? Онъ не подлецъ, а дуракъ, житейская бездарность. Для честной жизни нужны высоко-развитыя умственныя способности;—иначе, какъ человѣкъ приметъ противорѣчіе между своей бѣдностью и богатствомъ другихъ? Дураку не докажешь, что деньги надо пріобрѣтать трудомъ. «Нѣтъ», говоритъ онъ: «это не разсчетъ!» — Для глупца трудъ представляется нелѣпостью, когда другіе безъ труда богаты: нужно имѣть довольно сильное логическое развитіе, чтобы выйдти невредиму изъ путаницы житейскихъ фактовъ. Много надо имѣть ловкости, чтобы достать честно копѣйку. Не корми меня живопись, я право, кажется, умеръ бы въ нищетѣ. Для чести нуженъ умъ. За что я уважаю Егора Иваныча? Мнѣ нравится въ немъ эта логическая крѣпость, изворотливость, гибкость ума, знаніе множества средствъ, умѣнье найдти практическіе и въ то же время честные пріемы... А Попихаловъ — дуракъ!

— Что жъ вы не предупредили о Попихаловѣ!

— Кого?

— Родныхъ.

— Зачѣмъ?

— Странный вопросъ!

— Пусть ихъ блаженствуютъ. Дохленькой дѣвицѣ такого и нужно. Попихаловъ въ ея вкусѣ: она, кромѣ барабаннаго боя, любитъ веселости легкія и разсказы о бѣшеныхъ волкахъ, пожарахъ, вертящихся столахъ и т. п., къ чему склоненъ и Попихаловъ. Лѣтъ черезъ десять онъ разбогатѣетъ и они будутъ проживать въ счастіи.

— Но вѣдь она ваша родственница?

— Такъ что же? я-то чѣмъ виноватъ? И всѣ они родственники, и всѣхъ ихъ хочется разрисовать: кого зеленой краской, кого желтой, а кого просто грязью... Надежда Игнатьевна, меня кладбищенство сегодня мучитъ. Дайте мнѣ поговорить, потѣшиться.

— Къ чему?

— Такъ, безъ всякой причины.

— Не понимаю я васъ.

— И не надо понимать. Я просто люблю говорить— вотъ и все... Посмотрите на нашихъ дамъ: какъ онѣ высоко-нравственны, какъ онѣ возненавидятъ васъ за любовь безъ позволенія отца и станутъ презирать за отказъ генералу! Онѣ увѣрены, что ихъ цѣломудріе никогда не нарушается, — и справедливо: оно расходуется по мелочамъ. Дѣло въ томъ, что наши дамы любятъ обнажаться: выставитъ, напримѣръ, локотокъ — на вотъ, смотри, какое у меня бѣлое, нѣжное, хорошо рощенное тѣло; отстегнутъ, какъ будто само отстегнулось, крючочекъ на груди; сядутъ—кринолинъ въ сторону, а ножка въ бѣлоснѣжномъ чулкѣ рѣжетъ глаза и этрусскія красоты приводятъ смертнаго въ трепетъ. Это дамы занимаются экспериментами; онѣ репети-

руются къ свадьбѣ. И какъ онѣ, обнажаясь, умѣютъ прилично держать себя! Все у нихъ выходитъ ненарочно и нечаянно, все само отстегивается, а сами, разговаривая и невинно улыбаясь, бросаютъ мѣткіе взгляды, запоминаютъ позы, замѣчаютъ, какой оборотъ или полуоборотъ производитъ искомое впечатлѣніе. Вонъ Таня подбѣжала къ окну, наклонилась, нюхаетъ цвѣтокъ, а сама отпахнула шелковый рукавъ и откинула граціозно ножку.... Какъ мило выходитъ! Вотъ намъ, мужчинамъ, и приходится служить снарядами для опытовъ этихъ красивыхъ дѣвицъ.

Череванинъ едва не сказалъ: «а вѣдь много есть изъ нашего брата артистовъ по части заглядыванія во всѣ открытыя мѣста на дамскомъ бюстѣ», — но замѣтивъ, что Надя стѣсняется слушать его безцеремонную рѣчь, не рѣшился сказать такую вполнѣ опредѣленную фразу. Ея ухо не пріучено было къ рѣзкостямъ. Молотовъ, относясь отрицательно ко многимъ явленіямъ жизни, рѣдко употреблялъ, въ разговорѣ съ нею, цинническія краски; но зато рельефно очерченные образы художника впечатлѣвали въ ея душу отвращеніе къ окружающимъ лицамъ, нагоняли скуку, торопили скорѣй вырваться изъ заколдованнаго круга, за предѣлами котораго стояла неизвѣданная, полная какого-то глубокаго и широкаго смысла, жизнь съ Егоромъ Иванычемъ... Такъ ей казалось; она вѣрила въ Молотова...

— И вотъ наступитъ вожделѣнное время, продолжалъ Череванинъ: — добрые родственники, общими усиліями, при пособіи экспертовъ, найдутъ жениха; онъ носитъ подарки, его травятъ, но не дадутъ поцалуя до свадьбы. Наконецъ, запоютъ «Исаіе ликуй», настанетъ и пройдетъ медовый мѣсяцъ, и наши дамы становятся спеціалистками въ семейной жизни, устро-

ваютъ хозяйство, прибираютъ мужей къ рукамъ — и можете видѣть второй экземпляръ маменькина счастья. Стремленія ограничиваются кускомъ хлѣба, квартирой, бѣльемъ, посудой и тому подобными принадлежностями. «Сытъ, обутъ, одѣтъ — чего же еще?» Какая-то незримая сила провела этотъ принципъ черезъ жизнь честныхъ людей крѣпче всѣхъ другихъ принциповъ, легшихъ въ основаніе ихъ жизни. «Сытъ, обутъ, одѣтъ?» — какъ это просто и успокоительно! Посмотрите, что здѣсь совершается? Вѣдь все это заведено однажды навсегда, усвоило извѣстныя формы да такъ и замерло въ нихъ. Какія неувлекающіяся, безстрастныя, сознающія свое достоинство лица! Какая крайняя благопристойность, гладко выбритыя рожи, казенныя улыбки, легкія походки и отсутствіе всякой живой мысли! Долго ли понять эту бѣдненькую внутреннимъ смысломъ жизнь? Она вся, какъ на ладони. У этихъ людей ничего нѣтъ своего, нѣтъ нравственной собственности. Все это ходячее повтореніе и подражаніе. Вонъ идетъ господинъ, — что у него своего? Походка отцовская: онъ животомъ впередъ, и ты туда же; улыбнулся ты—точь въ точь сестра старшая; говоря, тычешь пальцемъ въ воздухъ — твоя бабушка такъ тыкала; рѣчь пересыпана поговорками — это взято у товарищей, учителей, родныхъ. Сказалъ ли ты хоть одно свое слово, сдѣлалъ ли что по своему, хоть дрянь какую-нибудь? Что бы ни дѣлали эти люди: смотрятъ ли они на закатъ солнца, ѣдятъ ли горячія щи, Богу ли молятся или хоронятъ отца, — и мысль, и слово, и смѣхъ, и слезы—все у нихъ получено по наслѣдству; и добродѣтели у нихъ не свои, и пороки не свои, и умъ чужой. Что же ты такое, эй, ты, честный человѣкъ? Гдѣ твоя личность, индивидуальность, гдѣ твой та-

лантъ, прибавилъ ли ты хотя грошъ къ нему? Не долго надо жить съ ними, чтобы понять, что эти люди будутъ думать, говорить, дѣлать въ томъ или другомъ случаѣ. Хотите, я разскажу все, что здѣсь случится сегодня, о чемъ будутъ говорить, чему смѣяться? Эта жизнь для меня давно прочитанная книга — скучная книга!

— Скучно же вамъ бываетъ въ гостяхъ!...

— Нѣтъ, ничего. Посмотрите, Надежда Игнатьевна, на Анну Михайловну. Видите, какая она молодая, красивая дама, съ чудесной каштановой косой и голубыми глазами. Она цѣлый часъ сидитъ не перемѣняя положенія: кушаетъ яблоко, легко-легко улыбается, поднимаетъ рѣсницы и, обмахиваясь платкомъ, изрѣдка обнаруживаетъ прекрасныя бѣлыя руки. Вѣдь это воплощенное изящество? Вотъ я вамъ хочу показать, что я знаю, чѣмъ она занята и что чувствуетъ. Она сидитъ въ своемъ прекрасномъ платьѣ, лучшихъ браслетахъ, серьгахъ и кружевахъ, и блаженствуетъ. У ней теперь особаго рода ощущенія — праздничныя, парадныя, которыя не всякій и пойметъ. Она чувствуетъ на себѣ новое платье, золотые браслеты, ловко надѣтую ботинку; если прибавить къ этому, что она въ обществѣ, то есть на стѣнахъ горятъ канделябры, вокругъ торжественныя лица, въ рукахъ десертъ, то вы поймете ея эстетическое довольство — это ощущеніе новой пары и парадности. Такое ощущеніе продолжится весь вечеръ. Когда дома платье снимется, тогда только начнется обыденная жизнь, проза, — а теперь поэзія...

Вечеръ шелъ своимъ чередомъ. Подъ руководствомъ художника, въ глазахъ Нади все приняло иной видъ. Она тосковала. «И нечего дѣлать», думала она, «ждать

надо, какъ день за днемъ тянется это скучное существованіе. Утѣшаютъ, что борьбы не будетъ. Лучше борьба, нежели эта мертвая, давящая неподвижность». Череванинъ окончательно испортилъ ей именинный день. Многое, чего бы она не замѣтила прежде, теперь само бросалось ей въ глаза. Она отошла отъ Череванина прочь и безъ всякой цѣли, дожидаясь, скоро ли кончится вечеръ, стала ходить изъ комнаты въ комнату, отъ одной группы гостей къ другой. Она остановилась подлѣ почтенныхъ дамъ, среди которыхъ старичокъ повѣствовалъ о своемъ ревматизмѣ, который уже десять лѣтъ назадъ излѣченъ. Послѣ него другой старичокъ сказалъ: «вотъ у меня тоже мозоли», и развилъ цѣлую исторію о мозоляхъ. Анна Андреевна сообщила о зубныхъ болякъ, поносахъ, коряхъ и кашляхъ своихъ дѣтей. — Видали ль вы умилительную картину, когда юноша сидитъ среди старухъ, припоминающихъ за всю свою многострадальную жизнь, какъ ихъ стрѣляло, кололо, тошнило, тянуло, ломало и коробило, и когда юноша того только и смотритъ, какъ бы вырваться изъ кружка старухъ? Въ такомъ положеніи былъ молодой Касимовъ. Надя и безъ комментаріевъ Череванина поняла, что все это очень скучно. Только подобныя явленія и останавливали ея вниманіе, а другихъ точно и не было. Вечеръ близился къ концу. Надѣ хотѣлось уединиться; она пошла въ дѣтскую... И дѣти, которыя не задолго играли шумно и весело, теперь утомились, вяло ходили другъ къ другу въ гости, устроивали школу, вѣнчались и т. п. Надю вездѣ преслѣдовала скука.

— Ты будь — маменька, а я — папенька, говорилъ одинъ мальчикъ.

— Нѣтъ, я буду нищая...

— Лучше — маменька.

— Нѣтъ, я буду нищая...

— Братцы, не принимать дѣвочекъ! сказали мальчики...

— И не нужно.... Пожалуйста.... и безъ васъ весело....

— А не будетъ весело!

— А будетъ!

— Не будетъ!

— А будетъ!

— Никогда ты не переговоришь ее, сказалъ Володя:.— ужь дѣвочка ни за что не отстанетъ, а то еще заплачетъ...

— Охъ, ужь и мальчикомъ тоже хорошо быть?.. Я бы ни за что...

— А дѣвочки-то?... въ передничкахъ.... плачутъ всегда....

— Мальчики не плачутъ?

— Ужь вотъ никогда!... «Ай, маменька, букашка!» Охъ вы, народъ!

Надя примирила дѣтей и опять пошла въ залъ, къ гостямъ. Она взяла подъ руку дохленькую барышню и стала ходить съ нею по комнатѣ... Цѣлые полчаса она слушала ея разсказы о женихѣ, Попихаловѣ. Наконецъ она ушла въ свою комнатку и въ изнеможеніи упала на стулъ. Надя была измучена, утомлена своими имянинами. — «Скоро ли кончится вечеръ?» думала: «скоро-ли ночь? Хоть заснуть-бы!» Потомъ ей ужь и думать ничего не хотѣлось; пусто было на душѣ. Дулго она еще сидѣла въ тяжеломъ полузабытьи...

Надя не слышала, какъ загремѣли стулья, преферансъ кончился и насталъ послѣдній часъ праздника.

Въ залѣ шелъ оживленный разговоръ между игро-

ками, столпившимися около стола съ закусками и винами.

— Не нужно допускать обмолвокъ, говорилъ докторъ. — Вы, Макаръ Макарычъ, говорите про себя въ задумчивости: «нѣтъ», и объявляете простой преферансъ, и вотъ слѣва — пасъ, и справа — пасъ. Вы запугали игроковъ, а потомъ смѣетесь. Серьезная игра должна совершаться молча, позволяется говорить только техническія слова игры. Даже такія фразы: «а вотъ я вашего туза по боку», — зачѣмъ онѣ? Онѣ развлекаютъ игроковъ и мѣшаютъ, такъ сказать, систематической игрѣ... Я двадцать три года играю; я помню тысячи фактовъ и пріобрѣлъ нѣкоторую опытность въ дѣлѣ; это составляетъ мою систему, — понимаете? Послѣ игры, я вспоминаю всѣ свои выходы, взятки, риски, всѣ комбинаціи преферанса, и потомъ соображаю: какъ? что? почему? Пища для ума; я занятъ день, недѣлю, дохожу до новыхъ соображеній. А разныя обмолвки мѣшаютъ дѣлу.

— Господа, положить за правило — молчать во время игры, сказали партнеры:

— Назначить ренонсъ!

— Двойной!

Докторъ, подозрительно осмотрѣвшись во всѣ стороны, показалъ знакомъ, чтобы игроки подвинулись къ нему. Игроки стѣснились около доктора, и онъ сказалъ шопотомъ:

— Вотъ что, господа, — бабъ не принимать...

— Ну ихъ къ чорту! отвѣтилъ Макаръ Макарычъ.

— Только киснутъ — никакого риску!

— Пусть составляютъ бабій преферансъ!

— Преферансъ и дѣло не женское, — это не то, что чулки вязать, заключилъ докторъ...

— Вотъ что, сказалъ онъ, возвышая голосъ: — по моему, не выигрышъ въ двѣ копѣйки фишь интересуетъ игрока. Плата есть премія за искусство, а съ другой стороны гарантія серьезности дѣла: чѣмъ выше цѣна, тѣмъ вниманіе напряженнѣе.

«Вотъ оно! думалъ себѣ Череванинъ, закусывая среди игроковъ. — Теперь наступитъ гробовое молчаніе за зеленымъ столомъ, будетъ совершаться мистерія, будутъ вырабатываться бубновые принципы и червонная нравственность. Вѣдь это развивается жизнь по своимъ законамъ, ростетъ и видоизмѣняется, — это шагъ впередъ, какъ выражается Егоръ Иванычъ...»

За ужиномъ случилось событіе, которое показало, что Череванинъ ошибался, когда говорилъ: «я могу разсказать все, что будетъ сегодня.»

Надя сидѣла среди молодыхъ дѣвицъ и рада была, что кончается день. — «Еще нѣсколько такихъ дней», думала она: «и конецъ моей неизвѣстности.» — Отецъ часто останавливалъ свой взоръ на лицѣ Нади, и въ глазахъ его отражались поперемѣнно то ненависть къ дочери, то сомнѣніе въ чемъ-то. Онъ хотѣлъ заставить Надю единственно силою своей воли — поднять глаза; но она не чувствовала вліянія его взглядовъ. Анна Андреевна съ изумленіемъ видѣла, какъ мужъ налилъ себѣ уже пятую рюмку вина. Многіе гости замѣтили, что Игнатъ Васильичъ какъ-то особенно недоброжелательно смотритъ на дочь-имянинницу, и не понимали, что это значитъ. Подали шампанское.

Дороговъ, съ замѣтной для всѣхъ блѣдностью въ лицѣ, всталъ со своего мѣста, поднялъ бокалъ, сухо и строго проговорилъ тостъ:

— За здоровье нашей дорогой имениннцы и нареченной невѣсты...

На минуту все смолкло. Потомъ съ страшнымъ крикомъ принятъ тостъ.

Надя окаменѣла. Она не ждала такого удара.

— Кто женихъ? раздался въ массѣ говора чей-то громкій вопросъ.

Опять все стихло.

— Его превосходительство, Алексѣй Иванычъ Подтяжинъ.

Настала мертвая тишина. Эффектъ былъ черезчуръ силенъ. Трепетъ пробѣжалъ по всему собранію. У Нади же въ глазахъ помутилось и въ головѣ стучало. Около нея столпились гости съ бокалами въ рукахъ. Блѣдная, какъ полотно, она смотрѣла на отца и готова была упасть. Всѣ замѣтили ея волненіе, смертельную блѣдность и отчаяніе, которое высказалось во всѣхъ чертахъ лица. Мать, видя, что Надѣ дурно, подошла и сказала: «что съ тобой?» Череванинъ ей шепнулъ съ другой стороны: «рѣшайтесь, говорите, что̀ Богъ на душу положитъ... Объявите Молотова». Надя едва разслушала его, сжала свои руки, такъ что суставы хрустнули въ пальцахъ, и опустила голову на грудь. Страшно ей. Больше ста глазъ смотрятъ на Надю, и въ иныхъ уже свѣтится зависть, злость, насмѣшка, — и всѣ молчатъ. Хоть бы закричали «ура», заглушили радостнымъ, родственнымъ ревомъ нестерпимую боль въ груди. Молчатъ. Но вотъ точно изъ одного горла вырвался восторгъ, закричали «ура», бьютъ ножами въ столъ и тарелки, подняты бокалы, клубится вино, и все-таки смотритъ множество глазъ. Теперь ей думается: «чего они ревутъ? чему обрадовались?»—тогда какъ у ней болитъ все тѣло и такъ мало воздуха въ груди. Она пошатнулась... еще минута, и — упала бы въ обморокъ. Но Михаилъ Михайлычъ шепнулъ въ это время: «говорите

что нибудь, а не то я отвѣчу за васъ... Зачѣмъ вы ихъ боитесь?» Надя съ необыкновенной силой воли собралась съ духомъ и что-то заговорила... Голосъ ея пропалъ среди крика. Но гости, замѣтивъ, что она хочетъ сказать что-то, стали останавливать другъ друга и черезъ минуту снова воцарилось молчаніе. Отецъ былъ едва ли не блѣднѣе дочери...

— Папенька, я не иду за Подтяжина, начала Надя.

— За Молотова, подсказалъ Череванинъ.

— Я пойду за Молотова.

Голосъ прервался; она опустилась на руки Череванина и матери. Съ ней былъ легкій обморокъ. Изумленіе было всеобщее; лица вытянулись, бокалы замерли въ рукахъ. Чрезъ довольно замѣтное время поднялся шумъ и жужжанье, которое слышала Надя, точно сквозь сонъ. Она опомнилась нѣсколько и ее увели изъ зала. Дороговъ тоже вышелъ вонъ, качаясь не отъ хмѣля, а отъ душевнаго потрясенія. Онъ увѣренъ былъ, что дочь не осмѣлится заявить свое слово, когда онъ объявитъ ее невѣстой при всѣхъ публично, что она не рѣшится на скандалъ, — но она рѣшилась. Дорогову нанесенъ былъ страшный ударъ, полный, неотразимый. Онъ съ позоромъ ушелъ въ свою комнату, и, бросившись въ постель, вцѣпился въ подушку старыми зубами... Рыдать ему хотѣлось, но горло какъ веревкой перехвачено. Мучительный часъ пережилъ онъ и потому только не проклялъ дочь свою, что не пришли въ голову проклятія... Онъ былъ пораженъ...

Гости разошлись печально, не простясь съ хозяевами, разсуждая о событіи, которое въ роднѣ въ сто лѣтъ случилось однажды. Надя спала безъ сновидѣній, убитая и задавленная. Череванинъ, выходя изъ дому, клялся, что онъ нагадитъ всей роднѣ. Одно лишь было

утѣшительно: мысли матери просвѣтлѣли въ эту ночь. Она съ изумленіемъ спрашивала сама себя: «за что ея дочь страдаетъ?» Ей жалко было Надю.

Праздникъ кончился.

Чиновная коммуна, связанная родной кровью, была глубоко потрясена, когда услышала, что въ ихъ родню вступало такое вліятельное лицо, какъ генералъ Подтяжинъ. Казалось, сильная, огромная, благодѣющая рука поднималась надъ коммуной и готова была бросать въ среду ея чины, кресты и оклады. Эта въ своемъ родѣ оригинальная коммуна, цѣльная, сплоченная въ одну массу, перерождавшаяся въ продолженіе ста лѣтъ изъ чистаго, кровнаго плебейства въ полумѣщанское чиновничество, съ трепетомъ и замираніемъ сердца думала, что силы ея, вышедшія когда-то изъ народа въ лицѣ знаменитой прабабки, теперь акклиматизируются въ департаментахъ окончательно, и тогда кто посмѣетъ сказать, что родоначальники ея — мужики и мѣщане? Въ увлеченіи, родные мечтали, что современемъ можно будетъ сказать о департаментѣ жениха: «департаментъ *нашъ;* онъ весь нашъ родня; и молодое поколѣніе, которое лежитъ еще въ пеленкахъ, здѣсь же найдетъ впослѣдствіи пріютъ и занятія». Все это быстро пронеслось въ головахъ мирныхъ семьянъ-родственниковъ, когда Игнатъ Васильичъ объявилъ Надю нареченною невѣстою генерала; но вотъ Надя отвѣчала: «я не иду за него», и родня была поражена, оглушена. Лишь на другой день она одумалась, и въ мирныхъ семьяхъ чиновниковъ раздалось призывное слово: «работать, работать!.. за дѣло!.. Спасайте коммуну!» Надѣ предстояла борьба уже не съ одними членами

своей семьи, но со всѣми, кого она только знала... Всѣ на нее!

На другой день послѣ имянинъ, большая часть родственниковъ собралась у доктора. Сразу въ одинъ часъ они возненавидѣли Молотова, какъ злѣйшаго врага своего; въ одно мгновеніе личность человѣка, прежде порядочнаго въ ихъ глазахъ, превратилась въ отъявленно-подлую и отвратительную, какъ будто въ ихъ благонамѣренныхъ душахъ давнымъ-давно копилась и зрѣла вражда къ Молотову и теперь вся вылилась наружу, вся сказалась. Въ собраніи родныхъ раздавалась брань противъ Молотова, слышалось слово: «мерзавецъ!» — и если бы всѣ пожеланія ихъ исполнились, то Егоръ Иванычъ спокаялся бы, зачѣмъ до сихъ поръ живетъ на свѣтѣ. Но все-таки они не знали, что дѣлать, волновались, шумѣли, удивлялись событію, потому что Надя, какъ бы ни поучалъ ее Молотовъ, говорила правду: въ роднѣ ея существовала только обязательная любовь. Болѣе пятнадцати головъ, думавшихъ крѣпкую думу, не знали, на что рѣшиться. На любовь Нади они смотрѣли, какъ на чудо, какъ на нелѣпое уродливое исключеніе, которое совершается въ сто лѣтъ однажды: но все же не могли они отрицать фактъ и поняли, что если совершился вчерашній скандалъ, то, значитъ, любовь Нади не капризъ, не блажь, не пустая привязанность, что она на все готова. Въ ихъ головахъ рождались душеспасительныя и дикія мысли.

Пришелъ и Дороговъ. Его окружили всѣ.

— Что это случилось у васъ? какъ вы допустили? Что дѣлать теперь? поднялись со всѣхъ сторонъ вопросы.

— Ничего не знаю, отвѣчалъ Дороговъ съ отчаяніемъ.

— Вы совсѣмъ растерялись, сказалъ ему Рогожниковъ...

— Что же я дѣлать буду?

— Должны вразумить Надю...

— Вразумлялъ.

— Вы разскажите ей все о Молотовѣ, всю его подноготную; надо вывести его на свѣжую воду, и Надя сама увидитъ, что это за человѣкъ.... Она испугается его....

— Что же я знаю о Молотовѣ?

— Какъ, вы не знаете до сихъ поръ этого нехриста, этого отпѣтаго безбожника? Развѣ вы не знаете, что у него нѣтъ даже образа въ домѣ, креста на глоткѣ? садится за столъ, рожи не перекреститъ, родителей не поминаетъ, въ церковь не ходитъ. Говорили вы это Надѣ, или нѣтъ?

— Неужели это правда? спросили въ одинъ голосъ взволнованные родственники.

— Честное слово, прости ты меня Господи! отвѣчалъ Рогожниковъ. — Онъ даже не любитъ разсуждать о дѣлахъ вѣры: «Я не сержусь», говоритъ, «на васъ за то, что вы такъ или иначе вѣруете; не сердитесь на меня и вы за мои убѣжденія.»

Это поразило родственниковъ, но болѣе всѣхъ подѣйствовало на отцовское сердце Дорогова.... «Погубитъ мою дочь этотъ человѣкъ!» думалъ онъ со страхомъ и едва не закричалъ: «спасите, спасите ее!» Онъ съ яростью тигра готовъ былъ защищать Надю отъ когтей Молотова... Къ прежнимъ побужденіямъ выдать Надю за генерала прибавилось еще новое, которое окончательно, послѣдней петлей захлеснуло сердце

Игната Васильича и распалило его непобѣдимое упорство....

— Не дамъ я погибнуть своей дочери! сказалъ онъ энергично.

— Надо разсказать ей о Молотовѣ...

— Да, да!...

— Это я сдѣлаю, вызвался Рогожниковъ: — я ей открою глаза... Она заблуждается, несчастная...

— Неужели и послѣ этого она будетъ любить Молотова?

— Онъ опротивѣетъ ей.

Читатель спроситъ: «правду-ль говорили о Молотовѣ, или клеветали на него?» — Что отвѣчать на такой вопросъ? Не изъ пальца же высосалъ Рогожниковъ, и вѣрно, правду говорилъ. Ему всѣ повѣрили съ радостью, охотно. Но этимъ дѣло не кончилось. Когда человѣкъ золъ на человѣка, онъ узнаетъ и разскажетъ всю подноготную своего врага, подсмотритъ и подслушаетъ, припомнитъ, что давно забыто — и за все будетъ казнить. Послѣ Рогожникова, явился обвинителемъ Попихаловъ, который, въ качествѣ будущаго родственника и посѣтителя всевозможныхъ собраній, участвовалъ на семейномъ совѣтѣ, хотя впрочемъ его никто не приглашалъ.

— Извините, господа, началъ онъ вкрадчиво и почтительно:—если въ вашу рѣчь я вставлю свое слово...

— Говорите, говорите...

— Я осмѣливаюсь считать васъ почти родственниками....

— Ну, разумѣется.

— Мнѣ кажется, есть свѣдѣнія о Молотовѣ, которыя сильнѣе подѣйствуютъ на Надежду Игнатьевну...

— Что такое?

— Молотовъ, всего года четыре назадъ, имѣлъ непозволительную связь...

— Съ кѣмъ?

— Съ одной вдовой-чиновницей; я ее знаю и думаю, нельзя ли достать какіе нибудь документы, напримѣръ письма...

— Вы можете достать письма?

— Не ручаюсь, но надо попытать. Богъ знаетъ, можетъ быть у него и...

Попихаловъ нѣсколько смѣшался и замялъ рѣчь свою...

— Что, что такое? спросили его съ любопытствомъ...

— Я хотѣлъ сказать, что можетъ быть у него и дѣти были, судя по долговременности связи...

Слушатели были поражены; никто не предвидѣлъ послѣдняго обвиненія. Съ каждою минутою личность Молотова освѣщалась все болѣе и болѣе невыгодно для его репутаціи... Радость неподдѣльная, самая искренняя на лицахъ собесѣдниковъ. Добрые люди торжествовали при открытіи, что вотъ Молотовъ — безбожникъ, Молотовъ развратникъ...

— Доказательства есть? спросили самые благоразумные...

— Судебныхъ, пожалуй, и нѣтъ, но зачѣмъ они! — лишь бы убѣдить Надежду Игнатьевну, и Молотовъ отъ ней самой получитъ отказъ, тѣмъ болѣе, что это не первый случай въ жизни Егора Иваныча...

Лица повеселѣли. Родственники были счастливы въ настоящую минуту: имъ казалось, что они навѣрняка губили репутацію Егора Иваныча. Одинъ лишь Дороговъ съ каждой минутой свирѣпѣлъ, представляя себѣ,

что онъ оскорбленъ, какъ семьянинъ; опять вспомнилась собственная юность и рисовались картины Надиной любви, созданныя его небезгрѣшнымъ воображеніемъ...

— Послѣ вдовы Егоръ Иванычъ имѣлъ еще сомнительныя знакомства, продолжалъ Попихаловъ: — мнѣ положительно извѣстно, что онъ...

— Договаривайте...

— Посѣщалъ такъ-называемыхъ камелій...

Дороговъ поднялся со стула и отошелъ въ сторону.

— Онъ знакомъ, говорилъ Попихаловъ: — съ актеромъ Ступинымъ; у этого актера... Ужь извините, я буду говорить прямо...

— Ну, да, нечего тутъ стѣсняться! разоблачайте его!..

— У Ступина есть содержанка; у нея Егоръ Иванычъ крестилъ дѣтей.

— Господи, часъ-отъ-часу не легче! проговорилъ Дороговъ.

— Наконецъ, извѣстно, что Молотовъ помогалъ одному пріятелю деньгами и совѣтами, когда пріятелю нужно было увезть дѣвицу изъ дома ея опекуна...

Игнатъ Васильичъ взялся руками за голову, и, стиснувъ зубы, въ душѣ своей проклялъ все на свѣтѣ. — «И этотъ человѣкъ едва не жилъ у меня?» думалъ оскорбленный отецъ: «что онъ хотѣлъ сдѣлать съ Надей?» — Дороговъ былъ опозоренъ на всю родню, гласно...

— Надо довести до свѣдѣнія Надежды Игнатьевны, заключилъ Попихаловъ, и тогда дѣло приметъ совсѣмъ другой оборотъ...

Состоялось общее рѣшеніе опозорить Молотова въ глазахъ Нади. Ко всему этому прибавились еще тыся-

чи случаевъ изъ жизни Егора Иваныча, тысяча мельчайшихъ чертъ его характера, и наконецъ возникъ вопросъ:

— А откуда у него пятнадцать тысячъ?

Рѣшено:

— Укралъ!

— Гдѣ?

— Гдѣ нибудь, да укралъ! Такой человѣкъ на все способенъ...

Что же авторъ не защищаетъ своего героя? Что жъ и защищать его? Денегъ онъ не кралъ, и впослѣдствіи самъ Молотовъ разскажетъ, откуда у него взялись тысячи. Относительно же любовныхъ похожденій Молотова скажу, что въ словахъ Попихалова была и правда. Дѣтей у него не было, документовъ интимнаго свойства не существовало, но другія обвиненія, пожалуй, нѣсколько справедливы...

Мы съ своей стороны отвѣтимъ на одинъ только вопросъ: «любилъ ли когда нибудь Молотовъ?»

Такому вопросу мы придаемъ важное значеніе въ дѣлѣ характеристики. Какъ бы ни былъ человѣкъ прозаиченъ, но имѣетъ же онъ хоть фунтъ хорошей крови въ организмѣ и пару мыслей о женщинѣ въ головѣ. Молотовъ, хотя бы онъ былъ холоденъ, какъ мѣдно-красный индіецъ, идеально или матеріально увлекался,—это-то и нужно знать. Каждому смертному жизнь даетъ извѣстную долю любовнаго продукта, имѣющаго тотъ или другой характеръ, смотря по темпераменту и нравственному развитію. Авторъ обязанъ представить факты, при чемъ, само собою разумѣется, поэтическія ходули и ломанье не имѣютъ мѣста. Мы въ романѣ не дѣйствующее лицо, а смотримъ на событія и характеры со стороны, относимся къ нимъ холодно,

безстрастно, никого не обвиняя и не оправдывая... Извѣстное дѣло, что всякій считаетъ любимаго человѣка выше всѣхъ на свѣтѣ, и это не заблужденіе, потому что для влюбленнаго предметъ его любви въ данное время дѣйствительно божество; но зачѣмъ же авторъ вмѣстѣ съ героями будетъ считать ихъ божествами? Авторъ, по законамъ природы, самъ имѣетъ полное право быть влюбленнымъ и, по тѣмъ же законамъ природы, считать предметъ своей любви выше всѣхъ на свѣтѣ, даже героевъ своей повѣсти. Поэтому какая нужда скрывать что нибудь? Лгать не только безнравственно, но и безполезно.—Такъ и будемъ писать.

Въ началѣ юности, когда проснулся организмъ Молотова, онъ встрѣтилъ въ жизни прекрасную кисейную дѣвушку, которая, несмотря на всю свою неразвитость, заставила его крѣпко призадуматься объ отношеніяхъ къ женщинамъ. Въ натурѣ Молотова было много матеріальнаго, необузданнаго, и первыя интимныя отношенія къ такой дѣвушкѣ, какъ Леночка, имѣли на его характеръ вліяніе благодѣтельное, смягчающее и одухотворяющее. Поэтичнѣе онъ не сдѣлался, но сталъ осторожнѣе и честнѣе въ отношеніяхъ къ женщинѣ. Былъ ли онъ человѣкомъ внѣшнихъ обстоятельствъ, или не развился онъ окончательно, только ему, до знакомства съ Надей, не удалось ни разу увлечься всецѣло, и любовь его проявлялась какъ-то односторонне... Такъ онъ, скоро послѣ Леночки, увлекся дочерью генерала Прокопина, Анной Ѳедоровной, которая была въ полномъ смыслѣ красавица. Онъ ни прежде, ни послѣ того не встрѣчалъ женщины изящнѣе ея. Онъ съ перваго же раза былъ пораженъ красивой, художественной фигурой Анны Ѳедоровны. Эта женщина способна была страстно увлечься искусствомъ. Произведенія по-

этовъ, картины знаменитыхъ художниковъ, античныя статуи, серьезная музыка, картины природы—составляли ея насущную потребность, она жила среди прекрасныхъ образовъ, и это отразилось на ней самой. Ея существованіе было глубоко-изящно. Въ губерніи Прокопинъ жилъ только лѣтомъ, а зиму въ Петербургѣ, гдѣ у него было самое избранное знакомство, цвѣтъ общества: люди замѣчательные либо по общественному положенію, либо по талантамъ. Онъ скоро сошелся съ нею, и высказалъ меценаткѣ свое несозрѣвшее міросозерцаніе. Она слушала его внимательно и однажды сказала: «изъ васъ выйдетъ замѣчательный дѣятель; такіе люди, какъ вы, нужны для общества; вы не будете представителемъ науки или искусства, но станете во главѣ практическаго движенія». — Молотовъ хотя не повѣрилъ меценаткѣ, но все-таки почувствовалъ спокойствіе, когда сошелся съ нею. Чаще и чаще хотѣлось ему видѣть Анну Ѳедоровну. Она объясняла ему смыслъ и красоту художественныхъ произведеній. Все, что было грязно, порочно или несчастно, она отстраняла отъ себя, потому что все это было неизящно и не давало эстетическихъ наслажденій. Молотову казалось, что ей слѣдуетъ занять мѣсто въ эрмитажѣ, на мраморномъ пьедесталѣ, среди произведеній искусства — такъ она была хороша. Онъ, незамѣтно увлекаясь, дошелъ до обожанія, до поклоненія, о чемъ и проговорился ей нечаянно. По этому поводу Анна Ѳедоровна сказала: «я полюблю только очень замѣчательнаго человѣка, знаменитость». Она говорила правду, и Молотовъ понялъ свое положеніе. Если бы онъ написалъ геніальную поэму, сдѣлалъ знаменитое открытіе въ наукѣ, рѣшилъ государственный вопросъ, или взялъ крѣпость, тогда она охотно пошла бы подъ вѣнецъ съ

Молотовымъ. Но Молотовъ былъ простой парень, ученый мужикъ и не могъ же сдѣлаться геніемъ по приказанію этой изящной женщины. Наступила зима, Прокопины уѣхали въ столицу, и образъ красавицы скоро стушевался и легъ въ душѣ подлѣ образа Леночки... Послѣ того у Молотова не было увлеченій: носило его съ мѣста на мѣсто, нигдѣ онъ не могъ основаться надолго и по тому самому завязать романа. Нѣсколько разъ хотѣли женить его, но онъ и не думалъ о томъ.... Вотъ въ это время, Молотовъ, какъ и всѣ мужчины, тратилъ себя не жалѣя. Изъ тысячи молодыхъ людей нашего времени остается ли одинъ даже до шестнадцати лѣтъ невиннымъ?—Молотовъ не былъ исключеніемъ. Поэтому обвинять его было не трудно; Попихаловъ обвинитъ, если угодно, самого Ромео—за фактами дѣло у него не станетъ. Молотовъ до тридцати трехъ лѣтъ прожилъ холостякомъ,—какъ же автору оправдать его? Никто не повѣритъ и выйдетъ идиллическая пастораль. Вдова была послѣдняя его привязанность, но онъ былъ знакомъ съ ней не болѣе мѣсяца,—это была еще молодая и красивая, но злостная, ядовитая баба, желавшая прибрать его къ рукамъ. Четыре года прошло, какъ Молотовъ жилъ безупречно... Онъ увѣрился было, что неспособенъ влюбиться, и сталъ мечтать, какъ лѣтъ подъ сорокъ вступитъ въ законный бракъ съ какой нибудь тридцатилѣтней дамой, чтобы не обижать ужь молодыхъ. Онъ обдумалъ и планъ, какъ до заката дней дотянетъ свою жизнь безпечально, и самъ предсказалъ свое грядущее: работы на столько, чтобы отдохнуть захотѣлось и было бы сытно и не совѣстно, а во время тошноты отъ скуки, которая хватаетъ за горло людей съ неудавшейся жизнью, — рюмка вина, моціонъ или книга. Все было разсчитано и похоронено; стало кис-

нуть сердце; сдѣлался онъ сухъ и эгоистиченъ. Молотовъ думалъ, что отходитъ его молодость, а Надя въ это время только-что расцвѣла, и вотъ встрѣтились эти два человѣка. Въ душѣ Молотова ожили лучшіе инстинкты; онъ медленно увлекался, но тѣмъ больше сильно; узки и мелки показались ему разсчеты житейскіе, такъ что онъ не могъ говорить съ Надей спокойно, когда она защищала бракъ безъ любви. Сила привычки, долгаго знакомства и откровенности съ Надей сдѣлали то, что онъ лишался въ ней точно жены, а не невѣсты. Егору Иванычу нужна была умная женщина, — Надя сказала ему: «мнѣ не поэзію надо, я знать хочу». — Надя хотѣла выйдти изъ жизни замкнутаго круга, — Молотовъ указывалъ ей дорогу, — и вотъ они сдѣлались женихъ и невѣста... Теперь хотятъ обвинить Молотова передъ Надей.

Родственный сеймъ, послѣ совѣщанія, разошелся съ полной надеждой, что опозоренная личность Молотова сдѣлается противна для Нади, и въ тотъ же день ей были объяснены поведеніе и характеръ Егора Иваныча. Но всѣ были удивлены, когда узнали, что Надя ничему не повѣрила; а удивляться было нечему, потому что она любила Молотова, къ роднымъ же теряла уваженіе съ каждою минутою... Нѣтъ, вѣрно, не воротить стараго: чужой человѣкъ давно былъ дороже своихъ. Стали искать причину,—отчего Надя такъ упорно шла на очевидную, какъ казалось, опасность, и не могли отыскать ее.

На другой день отыскали причину...

Игнатъ Васильичъ самъ подслушалъ, какъ Михаилъ Михайлычъ повторялъ Надѣ свои наставленія и дока-

зывалъ, что Егоръ Иванычъ нравственнѣе всей родни ея, взятой вмѣстѣ.

Въ сердцѣ Игната Васильича былъ неистощимый запасъ бѣшенства. Каждый день онъ волновался, дрожалъ отъ злости, блѣднѣлъ; много ночей онъ не спалъ, но нервы его все еще не теряли способности раздражаться, не тупѣли, а напротивъ, пріобрѣтали страшную упругость и силу. Дороговъ едва не собственноручно выгналъ Череванина изъ дому. Но Михаилъ Михайлычъ, слушая брань его, медленно убиралъ работу и, уходя, сказалъ Надѣ:

— Надежда Игнатьевна, терпѣніе...

— Несчастная! проговорилъ отецъ, когда они остались вдвоемъ...

Надя рѣшилась молчать...

— Сегодня послѣдній день твоимъ капризамъ...

«Что жъ они сдѣлаютъ?» думала Надя...

— Я тебѣ сказалъ, что ты въ жизнь свою не увидишь Молотова. Помни, что мое слово ненарушимо, и подумай о себѣ. Я ненавижу его, какъ злѣйшаго врага своего. Ты разрушаешь мое счастіе, и я этого не прощу тебѣ. Никто не можетъ насильно поставить тебя подъ вѣнецъ, но какъ же ты безъ моего согласія пойдешь за Молотова? И вотъ даю тебѣ честное, крѣпкое слово, что ты готовишь себя къ страшной бѣдѣ. Знаешь, что я тебѣ скажу?

Надя не отвѣчала...

— Тебѣ говорилъ Череванинъ, что все пройдетъ; нѣтъ, неправда это... Если ты не покоришься, я ни за кого не отдамъ тебя замужъ... ты навѣки останешься дѣвкой... Молотовъ не будетъ моимъ зятемъ... Что, угадалъ Михаилъ Михайлычъ? Правду говорилъ онъ,

что на дняхъ кончится твой романъ? Онъ никогда не кончится... Ты — обреченная старая дѣвка!

Надя вздрогнула...

— Не Череванинъ, а я предскажу тебѣ будущность; я напишу тебѣ послѣднюю главу твоего романа—длинна она будетъ, дочь моя...

Надя почти съ ужасомъ прислушивалась къ зловѣщимъ словамъ отца.

— Ты не любишь насъ, продолжалъ отецъ: — увѣрена, что мы разрушили твое счастіе; и я не люблю тебя, потому что ты погубила мое спокойствіе. И вотъ съ этой же минуты знай, на что ты рѣшаешься. Ты останешься жить среди людей, которыхъ отвергла душевныя просьбы, будешь хлѣбъ ихъ ѣсть, нищенствовать, проживать у нихъ... Простятъ они тебѣ? Ты сама видишь, какъ съ тобой жить тошно стало, и все-таки остаешься съ нами, чтобы окончательно отравить наше существованіе. Ничего, живи съ нами и каждый день наслаждайся, какъ около тебя будетъ все сохнуть, старѣть и горбиться. Нѣтъ, я тебя не прокляну, не выгоню изъ дому, не пущу къ Молотову, на котораго ты надѣешься и вотъ въ эту же минуту о немъ мечтаешь: «Гдѣ онъ? Что теперь думаетъ и дѣлаетъ?... Когда ты съ нимъ увидишься?..» Оставайся-жъ старой дѣвкой! — вотъ тебѣ наказанье, и всю жизнь ты будешь чувствовать, какой великій грѣхъ — противиться родительской власти! Никто тебя не выручитъ и не пожалѣетъ, несчастная! «Терпѣнье!» сказалъ этотъ негодяй,—испытай свое терпѣнье... Старая дѣвка! — сказалъ отецъ со злобой и посмотрѣлъ на Надю съ ненавистью...

— О, Господи, это хуже проклятья! проговорила она...

— Голодная старая дѣвка!.. Живи среди насъ, объѣдай своихъ младшихъ братьевъ и сестеръ и учи ихъ потихоньку ненавидѣть отца...

Надя чувствовала, какъ она каменѣла, превращалась въ бездушное существо, кровь останавливалась въ ея жилахъ; но она съ напряженнымъ вниманіемъ вслушивалась въ ужасныя заклятія на жизнь свою... Отецъ же точно помѣшался и не останавливалась его безумная рѣчь...

— Что ты будешь дѣлать, когда отца твоего не станетъ? Ты не получишь тѣхъ четырехъ тысячъ, которыя я обѣщалъ тебѣ въ приданое... Не стоишь... И вотъ ты пойдешь таскаться по братьямъ, у родныхъ нищенствовать, сядешь на чужіе хлѣбы, дармоѣдничать будешь,—и такъ весь вѣкъ въ зависимости отъ людей... Опомнись, тебѣ двадцать третій годъ! Что за нелѣпое упрямство?

Надя смотрѣла на него съ изумленіемъ...

— Или не думаешь ли ты, что проживешь какъ-нибудь своими трудами и никому не будешь въ тягость?

Надя ничего не думала.

— Мужчинѣ, и то дѣльному и здоровому, подъ силу жить своими трудами, а не вамъ, бабамъ. Что ты знаешь, чему училась, на что способна, куда и кто тебя приметъ? Въ швеи, что ли, пойдешь?

— Боже мой! проговорила Надя.

— Или скажешь: зачѣмъ же тебя не учили ничему? Неблагодарная тварь! Я тебя ничему не выучилъ? я не воспитывалъ? Кого во всей роднѣ нашей такъ заботливо ростили, какъ тебя? Вспомни, какъ, бывало, послѣ цѣлаго дня службы, я по вечерамъ училъ тебя азбукѣ и письму; потомъ третью часть жалованья отдавалъ этому мерзавцу Молотову—добру онъ наставилъ; развѣ

я не чуть не въ ногахъ валялся у князя, чтобы опредѣлить тебя въ заведеніе его пансіонеркой; подарки дѣлалъ начальству, ночи не спалъ отъ заботъ, молебны служилъ, чтобы тебѣ Господь смыслъ далъ; семь лѣтъ слѣдилъ за тобой, какъ за своею совѣстью, — вѣдь ты первая и любимая дочь моя!.. Много ли дѣвицъ, которыя, какъ ты, умѣютъ держать себя въ обществѣ, танцовать, говорить? Откуда все это у тебя? На свои деньги, что ли, купила?.. Все моя спина гнулась отъ работы на васъ, бездушныхъ тварей!.. Говори что-нибудь, деревянная кукла!.. Оправдывайся!..

Надя безсмысленно улыбнулась...

— Ты смѣешься еще? крикнулъ отецъ въ бѣшенствѣ.

Наконецъ, стали слезы подступать къ горлу Нади. Летаргическое оцѣпенѣніе миновалось. Тяжелый, порывистый вздохъ вырвался изъ ея груди. На лицо пробилась кровь большими пятнами...

— Ты нарочно бѣсишь меня? говоритъ отецъ:—бѣсишь грустной рожей, молчаньемъ, слезами...

Надя заплакала.

— Говори что-нибудь!

Отецъ подошелъ къ ней, положилъ, какъ прежде, на Надины плеча тяжелыя руки и съ внимательной, оскорбительной, дерзкой злобой смотрѣлъ ей въ лицо.

— Надя, молишься ты за меня Богу? спросилъ онъ медленно и самъ поблѣднѣлъ...

Судорожный трепетъ пробѣжалъ по членамъ Нади. Плачъ переходилъ въ рыданіе...

— Молишься ли Богу?

— Молюсь, отвѣчала она прерывающимся голосомъ: — чтобы онъ смягчилъ ваше сердце...

— Любилъ я тебя, Надя, а теперь не люблю... Опро-

тивѣла ты мнѣ!.. Вспомни, билъ ли я тебя когда-нибудь, наказывалъ ли, знала ли ты розгу? И я тебя ласкалъ и лелѣялъ, цаловалъ и имя далъ Надежда... Теперь мнѣ ударить тебя хочется...

Смертная блѣдность разлилась по лицу Нади...

«Ударить», подумала она и закрыла глаза въ ужасѣ...

И вотъ ей вдругъ почудилось, что отецъ поднимаетъ тяжелую руку съ плеча. Она вся, съ головы до ногъ, обмерла, обезумѣла и дико вскрикнула на всѣ комнаты, закрывая лицо руками.

Вбѣжала блѣдная и трепещущая мать.

— Что у васъ? спросила она, съ недоумѣніемъ глядя на окаменѣвшую дочь и на изумленное лицо мужа.

Надя отвела руки, взглянула на отца, ничего не поняла и не сообразила, и опять вскрикнула:

— Ахъ, не бейте, не бейте меня, папенька!

Анна Андреевна бросилась къ мужу, оттолкнула его отъ себя и потомъ обняла Надю, которая съ дикимъ шопотомъ повторяла:

— Не бейте, не бейте!..

— Ты съ ума сошелъ, обезумѣлъ! говорила жена...

У отца, въ первую минуту, когда онъ услышалъ вопль дочери, мелькнула страшная мысль—«она помѣшалась»; потомъ, когда Надя закричала: «не бейте меня» и шептала: «не бейте меня», онъ догадался, что дочь его повѣрила тому, что онъ способенъ ударить; ему тогда едва ли не страшнѣе стало. Въ одно мгновеніе въ головѣ, быстро цѣпляясь мысль за мыслью, явилось сознаніе: «я сдѣлался для родной дочери предметомъ ужаса...» Взглянулъ онъ на жену, — та съ ненавистью, съ презрѣніемъ и отвращеніемъ смотрѣла на него; взглянулъ на дочь, — она дрожала отъ страха...

У него сердце замерло, онъ растерялся, испугался своего положенія, и въ первую минуту не произнесъ ни слова...

— Не подходи къ намъ! сказала жена, когда замѣтила его намѣреніе приблизиться къ нимъ...

— Надя, дурочка, полно тебѣ, перестань, заговорилъ наконецъ Дороговъ умоляющимъ голосомъ: — неужели ты могла подумать, что я способенъ ударить тебя?

Онъ взялъ Надины руки, отвелъ ихъ отъ лица ея, сжалъ нѣжно въ своихъ рукахъ и сталъ цаловать Надю въ лобъ, въ глаза, въ голову и неожиданно самъ заплакалъ...

— Неужели тебя, мою Надю, мою самую любимую дочь, могу я... О, Господи, что это пришло тебѣ на умъ? Тронулъ ли я когда-нибудь пальцемъ?... Надя, другъ мой, скажи что нибудь...

Надя обвила его шею руками,—и оба они плакали.

— Добрая моя, какъ тяжело тебѣ, прошепталъ наконецъ Игнатъ Васильичъ.

Надя обливала посѣдѣвшую голову отца горячими слезами. Игнатъ Васильичъ не вынесъ было, хотѣлъ уже простить ее, разрѣшить ей дѣлать все, что она хочетъ, и благословить на новую, желаемую съ Молотовымъ жизнь. Анна Андреевна предчувствовала такой исходъ дѣла, и радость, давно ее оставившая, оживила ея душу. Она рѣшилась, во что бы ни стало, защитить свою Надю, и сама, знавшая лишь обязательную любовь, благословить дочь свою на любовь свободную, человѣческую. Казалось, начинается тайна примиренія, тайна разрѣшенія и всепрощенія. Вошли дѣти и остановились съ изумленіемъ, видя, какъ самъ отецъ обнимаетъ дочь свою...

— Папа простилъ сестрицу, прошептала Катя.

Отецъ, увидя ихъ, сказалъ коротко:

— Подите отсюда... играйте себѣ...

Дѣти повиновались; но лица ихъ были свѣтлы, ребячьи рѣчи полны надежды; они, дѣти, радовались и за Егора Иваныча, своего добраго знакомца, и за Надю, свою любимую сестру...

Отецъ сталъ ходить по комнатѣ.

— Ну, полно, сказалъ онъ Надѣ.—Въ его словахъ уже слышалась строгость.

Онъ быстро прошелся по комнатѣ и вдругъ повернулъ въ свой кабинетъ, двери котораго заперъ за собою плотно. Всѣ поняли, что теперь его не надо безпокоить... Необыкновенное что-то дѣлалось съ Дороговымъ. Онъ сидѣлъ, положа голову на ладони, а локти на столъ. Суровое, тяжелое, нелѣпо отталкивающее выраженіе было на лицѣ его. Морщины глубже врѣзались, увеличились и яснѣе обозначились. Взглядъ сдѣлался тусклымъ, сухимъ, неподвижнымъ. Постоянно нависшія брови точно выросли. Голова его начала сѣдѣть и скоро съ нея будетъ падать волосъ. Рѣдко онъ переводитъ дыханіе, но сильно, такъ что слегка разжимаются его тонкія, сухія губы. Давно онъ не улыбался, давно не было въ его душѣ свѣтлой и радостной мысли. Въ заржавѣвшемъ сердцѣ проснулось чувство любви и жалости къ своей дочери только тогда, когда вскрикнула она: «ахъ, не бейте, не бейте меня!» Крикъ, вырвавшійся изъ Надиной груди и потомъ перешедшій въ полупомѣшанный шопотъ, заставилъ его уйдти отъ своихъ и запереться.... Проняло его, наконецъ, и покоробило. Вопль дочери внезапно, ярко освѣтилъ положеніе семьи, до котораго онъ довелъ ее. Этотъ вопль связалъ его душу и готовъ былъ подчинить его, старшаго въ

семьѣ, младшимъ людямъ. Сознаніе прокрадывалось въ темную душу, онъ чувствовалъ, что власть ускользаетъ у него, что чья-то тяжелая, незримая рука легла на его голову и не давала ходить его мысли по старому, своевольно, хоть бы на зло всѣмъ, лишь бы самому нравилось. «Да я такъ не думаю» — это исходное, жизненное начало его дѣятельности туманилось и гасло. Догадывался мундирный самодуръ, что въ свою очередь можно было ему отвѣтить: «я не думаю такъ, какъ ты...» Въ его воображеніи стояла блѣдная, дрожащая дочь, съ руками, защищающими лицо, обезумѣвшая отъ ужаса, и возникалъ, и повторялся съ ясностью сейчасъ повторяющагося событія вопль и шопотъ дочери, и съ каждымъ разомъ онъ переживалъ боль сердечную. Онъ несчастливъ по своему, оригинально. Душно старику. Если бы молодые годы, Дороговъ разнесъ бы свое горе по холостымъ кружкамъ, утопилъ бы въ винѣ, выкричалъ бы въ пѣснѣ, отшибло-бы ему голову, и то было бы исходомъ изъ охватившаго его удушья. Но двадцать лѣтъ перевоспитанія, неуловимой, тайной передѣлки характера сдѣлали то, что въ сердцѣ его родилась любовь къ семьѣ и легла сверху необузданной дикой воли, которая, будучи вызвана обстоятельствами, неожиданно вся сказалась въ отвратительныхъ формахъ. Сразу жили въ немъ любовь и ненависть; то звѣрь проснется въ немъ, то отецъ семейства; то ему плакать хочется, то выть отъ злости. Невыносимо страданіе человѣка, когда въ мрачную душу, въ черное сердце, поселится любовь, когда онъ любитъ и ненавидитъ одно и то же; всѣ слѣдятъ за его страданіями, но никому не жалко его, потому что его страданіе съ бѣшенствомъ и крикомъ на то, зачѣмъ люди хотятъ жить не такъ, какъ приказалъ онъ,

и не диво, что онъ сѣдѣетъ, горбится, лицо его покрывается морщинами, какъ изсохшая глина трещинами, и тупѣютъ его мозги. И все передъ нимъ стояли блѣдная жена, трепещущая дочь, испуганныя дѣти. Куда жъ дѣвались тихіе вечера, ребячьи сказки, добрыя молитвы, ясные поцалуи и свѣтлая будущность? Семья разлагалась. Изъ нѣдръ ея встали новыя силы — нравственныя, непобѣдимыя. Онъ точно раздѣлился на двѣ половины; глубоко взглянулъ въ свою душу, слышалъ, какъ въ ней шевелились проклятья; но онъ не смѣлъ дать имъ волю, потому что страшно стало душить чужую, молодую жизнь, запрещать свѣжимъ людямъ мыслить и вѣровать, и радоваться по своему. Нельзя сказать: «я рѣшилъ за васъ!» — всѣ хотятъ думать сами за себя. — «Вотъ первое, любимое дитя мое, которое я ростилъ себѣ на радость, а что оно со мною сдѣлало?» думалъ Дороговъ: «что будетъ съ другими дѣтьми? Неужели до глубокой старости мученье и тревога? Да, ужь Надежда не послушается меня, не сломишь ее! И другія дѣти выростутъ, — неужели сказать имъ всѣмъ: «не имѣю права принудить васъ ни къ чему, живите, какъ хотите?» — Но вотъ онъ стиснулъ голову руками и проговорилъ: «о, Господи, да это хуже всякой пытки!...» потомъ поднялся со стула и началъ ходить по комнатѣ изъ угла въ уголъ... Его совѣсть начала мучить неотступно. Въ тѣхъ случаяхъ, когда душа человѣка сильно потрясена, при напряженной головной работѣ, часто бываетъ, что поступки наши, въ собственныхъ же глазахъ, неожиданно освѣщаются болѣзненно-ярко, самимъ же сдѣланное дѣло даетъ такой смыслъ, какого никогда и не предполагалъ человѣкъ. Это моментъ пробужденія совѣсти, и особенно онъ труденъ для такой упрямой души, какъ Дороговъ.

«Я тебя не прокляну, не выгоню изъ дома, оставайся среди насъ... старой дѣвкой... навсегда...» Сегодня же онъ говорилъ эти шальныя рѣчи, и доказывалъ, что въ нихъ ненарушимое, крѣпкое его слово: а теперь ему было мучительно тяжело припомнить, какъ онъ заклиналъ свою родную кровь, молодую жизнь дочери, любимой Нади, на всегдашнее дѣвство и попреки родительскимъ кормомъ... Доходило до того наконецъ, что онъ самъ себѣ не могъ ужь доказать свои права, и точно ножъ поворачивался въ его сердцѣ... Ему захотѣлось простить и примириться со всѣми, но не нашлось силы и рѣшимости сразу покончить это дѣло. Онъ готовъ былъ тянуть собственное горе, оттягивая время часъ за часомъ, и дожидая, не откроется ли самъ какъ нибудь исходъ изъ его положенія. Самая минута прощенія была для него тяжела. Онъ былъ бы радъ, если бы за него кто другой сказалъ, либо онѣ сами догадались, что онъ потерялъ надъ ними власть и не хочетъ больше борьбы. Ему тяжело было разверстаться съ своими старыми грѣхами, прямо, откровенно и благородно положить конецъ неурядицѣ семейной. Вмѣсто слова и дѣла, на душѣ его являлись мысли: «зачѣмъ все это случилось?» и даже пустыя мечты о томъ, что будто ничего и не было — ни генерала-жениха, ни имяннаго праздника, ни родственнаго совѣта, вопля и шопота дочери и душевныхъ потрясеній. Онъ струсилъ, закрывалъ глаза себѣ, насильно хотѣлъ остановить требованія разсудка и совѣсти и отдавался ожиданію, что сами событія придутъ и дадутъ знать, какъ быть теперь; но дѣйствовать онъ не могъ — духу не хватало, и въ этомъ неисходномъ положеніи тоскливаго ожиданія и млѣнія онъ такъ и замеръ. Душнѣе нѣтъ той жизни, въ которой участвующія лица не дѣйствуютъ, и

нисколько не утѣшительна та истина, что въ романѣ Нади не будетъ никакихъ событій, что надо ждать и терпѣть, превратиться въ автоматъ и никого не слушать; да, лучше борьба, скандалы, ломка, на виду совершающіяся тайныя свиданія, запрещенные поцалуи и письма, нежели это внутреннее, мертвящее удушье. И никто не дѣйствовалъ, — всѣ ждали. Анна Андреевна ничего пока не предпринимала. Есть родъ женщинъ, по натурѣ умныхъ, честныхъ, кроткихъ, всю жизнь свою живущихъ обязательною любовью; съ удивительнымъ самоотверженіемъ онѣ вѣчно вѣрны и святы, ни одна мысль грѣшная не посѣщала ихъ душу и сквозь всю дрянь, окружающую ихъ, видна въ нихъ натура богатая, сильная, лишь только сдавленная фатумомъ... Эти женщины весь запасъ свободныхъ привязанностей отдаютъ своимъ дѣтямъ, и мужъ для нихъ нуженъ для того только, чтобы перевоспитать его, пріурочить къ дому, дать ему жизнь на заданную тему, и все для того, чтобы получить дѣтей отъ мужа, чтобы было кого любить всей страстью женской любви.... Анна Андреевна питала къ мужу узаконенную любовь, и поэтому она, хотя простила въ душѣ любимую свою Надю, готова была дать ей вольную волю любить кого хочетъ, и настрадалось ея сердце, глядя на горе дочери, но она все-таки не понимала Надю, и, казалось ей, лучше нейдти за Молотова. Она не хотѣла болѣе настаивать на этомъ, но только потому, что не хотѣла болѣе мучить Надю... Она уже рѣшилась противиться мужу, и опять ея умная головка готовилась къ подземной работѣ, сбираясь попрежнему вышивать тонкими шелками по канвѣ семейной жизни; но пока она не нашлась, что дѣлать, и потому только примкнула къ своей Надѣ и съ непобѣдимымъ терпѣніемъ собралась выносить гнетъ

тихо движущихся событій, выжидая, скоро ли возвратится ея вліяніе на мужа... Все остановилось и замерло. И положеніе Нади никогда не было такъ печально, какъ теперь. Полное холодное отчаяніе пало на ея душу и нѣсколько разъ приходили мысли, отрицающія счастье; на будущность ложилось флеровое покрывало и повторялись безсознательно слова, противъ которыхъ такъ горячо защищался Молотовъ: «всѣ примиряются, это неизбѣжно.... Это не покорность, а неисходность...» Она повѣрила крѣпкому слову отцовскому, не зная того, что онъ и самъ былъ не радъ этому слову и больше не вѣрилъ ему; а Надѣ все-таки пришлось пережить душою нерадостныя мысли: «неужели я забуду Егора Иваныча? неужели это правда? Вѣдь все забывается, все пройдетъ, и вотъ какія нибудь пять-шесть лѣтъ, самый образъ Молотова потеряется изъ памяти, сотрется силою времени, какъ пропалъ изъ души образъ любимаго дѣдушки и младшаго брата, какъ все стушевывается и забывается. И онъ меня позабудетъ, — иначе нельзя, не бываетъ... Но все-таки я не пойду за Подтяжина — онъ противенъ мнѣ и я его ненавижу.» Такъ она говорила, а сама безъ ужаса не могла себѣ представить, что за жизнь готовится ей среди родной семьи; она едва не призывала забвеніе, — оно невольно приходитъ на умъ, когда увѣрены мы, что связь съ любимымъ человѣкомъ порвана невсегда. Но ей страшно было подумать, что забвеніе придетъ къ ней,—что она тогда будетъ?... И такъ было трудно на душѣ, что будто случилась между ними не простая разлука, а разводъ совершился... И она, какъ всѣ, стала ждать, что скажутъ событія, не выручитъ ли завтрашній день, не случится ль что на слѣдующей недѣлѣ? — Такъ никто недѣйство-

валъ, и жизнь остановила на всемъ свой медленный ходъ. Неужели же такъ ничего и не случится и тѣмъ кончится дѣло, что душно всѣмъ станетъ въ спертой атмосферѣ, среди глухого молчанія, до того невыносимо, что разбѣгутся эти люди въ разныя стороны и долго потомъ будетъ имъ невесело встрѣчаться между собою? Всѣмъ приходилось ждать, — и Дороговъ, и Анна Андреевна, и Надя, и Молотовъ, и дѣти, и родня—всѣ ждали, и только... Не даромъ сказалъ Игнатъ Васильичъ; «это хуже всякой пытки!..» Хуже и есть... Вотъ какіе въ нашихъ обществахъ возможны романы, и совершаются они сплошь и рядомъ. Даже противно! — безъ движенія, почти безъ завязки, съ секретнымъ, отъ всѣхъ закрытымъ, развитіемъ, съ обязательной любовью, и дѣйствующія лица не дѣйствуютъ... А главная причина, узаконенный женихъ, съ зачадѣлымъ своимъ ликомъ, до сихъ поръ стоитъ въ сторонѣ и не является на сцену. Скучная дѣйствительность!.. Гадко!..

Молотовъ сидѣлъ у себя дома, подлѣ стола. Предъ нимъ стоялъ портретъ Надинъ, подаренный ему Череванинымъ. Художникъ успѣлъ унести портретъ съ собою, когда долженъ былъ прекратить работы у Дороговыхъ.

«Какъ поздно пробилъ мой часъ», думалъ Егоръ Иванычъ, глядя на лицо дѣвушки. «Чѣмъ я отплачу тебѣ за твою любовь и за то терпѣнье, которое тебѣ нужно теперь? Настрадалась ты, бѣдная, за то, что хотѣла жить со мной; но что я тебѣ дамъ въ жизни? Все, что ты хочешь. Все мое сдѣлается твоимъ, и не

томъ и довольствомъ? откуда у меня деньги, вазы, картины, серебро и фарфоръ? Мнѣ никто и ничего даромъ не давалъ; судьба меня бросила нищимъ и голоднымъ, провела чрезъ страшную школу бѣдности, и вотъ я сталъ копить деньги, я люблю ихъ, потому что люблю независимость, я самъ себя долженъ прокормить... никто воды даромъ не дастъ напиться безъ того, чтобы не согнуть спины... Ненавижу я хлѣбъ чужой и никогда я не пожиралъ ничего чужого... Все, что есть у меня, заработано своими руками... Все свое. И устрою же я себѣ жизнь, какъ хочу, и никто не посмѣетъ отъ меня потребовать отчета, зачѣмъ я живу на свѣтѣ... Не будетъ по вашему — Надя придетъ сюда, и ей одной буду благодаренъ за свое счастье, весь отдамся ей, потому что люблю ее...»

Онъ взглянулъ на портретъ и прошепталъ:

— Добрая моя, ты единственный человѣкъ, которому я дорогъ и близокъ!.. Спасибо тебѣ... Никогда я тебя не разлюблю, потому что давно ты мнѣ родная... О, какъ я буду работать для тебя!..

Онъ смотрѣлъ на Надю. Въ увлеченіи ему показалось, что портретъ рѣсницы поднялъ; онъ наклонился и поцаловалъ его. Послѣ поцалуя ему страстно захотѣлось увидѣть Надю, взять ее у отца и матери, увести изъ дому; разгоралось и кипѣло сердце, и невыносимо досадно было, что всѣ пути заказаны къ любимой женщинѣ. Онъ всталъ въ волненіи и спрашивалъ себя: «да кто жъ запретитъ любить намъ другъ друга?»

Раздался звонокъ...

— Череванинъ идетъ! проговорилъ съ досадой Молотовъ и отошелъ къ камину.

— Живъ ли, душа моя? сказалъ художникъ, входя къ нему.— Вона!.. да ты какъ быкъ здоровъ, а влюб-

ленъ!.. Страдать, братецъ, слѣдуетъ!.. Надя не теряетъ же времени — дѣлаетъ свое дѣло... Я съ кухаркой сошелся, — за рубль какого хочешь амура продастъ...

— Что тамъ? спросилъ стремительно Молотовъ...

Череванинъ разсказалъ, что успѣлъ узнать...

— Скоро, значитъ, конецъ, прибавилъ онъ: — потому что крупныя сцены начинаются... Мы можемъ слѣдить за ходомъ дѣла по мелочной лавочкѣ, въ прачешныхъ и по всѣмъ кухнямъ, потому что вездѣ толкуютъ о томъ, что управляющій снюхался съ дороговской дочкой. Словомъ, приличный романчикъ выходитъ.

— Ты всегда, Михаилъ Михайлычъ, говоришь пошлости.

— Ну, вотъ это дѣло: выбраниться можешь,—при сильной страсти хорошая мѣра. Когда я былъ несчастливо влюбленъ, мнѣ однажды попала подъ руку кошка, я ей хвостъ надорвалъ, и что же?—легче стало...

— Перестань, Махаилъ Махайлычъ, и такъ тошно.

— Ничего, пройдетъ...

— Наконецъ, это безсовѣстно съ моей стороны ничего не дѣлать, тогда какъ она измучилась и изстрадалась.

— И все-таки тебѣ шевельнуться нельзя...

Молотовъ сложилъ руки и остановился передъ художникомъ...

— Вотъ у Кукольника въ повѣстяхъ, такъ тамъ все какое нибудь высокое лицо соединяетъ любящія сердца, но нынѣ такихъ штукъ не бываетъ... А то спасаютъ иногда даму сердца во время пожара, нашествія иноплеменниковъ или наводненія,—тогда она, какъ призъ, принадлежитъ избавителю; и еще есть

средства: крадутъ дѣвицъ, свертываютъ шею ихъ соперникамъ, или продаютъ свою душу чорту — это очень практическій господинъ; но, къ сожалѣнію, всѣ эти мѣры не въ правахъ гражданскаго чиновника... Ты что за птица? какой у тебя чинъ? Сиди-ко себѣ да кисни... Время само придетъ.

Молотовъ вышелъ изъ себя...

— О, проклятое положеніе! сказалъ онъ, стиснувъ зубы.

Прошелся онъ по комнатѣ...

— Нѣтъ, надо наконецъ рѣшиться...

— Подождать, подсказалъ Череванинъ...

Молотовъ взглянулъ на него сердито...

— Ты, кажется, находишь удовольствіе бѣсить меня....

— Экой ты какой ядовитый!

Молотовъ окончательно вышелъ изъ себя. Онъ схватилъ шляпу и отправился къ двери...

— Эй, куда ты утекаешь?

— Отстань ты отъ меня!

Съ этими словами Егоръ Иванычь скрылся.

— Свѣжимъ воздухомъ подышать захотѣлъ? Что-жъ, это хорошо... Помогаетъ... А сдѣлалъ бы моціонъ верстъ въ пятьдесятъ, какъ рукой сняло бы... Постой же, я на тебя каррикатуру напишу...

Череванинъ досталъ карандашъ и бумагу. На первомъ планѣ, сверху, съ распростертыми руками, красовался генералъ-женихъ и протягивалъ для поцалуя губы. Подписано: «сиволапый медвѣдь по поднебесью леталъ, поросяточекъ щипалъ». Потомъ изобразилъ Дорогова въ поджаромъ видѣ, съ подписью: «Говори, чего хочешь, пирога или хлѣба?» и отвѣтъ Дорогова: — «мнѣ все одно, давай хоть пирога». Подъ су-

пругой Дорогова стоялъ текстъ: «тптпрунды, баба! тптпрунды, дѣдъ! хватилися, хлѣба нѣтъ; стала баба дѣда мять, дѣду гдѣ же хлѣба взять?» Молотовъ съ сонными глазами и разинутымъ ртомъ, Надя плачущая; подъ ними: «терпѣнія имате потребу». Дальше самъ Череванинъ шелъ подъ руку съ дамой; внизу написано: «Моя любовь отвѣчаетъ: Ахъ, Михаилъ Михайлычъ, никакъ нельзя...» Серію каррикатуръ заключалъ Касимовъ-отецъ, съ словами къ изображеннымъ лицамъ: «милостивые государи, кто отъ любви чахнетъ, а мы отъ геморроя!» Карандашъ его разыгрался, и онъ, увлекшись каррикатурами, тѣшился по крайней мѣрѣ часа три...

Между тѣмъ Михаилъ Михайлычъ и не подозрѣвалъ, что Молотовъ на скандалъ рѣшился. Онъ отправился къ Подтяжину съ намѣреніемъ просить его отказаться отъ Надежды Игнатьевны, а если не согласится добровольно, то напугать его и принудить насильно. У него начали рождаться довольно оригинальныя логическія построенія.

«Чего тутъ ждать?» думалъ онъ, торопясь къ Подтяжину. «Надо дѣйствовать... Какъ?... А какъ они дѣйствуютъ!... Что за благодушіе, что за щепетильная разборчивость въ средствахъ?... Противъ насилія нечего церемониться и бояться поднять палку.... Всѣ средства, употребляемыя врагомъ, позволительны и противъ него... Это не іезуитство, а обыкновенное житейское дѣло, естественная защита... Что жъ я предприму?.. А что Богъ на душу положитъ!... Объясню, въ чемъ дѣло и сначала буду просить отказаться отъ Нади; если же онъ не согласится, я не задумаюсь схватить его за горло и насильно вырвать отказъ. Чѣмъ это не принципъ: не желай другому, чего себѣ не же-

лаешь, и, значитъ, если ты дѣлаешь гадость, то и тебѣ, нисколько не стѣсняясь, могутъ нагадить? Тутъ не цѣль оправдываетъ средства, а только люди борются равнымъ орудіемъ; это вполнѣ законное и необходимое дѣло, иначе всегда и ото всѣхъ будешь обиженъ! Тяжело, наконецъ, стало! Чего еще ждать? Того, что ли, когда у Нади, измучивши ее, вырвутъ согласіе и и обвѣнчаютъ съ нелюбимымъ человѣкомъ?»

Съ этими мыслями онъ входилъ къ Подтяжину. Когда Молотова приняли и онъ отрекомендовался генералу, генералъ спросилъ:

— По службѣ?

— Нѣтъ, по личному дѣлу.

— А, такъ прошу садиться.

Молотовъ сѣлъ...

— Что скажете? спросилъ Подтяжинъ.

Молотовъ приступилъ къ дѣлу прямо, безъ обиняковъ:

— Вы желаете жениться, ваше превосходительство?

— А вамъ что за дѣло?

— Ваша невѣста Надежда Игнатьевна Дорогова?

— Что за допросъ, я не понимаю?

— Ваша невѣста любитъ другого...

— Что?

— Она не хочетъ быть вашею женою...

— Вы нелѣпости говорите, — у меня есть письмо отъ ея отца.

— Но дочь не согласна, ее принудили...

— Принудили? Откуда же вы это узнали? Гдѣ доказательства?

Генералъ нахмурилъ брови. По тѣлу Молотова пробѣжала отъ досады нервная дрожь.

— Я знаю того человѣка, котораго она любитъ...

— Кто жъ это?

— Я самъ, отвѣтилъ рѣзко Молотовъ...

— Вы не кричите и не горячитесь, а говорите толкомъ...

— Она моя невѣста, отвѣтилъ Егоръ Иванычъ.

— Кто жъ послѣ этого моя невѣста?

— А я почемъ знаю!

— Но у меня есть письмо ея отца...

— Я вамъ и говорю, что отецъ принуждаетъ ее идти за васъ насильно. Развѣ вы желаете, чтобы ваша будущая жена любила кого нибудь другого, а васъ ненавидѣла?

— Нѣтъ, не желаю; но разскажите же, наконецъ, что тамъ такое случилось?

Молотовъ началъ разсказъ, при чемъ, разумѣется, не пожалѣлъ красокъ, когда излагалъ семейныя дѣла Дороговыхъ, особенно, когда касался Нади, и заключилъ разсказъ свой обличительнымъ словомъ противъ безнравственности выдавать замужъ дочерей насильно.

Подтяжинъ слушалъ Егора Иваныча внимательно, «и на челѣ его высокомъ не отразилось ничего.»

— Зачѣмъ вы горячитесь, милостивый государь, отвѣчалъ онъ спокойно: — мнѣ все равно, на комъ ни жениться; но, очевидно, я не расположенъ вступить въ бракъ съ женщиной, которая способна влюбляться.

Молотовъ повеселѣлъ.

— Я человѣкъ пожилой, степенный, и у меня ихъ было двѣ на примѣтѣ, и если эта не хочетъ, Богъ съ ней — найдется другая...

— Такъ вы откажетесь? вскрикнулъ съ радостью Молотовъ.

— Знаете дочь Касимова? спросилъ генералъ, не отвѣчая на слова Егора Иваныча...

долго же намъ осталось мыкать горе: запремся въ наши комнаты, состроимъ жизнь по своему, никого не спрашиваясь, и прежде всего будемъ жить для себя, для двоихъ только, и любить другъ друга. У людей ничего не выпросишь, не дождешься отъ нихъ радости, и не надо,—безъ ихъ помощи проживемъ.»

Глаза портрета прямо смотрѣли ему въ лицо. Онъ всталъ и отошелъ въ сторону—смотрятъ глаза, спрашиваютъ. Долго и пристально вглядывался Молотовъ въ портретъ Нади. Онъ выяснился передъ нимъ и вырѣзался; отдѣлялись лицо, руки, грудь. Отъ усиленнаго вниманія образъ Нади всталъ передъ нимъ въ воздухѣ, какъ живое существо. Не могъ онъ угадать, о чемъ эти живые, печальные взоры невѣсты хотѣли спросить его. Онъ опять сѣлъ и мысленно бесѣдовалъ съ Надей. До сихъ поръ Егоръ Иванычъ не могъ назвать ни одну женщину ангеломъ и стать передъ ней на колѣни, а теперь сами собою являлись ласковыя имена, которыя часто для посторонняго лица кажутся такъ изысканы и сантиментальны. Не будемъ повторять ихъ.

Егору Иванычу не хотѣлось, чтобы теперь зашелъ къ нему Череванинъ, который, не смотря на свою готовность помогать, не въ силахъ былъ воздержаться отъ краснаго словца, которымъ охотно поддразнивалъ своего пріятеля, такъ что сталъ ему въ тягость и часто доводилъ до страшнаго расположенія духа... Молотовъ давно уже сдѣлался ровнымъ и спокойнымъ мужчиной, научился сдерживать себя, сталъ глубже и сосредоточеннѣе; антипатіи прежнихъ лѣтъ перешли въ полное равнодушіе и теперь не составляли для него вопроса. Но въ настоящее время онъ былъ оскорбленъ, люди хотѣли уничтожить его счастье, для кото-

раго онъ много лѣтъ работалъ, запрещали ему любить, обижали его Надю, и внутри его все кипѣло и волновалось, какъ въ былые годы; а Череванинъ своими безцеремонными рѣчами хваталъ за больныя мѣста. Онъ могъ выйдти изъ себя, и вотъ почему не желалъ посѣщенія художника. Не привыкъ онъ такъ бездѣятельно, пассивно, участвовать въ жизни; а между тѣмъ ему приходилось сидѣть сложа руки, потому что пришлось столкнуться съ какимъ-то особымъ, замкнутымъ, наглухо застегнутымъ въ чиновный мундиръ обществомъ. Въ тѣ минуты, когда онъ представлялъ себѣ, что Надя одна одинешенька страдаетъ, а онъ не можетъ пальцемъ шевельнуть для ея помощи, ему становилось совѣстно, онъ горѣлъ отъ стыда и, кажется, способенъ былъ рѣшиться на что угодно; но, во что бы то ни стало, приходилось ждать, а это было не совсѣмъ въ его натурѣ... Теперь мы застали Егора Иваныча довольно спокойнымъ. Его волновали надежды и гордыя мысли.

— И я теперь буду не одинъ на свѣтѣ, говорилъ онъ себѣ:—и я нашелъ свою родню, совью себѣ гнѣздо. Не даромъ я копилъ эти цвѣты, картины, книги, фарфоръ и серебро. Она будетъ здѣсь жить; тутъ мы будемъ сидѣть, читать и бесѣдовать. Все, къ чему я стремился, скоро можетъ осуществиться въ моей жизни. Теперь въ сторону всѣ эти необъяснимые вопросы; я знаю, зачѣмъ буду жить на свѣтѣ... я просто любить и жить хочу. Стоитъ лишь припомнить пройденную дорогу — сколько заботъ, труда, часто унизительныхъ положеній пришлось вынести для того, чтобы сказать наконецъ: «я самъ, одинъ, безъ всякой посторонней помощи, съумѣлъ прожить и выбиться изъ бѣдности. Кому я обязанъ своимъ комфор-

и, пожалуй, готовъ превратиться въ посаженнаго отца Молотова. Лишь только онъ явился въ семьѣ Нади, жизнь ея потемнѣла, все около нея стало разрушаться и стягиваться въ заколдованный кругъ, готовый задавить ее совсѣмъ.... А онъ все стоитъ въ сторонѣ, ему дѣла нѣтъ; настрадались и отецъ, и мать, и вся родня; дошло до страшнаго удушья, до послѣдняго часа жизни, и тогда лишь онъ является и говоритъ: «да мнѣ все равно, я женюсь и на другой».

Нелѣпыя страданія, ненужная возня!..

Молотовъ передумалъ все это, стоя на лѣстницѣ, которая вела въ квартиру Дороговыхъ, и дожидаясь, скоро ль выйдетъ Подтяжинъ, чтобы узнать, чѣмъ кончилось дѣло. Онъ сказалъ генералу, что будетъ его ждать. Но вотъ онъ вдругъ услышалъ, что кричатъ сверху его имя. Онъ стремительно бросился по лѣстницѣ и черезъ мгновеніе былъ у Дороговыхъ.... Онъ стоитъ среди старыхъ знакомыхъ, съ которыми онъ жилъ душа въ душу нѣсколько лѣтъ и которые, когда столкнулись интересы, едва не прокляли его... Всѣмъ было неловко. Надя радовалась, хотѣлось ей увести его въ свою комнату и наговориться до-сыта; Игнатъ Васильичъ не зналъ, что дѣлать, и молчалъ; наконецъ Анна Андреевна нашлась, и для такого торжественнаго случая заговорила о погодѣ... Генералъ раскланивался съ хозяевами, помышляя о томъ, какъ бы завтра повидаться съ Касимовыми, не довѣряя болѣе своей судьбы чиновнику особыхъ порученій.

Вечеръ тянулся вяло. Молотовъ не успѣлъ переговорить съ Надей. Когда онъ уходилъ, Надя шепнула ему:

— Приходи завтра.

Онъ и самъ думалъ о томъ же. Череванина онъ не

засталъ дома. Егоръ Иванычъ нашелъ на столѣ карикатуры его, и такъ какъ былъ счастливъ, то долго смѣялся...

— Завтра наша свадьба, говорилъ Молотовъ Надѣ, спустя мѣсяцъ послѣ примиренія, сидя съ нею въ маленькой ея комнатѣ.

Надя скоро поправилась послѣ тучи, пронесшейся надъ ея головою, похорошѣла, лицо ея цвѣло счастьемъ и радостью. Она ничего не отвѣчала Молотову, хотя глубоко взволновалось ея сердце отъ словъ Молотова. Она только взглянула на него, покраснѣла, застѣнчиво улыбнулась и хотѣла, чтобы Молотовъ самъ догадался въ эту минуту поцаловать ее.

Молотовъ поцаловалъ ее.

— Надя, сказалъ онъ.

— Что?

— Я все думаю, съумѣю ли сдѣлать тебя счастливою.

Она посмотрѣла на него съ удивленіемъ и спросила:

— Отчего ты такъ думаешь?

— Оттого, что я самъ только отъ тебя и научился счастью...

— Отъ меня? твоей ученицы?

— Да... Ты не знаешь, до чего я доживалъ въ своей холостой квартирѣ...

— Что жъ я съ тобой сдѣлала?

— Жизнь мою освѣтила.

Надя глядѣла на него внимательно. Она вспомнила, чѣмъ былъ для нея Молотовъ, вспомнила разсказы о немъ Череванина и наконецъ свое давнишнее желаніе

разгадать личность Егора Иваныча. Теперь она думала, что Молотовъ выскажется и наканунѣ свадьбы отдастся ей весь откровенно.

Молотову дѣйствительно хотѣлось разсказать Надѣ, чтобы она знала, кого завтра назоветъ своимъ мужемъ...

— Знаешь ли ты, Надя, что я до сихъ поръ человѣкъ безъ призванія?

— Какъ же это?

— Да такъ же, какъ и тысячи людей. Помнишь, я говорилъ тебѣ, какъ не хотѣлось идти въ чиновники, и однако я долженъ былъ надѣть мундиръ?

— Помню.

— Мнѣ захотѣлось отдѣлаться отъ службы не по призванію, и всю жизнь не могъ отъ нея отдѣлаться. Намъ говорили, что отечество нуждается въ образованныхъ людяхъ, но посмотрите, что случилось; весь цвѣтъ юношества, все, что только есть свѣжаго, прогрессивнаго, образованнаго — все это поглощено присутственными мѣстами, и когда эта бездна наполнится? Рѣдкій человѣкъ выберетъ карьеру по призванію; рѣдкій образованный человѣкъ не убѣжденъ, что онъ родился чиновникомъ. Дѣйствуетъ какой-то бюрократическій фатумъ, и все у насъ юристы!.... Лишь только кто нибудь выдирается изъ своей среды, и думаетъ, какъ бы сдѣлаться человѣкомъ; выходятъ ли люди изъ деревни, бурсы, залавка или верстака, — куда они идутъ? Все въ чиновники! Помѣщикъ прожился въ деревнѣ и ищетъ мѣста, это значитъ — чиновнаго мѣста; военный выйдетъ въ отставку и хочетъ нести другую службу, это значитъ — чиновную службу. Но особенно надо удивляться мелкимъ чиновникамъ. Никто не работаетъ такъ усердно, какъ эти несчастные пере-

писчики чужихъ дѣлъ. Въ надеждѣ, что авось либо дадутъ наградишку, прибавку жалованья, пособіе, они трудятся, не покладывая рукъ. Сотни тысячъ живутъ единственно перепискою бумагъ, такъ что для нихъ достать частное занятіе, значитъ, достать переписку. Какое странное призваніе—родиться единственно за тѣмъ, чтобы перебѣлить въ жизнь свою до милліона черняковъ, и потомъ сойдти со сцены! Иной лишь проснется, у него дома наемная работа, потомъ въ должности пишетъ, придетъ домой, и опять работаетъ перомъ до истощенія силъ, до одурѣнія. Представьте себѣ, что человѣкъ всю жизнь только и дѣлаетъ, что, захвативъ памятью строку, написанную чужой рукой, переноситъ ее на бумагу; цѣлую жизнь держитъ въ своей головѣ чужія, не интересующія его, ненужныя ему мысли, и представьте, что за все это онъ едва-едва существуетъ.... Чиновники — самый испитой народъ. А между тѣмъ, надо сознаться, что большинство образованныхъ людей находится именно въ этомъ сословіи. Чиновничество какой-то огромный резервуаръ, поглощающій силы народныя. Вотъ и я, мужикъ по происхожденію, по карьерѣ все-таки чиновникъ...

— Какъ же это случилось?

— Со мной и все случалось. Я не выбиралъ себѣ того или другого положенія, а оно само приходило, помимо моего выбора и воли. Случилось, что я попалъ къ профессору на воспитаніе, потомъ въ Обросимовку, потомъ на губернскую службу, потомъ скитался по Россіи, перебралъ множество занятій и наконецъ попалъ въ архиваріусы, — все случилось. Выдѣлился я изъ народа и потерялся. Натура звала на какое-то другое дѣло; во мнѣ было полное желаніе опредѣлить себя, отыскать свою дорогу, самостоятельно выбрать

родъ жизни и ничего не могъ я сдѣлать, — судьба насильно надѣла на меня мундиръ чиновника и осудила на архивную карьеру.

— Что же за причина тому?

— Великая причина, страшная сила!

— Какая?

— Нужда, «безживотіе злое», какъ выражается Михаилъ Михайлычъ.

Молотовъ, сбираясь съ силами, провелъ рукой по лбу.

— Было время, не жалѣлъ я себя, способенъ былъ на всевозможныя жертвы. Прослуживъ полтора года въ губерніи, я очень хорошо понялъ, что чиновничество— не мое призваніе. Когда снялъ мундиръ, то думалъ: «не пойду же я въ чиновники, буду заниматься частными дѣлами, не увидятъ меня болѣе въ мундирѣ никогда.» Вотъ и пошелъ парень гулять по свѣту; догулялся до довольно узкаго существованія. Я поѣхалъ въ Петербургъ, думая заработать здѣсь копѣйку. Петербургъ мнѣ родной городъ и потому сманилъ меня къ себѣ. Но съ этого-то времени судьба и начала меня преслѣдовать: она не давала мнѣ отдыху и молодыя лѣта растратила на добываньe насущнаго хлѣба. На пути въ столицу,—«домой», какъ я говорилъ тогда, хотя у меня не было въ Петербургѣ ни роду, ни племени, — пьяный ямщикъ сдѣлалъ мнѣ карьеру. Онъ ударилъ телѣгу въ пень, я вылетѣлъ на землю и сломалъ себѣ ногу. Еле протащился я двѣ версты, весь разбитый, до уѣзднаго городишка, гдѣ и слегъ на наемной квартирѣ, у дьячихи. Тяжелое это было время, грустное, безпріютное и холодное, какъ русская зима .. проклятое время! Лежалъ я съ затянутыми въ лубки ногами; пошелъ бы дальше, да нельзя, и безотрадно пересчи-

тывалъ, какъ рубль за рублемъ уходили на лѣченіе изъ двухъ запасныхъ сотенъ. Вотъ когда я въ первый разъ понялъ, что значитъ въ жизни монета! Пять мѣсяцевъ я пролежалъ въ болѣзни, и когда выздоровѣлъ, то въ карманѣ всего оставалось двадцать восемь рублей, а до столицы шестьсотъ верстъ. Ну, надо подниматься и сбираться въ дорогу, какъ вѣчный жидъ, безъ цѣли, безъ назначенія. «Что же я за миѳъ?» думалось мнѣ. Горько стало на душѣ. Простился я съ дьячихой, распросилъ путь и направился въ ближайшій губернскій городъ пѣшкомъ, сберегая каждый грошъ. Но черезъ мѣсяцъ у меня не было ни копѣйки: я продалъ часы и пошелъ дальше по направленію къ Петербургу. Наконецъ, скоро осталось нечего продавать; пришлось остановиться на постояломъ дворѣ, и сталъ я справляться, не нуждается ли какой помѣщикъ въ учителѣ для дѣтей. Никому не надо было. Дошло до послѣдней бѣды — платить нечѣмъ было дворнику. Что было дѣлать? Чужой хлѣбъ ѣсть? протянуть руку Христа-ради, воровать? Я здоровъ былъ и силенъ, и нисколько мнѣ не стыдно вспомнить, что я на постояломъ дворѣ кололъ дрова, рубилъ капусту и няньчилъ ребятъ хозяйскихъ, за что меня и кормили. Можетъ быть, въ этомъ и было мое призваніе! Въ это время напала на меня апатія, и я ничего не дѣлалъ, справляя день за днемъ черную работу, — а сработать я могъ больше всякаго мужика, потому что здоровъ и силенъ, какъ медвѣдь... Два мѣсяца я прожилъ чисто-народной жизнью, и узналъ, что это совсѣмъ не идиллія,—тяжела она... Но, право, когда я разговаривался съ ними, то встрѣчалъ много добрыхъ душъ, которыхъ никогда не забуду.... Здѣсь я прожилъ около двухъ мѣсяцевъ. Наконецъ, выпало мѣстечко. Надо было одному помѣщику пригото-

вить сынка въ гимназію. На это ушло еще семь мѣсяцевъ... Самъ же я и отвезъ своего ученика въ столицу, гдѣ и помѣстился онъ у своего родственника; а я, употребивъ около четырнадцати мѣсяцевъ на переселеніе въ Петербургъ, долго не встрѣчалъ не только родного, но и знакомаго человѣка. Занявъ квартиру за четыре рубля, я сталъ выглядывать, гдѣ бы зашибить копѣйку. Одинъ университетскій товарищъ нашелъ мнѣ вакансію у генеральши Чесноковой — опять учить дѣтей. Дѣти были очень понятливы и полюбили меня; но генеральша, женщина полная, рослая, съ лошадиной комплексіей, хотѣла вызвать меня на такія отношенія къ ней, и жалованье предлагала за новую работу, что я только плюнулъ на порогъ ея дома и больше не являлся къ ней. Послѣ этого быстро смѣнялись одно за другимъ занятія. Я попалъ въ купеческую контору, жалованье хорошее положили; но здѣсь все клонилось къ злостному банкротству. Я счелъ долгомъ предупредить о томъ кредиторовъ. Коммерческіе люди такъ озлились, что наняли двухъ прикащиковъ поколотить меня.... Если бы поколотили меня, я отъ тебя этого не скрылъ бы, но они струсили.... Послѣ этого я нашелъ мѣсто бухгалтера при одномъ акціонерномъ обществѣ, меня и оттуда скоро выгнали. Послѣ этого добылъ корректурныя занятія при журналѣ; но скоро редактора какой-то князь, меценатъ литературный, просилъ дать занятія одному бѣдному студенту, и меня смѣстили. Снова нашелъ учительское мѣсто, — такъ денегъ не платили. И ты думаешь, что это меня только судьба преслѣдовала, а другіе счатливѣе на занятія и вольную работу? Нѣтъ, милая моя, это общее положеніе всѣхъ чернорабочихъ. У насъ частная работа менѣе развита, чѣмъ общественная. Вольный трудъ нераз-

витъ и унизителенъ. Наконецъ, и откупъ, открывающій объятія для многихъ нашихъ образованныхъ юношей, ласково приглашалъ къ себѣ нуждающагося человѣка, но туда я и самъ не пошелъ. Попытался переводами заняться, ничего не вышло; написалъ три фельетона, и получилъ по восьми рублей за каждый, — значитъ я былъ и литераторомъ. Какія только должности не проходилъ я, бился, какъ рыба объ ледъ, а воровать не хотѣлось, хотя испытавши, что значитъ честный трудъ, смотрѣлъ на людей снисходительно. И вышелъ изъ меня человѣкъ, порожденіе нашего времени, пролетарій, добывающій насущный хлѣбъ всевозможнымъ трудомъ, долго сбирающій собственность и въ одинъ незаработный годъ пожирающій ее.

— Боже мой, какъ тяжело жить на свѣтѣ? проговорила Надя.

— Да, голубушка моя...

— Много же тебя оскорбляли...

— Ничего, отерпѣлся.... Смѣшно вспомнить, какъ въ самой юной молодости я выходилъ изъ себя за то, что одному помѣщику вздумалось выбранить меня за глаза, а теперь хоть въ глаза брани меня, — такъ мнѣ все равно, даже лѣнь и сердиться... Мнѣ-то что за дѣло, что обо мнѣ говорятъ другіе? Я самъ себя знаю! Я прежде не понималъ самой простой вещи: господа, презираюшіе насъ, просто-на-просто несчастны, бѣдны умомъ, невоспитанны. Мнѣ ихъ жалко теперь. Стала появляться въ моемъ характерѣ какая-то одеревенѣлость, вслѣдствіе которой меня ничѣмъ не проймешь: сплетня, дурное мнѣніе лица или кружка, сословное презрѣніе на меня не дѣйствуетъ. О чемъ тутъ хлопотать и шумѣть?... Пусть ихъ!... Они считаютъ себя благодѣтелями, давальцами, меценатами?... Что же

я-то стану дѣлать, когда у нихъ голова скверно и уродливо устроена? Не сердиться же, въ самомъ дѣлѣ, когда, напримѣръ, лаетъ собака; изъ сотни собакъ развѣ одна не бросается на незнакомаго, на не-своего, и такихъ собакъ не любятъ хозяева. Но мало ли есть непріятностей на свѣтѣ? Дождь идетъ, клопы кусаютъ, душно въ воздухѣ, прыщи на лицѣ, — и изъ-за этого волноваться? Я настолько независимъ отъ всѣхъ, что могу считать людей, презирающихъ меня, ничтожными. Что ни думай они обо мнѣ, — мнѣ все равно. Моя квартира для нихъ заперта, какъ и ихъ для меня, — значитъ, мы квиты. Я ихъ не пущу къ себѣ, живу безъ нихъ, и право, отъ того мнѣ не хуже. Презрѣніе ихъ ничтожно и низко. Но не сразу же я дошелъ до такого благодѣтельнаго равнодушія; постепенно и медленно утихала сокрытая ненависть, пропадали насмѣшки и дерзости; самое презрѣніе къ нимъ пропало и наступило полное равнодушіе, такъ что обиды не шевелятъ и сердца моего. Жизнь, Наденька, вытекаетъ не изъ принципа, а изъ натуры, не изъ теоріи, а изъ причины. Поэтому у меня и должно было родиться особенное, оригинальное понятіе о чести. Я глухъ къ чужому отзыву о своей личности, — онъ даже не раздражаетъ меня нисколько; «это ваше мнѣніе», говорю я: «а не мое,—я не такъ думаю»; а больше мнѣ ничего и не надо. Когда сыплются на человѣка въ продолженіе многихъ лѣтъ несправедливыя оскорбленія, онъ становится къ нимъ безчувственъ и равнодушенъ. У насъ свой гоноръ, особенный; напримѣръ, иного труса вызовутъ на дуэль и онъ долгомъ считаетъ принять его, не откажется ни за что, а я откажусь, хоть не трусъ вовсе; скажутъ, что это безчестно, я не обращу на то никакого вниманія; пристанутъ сильно, стащу въ полицію—

вотъ и все. Иному господину стыдно сказать, что у него есть невеликосвѣтскіе друзья и знакомые, а я вѣдь мужикъ, и знаешь ли, нахожу особое удовольствіе, когда у княгини Зеленищевой, дѣтямъ которой даю уроки, выпадаетъ при гостяхъ ея случай вставить такое словцо: «вотъ когда я однажды рубилъ капусту на постояломъ дворѣ», либо что нибудь въ родѣ этого. Михаилъ Михайлычъ тоже любитъ потѣшиться въ этомъ родѣ. Рисуя портретъ какого нибудь аристократа, онъ вдругъ въ его салонѣ разскажетъ, какъ онъ Христа славилъ, читалъ по покойникамъ и собиралъ въ радоницу на могилкахъ блины. Презанимательно выходитъ!

Передъ Надей раскрывалась дѣйствительная жизнь, раскрывался характеръ Егора Иваныча, и она съ пожирающимъ вниманіемъ слушала его разсказъ.

— Да, трудно заработывать въ нашемъ обществѣ хлѣбъ своими руками. Лишь откроется мѣсто учителя, корреспондента, управляющаго домомъ, секретаря и т. п., — сейчасъ являются сотни претендентовъ. Мнѣ казалось, да и теперь часто думается, что въ самомъ честномъ-то трудѣ много нечестнаго. Отчего мнѣ работу, а не другимъ? Вѣдь и они ѣсть хотятъ? сдѣлаютъ то же, что и я? Права одинаковы на работу. Почему же мнѣ ее дали? Потому что счастье, ловкость, случай? Работать всякій станетъ, будьте увѣрены: какъ не трудиться, когда желудокъ кричитъ: «работы, работы!» Но и самую работу надо завоевать, какъ дикарь завоевываетъ у дикаря скотъ и пожитки. Мы постоянно поѣдаемъ другъ друга. И неловко, моя Наденька, было принимать участіе въ борьбѣ изъ-за куска хлѣба, изъза пожитковъ. Но что жъ дѣлать? Они ѣсть хотятъ, и я хочу; они имѣютъ право на работу, и я тоже; они сдѣлаютъ хорошо дѣло, и я хорошо; я не правъ, что

отбиваю работу у нихъ, и они неправы, что отбиваютъ ее у меня. Много ли людей, которые работаютъ не потому только, что ѣсть хотятъ? Чего фальшивить и становиться на ходули? Деньги всѣмъ нужны. Были когда-то побужденія иныя, высшія, а теперь пріобрѣтать хочется, копить, запасать и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина настала, и вотъ сознаю, что я тоже пріобрѣтатель. И сегодня, и завтра, и цѣлые годы надо прожить, и прожить такъ, чтобы въ лицо не наплевали, — значитъ, надо работать безъ призванія къ работѣ. «Злато — металлъ презрѣнный», — кто это сказалъ такую чепуху? Деньги, монета—учрежденіе государственное; за деньги можно хлѣба купить, современныхъ идей, потому что онѣ не на улицѣ валяются, а продаются въ книгахъ, можно купить свѣчу и поставить ее какому нибудь угоднику. «Все куплю, сказало злато; все возьму, сказалъ булатъ» — это армейскій софизмъ, потому что и самъ-то булатъ купленъ на деньги. О, если бы побольше злата, а булатовъ поменьше!

— Какъ же ты опять поступилъ чиновникомъ? спросила Надя.

— Отвѣдавъ вольнаго труда, я нашелъ, что департаментъ вѣрнѣе обезпечиваетъ человѣка. Неутѣшительно, а справедливо. Но на этотъ разъ я пошелъ въ департаментъ безъ всякой мечты о дѣятельности общественной, а просто на казенную пищу, на государственные харчи. Не любовь къ труду, приносящему деньги, а именно любовь къ деньгамъ руководила мною. Я освоился со службой, втянулся, но, по совѣсти сказать, не люблю ее. Отношенія къ службѣ у меня тѣ же, какія у иного школьника къ уроку. Урокъ лежитъ въ головѣ — вотъ падежи, плюсы, тексты, хронологиче-

ская цифра, французскій глаголъ, — а школьнику что за дѣло до всего этого? Урокъ самъ по себѣ, школьникъ самъ по себѣ. Лишь пришолъ я изъ департамента домой, мнѣ и дѣла нѣтъ до него. Такъ ломовая лошадь тянетъ возъ, а какая ей забота до него? Плеть повисла надъ спиной. И надо мной нужда нависла плетью. Я — маленькій механизмъ въ огромной машинѣ служебной. Механикъ заведетъ машину—и всѣ механизмы, винтики, пружины, кольца и цѣпочки служебныя приходятъ въ движеніе; остановитъ машину — и мы остановимся. Главный болтъ работаетъ, а мы уже вертимся за нимъ. Денегъ не дадутъ — заниматься не стану; дѣло остановится на половинѣ — мнѣ не жалко; уничтожьте мои труды — я не буду горевать. Отерпѣлся я, и занимаюсь, чѣмъ угодно, не чувствуя особеннаго влеченія къ предмету труда; но не скучаю занятіями, люблю самый процессъ работы, потому что моя натура требуетъ непремѣннаго движенія. Я мелочной торговецъ и человѣкъ безъ призванія. Но не смотря на механизмъ труда, моею работою всегда довольны, я точенъ и исполнителенъ. Иногда и скучно, но не обращаю на то вниманія и работаю...

— Что же заставляетъ тебя быть чернорабочимъ?

— Ты думаешь, неужели одна любовь къ деньгамъ и процессу труда? Неужели ты не понимаешь, что значитъ чувство собственности? Оно можетъ развиться до щекотливости, чтобы быть независимымъ, никогда не просить, никого не благодарить за кусокъ хлѣба. Я гордъ, Надя, и не хочу, чтобы кто нибудь служилъ для меня; а и захотѣлъ бы, такъ никто служить не станетъ. Положеніе вытекаетъ прямо изъ обстоятельствъ. Я тебѣ говорилъ, что жизнь происходитъ изъ натуры, а не принципа, изъ причины, а не теоріи. Но не сразу я

добился и такого положенія въ обществѣ. Много было потрачено силъ душевныхъ, терпѣнья и выжиданья, прежде нежели я освоился, оглядѣлся, пріобрѣлъ ловкость, тактъ и изворотливость, пріобрѣлъ связи и рекомендацію и наконецъ обстановился. Я теперь вполнѣ обезпеченъ, потому что при даровой квартирѣ и дровахъ, за управленіе домомъ, могу проживать до полуторы тысячи рублей, сытъ всегда достаточно, одѣтъ прилично, помѣщенъ въ теплѣ. Я люблю свою квартиру... Ты увидишь въ ней, Надя, что-то семейное, домовитость, порядокъ и пріютъ. На стѣнахъ картины и канделябры, на окнахъ пальма, золотое дерево, фига, лимонъ, кактусъ и плющъ, на столахъ вазы, на полу коверъ, передъ каминомъ дорогой рѣзьбы орѣховое кресло. Я много положилъ заботъ, чтобы устроить свой кабинетъ изящно. Въ немъ мы будемъ проводить время, читать, работать. Много ты у меня найдешь серебра, фарфора, мрамора и дорогихъ бобровъ. Я постоянно пріобрѣталъ себѣ вещи, и каждая изъ нихъ куплена обдуманно, съ размышленіемъ, по личному вкусу: вещь прочная и изящная. Я долго собиралъ книги, собирая ихъ понемногу, и составилась библіотека всѣхъ моихъ любимыхъ авторовъ. У меня есть отличный микроскопъ, зрительныя трубы и другіе физическіе инструменты. Положенное число разъ я бываю въ русскомъ театрѣ и въ итальянской оперѣ; абонируюсь въ библіотекѣ и читаю все лучшее. Я понемногу свивалъ свое холостое гнѣздо и десять лѣтъ копилъ усидчиво собственность. Въ шкатулкѣ собственной работы у меня заперто болѣе пятнадцати тысячъ. Вотъ такимъ-то образомъ я одѣлъ себя, обулъ, помѣстилъ въ тепло, среди красивой обстановки, добылъ себѣ изящную въ возможныхъ размѣрахъ жизнь, и не стоитъ теперь

передо мной каждый день, каждый часъ мучительный, неотразимый, изсушающій мозги вопросъ: «хлѣба, денегъ, тепла, отдыха!»

— И ты счастливъ былъ? спросила Надя пытливо.

— Въ минуты добраго расположенія духа почти счастливъ. Мнѣ думалось тогда: достаньте вы въ столицѣ ежегодно полторы тысячи, заработайте такъ, чтобы въ каждой копѣйкѣ могли дать отчетъ, за что она получена. Это трудно; у меня же есть деньги и совѣсть! Вспоминалось мнѣ пройденное поприще: сколько заботъ, трудовъ, часто унизительныхъ, пришлось вытерпѣть! Тогда я не могъ не ощутить довольства собой, душевнаго спокойствія, и радъ былъ, когда въ это время заходилъ ко мнѣ гость. Одинъ, замѣть, Надя, безъ чужой помощи, единственно себѣ я обязанъ моимъ комфортомъ. Мое сребролюбіе благородно, потому что я никогда и ничего не кралъ, ни отъ кого не получалъ наслѣдства, у меня ничего нѣтъ подареннаго, найденнаго, заработаннаго чужими руками. Все, что у меня есть въ комнатахъ, въ комодахъ, на плечахъ, въ карманѣ, — все добыто моей головой и руками. Ни матеріально, ни морально я ни отъ кого независимъ. Меня судьба бросила нищимъ; я копилъ потому, что жить хотѣлъ, и вотъ добился же того, что самъ себѣ владыка. Я, Надя, свободенъ, и никому не дамъ отчета, какъ я живу и что думаю, кромѣ тебя, Надя. Часто, среди этихъ мыслей, возникалъ твой образъ, и я долго задумчиво сидѣлъ въ креслѣ передъ каминомъ. Въ это время я былъ счастливъ.

Молотовъ задумался, вспомнивъ былые дни.

— Но такое расположеніе духа не часто гостило въ моей холостой квартирѣ. Большею частью время шло ровно и спокойно; послѣ труда, и отдыхъ, и обѣдъ, и

пустой разговоръ,—все имѣло свою прелесть. Я испытывалъ то физическое наслажденіе, которое такъ хорошо знаетъ чернорабочій, отдыхая послѣ труда. Но душа спала, и когда просыпалась, я ощущалъ страшную скуку и тоску. «Экое дѣло, думалось мнѣ, что я честенъ, не пью водки и въ квартирѣ у меня хорошо!.. Что въ томъ толку?.. И не глупъ я, и силенъ, и работать люблю, но куда пошли мои силы?... На брюхо свое, на добываніе насущнаго хлѣба!.. Благонравная чичиковщина!... скучно!... благочестивое пріобрѣтеніе, домостроительство, стяжаніе и хозяйственные скопы!...» Холодно становилось мнѣ въ своей квартирѣ и пусто, и нерѣдко я испытывалъ то состояніе, когда и страхъ, и точно мученія совѣсти, и отвратительная тоска тѣснились въ мою душу... «Чортъ бы побралъ», думалъ я: «мое мѣщанское счастье, какъ говорилъ Михаилъ Махайлычъ, и мою искусственную независимость въ одиночку, безъ товарищества и любви.» Иногда такъ тяжело становилось, что я готовъ былъ схватить и брякнуть объ полъ вазы, порвать картины, разметать цвѣты и статуи. Противно было думать, что изъ-за нихъ-то я и бился всю жизнь... Вещами наслаждаться, книгами, театрами, а съ людьми не жить! Когда-то жизнь мнѣ казалась такъ широка, безпредѣльна. Я, Надя, родился космополитомъ, не былъ связанъ ни съ какою почвою, не былъ человѣкомъ сословія, кружка, семьи. Казалось, такъ легко было вступить въ свѣтъ. Но я былъ выходцемъ изъ своего сословія, и потому, какъ всѣ выходцы, не понималъ, что многаго требовать нельзя, что необходима умѣренность, тихій гласъ и кроткое отношеніе къ существующимъ интересамъ общества. Мы ломать любимъ, либо дѣлаемся отъявленными подлецами, либо благодуше-

ствуемъ, какъ я благодушествую. Съ тупымъ изумленіемъ смотримъ мы на людей, потому что они непохожи на насъ. Положеніе нелѣпое — торчать отъ всѣхъ особнякомъ; пальцами начнутъ указывать, на смѣхъ поднимутъ, возненавидятъ. Поневолѣ пришлось съежиться, обособиться, притвориться, что и ты такой же человѣкъ, какъ всѣ, а дома устроить себѣ и моральную, и матеріальную жизнь по-своему, завести своихъ пенатовъ, своихъ поэтовъ, общество и друзей. Что-же дѣлать, не всѣмъ быть героями, знаменитостями, спасителями отечества. Пусть какой нибудь геній напишетъ поэму, нарисуетъ картину, издастъ законъ, —а мы, люди толпы, придемъ и посмотримъ на все это. Не угодитъ намъ геній, мы не будемъ насильно восхищаться, потому что толпа имѣетъ полное право не понимать генія... Иначе простымъ людямъ жить нельзя на свѣтѣ... Правду ли я говорю, Надя?

Надя посмотрѣла на него и ничего не отвѣчала...

— Неужели запрещено устроить простое, мѣщанское счастье?..

Надя ожидала, что онъ еще скажетъ.

— Надя, милліоны живутъ съ единственнымъ призваніемъ—честно наслаждаться жизнью... Мы простые люди, люди толпы...

Молотовъ подошелъ къ ней.

— Ты согласна на это?

— Я... твоя вѣдь... отвѣтила Надя.

Молотовъ обнялъ ее...

. . . . . .

. . . . . .

Въ это время темное кладбищенство глянуло въ двери.

. . . . . .

. . . . . .

Но Михаилъ Махайлычъ, замѣтивъ, что Молотовъ и Надя обнимаются, поспѣшилъ уйдти...

Тутъ и конецъ мѣщанскому счастію. Эхъ, господа, что-то скучно!...

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO $1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

AUG 16 1934

JUL 2 1936

SEP 15 1941 M

NOV 22 1941

2 Nov'62 J F

REC'D LD

JUN 1 1963

3 Aug'64 ACG

7 Aug'64 WD

IN STACKS

JUL 25 1964

IN STACKS

JUL 27 1964

IN STACKS

JUL 28 1964

IN STACKS

JUL 29 1964

REC'D LD

JUL 29 '64 -6 PM

MAR 07 1991

DEC 26 1990

CIRCULATION DEPT.

LD 21-100m-7,'33

YC 73409

U.C. BERKELEY LIBRARIES

C031949554

170637